

Леонидъ Семеновъ.

---

# Лермонтовъ и Левъ Толстой.

(Къ столѣтію со дня рожденія Лермонтова.)



Москва. — 1914.

Москва. — 1914.

ТИПОГРАФІЯ В. М. САБЛИНА.

Петровка, д. 26. Тел. 131-34.

1814 г.—1914 г.

„Изъ дѣтскихъ рано вырвался одеждъ  
И сердце бросилъ въ море жизни шумной“.

„Бываютъ люди: чувства — имъ страданья,  
Причуда злой судьбы — ихъ бытіе“.

„Немало я знаю рассказовъ мудреныхъ и чудныхъ“.

(Акад. изд. соч. М. Ю. Л. II, 261, 52, 345.)

„Страданіе и боль всегда обязательны для широкаго сознанія и глубокаго сердца. Истинно великіе люди, мнѣ кажется, должны ощущать на ювѣтѣ великую грусть“.

(Достоевскій. „Преступленіе и наказаніе“.)

---



# ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

Отъ автора.

## 1. Лермонтовъ и Левъ Толстой.

Гл. I.	Бѣглый очеркъ жизни Лермонтова и Льва Толстого . . . . .	1
Гл. II.	Воспоминанія о раннемъ дѣтствѣ; дѣтская любовь . . . . .	8
Гл. III.	Отношеніе къ дѣтямъ . . . . .	16
Гл. IV.	Первая страсть . . . . .	28
Гл. V.	Ангель . . . . .	33
Гл. VI.	Богоборчество; осужденіе ханжества . . . . .	39
Гл. VII.	Благотворное воздѣйствіе природы на мятежную душу чело- вѣка . . . . .	48
Гл. VIII.	Война . . . . .	54
Гл. IX.	Война (продолженіе). Наполеонъ . . . . .	101
Гл. X.	Война (продолженіе). „Бородино“ . . . . .	109
Гл. XI.	Война (продолженіе). „Казачья колыбельная пѣсня“. „Дары Терека“. „Завѣщаніе“ . . . . .	118
Гл. XII.	Война (окончаніе). Вторженіе челоуѣка въ мирную жизнь природы . . . . .	140
Гл. XIII.	Смерть . . . . .	163
Гл. XIV.	Герои Лермонтова и Толстого.—Непривлекательная наруж- ность . . . . .	185
Гл. XV.	Герои Лермонтова и Толстого (продолженіе). Физическая сила . . . . .	194
Гл. XVI.	Герои Лермонтова и Толстого (продолженіе). Любовь къ лоша- дямъ и быстрой ѣздѣ . . . . .	200
Гл. XVII.	Герои Лермонтова и Толстого (продолженіе). Карты. . . . .	213
Гл. XVIII.	Герои Лермонтова и Толстого (продолженіе). Студенты . . . . .	221
Гл. XIX.	Герои Лермонтова и Толстого (окончаніе). Типы Толстого, родственные Печорину и Грушницкому . . . . .	225
Гл. XX.	Отношеніе къ просвѣщенію . . . . .	227
Гл. XXI.	Отношеніе къ медицинѣ . . . . .	233
Гл. XXII.	Музыка . . . . .	240
Гл. XXIII.	Пляска . . . . .	261
Гл. XXIV.	Еще нѣкоторые общіе мотивы творчества Лермонтова и Толстого . . . . .	273

Гл. XXV. Судъ . . . . .	288
Гл. XXVI. Ангелъ Смерги . . . . .	298
Гл. XXVII. Нѣсколько словъ о субъективности творчества Лермонтова и Толстого и о художественныхъ ихъ приемахъ . . . . .	316
Гл. XXVIII. Заключение . . . . .	325
<b>2. Лермонтовъ и Библия . . . . .</b>	<b>329</b>
<b>3. Дубовый листокъ . . . . .</b>	<b>364</b>
<b>4. Портретъ . . . . .</b>	<b>384</b>
<b>5. Замятки.</b>	
I. Объ Академическомъ изданіи сочиненій Лермонтова . . . . .	405
II. Лермонтовъ и пѣсни гребенскихъ казаковъ . . . . .	421
III. Еще о „Казачьей колыбельной пѣснѣ“. . . . .	425
IV. Эпизодъ съ чиновникомъ . . . . .	426
V. Еще о „Валерикѣ“ . . . . .	428
VI. Еще о Лермонтовѣ и Козловѣ . . . . .	431
VII. Муки слова . . . . .	438
VIII. „Споръ“ Лермонтова и „Разговоръ“ Тургенева . . . . .	439
IX. Бой тучъ . . . . .	442
X. Воздушный городъ . . . . .	445
XI. Ландышъ . . . . .	449
XII. „И скучно и грустно“ . . . . .	452
XIII. Кое-что о Пушкинѣ и Лермонтовѣ . . . . .	455



## ОТЪ АВТОРА.

Въ октябрѣ настоящаго года исполняется столѣтіе со дня рожденія великаго русскаго поэта — *Михаила Юрьевича Лермонтова*. Съ благоговѣніемъ посвящаемъ его памяти нашъ скромный трудъ.

Въ очеркахъ, обнимающихъ большую часть настоящей книги, мы даемъ сравнительную характеристику творчества Лермонтова и Льва Толстого; въ этихъ очеркахъ, а также въ статьяхъ и замѣткахъ, посвященныхъ другимъ вопросамъ, главнымъ предметомъ изслѣдованія является поэзія Лермонтова. Затѣмъ мы наибольшее вниманіе удѣляемъ произведеніямъ Льва Толстого.

Мы не намѣревались дать цѣльную характеристику творчества этихъ геніевъ. Наша задача — доказать, что Лермонтовъ оказалъ на Толстого сильное и длительное вліяніе, что Лермонтовъ и Толстой, — идетъ ли рѣчь объ ихъ личности или ихъ созданіяхъ, — имѣютъ глубокое внутреннее сродство. О вліяніи Лермонтова на Толстого въ нашей критической литературѣ говорилось всегда мелькомъ, между прочимъ; этому вопросу не посвящено ни одно, хотя бы и небольшое, изслѣдованіе, и онъ стоитъ передъ нами во всей своей необъятности и заманчивости.

Послѣ того, какъ замолкаютъ юбилейныя рѣчи, послѣ того, какъ потухаютъ огни юбилейныхъ ликованій, будничная жизнь, обыкновенно, беретъ свои права, и интересъ къ поэту или писателю, котораго такъ недавно чествовали

падаетъ, и имя, еще вчера бывшее у всѣхъ на устахъ, на долгое время остается въ тѣни... Хотѣлось бы вѣрить, что интересъ къ поэзіи Лермонтова, усиливающійся въ послѣднее время, будетъ расти, переживетъ мимолетные юбилейные дни, окрѣпнетъ. Желая способствовать этому по мѣрѣ своихъ силъ, желая внести свѣжую струю въ дѣло изученія творчества Лермонтова, мы старались выдвинуть вопросы, которые до сихъ поръ мало были разработаны или вовсе не затрагивались.

---

## Глава I.

### Бѣглый очеркъ жизни Лермонтова и Льва Толстого.

Жизнь Лермонтова и Льва Толстого имѣеть не мало сходныхъ чертъ.

Лермонтовъ и Толстой—аристократы по рожденію и воспитанію. Оба рано потеряли мать: первый,—когда ему не было трехъ лѣтъ; второй,—когда ему было полтора года. Лермонтовъ смутно помнилъ мать и съ трогательной нѣжностью лелѣялъ ея образъ въ душѣ своей. Толстой не сохранилъ воспоминаній о матери, но тоже благоговѣлъ передъ ея памятью. Онъ говорилъ: «Она представлялась мнѣ такимъ высокимъ, чистымъ, духовнымъ существомъ, что часто въ средній періодъ моей жизни, во время борьбы съ одолѣвавшими меня искушеніями, я молился ея душѣ, прося ея помочь мнѣ, и эта молитва всегда помогала много». (Бирюковъ. «Л. Н. Толстой». Біографія. Томъ I. М. 1911 г. Стр. 47). Воспитаніе Лермонтова было въ рукахъ его бабушки, Елизаветы Алексѣевны Арсеньевой, а Толстого—его дальней родственницы, Татьяны Александровны Ергольской. И у Лермонтова, и у Толстого были гувернеры-иностранцы. Еще ребенкомъ Лермонтовъ побывалъ на Кавказѣ; тамъ онъ, 10-лѣтній мальчикъ, влюбился въ дѣвочку лѣтъ 9-ти; воспомнаніе объ этомъ эпизодѣ навсегда запечатлѣлось въ душѣ поэта. По свидѣтельству Бирюкова, у Толстого<sup>1)</sup> «самая сильная любовь была дѣтская, къ Сонечкѣ Калошиной». (Бирюковъ,

<sup>1)</sup> До встрѣчи съ Валеріей Арсеньевой.

I, 311). Въ 1828 г. Лермонтовъ поступилъ въ Благородный Пансіонъ при московскомъ университетѣ; пробылъ въ немъ до 1830 г. Учился онъ хорошо; еще до поступления въ университетъ свободно владѣлъ французскимъ, нѣмецкимъ и англійскимъ языкомъ. Отецъ поэта, Юрій Петровичъ, жилъ въ разлукѣ съ нимъ, велъ глухую, неослабѣвавшую борьбу съ Арсеньевой, и эта вражда терзала душу поэта. Умеръ Юрій Петровичъ въ 1830 г. или 1831 г.<sup>1)</sup> Толстому было 9 лѣтъ, когда онъ потерялъ отца. У Толстого, какъ говоритъ Бирюковъ, «воспоминаніе о немъ связано только съ дѣтскими годами, когда воспитаніе бываетъ большею частью въ женскихъ рукахъ, оттого мы полагаемъ, что и отецъ его не могъ имѣть на него большого вліянія». (Бирюковъ. «Л. Н. Толстой». Краткій біографическій очеркъ. М. 1908. Стр. 4). Дѣтство и отрочество Лермонтова прошли частью въ деревнѣ, частью въ городѣ. Стихи «началь марать», какъ признается самъ, съ 1828 г.<sup>2)</sup> Въ 1830 г. поступилъ въ московскій университетъ. Въ эту пору онъ много читалъ, много писалъ. Съ коллегами близко не сошелся, но не совсѣмъ чуждался ихъ (напр., принималъ участіе въ Маловской исторіи). Черезъ два года поэтъ вышелъ изъ университета; несомнѣнно, этому способствовали столкновенія съ профессорами. Толстой тоже 16-ти лѣтъ поступилъ въ университетъ (казанскій), въ которомъ пробылъ болѣе двухъ лѣтъ. Учился онъ плохо, но временами увлекался какимъ-нибудь предметомъ и серьезно занимался только имъ; какъ Лермонтовъ, онъ, будучи студентомъ, вращался въ избранномъ кругу, не пропускалъ баловъ, маскарадовъ, великосвѣтскихъ любительскихъ спектаклей. Изъ Москвы Лермонтовъ переѣхалъ въ Петербургъ, желая поступить въ петербургскій университетъ. Однако, здѣсь ему отказались зачесть годы пребыванія въ московскомъ университетѣ; та-

1) См. объ этомъ ниже: „Замѣтки“, I.

2) См. „Полное собр. соч.“ Лермонтова въ изданіи Разряда изящной словесности Императорской Академіи Наукъ, IV, 349; дальнѣйшія ссылки относятся къ этому изданію.

кая несправедливость, а также слухи о томъ, что университетскій курсъ вмѣсто трехгодичнаго станетъ четырехгодичнымъ, побудили Лермонтова измѣнить свое рѣшеніе. Этому способствовали и другія обстоятельства: желаніе скорѣе стать независимымъ и примѣръ товарищей, перешедшихъ изъ университета въ юнкерскую школу. Онъ поступилъ въ эту школу, чѣмъ огорчилъ близкихъ. У самого поэта далеко не спокойно было на душѣ; въ ту пору писалъ онъ Верещагиной: «Вы, конечно, уже знаете, сударыня, что я поступаю въ школу гвардейскихъ подпорщиковъ.—Это меня лишитъ, къ сожалѣнію, удовольствія васъ скоро увидѣть. Если бы вы могли ощутить все горе, которое мнѣ это причиняетъ,—вы бы пожалѣли обо мнѣ. Не браните же, а утѣшайте меня, если у васъ есть сердце». (Л., IV, 394). Тогда же—Лопухиной: «До сихъ поръ я жилъ для литературной карьеры, принесъ столько жертвъ своему неблагодарному кумиру и вотъ теперь я—воинъ». (Л., IV, 395). Левъ Толстой оставилъ университетъ, не окончивъ его; по его словамъ, причинъ этому было двѣ: 1) братъ кончалъ курсъ и уѣзжалъ; 2) работа съ «Наказомъ» и «Esprit des lois», открывшая ему новую область самостоятельнаго труда; университетъ же, со своимъ стѣснительнымъ режимомъ, не удовлетворялъ молодую душу. (См. Бирюковъ, I, 138).

Два года провелъ Лермонтовъ въ стѣнахъ юнкерской школы. Эти два года онъ впослѣдствіи называлъ «страшными». (Л., IV, 399). Военная дисциплина, ухарство юнкеровъ, освященное традиціями, скабресный рукописный журналъ «Школьная Заря»,—могло ли все это содѣйствовать развитію поэта? Изъ ложнаго самолюбія, боясь показаться нѣженкой, Лермонтовъ не уступалъ товарищамъ въ молодечествѣ; въ душѣ онъ глубоко страдалъ и не могъ дождаться дня свободы; въ 1833 г. онъ писалъ Лопухиной: «Надѣюсь, вамъ будетъ пріятно узнать, что я, пробывъ въ школѣ всего два мѣсяца, выдержалъ экзаменъ въ первый классъ, и теперь одинъ изъ первыхъ. Это все-таки подаетъ надежду на близкую свободу!» (Л., IV, 396). Въ другомъ

письмѣ (къ ней же) у него вырываются горькія слова: «Какъ скоро я замѣтилъ, что прекрасныя грезы мои разлетаются, я сказалъ себѣ, что не стоитъ создавать новыхъ; гораздо лучше, подумалъ я, приучить себя обходиться безъ нихъ. Попробовалъ—и походилъ въ это время на пьяницу, старающагося понемногу отвыкать отъ вина». (Л., IV, 397). Изъ поэтическихъ опытовъ, относящихся ко времени пребыванія Лермонтова въ юнкерской школѣ, цѣнна поэма «Хаджи-Абрекъ»,—первое изъ его печатныхъ произведеній. Въ концѣ 1834 г. онъ былъ произведенъ въ корнеты лейбъ-гвардейскаго гусарскаго полка, и началась разсѣянная, сопровождаемая кутежами и шалостями, жизнь. Но въ тѣ же годы поэтъ создавалъ такія прекрасныя произведенія, какъ «Маскарадъ», «Бояринъ Орша», «Русалка», «Вѣтка Палестины», «Смерть поэта»; послѣднее, положившее начало славы Лермонтова, вмѣстѣ съ тѣмъ было причиной ссылки его на Кавказъ. Поэтъ побывалъ на Сѣверномъ Кавказѣ и въ Закавказьѣ, близко узналъ и еще болѣе полюбилъ эти края. На Кавказѣ онъ познакомился съ Бѣлинскимъ и декабристами. Изъ произведеній этого періода замѣчательны—«Бородино», «Узникъ», «Молитва» («Я, Матерь Божія»), «Сосѣдъ», «Казбеку», «Пѣсня про купца Калашникова» и др. Служба тяготила поэта; онъ говорилъ Раевскому въ письмѣ: «Я совсѣмъ отвыкъ отъ фронта и серьезно думаю выйти въ отставку». (Л., IV, 330). Въ этомъ же письмѣ онъ упоминаетъ о томъ, какъ чуть-чуть не попалъ въ плѣнъ: «Разъ ночью мы ѣхали втроемъ изъ Кубы, я, одинъ офицеръ нашего полка и черкесь (мирной, разумѣется),— и чуть не попались шайкѣ лезгинъ». (Л., IV, 330). Такой же случай произошелъ со Львомъ Толстымъ въ 1853 г., въ бытность его на Кавказѣ; онъ едва избѣгъ плѣна; эпизодъ этотъ легъ въ основу разсказа «Кавказскій плѣнникъ» (см. Бирюковъ, I, 227—232). Въ концѣ 1837 г. Лермонтову разрѣшено было вернуться изъ ссылки. Онъ жилъ то въ Новгородѣ, то въ столицахъ. У него завязались обширныя литературныя знакомства; новыя превосходныя произведенія дѣлаютъ его имя извѣстнымъ. Быстрое возрастаніе сла-

вы и популярности, а съ другой стороны—рѣзкія проявленія независимаго характера Лермонтова увеличивали число его недоброжелателей въ высшихъ сферахъ. Поэтъ три раза просился въ отпускъ (въ Москву),—отпуска не давали; хотѣлъ выйти въ отставку,—бабка была противъ этого, а огорчать ее онъ не могъ. Онъ писалъ Лопухину: «Признаюсь тебѣ, я съ нѣкотораго времени ужасно упалъ духомъ» (Л., IV, 335). Столкновеніе съ де-Барантомъ, — и поэтъ, послѣ заключенія подъ арестомъ, опять былъ высланъ на Кавказъ. Принимая участіе въ походахъ на горцевъ, онъ выказывалъ храбрость и безумное удалство. Въ томъ же году появился въ печати его романъ «Герой нашего времени». Во время второй ссылки поэту удалось побывать въ Крыму. Бабка поэта, послѣ усиленныхъ хлопотъ, добилась разрѣшенія Лермонтову отпуска въ Россію. Въ началѣ 1841 г. онъ въ послѣдній разъ побывалъ въ Петербургѣ и Москвѣ, а весною опять уѣхалъ на Кавказъ. Онъ жилъ въ Пятигорскѣ, гдѣ скоро возстановилъ противъ себя мѣстное общество своими колкостями. Онъ былъ одинокъ, томился предчувствіемъ смерти, но лелѣялъ надежду на то, что ему удастся вырваться на волю. Въ послѣднемъ, извѣстномъ намъ, письмѣ онъ говорилъ: «Я все надѣюсь, милая бабушка, что мнѣ все-таки выйдетъ прощенье, и я могу выйти въ отставку». (Л., IV, 342). Но Пятигорскъ не отпустилъ поэта. Произошла ссора съ Мартыновымъ, закончившаяся дуэлью; восторжествовалъ Мартыновъ-Грушницкій...

Доскажемъ біографію Толстого. Покинувъ университетъ, онъ въ скоромъ времени тоже попалъ на Кавказъ и, подобно Лермонтову, изъ студента дѣлается военнымъ. Долго дремавшія творческія силы были теперь какъ бы разбужены; расцвѣтающей молодой поэтической гений поразилъ современниковъ мощью и красотой. Съ Кавказа Толстой уѣхалъ въ Крымъ и принялъ участіе въ оборонительной севастопольской войнѣ. Послѣ крымской компаніи онъ переселился въ Петербургъ, оставивъ военную службу; въ это время ему было столько же лѣтъ, сколько умершему

Лермонтову. Педагогическая дѣятельность Толстого, женитьба, горячее, неослабѣвающее участіе въ общественной и политической жизни Россіи, религіозныя и философскія исканія, міровая популярность,—мало имѣютъ отношенія къ сравнительной біографіи Лермонтова и Толстого; но и во всемъ этомъ есть нѣчто лермонтовское. «Пророкъ» Лермонтова,—говоритъ Розановъ, «развѣ это не Гоголь, съ его «бѣгствомъ» изъ Россіи въ Римъ? не Толстой—съ угрюмымъ отшельничествомъ въ Ясной Полянѣ?..» (В. Розановъ. «Литературные очерки». Спб. 1899 г., стр. 162). Мы же теперь добавимъ: гоненія, которымъ подвергался Толстой въ послѣдніе годы жизни, его бѣгство изъ Ясной Поляны,—тоже не мотивы ли «Пророка» Лермонтова? Извѣстно, какъ отнеслось русское духовенство къ Лермонтову, погибшему на дуэли; его, какъ «самоубійцу», не желали похоронить по церковному православному обряду. Мартыановъ, на основаніи свидѣтельствъ современниковъ поэта, доказываетъ, что тѣло поэта «было лишено христіанскаго погребенія по обряду православной церкви, и что ему оказана церковнымъ причтомъ только честь выноса и проводовъ до могилы». (Мартыановъ. «Какъ былъ погребенъ М. Ю. Лермонтовъ».—«Ист. В.», 1895 г., VI, 819). «Такого человѣка, какъ собаку, не хоронятъ», сказалъ католическій ксендзъ, присутствовавшій на погребеніи поэта, и отслужилъ литію и обѣдню; послѣ него отслужилъ лютеранскій священникъ (тамъ же, 822). Судьба продолжала преслѣдовать Лермонтова и по смерти его. Градовскій рассказываетъ, сколько хлопотъ было ему, когда онъ, по порученію Литературнаго фонда, въ 1891 г. заказывалъ по Лермонтовѣ панихиду въ Казанскомъ соборѣ; протоіерей отказывался служить: «Лермонтовъ убитъ на дуэли... Это приравнивается къ самоубійству... По самоубійцамъ панихидъ не служатъ». Пришлось обратиться къ митрополиту, который далъ разрѣшеніе, сказавъ, что «судить Лермонтова не намъ, а Богу». (Градовскій. «Итоги». Кіевъ. 1908. Стр. 364—366) <sup>1)</sup>. Толстой, хотя и по другимъ причинамъ, былъ

<sup>1)</sup> См. еще — Л., V, стр. СХХІІ — СХХІІІ.

похороненъ вовсе безъ христіанскихъ обрядовъ... Невольно всплываютъ въ памяти некрасовскія слова:

... Безъ церковнаго пѣнья, безъ ладона,  
Безъ всего, чѣмъ могила крѣпка...  
Безъ поповъ!.. („Похороны“) <sup>1)</sup>.

Неужели теперь, въ предстоящую столѣтнюю годовщину со дня рожденія нашего великаго, многострадальнаго поэта не замретъ все, что можетъ нарушить тихій могильный сонъ?..

Нашей единственной цѣлью было указать въ этомъ сжатомъ очеркѣ на фатальное совпаденіе біографическихъ фактовъ; это обстоятельство еще болѣе способствовало возникновенію и развитію аналогичныхъ идей и сюжетовъ въ произведеніяхъ Лермонтова и Толстого, творчество которыхъ столь субъективно.



---

<sup>1)</sup> Некрасовъ. „Полное собр. стихотвореній“. СПб. 1902 г. I, 251. Дальнѣйшія ссылки на это изданіе.

## Глава II.

### Воспоминанія о раннемъ дѣтствѣ; дѣтская любовь.

Лермонтовъ всю жизнь съ нѣжной любовью и грустью вспоминалъ о невозвратномъ, миломъ дѣтствѣ:

Сердце, полно сожалѣній,  
Хранить въ себѣ глубокой слѣдъ  
Умершихъ, но святыхъ видѣній,  
И тѣни чувствъ, какихъ ужъ нѣтъ. (I, 272).

Только наружно погружался онъ въ блескъ и суету міра; часто онъ, предавшись размышленіямъ, лелѣялъ въ душѣ «старинную мечту», «святые звуки» былого, летѣлъ къ нему вольной птицей. И тогда онъ видѣлъ родныя мѣста:

высокій барскій домъ  
И садъ съ разрушенной теплицей;  
Зеленой сѣтью травъ подернуть спящій прудъ,  
А за прудомъ село дымится, и встають  
Вдали туманы надъ полями. (II, 277).

Это село Тарханы. Висковатый даетъ слѣдующее описаніе лермонтовской усадьбы: «Барскій домъ, одноэтажный, съ мезониномъ, окружень былъ службами и строеніями. По другую сторону господскаго дома раскинулся роскошный садъ, расположенный на полу-горѣ. Кусты сирени, жасмина и розановъ клумбами окаймляли цвѣтникъ, отъ котораго въ глубь сада шли тѣнистыя аллеи. Одна изъ нихъ, обсаженная акаціями, сросшимися наверху настоящимъ сводомъ, вела подъ гору къ пруду. Съ полугорья

открывался видъ въ село съ церковью, а дальше тянулись поля, уходя въ синюю глубь тумана». (Висковатый. «М. Ю. Лермонтовъ». Жизнь и творчество». М. 1891 г., 27) <sup>1)</sup>. Картина эта постоянно всплывала въ памяти поэта. Въ юношеской поэмѣ «Преступникъ» упоминается

домъ высокій,  
...пустой, унылый дворъ,  
...прудь заглохшій, садъ широкій!.. (I, 42).

Въ «Вадимѣ» горбунъ «вспомнилъ свою молодость, и отца, и домъ родной, и высокія качели, и прудъ, обсаженный ветлами... все, все». (IV, 13).

Та же картина въ другой начатой повѣсти: «Отъ барскаго дома по скату горы до самой рѣки разстился фруктовый садъ. Съ балкона видны были дымящіяся села луговой стороны, синѣющія степи и желтыя нивы... Барскій домъ былъ похожъ на всѣ барскіе дома: деревянный, съ мезониномъ, выкрашенный желтой краской; а дворъ обстроенъ былъ одноэтажными, длинными флигелями, сараями, конюшнями и обведенъ валомъ, на которомъ качались и сохли жидкія ветлы; среди двора красовались качели». (IV, 298—299).

По поводу стихотворенія «Первое января» Розановъ замѣчаетъ: «Развѣ это не тема «Дѣтства и отрочества» Толстого? Не та же тоска, очарованіе, тревога?» (Розановъ. «Литер. очерки». СПБ. 1899 г., 160).

Необъятный міръ толстовскихъ идей и образовъ во многихъ случаяхъ представляетъ широкую и глубокую разработку намѣченныхъ Лермонтовымъ вопросовъ; иногда—это вліяніе Лермонтова, иногда—слѣдствіе тяготѣнія обоихъ геніевъ къ однѣмъ и тѣмъ же проблемамъ; они настоящіе близнецы по духу. Не мало тропинокъ проложилъ Лермонтовъ Толстому, и этимъ отчасти объясняется необычайное богатство и полнота развитія художественныхъ мотивовъ творчества великаго писателя русской земли.

<sup>1)</sup> См. еще фотографическій снимокъ съ дома Е. А. Арсеньевой въ Тарханахъ (Л., III, 65).

«Этотъ «высокій барскій домъ», этотъ садъ запущенный читатель найдетъ и у Тургенева, и у Л. Н. Толстого. Талантливый современный поэтъ (Ив. Бунинъ) не мало элегическихъ стиховъ посвятилъ навсегда покинутому имъ «дворянскому гнѣзду». (Бархинъ. «Сочиненія М. Ю. Лермонтова съ объяснительными статьями». Часть I. Лирическія стихотворенія. Одесса. 1912 г., 108).

Изслѣдователи творчества Лермонтова ограничивались до сихъ поръ подобными замѣчаніями: цѣнными, но бѣглыми. Необходимо разработать эти вопросы.

Человѣку свойственна, вообще, тоска по дѣтству; чѣмъ дальше уходитъ онъ отъ первой поры бытія, тѣмъ милѣе и поэтичнѣе представляется она ему. У Толстого умирающій Иванъ Ильичъ, пробѣгая въ послѣдній разъ свое прошлое, только на дѣтствѣ останавливается съ радостью. (Л. Н. Толстой. «Полное собраніе сочиненій». Подъ редакціей и съ примѣчаніями П. И. Бирюкова. Изд. Сытина. М. 1913 г. X, 40—42. Къ этому изданію относятся и дальнѣйшія ссылки). То же мы подмѣчаемъ у поэтовъ, близкихъ по духу къ Лермонтову.

Огаревъ говоритъ:

Невольно мысль стремится къ прошлымъ днямъ  
И въ дальнія идетъ воспоминанья.  
Чѣмъ далѣе, тѣмъ лучше, тѣмъ свѣжѣй...  
Ребячество и юность... домъ отцовскій...

(Огаревъ. «Стихотворенія». Подъ ред. Гершензона. М. 1904 г., II т., 411—412. Дальнѣйшія ссылки по этому изданію). Вспоминая дѣтскіе годы, герой Огарева видитъ тѣ же, лермонтовскія картины:

Знакомый прудъ, знакомый садъ!  
Здѣсь дѣтскій возрастъ былъ такъ воленъ!  
Здѣсь все, чему бывалъ онъ радъ,  
Вновь на глаза его предстало  
И чуть до слезъ не взволновало.  
Все тотъ же на дворѣ стоялъ

Уныло домикъ деревянный,  
И мезонинъ довольно странный  
Его вершину замыкалъ. (Огаревъ, II, 208, 209).

Думая о младенческихъ годахъ, поэтъ видитъ  
Село въ вечерней типинѣ,  
Въ саду свѣтящіяся воды  
И жизнь въ какомъ-то полуснѣ,  
Въ кругу семьи, среди природы. (Огаревъ, II, 82) <sup>1)</sup>.

Такъ и Голенищеву-Кутузову припоминается

Однообразная равнина;  
Надъ мутной рѣчкой барскій домъ,  
Пять старыхъ липъ — остатокъ сада,  
Дорожка, сгнившая ограда,  
Строенья ветхія кругомъ —  
Конюшня, скотный дворъ, людская;  
А дальше... дальше глушь родная —  
Поля, болота, пустыри...

(Голенищевъ - Кутузовъ. «Сочиненія». СПБ., 1894 г., II, 30—31. Дальнѣйшія ссылки по этому изданію).

Надсонъ:

Вотъ нашъ старый съ колоннами сѣренькій домъ,  
Съ красной крышей, съ массивнымъ балкономъ.  
Темный садъ на просторѣ разросся кругомъ,  
И поля, утопая во мракѣ ночью,  
Съ отдаленнымъ слились небосклономъ.

(Надсонъ. «Стихотворенія». Изд. 21-е. СПБ. 1905 г., 17. Дальнѣйшія ссылки по этому изданію).

Какъ мы видимъ, поэты варьируютъ мотивы «Перваго января»; конечно, каждый изъ поэтовъ въ свои описанія вкладывалъ и личныя впечатлѣнія, но вліяніе Лермонтова не подлежитъ сомнѣнію: здѣсь тѣ же образы, то же полу-

---

<sup>1)</sup> См. еще — Огаревъ, II, 23.

печальное, полу-грустное настроеніе. Сходство даже въ мелочахъ; напримѣръ, у Лермонтова риѣмуются слова: «кругомъ» и «домъ»; то же—въ цитированныхъ стихотвореніяхъ Голенищева-Кутузова и Надсона.

Въ своемъ стихотвореніи «Первое января», посвященномъ воспоминаніямъ дѣтства, Лермонтовъ говоритъ далѣе:

Въ аллею темную вхожу я; сквозь кусты  
Глядитъ вечерній лучъ, и желтые листы  
Шумятъ подъ робкими шагами. (Л., II, 277).

И Николенька Иртенъевъ рассказываетъ: «Большіе пошли въ кабинетъ пить кофе, а мы побѣжали въ садъ шаркать ногами по дорожкамъ, покрытымъ упавшими желтыми листьями, и разговаривать». (Т., I, 22).

Уйдя въ міръ былого, Лермонтовъ переживаетъ въ мечтахъ свою первую любовь:

И странная тоска тѣснить ужъ грудь мою:  
Я думаю о ней, я плачу и люблю,—  
Люблю мечты моей созданье  
Съ глазами, полными лазурнаго огня,  
Съ улыбкой розовой, какъ молодого дня  
За рощей первое сіянье. (II, 277).

Это та девятилѣтняя дѣвочка, въ которую онъ, будучи десятилѣтнимъ мальчикомъ, влюбился на Кавказѣ. Когда ему было уже 15 лѣтъ, онъ говорилъ: «Я не помню, хороша собою была она или нѣтъ, но ея образъ и теперь еще хранится въ головѣ моей. Онъ мнѣ любезенъ, самъ не знаю почему... это была страсть сильная, хотя ребяческая; это была истинная любовь; съ тѣхъ поръ я еще не любилъ такъ. О, сія минута перваго безпокойства страстей до могилы будетъ терзать мой умъ!.. Я не знаю, кто была она, откуда... Бѣлокурые волосы, голубые глаза быстрые, непринужденность... Иногда мнѣ странно, и я готовъ смѣяться надъ этой страстію, но чаще—плакать». (IV, 349—350).

Объ этой любви вспоминаетъ онъ въ стихотвореніи «Кавказъ» (тоже въ 1830 г.):

Я счастливъ былъ съ вами, ущелія горъ.  
Пять лѣтъ пронеслось: все тоску по васъ.  
Тамъ видѣлъ я пару божественныхъ глазъ,—  
И сердце лепечетъ, вспомя тотъ взоръ:  
Люблю я Кавказъ! (I, 109, 110).

Быть можетъ, именно потому поэтъ и любилъ такъ «лазурные», «голубые», «божественные», «небесные» глаза (см., напр.,—II, 210, 211, 212, 234; III, 165).

Поэтамъ, натурамъ крайне впечатлительнымъ, свойственно раннее пробужденіе любви къ женщинѣ. Данте на исходѣ 9-ти лѣтъ полюбилъ 8-милѣтнюю Беатриче<sup>1)</sup>, и любовь эта окрѣпла и служила ему источникомъ вдохновенія. Байрону было 8 лѣтъ, когда онъ влюбился въ Мэри Даффъ. Мюссе испыталъ первую любовь, когда ему было четыре года. (Мюссе. «Избранныя сочиненія».—Русская классная библіотека. Вып. XX. СПБ. 1901 г., 224). У Толстого въ началѣ жизни «самая сильная любовь была дѣтская, къ Сонечкѣ Калозиной». (Бирюковъ, I, 311).

Николенька Иртеньевъ, когда ему было десять лѣтъ, влюбился въ Катеньку. Вотъ прелестная, граціозная картинка дѣтской любви:

Катенька, нагнувшись надъ червякомъ, движеніемъ плеча поправляетъ свое платье, «и въ то же время вѣтеръ поднялъ косыночку съ ея бѣленькой шейки. Плечико во время этого движенія было на два пальца отъ моихъ губъ. Я смотрѣлъ уже не на червяка, смотрѣлъ-смотрѣлъ и изъ всѣхъ силъ поцѣловалъ плечо Катеньки. Она не обернулась, но я замѣтилъ, что шейка ея и уши покраснѣли. Володя, не поднимая головы, презрительно сказалъ:

— Что за нѣжности?

У меня же были слезы на глазахъ». (Т., I, 28).

---

<sup>1)</sup> Скартаццини. „Данте“. СПБ. 1905 г., 21, 22.

У нея было «бѣлокуренькое личико», «свѣтло - голубые глаза и улыбающійся взглядъ», «ротикъ съ свѣтлой улыбкой» (I, 28, 125); словомъ, это точь въ точь такая же дѣвочка, какую ребенкомъ полюбилъ Лермонтовъ...

Потомъ Николенька влюбился въ 12-тилѣтнюю Сонечку Валахину. Она сразу понравилась ему (I, 55—58); онъ танцуетъ съ нею, занимаетъ ее разговоромъ. Онъ взволнованъ: «Сердце билось, какъ голубь, кровь безпрестанно приливала къ нему и хотѣлось плакать». (I, 63). Тѣ же ощущенія переживалъ Лермонтовъ-мальчикъ: «Она была тутъ и играла съ кузиною въ куклы: *мое сердце затрепетало, ноги подкосились*. Я тогда ни объ чемъ еще не имѣлъ понятія, тѣмъ не менѣе это была страсть сильная, хотя ребяческая... Надо мной смѣялись и дразнили, ибо *примѣчали волненіе въ лицѣ*. Я плакалъ *потихоньку, безъ причины*, желалъ ее видѣть... убѣгалъ, слыша ея названье (теперь я забылъ его), какъ бы страшась, чтобъ *биеніе сердца и дрожащій голосъ* не объяснили другимъ тайну, непонятную для меня самого». (Л., IV, 349). Влюбившись въ Сонечку, Николенька охлаждѣваетъ къ Сережѣ Ивину, къ которому до этого питалъ безпредѣльную любовь (Т., I, 51, 64). Въ избыткѣ счастья онъ признается брату, что «рѣшительно влюбленъ въ Сонечку». (I, 65). Онъ ревнуетъ ее къ Сережѣ и, подсмотрѣвъ, какъ Сережа поцѣловалъ ее, называетъ ее «*коварной измѣнницей*». (I, 109). Прошло три года... Три года Николенька не видѣлъ Сонечки, «но въ душѣ оставалось еще живое и трогательное воспоминаніе прошедшей дѣтской любви». Онъ говоритъ: «Мнѣ случилось въ продолженіе этихъ трехъ лѣтъ вспоминать о ней съ такою силой и ясностью, что я проливалъ слезы и чувствовалъ себя снова влюбленнымъ, но это продолжалось только нѣсколько минутъ и возвращалось снова скоро». (I, 173).

Голенищевъ-Кутузовъ, вспоминая дѣтство, переживаетъ тѣ же чувства, и передъ нимъ, какъ передъ Лермонтовымъ и Толстымъ, изъ тумана былого всплываетъ образъ любимой нѣкогда дѣвочки, тоже голубоглазой и улыбающейся:

...И вотъ мнѣ видится въ тѣхъ бѣлыхъ облакахъ  
Головка дѣвочки, вся въ кудряхъ золотистыхъ,  
Улыбка милая, на розовыхъ устахъ...  
Мнѣ эта дѣвочка знакома...  
...Я вижу въ вышинѣ и кудри золотыя,  
И дѣтское лицо, и очи голубыя. (Г.-К., II, 200) <sup>1)</sup>.

Такъ воспоминанія о дѣтствѣ, проведенномъ въ миломъ, родномъ гнѣздѣ, и о первой любви—вызываютъ у поэтовъ лирическія изліянія, полныя тихой, нѣжной печали.

Когда мы въ памяти своей  
Проходимъ прежнюю дорогу,  
Въ душѣ всѣ чувства прежнихъ дней  
Вновь оживаютъ понемногу;  
И грусть и радость тѣ же въ ней,  
И знаетъ ту жъ она тревогу. (Огаревъ, II, 82).

«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора дѣтства!—говоритъ Толстой.—Какъ не любить, не лелѣять воспоминаній о ней? Воспоминанія эти освѣжаютъ, возвышаютъ мою душу и служатъ для меня источникомъ лучшихъ наслажденій». (I, 39). На закатѣ жизни съ умиленіемъ вспоминалъ онъ про дѣтскую игру въ «муравейныхъ братьевъ» и «зеленую палочку» (см. Бирюковъ, I, 84—87, 94—95).

---

<sup>1)</sup> Ср. стихотвореніе Сюлли-Прюдома — „Ребячество“:

„Вы маленькою дѣвочкою были,  
Мнѣ-жъ минуло двѣнадцать лѣтъ;  
Я былъ влюбленъ, но вы — сомнѣнья нѣтъ —

Забыли“... (Переводъ Хвостова. — Сюлли-Прюдомъ.

„Стихотворенія“. СПб. 1911 г., 140. См. еще стихотвореніе „Воспоминанія“, стр. 149).

## Глава III.

### Отношеніе къ дѣтямъ.

Загадочная душа поэта, въ которомъ многіе современники видѣли второго Печорина, дерзкаго офицера, доставлявшаго начальству вѣчное безпокойство, таила святые чувства, и чувства эти были пронесены неизмѣнными сквозь всѣ бури и испытанія; таковымъ было, на примѣръ, доброжелательное чувство къ дѣтямъ<sup>1)</sup>. Сколько трогательной любви и ласки къ нимъ, сколько мудрости въ стихотвореніи, посвященномъ сыну А. А. Лопухина, стараго друга:

Ребенка милаго рожденье  
Привѣтствуетъ мой запоздалый стихъ.  
Да будетъ съ нимъ благословенье  
Всѣхъ ангеловъ небесныхъ и земныхъ!  
Да будетъ онъ отца достоинъ;  
Какъ мать его, прекрасенъ и любимъ;  
Да будетъ духъ его спокоенъ  
И въ правдѣ твердъ, какъ Божій херувимъ.  
Пусть не знаетъ онъ до срока  
Ни мукъ любви, ни славы жадныхъ думъ;  
Пусть глядитъ онъ безъ упрека  
На ложный блескъ и ложный міра шумъ;  
Пусть не ищетъ онъ причины  
Чужимъ страстямъ и радостямъ своимъ,

---

<sup>1)</sup> Въ тетради поэта 1828 г. есть рисунокъ, изображающій двухъ ангеловъ, оберегающихъ двухъ малютокъ; характерна надпись подъ нею: „Невинность всегда охранена“. (Л., V, 26).

И выйдет онъ изъ свѣтской <sup>1)</sup> тины  
Душою бѣлъ и сердцемъ невредимъ! (II, 255).

Ночью грѣшныхъ людей терзають «сны мучители», но

Ангелы хранители  
Бесѣдуютъ съ дѣтьми. (II, 343).

Ср. у Толстого: «Прилеталъ ангель-утѣшитель, съ улыбкой утиралъ слезы эти и навѣвалъ сладкія грезы неиспорченному дѣтскому воображенію». (I, 41). Прелестный образъ ангела-хранителя, бесѣдующаго съ ребенкомъ,—въ стихотвореніи Полонскаго «Ангель».

Въ «Подражаніи Байрону» Лермонтовъ говоритъ:

Увижу на рукахъ ея дитя,  
И стану я при ней его ласкать,  
И въ каждой ласкѣ мать узнаетъ вновь,  
Что время не могло унести любовь!.. (I, 166).

Это пророческія слова; это страница изъ послѣдующей жизни поэта. Его біографъ рассказываетъ: «Разъ только Лермонтовъ имѣлъ случай въ третьемъ мѣстѣ увидать дочь Варвары Александровны <sup>2)</sup>. Онъ долго ласкалъ ребенка, потомъ горько заплакалъ и вышелъ въ другую комнату. Его очевидно мучило раскаянье за тѣ горести, которыя онъ причинилъ матери изъ-за своего невоздержнаго языка, изъ-за желанія въ сочиненіяхъ своихъ язвить Бахметева. Видѣть любимую, страдающую женщину ему было заказано. Старые годы счастья и надеждъ, потомъ годы черстваго отношенія къ дорогому существу, а затѣмъ годы печали и безнадежной привязанности вставали передъ нимъ». (Висковатый. «М. Ю. Л.», 291). Подъ этимъ впечатлѣніемъ написано стихотвореніе «Ребенку», которое мы приводимъ полностью:

<sup>1)</sup> Въ текстѣ стоитъ — „свѣтлой“, но это опечатка; поправку см. — IV, 406.

<sup>2)</sup> Бахметевой; къ Бахметевой (Лопухиной) поэтъ питалъ самую глубокую и возвышенную любовь,

О грезахъ юности томимъ воспоминаемъ,  
Съ отрадой тайною и тайнымъ содроганьемъ,  
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю...  
О, если-бъ знало ты, какъ я тебя люблю!  
Какъ милы мнѣ твои улыбки молодая,  
И быстрые глаза, и кудри золотыя,  
И звонкій голосокъ! — Не правда-ль, говорятъ,  
Ты на нее похожъ? — Увы! года летятъ;  
Страданія ея до срока измѣнили,  
Но вѣрныя мечты тотъ образъ сохранили  
Въ груди моей; тотъ взоръ, исполненный огня,  
Всегда со мной. А ты, ты любишь-ли меня?  
Не скучны-ли тебѣ непрощенныя ласки?  
Не слишкомъ часто-ль я твои цѣлую глазки?  
Слеза моя ланить твоихъ не обожгла-ль?  
Смотри-жь, не говори ни про мою печаль,  
Ни вовсе обо мнѣ. Къ чему? Ея, быть можетъ,  
Ребяческій разговоръ разсердить иль встревожить...

Но мнѣ ты все повѣрь. Когда, въ вечерній часъ,  
Предъ образомъ съ тобой заботливо склонясь,  
Молитву дѣтскую она тебѣ шептала,  
И въ знаменье креста персты твои сжимала,  
И всѣ знакомыя, родныя имена  
Ты повторялъ за ней,— скажи, тебя она  
Ни за кого еще молиться не учила?  
Блѣднѣя, можетъ-быть, она произносила  
Названіе, теперь забытое тобой?...  
Не вспоминай его... Что имя? — звукъ пустой!  
Дай Богъ, чтобъ для тебя оно осталось тайной.  
Но если, какъ-нибудь, когда-нибудь, случайно  
Узнаешь ты его,— ребяческіе дни  
Ты вспомни, и его, дитя, не прокляни! (II, 287, 288).

«Должно быть, въ эту минуту лицо его было особенно похоже на лицо его матери: исчезъ разладъ между слишкомъ умнымъ, тяжелымъ взоромъ и «дѣтски иѣжнымъ» выраженіемъ губъ»; въ глазахъ была небесная мудрость, а

въ губахъ земная скорбь любви. И если бы тогда увидѣли его Вл. Соловьевъ и Достоевскій, то, можетъ быть, поняли бы, что не разгадали чего-то самаго главнаго въ этой «душѣ печальной, незнакомой счастью, но нѣжной, какъ любовь». (Мережковскій. «М. Ю. Лермонтовъ. Поэтъ сверхчеловѣчества». СПБ. 1909 г., 44). Розановъ сопоставляетъ это стихотвореніе со стихотвореніемъ Пушкина «Стансы» («Брожу-ли я вдоль улицъ шумныхъ»): «Пушкинъ чувствуетъ младенца, если можно такъ выразиться, идиллически, картинно, Лермонтовъ физиологически. Последнее—гораздо глубже, и слово «съ содроганьемъ» (смотрю)—тутъ не обмолвка. Это—взглядъ отца, взглядъ—матери, любовь—не скользящая по предмету художественнымъ лучомъ, а падающая на предметъ вертикально, какъ лучъ полуденнаго солнца, пронзающая предметъ, сжигающая предметъ. И такіе вертикальные лучи негодованія-ли, любви-ли, палящіе, знойные, дѣйствующие, ударяющіе—вездѣ у Лермонтова; въ противоположность горизонтальнымъ лучамъ, художественно успокоеннымъ, у Пушкина. Отъ этого дѣйствіе ихъ на душу глубоко, быстро, смущающе: безъ всякаго преувеличенія, слезы навертываются при чтеніи его строкъ»...<sup>1)</sup>.

Въ «Казачьей колибельной пѣснѣ»<sup>2)</sup> поэтъ выразилъ всю теплоту материнской любви, исполненной надеждъ, тревогъ и тайныхъ огорченій. Эта за сердце хватающая мелодія производитъ сильное впечатлѣніе еще оттого, что скорбному образу матери поэтъ противопоставляетъ мирно спящаго младенца и безмятежную природу («*тихо* смотритъ мѣсяць ясный»).

Лермонтовъ проникается глубокимъ, нѣжнымъ участіемъ къ своимъ героямъ, въ дѣтствѣ видавшимъ мало свѣтлыхъ дней. Вотъ бѣдный Мцыри; онъ

<sup>1)</sup> Розановъ. „Концы и начала, „божественное“ и „демоническое“, боги и демоны“.—„Міръ Искусствъ“, 1902 г., № 7—12, 131—132 стр.

<sup>2)</sup> Мы останавливаемся на этомъ стихотвореніи въ XI гл.

занемогъ, не перенесъ  
Трудовъ далекаго пути,  
Онъ былъ, казалось, лѣтъ шести;  
Какъ серна горъ, пугливъ и дикъ,  
И слабъ и гибокъ, какъ тростникъ. (II, 309).  
... Чуждъ ребяческихъ утѣхъ,  
Сначала бѣгаль онъ отъ всѣхъ,  
Бродилъ безмолвень, одинокъ,  
Смотрѣлъ вздыхая на востокъ,  
Томимъ неясною тоской  
По сторонѣ своей родной. (II, 310).

Перебирая смутныя, но сладостныя воспоминанія, онъ говоритъ:

А мой отецъ? Онъ, какъ живой,  
Въ своей одеждѣ боевой  
Являлся мнѣ, — и помнилъ я  
Кольчуги звонъ, и блескъ ружья,  
И гордый непреклонный взоръ,  
И молодыхъ моихъ сестеръ, —  
Лучи ихъ сладостныхъ очей,  
И звукъ ихъ пѣсень и рѣчей  
Надъ колыбелю моей...  
Въ ущельи томъ бѣжалъ потокъ.  
Онъ шумень былъ, но неглубокъ;  
Къ нему, на золотой песокъ  
Играть я въ полдень уходилъ  
И взоромъ ласточекъ слѣдилъ,  
Когда онѣ, передъ дождемъ,  
Волны касались крыломъ. (II, 314).

Для Мцыри, отрочество и юность котораго протекли въ плѣну, въ монастырскихъ стѣнахъ, первые дѣтскіе, проведенные въ родномъ аулѣ, годы дороже всего на свѣтѣ:

За нѣсколько минутъ  
Между крутыхъ и темныхъ скалъ,  
Гдѣ я въ ребячествѣ игралъ,  
Я-бъ рай и вѣчность промѣнялъ!.. (II, 329).

Селимъ («Ауль Бастунджи»)

росъ одинъ... на волѣ, безъ заботъ,  
Какъ птичка межъ землей и небесами. (I, 335):

Лермонтовъ чуть-чуть помнилъ мать, а съ отцомъ, котораго тоже рано потерялъ, почти всегда жилъ въ разлукѣ. Его герои—тоже одинокія дѣти. Селимъ росъ безъ отца и матери. Мцыри ребенкомъ оторванъ былъ отъ семьи; но у него были хотя воспоминанія; у другихъ и этого нѣтъ.

Корсаръ говоритъ:

Я не видалъ своихъ родимыхъ,  
Чужой семьей воскормленъ я. (I, 29).

Измаиль-Бей—

материнской ласки не знавалъ:  
Не у груди, подъ буркою согрѣтый,  
Одинъ провелъ младенческія лѣты. (II, 44).

Арсеній рассказываетъ Оршѣ:

Не знаю, гдѣ рождень,  
Кто мой отецъ, и живъ-ли онъ!  
Не знаю... Люди говорятъ,  
Что я тобой ребенкомъ взятъ,  
И былъ я отданъ съ раннихъ поръ  
Подъ строгій иноковъ надзоръ;  
И выросъ въ тѣсныхъ я стѣнахъ,  
Душой — дитя, судьбой — монахъ!  
Никто не смѣлъ мнѣ здѣсь сказать  
Священныхъ словъ: „отецъ“ и „мать“.  
Конечно, ты хотѣлъ, старикъ,  
Чтобъ я въ обители отвыкъ  
Отъ этихъ сладостныхъ именъ...  
Напрасно! звукъ ихъ былъ рождень  
Со мной. Я видѣлъ у другихъ  
Отчизну, домъ, друзей, родныхъ,

А у себя не находилъ  
Не только милыхъ душъ,— могиль! (II, 122) <sup>1)</sup>.

Сашка ребенкомъ лишился матери.

Онъ росъ... Отецъ его бранилъ и сѣкъ,—  
Затѣмъ, что самъ былъ съ дѣтства часто сѣченъ,  
А, слава Богу, вышелъ человѣкъ:  
Не стыдъ семьи, не тупъ, не изувѣченъ.  
Понятя были низки въ старый вѣкъ...  
Но Саша съ гордой былъ рожденъ душою  
И желчнаго сложенья...  
Умѣлъ онъ помнить, кто его обидѣлъ,  
И потому отца возненавидѣлъ. (II, 165).  
Онъ не имѣлъ ни брата, ни сестры,  
И тайныхъ мукъ его никто не вѣдалъ. (II, 166).

Но горшая участь ожидаетъ ребенка, если онъ еще и безобразенъ. Вадимъ говоритъ о себѣ: «Въ стѣнахъ обители я провелъ мои лучшіе годы, въ душныхъ стѣнахъ... притѣсняемый за то, что я обиженъ природой... что я безобразенъ... Никто въ монастырѣ не искалъ моей дружбы, моего сообщества; я былъ одинъ, всегда одинъ». (IV, 21).

Ясно, что когда Лермонтовъ писалъ о страданіяхъ этихъ одинокихъ дѣтей, онъ вспоминалъ свое дѣтство, имѣвшее не только свѣтлыя стороны. Онъ росъ безъ матери, мало зналъ отца. Тайныя терзанія уроды Вадима,—романтически преувеличенныя мученія самого поэта, очень самолюбиваго, но некрасиваго. Горькое утѣшеніе онъ могъ почерпнуть въ біографіи Байрона, надъ хромотой котораго, когда онъ былъ малъ, издѣвались не только школьные товарищи, но и мать.

Дѣти, которыхъ изображаетъ Лермонтовъ, не по лѣтамъ серьезны.

---

<sup>1)</sup> Позже эти слова, нѣсколько измѣненныя, были вложены въ уста Мцыри.

Сашка,

До времени отвыкнувъ отъ игры..

... началъ думать, строить мѣръ воздушный. (II, 166).

Мцыри, томясь въ монастырѣ, былъ «чуждъ ребяческихъ утѣхъ». (II, 310). Саша Арбенинъ «разлюбилъ игрушки и началъ мечтать». (IV, 299). Лермонтовъ любилъ въ дѣтствѣ забавы: военныя игры, театръ марионетокъ, но имѣлъ склонность предаваться фантастическимъ размышленіямъ:

Моя душа, я помню, съ дѣтскихъ лѣтъ

Чудеснаго искала...

Какъ часто силой мысли въ краткій часъ

Я жилъ вѣка и жизнью иной,

И о землѣ позабывалъ. (I, 254).

Нина («Сказка для дѣтей») тоже не знала материнской ласки; отецъ, неразговорчивый и суровый, рѣдко видѣлся съ дочерью, и она, запугана имъ и строгой англичанкой, росла, какъ хрупкій тепличный цвѣтокъ; она и увядала, какъ цвѣтокъ, блѣднѣла и становилась все задумчивѣе; бросивъ скучную книжку, смотрѣла она на мѣръ изъ окна стараго, молчаливаго дома и грезила,

И вдалькѣ мечты ея блуждали,

Пока ее играть не посылали. (II, 273).

Печоринъ съ дѣтства былъ несчастенъ: «Я былъ скромнень—меня обвиняли въ лукавствѣ: я сталъ скрытенъ. Я глубоко чувствовалъ добро и зло; никто меня не ласкалъ, всѣ оскорбляли: я сталъ злопамятенъ. Я былъ угрюмъ, другія дѣти веселы и болтливы; я чувствовалъ себя выше ихъ,—меня ставили ниже: я сдѣлался завистливъ. Я былъ готовъ любить весь мѣръ,—меня никто не понималъ: и я выучился ненавидѣть». (IV, 234).

Предоставленные самимъ себѣ, эти дѣти жили въ мѣръ странныхъ мечтаний, и удивительно ли, что они старились душой до времени? Бѣдныя дѣти! Росли они не подъ нѣжной родительской опекой, въ кругу братьевъ и сестеръ,

а въ угрюмыхъ монастыряхъ, или старинныхъ барскихъ домахъ, пугающихъ пустынными, гулкими анфиладами залъ. Кто ихъ воспитывалъ? Какой-нибудь сѣдой монахъ, недалекій французъ-эмигрантъ, чопорная англичанка. Такіе ли воспитатели нужны были этимъ дѣтямъ, богато одареннымъ отъ природы, чуткимъ и впечатлительнымъ? Росли дѣти, но никогда не смѣялись, втихомолку плакали, бились надъ разрѣшеніемъ вопросовъ, которые должны были бы разъяснить имъ старшіе, и въ мечтахъ уносились далеко-далеко отъ гнетущей дѣйствительности. Тонкія, сложныя организациі развивались въ уродливыхъ условіяхъ; благія сѣмена, брошенныя судьбой въ дѣтскій умъ и въ дѣтское сердце, или вовсе не прорастали, или рано глушились злыми плевелами. Касаясь міра дѣтей, Лермонтовъ выказываетъ и изумительную наблюдательность, и свои лучшія душевныя качества. Говоря о дѣтяхъ, онъ подыскиваетъ самыя поэтичныя и трогательныя сравненія: Селимъ росъ вольно и беззаботно, «какъ птичка» (I, 335); Нина

какъ ландышъ за стекломъ,  
Или, скорѣй, какъ блѣдный цвѣтъ подснежной. (II, 273).

И въ людяхъ взрослыхъ его плѣняетъ отпечатокъ всего дѣтски-прелестнаго. Онъ отмѣчаетъ, что князь Одоевскій сохранилъ «звонкій *дѣтскій смѣхъ*» (II, 261), что въ улыбкѣ Печорина «было что-то *дѣтское*» (IV, 189). У самого поэта, какъ свидѣтельствуемъ Тургеневъ, «тяжелый взоръ странно несогласовался съ выраженіемъ почти *дѣтски-нѣжныхъ и выдававшихся губъ*». (Тургеневъ. «Полное собраніе сочиненій». Спб. Изд. Маркса. 1898. XII, 76). И въ природѣ, которую такъ любилъ поэтъ, есть для него нѣчто дѣтски-граціозное, прекрасное или печальное.

Природа тѣшится шутя,  
Какъ беззаботное дитя. (II, 381).

«Приближаясь къ природѣ, мы невольно становимся *дѣтьми*». (IV, 172).

Въ жалобномъ воѣ шакала слышатся звуки *дѣтскаго*

крика и плача (II, 316). У ручья—«ребячий лепетъ» (II, 326). Воздухъ Кавказа «чистъ, какъ молитва ребенка» (I, 106), «какъ поцѣлуй ребенка» (IV, 204) <sup>1)</sup>. До Лермонтова никто у насъ не говорилъ о дѣтяхъ съ такой внимательностью и задушевностью; онъ является прямымъ предшественникомъ Толстого и Достоевскаго, глубже всѣхъ постигнувшихъ душу ребенка.

Извѣстно, какъ любилъ дѣтей Левъ Толстой, какъ интересовалъ его мiръ дѣтскихъ грезъ, дѣтскихъ радостей и горестей, и раздумiй. Жизнь Сережи Каренина похожа на жизнь лермонтовскихъ дѣтей; онъ росъ подъ строгимъ надзоромъ отца, тосковалъ по матери, предавался горькимъ размышленiямъ, и никто изъ окружающихъ не зналъ его тайныхъ страданiй. Николушка, сынъ князя Андрея, не по лѣтамъ серьезенъ и наблюдателенъ (VII, 49). Вся нѣжность, вся трогательная любовь Толстого къ дѣтямъ вылилась при описанiи слѣдующей картины: «Князь Андрей обрадовался, увидавъ мальчика, такъ какъ будто бы онъ уже потерялъ его. Онъ нагнулся и, какъ учила его сестра, губами попробовалъ, есть ли жаръ у ребенка. Нѣжный лобъ былъ влаженъ, онъ дотронулся рукой до головы—даже волосы были мокры: такъ сильно вспотѣлъ ребенокъ. Не только онъ не умеръ, но теперь очевидно было, что кризисъ совершился и что онъ выздоровѣлъ. Ему хотѣлось схватить, смять, прижать къ своей груди это маленькое, беспомощное существо; онъ не смѣлъ этого сдѣлать. Онъ стоялъ надъ нимъ, оглядывая его голову, ручки, ножки, опредѣлявшiйся подъ одѣяломъ. Шорохъ слышался подлѣ него, и какая-то тѣнь показалась ему подъ пологомъ кровати. Онъ не оглядывался и все, глядя въ лицо ребенка, слушалъ его ровное дыханiе. Темная

---

<sup>1)</sup> Поэта очаровываетъ въ красивой женщинѣ все, что дѣтски-непосредственно и мило: гр. Воронцова-Дашкова—«какъ мальчикъ кудрявый, рѣзва» (II, 293); кн. Щербатова „въ надежду на Бога“ хранить „дѣтскую вѣру“ (II, 294); Виргинiя утѣшаетъ слухъ престарѣлыхъ родителей „звонкимъ ребяческимъ смѣхомъ“ (II, 334); Тамара, танцующая, „веселья дѣтскаго полна“ (II, 354); ср. еще — II, 95, ст. 223, 224.

тѣнь была княжна Марья, которая неслышными шагами подошла къ кроваткѣ, подняла пологъ и опустила его за собой. Князь Андрей, не оглядываясь, узналъ ее и протянулъ къ ней руку. Она сжала его руку.

— Онъ вспотѣлъ,—сказалъ князь Андрей.

— Я шла къ тебѣ, чтобы сказать это.

Ребенокъ во снѣ чуть пошевелился, улыбнулся и потерялъ лбомъ о подушку.

Князь Андрей посмотрѣлъ на сестру. Лучистые глаза княжны Марьи, въ матовомъ полусвѣтѣ полога, блестѣли болѣе обыкновеннаго отъ счастливыхъ слезъ, которыя стояли въ нихъ. Княжна Марья потянулась къ брату и поцѣловала его, слегка зацѣпивъ за пологъ кровати. Они погрозили другъ другу, еще постояли въ матовомъ свѣтѣ полога, какъ бы не желая разстаться съ этимъ міромъ, въ которомъ они втроемъ были отдѣлены отъ всего свѣта. Князь Андрей первый, пугая волосы о кисею полога, отошелъ отъ кровати.

— Да, это одно, что осталось мнѣ теперь,—сказалъ онъ со вздохомъ». (Т., V, 81, 82) <sup>1)</sup>.

Чрезвычайно интересно одно изъ посмертныхъ произведеній Толстого—«Дѣтская мудрость»; съ мастерствомъ, присущимъ ему, раскрываетъ онъ передъ нами сложный внутренній міръ дѣтей, знакомитъ насъ со взглядами ихъ на религію, государство, науки и прочее. Правда, въ этихъ діалогахъ сквозитъ тенденція, но въ нихъ не мало художественныхъ, толстовскихъ штриховъ <sup>2)</sup>. Нерѣдко у Толстого встрѣчаемъ лермонтовскіе образы или Лермонтовымъ намѣченныя темы. Напримѣръ, его приводитъ въ умиленіе *дѣтское* выраженіе улыбающихся губъ Хаджи-Мурата. Эта улыбка правится и Полторацкому (XII, 22), и княгинѣ Марьѣ Васильевнѣ (XII, 24); даже у отрубленной головы знаменитаго современника Шамиля «въ складѣ посинѣвшихъ губъ было *дѣтское*, доброе выраженіе». (XII, 83).

<sup>1)</sup> Ср. еще VI, 101.

<sup>2)</sup> См. еще статью Бирюкова — „Родители и дѣти въ произведеніяхъ Л. Н. Толстого“. М. 1898.

У больного Андрея Болконскаго «нѣжная *дѣтская* шея, выступавшая изъ отложеннаго воротника рубашки», и это придавало ему «особый невинный, *ребяческій* видъ» (VI, 309) <sup>1)</sup>. Одна изъ главъ «Отрочества», «Ненависть» (I, 116—118), въ которой Николенка признается въ своей непримиримой ненависти къ гувернеру, представляетъ какъ бы разработку лермонтовскихъ словъ о Сашкѣ:

*Умѣлъ онъ помнить, кто его обидѣлъ,  
И потому отца возненавидѣлъ.* (II, 165).



---

<sup>1)</sup> См. еще VII, 48; V, 95.

## Глава IV.

### Первая страсть.

Наивная дѣтская любовь, которую испытали Лермонтовъ, Толстой и ихъ герои, являлась предвѣстницей первой, настоящей, но преждевременной страсти; этому благоприятствовали и нравы той эпохи; родители тогда сквозь пальцы смотрѣли на любовныя шалости юнцовъ, а нерѣдко высказывали и поощреніе.

Лермонтовъ въ 16-ть лѣтъ писалъ слѣдующіе стихи:

Склонись ко мнѣ, красавецъ молодой!  
Какъ ты стыдливъ! Ужели въ первый разъ  
Грудь женскую ласкаешь ты рукой?..

Далѣе—въ томъ же духѣ; любопытно замѣчаніе:

Повѣрь, невинныхъ женщинъ вовсе нѣтъ. (I, 100, 101) <sup>1)</sup>.

Вторую любовь поэтъ пережилъ 12-тилѣтнимъ мальчикомъ, и еще два года спустя чувство его не остыло; выразить же это чувство, въ стихотвореніи «Къ генію», ему не удалось; слова и краски блѣдны (см. I, 53, 54). Но уже въ стихотвореніи «Первая любовь» сильно сказывается потребность чувственной, до срока заговорившей, любви:

Въ ребячествѣ моемъ тоску любви знойной  
Ужъ сталъ я понимать душою безпокойной;  
На мягкомъ ложѣ сна не разъ во тьмѣ ночной,  
При свѣтѣ трепетномъ лампы образной,

<sup>1)</sup> Ср. I, 172.

Воображеніемъ, предчувствіемъ томимой,  
Я предавалъ свой умъ мечтѣ непобѣдимой:  
Я видѣлъ женскій ликъ... (I, 177).

Здѣсь интересно привести въ параллель стихотвореніе Полонскаго «Ангель»:

Любилъ я тихій свѣтъ лампы золотой,  
Благоговѣнное вокругъ нея молчанье,  
И, тайнаго исполненъ ожиданья,  
Какъ часто я, откинувъ пологъ свой,  
Не спалъ, на мягкій пухъ облокотясь рукою...

Та же обстановка: дѣтская, озаренная лампадой, ночная тишина; на постели лежитъ мальчикъ и не спитъ; но ему грезится не женскій ликъ; нѣтъ, онъ ждетъ своего ангела-хранителя. И тотъ слеталъ къ нему, и мальчикъ повѣрялъ ему всѣ свои чистыя желанья и думы, и цѣловалъ края его блѣдно-серебрянаго одѣянья... Какой контрастъ!..

Что еще удивительнѣе,—въ душѣ самого Лермонтова, вмѣстѣ съ тоскою по «знойной любви», жили всегда идеальныя чувства и стремленія, и никто не писалъ такихъ сладостныхъ, райскихъ молитвъ, какъ онъ.

14-тилѣтній Саша влюбляется въ служанку:

Ее любилъ мой Саша той любовью,  
Которая по жиламъ съ юной кровью  
Течетъ огнемъ, клокочетъ и кипитъ.  
Боролись въ немъ желаніе и стыдъ. (II, 172).

Страсть одержала верхъ. Первый романъ Саши кончился тѣмъ, что его Маврушу увезли и выдали замужъ за бородатаго мужика (II, 171—179). «У Лермонтова описаніе ночныхъ свиданій съ Марѳушей<sup>1)</sup> сдѣлано, несомнѣнно, съ натуры», замѣчаетъ Б. Садовской («Трагедія Лермонтова». — «Р. М.», 1912 г., VII, 11). Мы позволимъ себѣ сомнѣ-

---

<sup>1)</sup> Ошибка Садовскаго; слѣдуетъ сказать—*Мавруша*.

ваться въ этомъ; поэтъ говоритъ читателю въ той же поэмѣ:

Четырнадцать лѣтъ

Я самъ страдалъ отъ каждой женской рожи...

...Но лишь въ мечтахъ видалъ я безъ покрова

Все, что для васъ, конечно, ужъ не ново... (II, 172).

Юрій Палицынъ 16-ти лѣтъ влюбляется въ дворовую дѣвушку Аниютку; черезъ шесть лѣтъ онъ увидѣлъ ее: «Увы! она сдѣлалась дюжей толстой бабою; онъ видѣлъ, какъ она колотила слюнявыхъ ребятъ, мела избу, бранила пьянаго мужа самыми отвратительными рѣчами. Очарованіе разлетѣлось, какъ дымъ». (IV, 67). Печоринъ «рано съ помощью товарищей вступилъ на соблазнительное поприще разврата». (IV, 125).

Біографія Огарева даетъ яркія иллюстраціи къ затропутому нами вопросу; значеніе ихъ усугубляется тѣмъ, что Огаревъ — современникъ Лермонтова; онъ былъ всего на годъ старше его. «Огаревъ отнюдь не былъ новичкомъ въ дѣлахъ любви. Въ томъ кругу, гдѣ онъ жилъ, наслѣдственные нравы и обиліе соблазновъ при условіяхъ крѣпостного быта открывали юношѣ невозбранный и легкій путь въ эту сторону, а Огаревъ и отъ природы былъ крайне женолюбивъ». (М. Гершензонъ. «Образы прошлаго». М. 1912 г., 331). Самъ поэтъ признается: «Пятнадцати лѣтъ я мечталъ о любви чистой и небесной... шестнадцати—пылкое воображеніе заставило меня полюбить; меня постигло разочарованіе, подорвавшее мою вѣру въ любовь. Семнадцати лѣтъ я захотѣлъ обладать женщиною и обладалъ ею, безъ любви съ обѣихъ сторонъ»... (Тамъ же, 335). Николенька Иртеневъ рассказываетъ въ «Отрочествѣ»: «Но ни одна изъ перемѣнъ, происшедшихъ въ моемъ взглядѣ на вещи, не была такъ поразительна для самого меня, какъ та, вслѣдствіе которой въ одной изъ нашихъ горничныхъ я пересталъ видѣть слугу женскаго пола, а сталъ видѣть *женщину*, отъ которой могли зависть въ нѣкоторой степени мое спокойствіе и счастье».

(Т., I, 94). Большую роль играли здѣсь примѣръ и одобреніе старшихъ. Когда Огаревъ былъ сосланъ въ Пензу, отецъ окружилъ его «веселымъ и беззаботнымъ обществомъ»; «не обошлось дѣло и безъ красивой дворовой дѣвушки, какъ будто случайно выбранной для услугъ молодому барину». (Гершензонъ, 328). Въ 14-тилѣтнемъ Сашѣ долго боролись желаніе и стыдъ, но нескромное поведеніе отца, ухаживавшаго за Маврушей, положили конецъ колебаніямъ («Сашка»). Самъ поэтъ, воспитывавшійся въ средѣ людей, враждебно настроенныхъ противъ Юрія Петровича, въ средѣ низкихъ интригъ и сплетень, едва ли не зналъ, что причиной окончательнаго разрыва между матерью и отцомъ были ухаживанія послѣдняго за компаньонкой жены. Толстой говоритъ, что когда его отцу было лѣтъ 16, родители соединили его, «какъ думали тогда, для его здоровья, съ дворовой дѣвушкой». (Бирюковъ, I, 51). Николенька Иртеневъ былъ ровесникъ лермонтовскому Сашкѣ, когда замѣтилъ, что Володя, бывшій годомъ старше его, ухаживаетъ за красавицей Машей. «Не могу выразить», вспоминаетъ онъ, «до какой степени меня изумило это открытіе; однако чувство изумленія скоро уступило мѣсто сочувствію поступку Володи, — меня уже не удивлялъ самый его поступокъ, но то, какимъ образомъ онъ постигъ, что пріятно такъ поступать. И мнѣ невольно захотѣлось подражать ему». (I, 94). Онъ съ тяжелымъ чувствомъ зависти и ревности слѣдилъ за Володей, по «былъ стыдливъ отъ природы», и стыдливость его еще увеличивалась убѣжденіемъ въ своей уродливости. (I, 94, 95). За этой же горничной не прочь былъ поухаживать отецъ, свидѣтелемъ чего былъ самъ Николенька (I, 127). Но Николенька еще мальчикъ и лучше брата; его мечты наивны; глядя на Машу, онъ думаетъ: «Отчего она не родилась барышней?.. Она бы шила въ пальцахъ, а я бы въ зеркало смотрѣлъ на нее, и чего бы ни захотѣла она, я все бы для нея дѣлалъ: подавалъ бы ей салопъ, кушанье самъ бы подавалъ».. (I, 119). Онъ наблюдаетъ, какъ Василій, дворовый, ухаживаетъ за Машей, и ему до-

ставляетъ удовольствіе мечтать о томъ, какъ онъ, ставъ взрослымъ, пожертвуетъ своимъ чувствомъ, великодушно уступивъ Машу Василию, котораго она любила. (I, 118—121). Лиза Ш., взрослая дѣвушка (въ рассказѣ «Что я видѣлъ во снѣ») затѣяла романъ съ 14-тилѣтнимъ кадетомъ Коко; она довела мальчика до сумасшествія, до слезъ <sup>1)</sup>.

Душа этихъ дѣтей, испытавшихъ губительную земную страсть, подобна неосторожной бабочкѣ, опаленной огнемъ, или молодой бѣлоснѣжной птицѣ, влачащей по пыльной дорогѣ надломленные крылья.



---

<sup>1)</sup> Ср. „Первую любовь“ Тургенева.

## Глава V.

### А н г е л ь .

Лермонтовъ вѣрилъ въ доземное существованіе душъ. Еще до созданія стихотворенія «Ангель» онъ говорилъ:

Хранится пламень *неземной*  
Со дней младенчества во мнѣ. (I, 131).

Въ стихотвореніи «Смерть»:

Оборвана цѣпь жизни молодой,  
Оконченъ путь, биль часъ,— пора *домой...* (I, 175).

Въ стихотвореніи «Ангель» поэтъ развиваетъ ту идею, что смутныя, но неугасимыя стремленія человѣческой души къ прекрасному объясняются небеснымъ ея происхожденіемъ. И въ послѣдствіи онъ высказываетъ аналогичныя мысли; напримѣръ, въ «Героѣ нашего времени» разсуждаетъ о томъ, что когда человѣкъ находится лицомъ къ лицу съ природой, «все приобрѣтенное отпадаетъ отъ души, и она дѣлается вновь такою, *какой была никогда и, вѣрно, будетъ когда-нибудь опять*». (IV, 172). Платоновская вѣра въ небесную отчизну роднитъ Лермонтова со многими предшествоющими и послѣдующими нашими поэтами; но никто изъ нихъ не томился въ земной темницѣ такъ, какъ онъ. Когда 16-тилѣтній поэтъ говоритъ, что его звѣзда

Померкнула съ *давнишнихъ* поръ (I, 155),—

мы не должны видѣть здѣсь преувеличенія, ибо поэтъ вѣрилъ, что онъ старъ, какъ само время:

*Какъ часто силой мысли въ краткій часъ  
Я жилъ въка и жизнію иной. (I, 254).*

Или:

*И я счетъ своихъ лѣтъ потерялъ,  
И крылья забвенья ловлю;  
Какъ я сердце унести бы имъ далъ!  
Какъ бы вѣчность имъ бросилъ мою! (I, 303).*

Ангелы рѣютъ и надъ страницами Толстого. Наташа Ростова говоритъ: «Я знаю навѣрное, что мы были ангелами тамъ гдѣ-то и здѣсь были, и отъ этого все помнимъ»... (V, 223). Николенька, когда ему было 14 лѣтъ, думалъ надъ тѣмъ, что «мы, вѣрно, существовали прежде этой жизни, хотя и потеряли о томъ воспоминаніе». (I, 122). Во «Власти тьмы» Анютка говоритъ Митричу: «Намедни прохожій ночевалъ... сказывалъ, что младенецъ помретъ,— его душка прямо на небо пойдетъ. Правда это?» Тотъ отвѣчаетъ: «Кто е знаетъ. Должно такъ». (X, 254). Каждому изъ насъ, быть можетъ, приходилось испытывать иногда то странное чувство, которое вызывается мыслью, что мы видимъ или переживаемъ сейчасъ то, что было нѣкогда пережито нами же. Эти моменты останавливаютъ на себѣ вниманіе нашихъ поэтовъ и писателей и истолковываются, какъ смутные отголоски давняго былого, предшествовавшаго даже рожденію. Наташа Ростова, сидя въ уголкѣ, уходитъ въ воспоминанія; ей представляется, наконецъ, прошлымъ даже то, что происходитъ теперь; свѣтъ, падающій черезъ дверную щель, Соня, идущая мимо, движенія Сони, ея улыбка,— все это, кажется Наташѣ, она когда-то видѣла; даже мысли, мелькающія въ эту минуту, какъ будто давно ей знакомы (V, 220, 221). То же случилось ощущать и Николенькѣ Иртеневу: «И вдругъ я испыталъ странное чувство: мнѣ вспомнилось, что именно все, что было теперь со мною,—повтореніе того, что было уже со мною одинъ разъ: что и тогда точно такъ же шелъ маленькій дождикъ и заходило солнце за берегами, и я смотрѣлъ на нее, и она читала, и я магнетизировалъ ее,

она оглянулась, и даже я вспомнилъ, что это еще разъ прежде было». (I, 194). Аналогичная тема — въ стихотвореніи А. Толстого «По греблѣ неровной и тряской»; поэтъ утверждаетъ то же:

Мнѣ кажется все такъ знакомо,  
Хоть нѣ былъ я здѣсь никогда...  
... Все это когда-то ужъ было,  
Но мною забыто давно.  
... Все это ужъ было когда-то,  
Но только не помню когда...

(А. К. Толстой. «Полное собр. стихотвореній». СПб., 1905, I, 240. — Дальнѣйшія ссылки по этому изданію).

Эта идея оригинально развита Апухтинымъ въ фантастическомъ разсказѣ «Между смертью и жизнью». Герой разсказа тоже говоритъ: «Мнѣ показалось, что то, что происходитъ со мной теперь, что это состояніе мнѣ знакомо, что я его уже переживалъ когда-то, но только давно, очень давно... (Апухтинъ. «Соч.», СПб. 1900 г., 433). Эти мимолетныя, неуловимыя ощущенія Апухтинъ объясняетъ припоминаніемъ души о томъ, что она переживала при переселеніи изъ одного человѣческаго существа въ другое <sup>1)</sup>).

Какъ же, по мнѣнію поэтовъ, наши души попали на землю? Ихъ приносятъ ангелы. Этому учить и Талмудъ. По предположенію проф. Бершадскаго, талмудическая легенда о рожденіи человѣка послужила Лермонтову мотивомъ для «Ангела». (См. «Восходъ», 1889, I—II, 5—6). Къ этому мнѣнію присоединяется Болдаковъ («Соч.» Л.—ва подъ ред. Болдакова, М., 1891 г., II, 346, 347), проф. Абрамовичъ (Л., I, 406). Бархинъ, безъ достаточныхъ основаній, такое мнѣніе считаетъ «совершенно неправильнымъ» (Бархинъ, «Соч. М. Ю. Л.», I, 24). Мы полагаемъ, что нельзя отрицать возможности вліянія талмудической легенды; во-

<sup>1)</sup> См. еще оригинальный, высоко-художественный разсказ Киплинга — «Самая чудная исторія въ мірѣ».

первыхъ, знаменательно совпаденіе идей «Ангела» съ нею; во-вторыхъ, весьма вѣроятно, что легенда эта была известна поэту, у котораго одинъ изъ губернаторовъ былъ еврей (Леви). Наташа Ростова вѣрила, что мы сами нѣкогда были ангелами. Ангелы же уносятъ души въ горній міръ. Вѣра въ Ангела Смерти сложилась въ сѣдой старинѣ. Лермонтовъ часто упоминаетъ объ ангелахъ, переносящихъ души умершихъ въ рай. Ангель уноситъ съ земли душу Тамары. Арбенинъ говоритъ умирающей Нинѣ:

Міръ прекрасный  
Тебѣ откроется, и ангелы возьмутъ  
Тебя въ небесный свой пріютъ“. (III, 273).

Гаруновы братья пали въ бою, —

И ангелы ихъ души взяли. (II, 267).

Ангелу Смерти поэтъ посвящаетъ поэмы «Азраилъ» и «Ангель Смерти». Поэма «Ангель Смерти» посвящена А. М. Верещагиной, которую онъ проситъ:

Будь ангель смерти для меня!  
Явись мнѣ въ грозный часъ страданья,  
И поцѣлуй пусть будетъ твой  
Залогомъ близкаго свиданья  
Въ странѣ любви, въ странѣ другой! (I, 313) <sup>1)</sup>.

Льву Толстому принадлежитъ чудесный рассказъ объ Ангелѣ Смерти—«Чѣмъ люди живы».

Лермонтовъ вѣрилъ въ рай. Одинокое томясь на землѣ, онъ съ тоской обращается къ умершему отцу:

О, мой отецъ! гдѣ ты? гдѣ мнѣ найти  
Твой гордый духъ, бродящій въ небесахъ?  
Въ твой міръ ведутъ столь разные пути,

---

<sup>1)</sup> Это напоминаетъ слова Пушкина:

Исчезъ и поцѣлуй свиданья...  
Но жду его: онъ за тобой!...

(„Для береговъ отчизны дальной“).

Что избирать мѣшаетъ тайный страхъ.  
Есть рай небесный! — звѣзды говорятъ;  
Но гдѣ же? вотъ вопросъ, и въ немъ-то ядъ. (I, 281).

Иногда его ужасало, что по смерти онъ потеряетъ индивидуальность: «Страшно подумать, что настанетъ день, когда я не смогу сказать: я! При этой мысли весь міръ есть не что иное, какъ комъ грязи». (IV, 393, 394). Онъ говоритъ:

Земль я отдалъ дань земную  
Любви, надеждъ, добра и зла;  
Начать готовъ я жизнь другую.  
Молчу и жду... Пора пришла... (II, 210).

Или:

Я безъ страха жду довременный конецъ;  
Давно пора мнѣ міръ увидѣть новый. (II, 215).

Между небомъ и землей

Есть путь, давно измѣренный душой. (II, 158).

Душа Тамары, ея жениха, Нины Арбениной переселяются въ рай. Душа дочери боярина Орши,

Принявъ другое бытіе,  
Теперь парить въ странѣ святой. (II, 137).

Такимъ образомъ, душа переживаетъ тѣло, — свою колыбель (I, 255).

Левъ Толстой вѣрилъ въ бессмертіе души. Смерть—это пробужденіе (XVI, 212, 213) <sup>1)</sup>. Онъ говоритъ: «Я вѣрю въ это, вижу несомнѣнно, знаю, что я, умирая, буду радостнымъ, что я пристану къ тому, *болѣе реальному міру*». (XVI, 213). «Надо жить, надо любить, надо вѣрить,—говорилъ Пьеръ, — что живемъ не нынче только на этомъ клочкѣ земли, *а жили и будемъ жить вѣчно*, тамъ, во всемъ (онъ указалъ на небо)». Князь Андрей слушалъ его, а волны рѣки приговаривали: «*Правда, въерь этому*». (V, 94, 95). Николенька Иртеньевъ грезитъ о томъ, какъ душа

<sup>1)</sup> Ср.—Л., II, 305, ст. 252—255.

его по смерти будетъ летѣть съ душою матери на небо (I, 113).

«Многое на землѣ отъ насъ скрыто, но взамѣнъ того даровано намъ тайное сокровенное ощущеніе живой связи нашей съ міромъ инымъ, съ міромъ горнимъ и высшимъ, да и корни нашихъ мыслей и чувствъ не здѣсь, а въ мірахъ иныхъ». (Достоевскій. «Братья Карамазовы». VI кн., III гл. — Изд. Маркса, 1895 г., 381) <sup>1)</sup>.



---

<sup>1)</sup> См. еще нашу статью — „Ангель“. Очеркъ поэзіи Лермонтова. X. 1912.

## Глава VI.

### Богоборчество; осужденіе ханжества.

Лермонтовъ, еще въ самыхъ молодыхъ годахъ много выстрадавшій, одинокій и въ часы грусти, и въ часы радости, рано почувствовалъ тяготу бытія и рвался изъ земныхъ оковъ.

«Повѣрь, ничтожество есть благо въ здѣшнемъ свѣтѣ!» горько говоритъ 15-тилѣтній поэтъ (I, 74), то-есть—только ничтожество можетъ удовлетворяться пустотой жизни, не искать лучшаго, не протестовать. Онъ же, поэтъ, какъ мятежный парусъ, просилъ и жаждалъ бурь! «Свѣтъ просто тюрьма, съ разными перегородками и отдѣленіями!» говорилъ Гамлетъ («Гамлетъ», II д., пер. Полевого). И Лермонтову міръ былъ темницей; въ груди — «силы необъятныя», а кругомъ — глухія стѣны, и онъ—узникъ. Не даромъ перевелъ онъ изъ Шиллера двестишіе:

Счастливъ ребенокъ — и въ люлькѣ просторно ему!

Но дай время

Сдѣлаться мужемъ, — и тѣсенъ покажется міръ. (I, 77).

Въ его душѣ трепетали тѣ муки и тревоги, которыя съ такимъ чувствомъ выразилъ его младшій братъ, Надсонъ:

Былъ моей тюрьмою

Весь міръ, огромный міръ, раскинутый кругомъ.

... Какъ жаждалъ я — чего? — не нахожу названья:

Нечеловѣчески - величественныхъ дѣлъ,

Нечеловѣчески - тяжелаго страданья,

Лишь не дѣлать съ толпой пустой ея удѣлъ!..

(Надсонъ, 84).

И вотъ Лермонтовъ, душа гордая и пламенная, уже въ юности ропщетъ на Того, Кто осудилъ его на земныя муки, — на Бога! «Страшный человѣкъ», — говорятъ о нѣкоторыхъ его герояхъ; и о Лермонтовѣ можно сказать: «Страшный человѣкъ!» Въ немъ, какъ въ его излюбленномъ героѣ, — Демонѣ, — неразрывно переплелось добро и зло, свѣтъ и тѣнь. Человѣкъ контрастовъ. Юнкерскія поэмы — и гимны духовной красотѣ женщины; желаніе быть замѣтнымъ въ высшемъ свѣтѣ — и желчное, презрительное осужденіе свѣта; жажда «забыться и заснуть» — и жажда бурь; бунтъ противъ Бога — и пѣжныя, грустныя молитвы... Жизнь невыносимо-тяжела, скучна и пуста; кто виноватъ? Тотъ, Кто поселилъ человѣка на землѣ. Пятнадцатилѣтній поэтъ обращается къ Творцу съ дерзкой, огненной «Молитвой»:

Не обвиняй меня, Всесильный,  
И не карай меня, молю,  
За то, что мракъ земли могильный  
Съ ея страстями я люблю;  
За то, что рѣдко въ душу входитъ  
Живыхъ рѣчей Твоихъ струя,  
За то, что въ заблужденьи бродить  
Мой умъ далеко отъ Тебя;  
За то, что лава вдохновенья  
Клокочетъ на груди моей;  
За то, что дикія волненья  
Мрачатъ стекло моихъ очей;  
За то, что миръ земной мнѣ тѣсенъ,  
Къ Тебѣ-жь проникнуть я боюсь,  
И часто звукомъ грѣшныхъ пѣсенъ  
Я, Боже, не Тебѣ молюсь!  
Но угаси сей чудный пламень —  
Всесожигающій костеръ,  
Преобрати мнѣ сердце въ камень,  
Останови голодный взоръ.  
Отъ страшной жажды пѣснопѣнья  
Пускай, Творецъ, освобожусь, —

Тогда на тѣсный путь спасенья  
Къ Тебѣ я снова обращусь. (I, 78).

Въ другомъ юношескомъ стихотвореніи онъ признается:

Ломая руки и глота я слезы,  
Я на Творца ропталъ, страшась молиться!.. (I, 119) <sup>1)</sup>.

Въ минуту отчаянія онъ восклицаетъ:

Пусть меня накажетъ Тотъ,  
Кто избрѣлъ мои мученья. (II, 214).

Ревнуя любимую женщину, говоритъ:

Что мнѣ сіянье Божьей власти  
И рай святой?  
Я перенесъ земныя страсти  
Туда съ собой. (II, 290).

Иногда въ его «грѣшныхъ молитвахъ» чувствуется усталость, — какъ въ знаменитой «Благодарности»:

Устрой лишь такъ, чтобы Тебя отнынѣ  
Недолго я еще благодарилъ. (II, 288).

Тотъ же духъ мятежа и въ его герояхъ. Юрій Волинъ передъ самоубійствомъ разсуждаетъ: «Но если Онъ точно всевѣдущъ, зачѣмъ не препятствуетъ ужасному преступленію, самоубійству? Зачѣмъ не удержалъ удары людей отъ моего сердца?.. Зачѣмъ хотѣлъ Онъ моего рожденія, зная про мою гибель?.. Гдѣ Его воля, когда по-моему хотѣнью я могу умереть или жить?..» (III, 142; ср. еще—143, 146).

Безумныя слова вырываются у Владиміра Арбенина: «Богъ, Богъ! во мнѣ отнынѣ къ Тебѣ нѣтъ ни любви, ни вѣры!.. Но не наказывай меня за мятежное роптанье... Ты, Ты Самъ нестерпимою пыткой вымучилъ эти хулы... Зачѣмъ Ты далъ мнѣ огненное сердце, которое любить до

---

<sup>1)</sup> См. еще: I, 156, 203, 308; II, 80, 210; IV, 67.

крайности и не умѣть такъ же ненавидѣть!» и т. д. (III, 201). Такіе же вызовы бросаютъ Небу Вадимъ, Ольга (IV, 11, 12, 26, 57).

Человѣку, даже глубоковѣрующему, свойственно въ часы душевной муки роптать на Творца; это случается и съ дѣтьми, и со взрослыми. Приблизительно въ томъ же возрастѣ, въ какомъ былъ Лермонтовъ, когда писалъ «Молитву» («Не обвиняй меня, Всесильный»), — Николай Иртеньевъ впервые ропщетъ на Бога. Наказанный за шалости, онъ сидѣлъ въ чуланѣ, и вотъ какія мысли возникали въ его умѣ: «Я дерзко спрашиваю Его, за что Онъ наказываетъ меня. «Я, кажется, не забывалъ молиться утромъ и вечеромъ, такъ за что жъ я страдаю?» Положительно могу сказать, что первый шагъ къ религіознымъ сомнѣніямъ, тревожившимъ меня во время отрочества, былъ сдѣланъ мною теперь, не потому, чтобы несчастье побудило меня къ ропоту и невѣрію, но потому, что мысль о несправедливости Провидѣнія, пришедшая мнѣ въ голову въ эту пору совершеннаго душевнаго разстройства и суточного уединенія, какъ дурное зерно, послѣ дождя упавшее на рыхлую землю, съ быстротой стала разрастаться и пускать корни». (I, 112, 113). Умирающій Иванъ Ильичъ «плакалъ о безпомощности своей, о своемъ ужасномъ одиночествѣ, о жестокости людей, о жестокости Бога, объ отсутствіи Бога.

«Зачѣмъ Ты все это сдѣлалъ? зачѣмъ привелъ меня сюда? За что, за что такъ ужасно мучаешь меня?» Онъ и не ждалъ отвѣта, и плакалъ о томъ, что нѣтъ и не можетъ быть отвѣта». (X, 39). Это сильно напоминаетъ выше приведенныя слова Волина.

Въ разсказѣ «Гдѣ любовь, тамъ и Богъ» говорится про мужика Мартына, который схоронилъ сына — «и отчаялся. Такъ отчаялся, что сталъ на Бога роптать. Скука такая нашла на Мартына, что не разъ просилъ у Бога смерти и укорялъ Бога за то, что Онъ не его, старика, прибралъ, а любимаго единственнаго сына. Пересталъ Авдеичъ и въ церковь ходить». (XVI, 31).

Эти «проклятые вопросы» всегда терзали и терзаютъ челоѣчество и исторгаютъ изъ его усть дерзкіе протесты и мольбы.

Отчего подъ ношей крестной,  
Весь въ крови, влачится правый?  
Отчего вездѣ безчестный  
Встрѣченъ почестью и славой?  
Кто виной? Иль силѣ правды  
На землѣ не все доступно?  
Иль она играетъ нами?..

(Гейне. «Брось свои иносказанья».—Пер. Михайлова) 1).

Ропотъ на Бога не проходитъ безнаказаннымъ. Азраиль возропталъ на Творца:

Всесильный Богъ!  
Ты знать про будущее могъ,—  
Зачѣмъ-же сотворилъ меня? (I, 308).

И на его голову падаетъ наказаніе: его звѣзда раздроблена рукой Создателя, а самъ мятежный духъ обреченъ на вѣчное одиночество и скитанія. Проклятіе падаетъ на «печальнаго Демона, духа изгнанья». Гордые аравійскія пальмы, не видя конца скучнаго, безцѣльнаго существованія, ропщутъ:

Не правъ твой, о небо, святой приговоръ!.. (II, 257).

На слѣдующее утро отъ нихъ остался холодный пепель, да и тотъ былъ развѣянъ вѣтромъ. Юрій Волинъ умираетъ съ сознаниемъ своего грѣха: «Богъ мнѣ... никогда... не проститъ!..» (III, 146). Самъ поэтъ, обращаясь къ Творцу съ грѣшными мольбами и проклятыями, въ то же время боится Божьяго наказанія:

Не обвиняй меня, Всесильный,  
И не карай меня, молю. (I, 78).

---

1) Изъ новѣйшихъ русскихъ поэтовъ никто не выразилъ съ такою силою и искренностью жгучія религиозныя сомнѣнія, какъ Бальмонтъ; см. его стихотворенія—„Молитва“, „Зачѣмъ?“, „Вопросъ“, „Заклятіе“ и др.

У Толстого въ разсказѣ «Чѣмъ люди живы» говорится о томъ, какъ ангелъ, послушавшійся Бога, несъ за это кару.

Неизвѣстно, конечно, къ чему привело бы Лермонтова тяготѣніе къ религіозно-философскимъ проблемамъ. Гоголь, съ его толкованіями литургіи, изнурительными постами, путешествіемъ въ Палестину, и Толстой, съ его отрицаніемъ завѣтовъ православной Церкви, — двѣ противоположности, двѣ крайнія точки, достигнутыя вѣрующимъ русскимъ человѣкомъ въ страстныхъ поискахъ Истины, — и между ними стоитъ Лермонтовъ, какимъ онъ намъ остался извѣстнымъ. Онъ знаетъ сладость молитвы, — молитвы, послѣ которой

Съ души какъ бремя скатится,  
 Сомнѣнье далеко —  
 И вѣрится, и плачется,  
 И такъ легко, легко... (II, 257).

Икона съ мерцающей передъ нею лампадой — для пего святыня, эмблема мира и отрады («Вѣтка Палестины», «Я, Матерь Божія», «Ребенку», «Казачья колыбельная пѣсня и др.).

Порищаніе ханжества и недостойнаго поведенія служителей религіи — приближаетъ Лермонтова къ Толстому. Въ драмѣ «Испанцы» онъ клеймитъ испанскихъ монаховъ за ихъ лицемеріе, слабость къ вину, за ихъ интриги, за преступленія, совершаемыя съ низкими цѣлями. Въ «Вадимѣ» онъ описываетъ, какъ монахи «толкали богомольцевъ съ такимъ важнымъ видомъ, какъ будто бы это была ихъ главная должность». (IV, 1; ср. вариантъ—361)<sup>1)</sup> Онъ упрекаетъ монаховъ за то, что они дурно обращались съ маленькимъ Вадимомъ и заставляли его благодарить Бога, давшаго ему безобразную наружность (IV, 21). Касаясь монастырской жизни, Лермонтовъ иногда слишкомъ сгущаетъ краски; напримѣръ, Вадимъ, выросшій при монастырѣ, рассказываетъ: «*Все* монахи, которыхъ я зналъ,

<sup>1)</sup> См. еще—IV, 354, 355.

были обыкновенныя, полудобрыя существа, *глуныя отъ рожденья или отъ старости, неспособныя ни къ чему, кромѣ соблюденія постовъ*». (IV, 21). Суровость приговора смягчается тѣмъ, что онъ вложенъ въ уста несчастнаго горбуна, надъ которымъ всеъ подсмѣивались, въ томъ числѣ и монахи. Въ поэмѣ «Бояринъ Орша» Лермонтовъ бросаетъ совершенно несправедливый упрекъ нашему древнему монашеству; вотъ это любопытное мѣсто:

Пышныхъ кресель полукругъ —  
 Издѣлье иноческихъ рукъ —  
 Блестали тканью парчевой;  
 Въ большія окна свѣтъ дневной,  
 Врываясь свѣтлой полосой,  
 Дробясь въ искры по стеклу,  
 Игралъ на каменномъ полу;  
 Рѣзьбою мелкою стѣна  
 Была искусно убрана,  
 И на двери въ кружкахъ золотыхъ  
 Блестали образа святыхъ.  
 Тяжелый, низкій потолокъ  
 Расписывалъ, какъ зналъ, какъ могъ,  
 Усердный инокъ... *Жалкій трудъ,*  
*Отнявшій множество минутъ*  
*У Бога, думъ святыхъ и дѣлъ:*  
*Искусства горестный удѣлъ!*. (II, 117, 118).

Усердное занятіе иконописью и, вообще, живописью, хотя бы она была незатѣйлива, не можетъ быть, по нашему мнѣнію, названо жалкимъ трудомъ, отдалявшимъ монаха отъ Бога и добрыхъ дѣлъ; трудъ этотъ являлся посильной данью Творцу, выраженіемъ благоговѣнія къ Нему и, кромѣ того, стремленіемъ къ прекрасному. Намъ понятно негодованіе поэта; его благородная, широкая натура требовала сильнаго, яркаго проявленія духовныхъ силъ; но упрекъ его былъ бы справедливъ, если бы былъ направленъ, напримѣръ, противъ писанія схоластическихъ трактатовъ.

Съ неменьшимъ негодованіемъ говоритъ Лермонтовъ о ханжествѣ мірянъ, — будь то помѣщики или ихъ крѣпостные. Въ драмѣ «Menschen und Leidenschaften» юный поэтъ даетъ просторъ своему гнѣву. Горничная Дарья читаетъ вслухъ евангеліе, и старуха Громова прерываетъ чтеніе слѣдующими восклицаніями: «Ахъ, злодѣи-жиды! нехристи проклятые! какъ они поступали съ Христомъ!.. всѣхъ бы ихъ переказнила безъ жалости...» (III, 104). Или (по поводу обличительныхъ словъ: «Горе вамъ, книжницы и фарисеи, лицемѣри» и т. д.): «Правда, правда говорится здѣсь!.. ахъ, эти лицемѣры!.. Вотъ у меня сосѣдка Зарубова... такая богомольная, кажется, всякій праздникъ у обѣдни; а намеднясь велѣла загнать своихъ коровъ и табунъ на мои озими, — всѣ потоптали. Злодѣйка!..» (III, 105). Чтеніе продолжается, и вдругъ за стѣной слышится громкій стукъ разбитой посуды. Громова обращается къ Дарьѣ: «Что это?.. Вѣрно, мерзавцы, что-нибудь разбили... Сбѣгай-ка, да посмотри!..» (III, 105). Оказывается, что поваренокъ Васька разбилъ хрустальную кружку; виновника приводятъ къ барынѣ, и она кричитъ на него: «Какъ ты ее уронилъ? Отвѣчай же, болванъ! Ну что-жъ ты? Говори. (*Мальчикъ хочетъ говорить*). Какъ? Ты еще оправдываться хочешь... эхъ, братъ! въ плети его, въ плети, на конюшню!.. (*Мальчикъ кланяется въ ноги*). Вздоръ! я этимъ поклонамъ не вѣрю... убирайся съ чортомъ, прости, Боже, мое согрѣшеніе...» (III, 105, 106)<sup>1)</sup>. Возбужденная хитрой горничной противъ сына и внука, Громова, задыхаясь отъ злобы, говоритъ: «Я хочу видѣть ихъ мученья... мечь... мечь!.. Злодѣи! прости, Боже, мое согрѣшенье... не въ силахъ... Мать Богородица и святые угодники, простите мнѣ!.. Поѣду въ Кіевъ, половину имѣнья отдамъ въ церковь, всякое воскресенье 10-ти фунтовую свѣчу предъ каждымъ образомъ поставлю... только теперь помогите отмстить... теперь простите мнѣ...» (III, 123). Столько же лицемѣрія и ханжества въ горничной Дарьѣ, которая гово-

<sup>1)</sup> См. еще—III, 118, 119.

ритель сама съ собою: «Мнѣ скажутъ: грѣхъ тяжкій эти сплетни, Богъ накажетъ... Какъ бы не такъ... я слыхала отъ господъ старыхъ, что если на исповѣди все скажешь попу, да положишь десять поклоновъ земныхъ, — и дѣло кончено, за цѣлый годъ поправа. — Да и что за грѣхъ штука теперешняя, я не понимаю: поссорить отца съ сыномъ — не убить, не обокрасть»... (III, 124). Добившись своего, она говоритъ: «Теперь все наше! хоть заранѣ молебень святымъ угодникамъ служи»... (III, 139). Поэта оскорбляетъ недостойное поведеніе молящихся въ храмѣ. Въ «Вадимѣ» описывается, какъ во время чтенія евангелія «толпа зѣвала въ нѣмомъ бездѣйствіи». (IV, 44). Вотъ еще болѣе яркая картина: передъ образомъ Спасителя стоитъ кружка; надъ нею, на образѣ, надпись: «Приидите ко Мнѣ вси труждающіеся, и Азъ успокою вы». Молящіеся подходятъ съ лептой. «Госпожа и крестьянка съ груднымъ младенцемъ на рукахъ подошли вмѣстѣ, но первая съ надменнымъ видомъ оттолкнула послѣднюю, — и ушибленный ребенокъ громко закричалъ». (IV, 43).

Все это — плоды личныхъ наблюденій поэта; прототипы Громовой и Дарьи — бабушка и нянька Лермонтова (см. — Висковатый, «М. Ю. Л.», 61). Бабушка его была богомольна; однажды она съ внукомъ и молодежью совершила путешествіе изъ Середникова въ Сергіевскую лавру и Воскресенскій монастырь; тамъ поэтъ могъ наблюдать, напри- мѣръ, нищихъ и богомольцевъ, которыхъ съ подробностями описываетъ въ «Вадимѣ». Подъ впечатлѣніемъ этого путешествія были написаны стихотворенія — «Въ Воскресенскѣ» и «Нищій».

Герои Лермонтова задыхались, какъ въ тюрьмѣ, въ мрачныхъ монастырскихъ стѣнахъ; тамъ не было простора ихъ пылкимъ мечтамъ и буйнымъ силамъ, тамъ они были оторваны отъ природы, которую любили безумно. Слабости, пороки людей, непониманіе духа христіанской религіи — вызывали негодованіе поэта; природа, вѣчно прекрасная и благая, утишала его тревоги и призывала къ жизни свѣтлой и радостной.

## Глава VII.

### Благотворное воздѣйствіе природы на мятежную душу человѣка.

Лермонтовъ,—по удачному сравненію Саводника,—какъ Аптей, касаясь земли, чувствовалъ приливъ новыхъ силъ и подъема вѣры <sup>1)</sup>. Въ самыхъ раннихъ произведеніяхъ поэтъ все говоритъ, что тяжело ему жить среди людей: они «безжалостны», у нихъ «каменные сердца» (I, 68). Жизнь скучна, горька, и единственное «благо»—ничтожество (I, 74). И дружба, и любовь отягчены цѣпами приличій, и со смѣхомъ проливается братская кровь (I, 133). Бремя жизни стало еще тягостнѣе, когда юноша возмужалъ и ближе узналъ ее. Онъ ищетъ уединенія, отдохновенія и съ открытою душою идетъ на зовъ природы. Въ дружескомъ посланіи, подъ живымъ ея обаяніемъ, онъ пишетъ: «Для меня горный воздухъ—бальзамъ; хандра къ чорту, сердце бьется, грудь высоко дышитъ—ничего не надо въ эту минуту; такъ сидѣлъ бы да смотрѣлъ цѣлую жизнь». (IV, 330). Сколько бодрости, жизнерадостности въ этихъ немногихъ, простыхъ словахъ! Тѣмъ же настроеніемъ проникнуты слѣдующія строки изъ «Героя нашего времени»: «Тихо было все на небѣ и на землѣ, какъ въ сердцѣ человѣка въ минуту утренней молитвы... Снѣгъ хрустѣлъ подъ ногами нашими; воздухъ становился такъ рѣдокъ, что было больно дышать; кровь поминутно прилиwała въ голову, но со всѣмъ тѣмъ какое-то отрадное чувство распро-

<sup>1)</sup> Саводникъ. „Чувство природы въ поэзіи Пушкина, Лермонтова и Тютчева“. М. 1911 г., 127.

страшилось по всѣмъ моимъ жиламъ, и мнѣ было какъ - то весело, что я такъ высоко надъ міромъ». (IV, 172). Развитію чувства природы въ Лермонтовѣ способствовали литературныя вліянія; на примѣръ, вліяніе Руссо, Шатобриана и Гейне, съ произведеніями которыхъ онъ былъ знакомъ. Пророкъ Лермонтова на людяхъ бывалъ угрюмъ и блѣденъ, а въ пустынѣ обрѣталъ душевный покой.

Въ Толстомъ, предпочитавшемъ жизнь, близкую къ природѣ, шумной, суетливой городской жизни, чувство природы развилось подъ вліяніемъ Руссо. Уже на закатѣ жизни великій писатель говорилъ французскому профессору Буайэ: «Я прочелъ всего Руссо, всѣ двадцать томовъ, включая «Словарь музыки». Я болѣе, чѣмъ восхищался имъ,—я боготворилъ его. Въ 15 лѣтъ я носилъ на шеѣ медальонъ съ его портретомъ вмѣсто патѣльнаго креста. Многія страницы его такъ близки мнѣ, что мнѣ кажется, я ихъ написалъ самъ». (Бирюковъ, I, 279; см. еще—148). Извѣстное вліяніе долженъ былъ оказать на него и Лермонтовъ, съ его скептическимъ отношеніемъ къ культурѣ и гимнами природѣ. Самъ Толстой чувствовалъ внутреннее свое родство съ Лермонтовымъ; интересно привести его мнѣніе о Лермонтовѣ, высказанное въ 1883 году: «Вотъ кого жаль, что рано такъ умеръ! Какія силы были у этого человѣка! Что бы сдѣлать онъ могъ! Онъ началъ сразу, какъ власть имѣющій. У него нѣтъ шуточекъ,—презрительно и съ удареніемъ сказалъ Толстой:—шуточки не трудно писать, но каждое слово его было словомъ человѣка, власть имѣющаго.

— Тургеневъ — литераторъ, — дальше говорилъ Толстой;—Пушкинъ былъ тоже имъ, Гончаровъ—еще больше литераторъ, чѣмъ Тургеневъ; *Лермонтовъ и я—не литераторы*». (Русановъ. «Поѣздка въ Ясную Поляну».—Толстовскій ежегодникъ. 1912 г., М., 69). «Изъ русскихъ писателей»,—говоритъ Сергѣенко, «на Л. Н. Толстого имѣлъ наибольшее вліяніе Лермонтовъ. Онъ до сихъ поръ горячо относится къ нему <sup>1)</sup>, дорожа въ немъ тѣмъ свойствомъ, ко-

<sup>1)</sup> Курсивъ нашъ.

торое онъ называетъ *исканіемъ* 1). Безъ этого свойства Л. Н. считаетъ талантъ писателя неполнымъ и какъ бы съ изъяномъ». (Сергѣенко. «Какъ живетъ и работаетъ гр. Л. Н. Толстой». М., 1908 г., 51). Въ число авторовъ, оказавшихъ вліяніе на Толстого въ его юности (отъ 14—21 года), самъ Толстой ставитъ Лермонтова (Герой нашего времени. Тамань). Степень вліянія—«очень большое». (Бирюковъ, I, 148).

Андрей Болконскій и Пьеръ Безуховъ, которыхъ Толстой надѣлилъ многими чертами личнаго «я», поддаются, какъ лермонтовскіе герои, обаянію природы. Князь Андрей, глядя на зазеленѣвшій дубъ, на красоту и сіяніе природы, соглашается въ душѣ, что можно жить, что въ 31 годъ жизнь еще не кончена (V, 127). Пьеръ, любясь звѣзднымъ небомъ, забываетъ, какъ низко все земное (V, 299, 300).

У Лермонтова и Толстого любовь къ природѣ сливается съ религіознымъ чувствомъ. Въ стихотвореніяхъ «Когда волнуется желтѣющая нива» и «Выхожу одинъ я на дорогу»—молитвенный экстазъ. Созерцая одинъ красоту природы, Лермонтовъ во всемъ чувствуетъ присутствіе Божества. Тамъ, гдѣ нѣтъ человѣка, враждебно относящагося къ природѣ, она хороша, какъ «*Божій садъ*» (II, 316); на небѣ и на землѣ тихо, «какъ въ сердцѣ человѣка въ минуту утренней *молитвы*» (IV, 172); «воздухъ тамъ чистъ, какъ *молитва* ребенка» (I, 106) 2). Степь и небо—*храмъ*, курганъ—*алтарь* (I, 89); звѣзды—*ангеловъ* вечернія лампы» (II, 158); роса блистаетъ, какъ *райскій жемчугъ* (II, 65) 3). Особенно близки душѣ поэта горы: «*Вы къ небу меня приучили*, и я съ той поры все мечтаю о васъ, да о небѣ» (I, 105). Онѣ—*престолы*, а облака, плавающія надъ ними,—*омиамъ* (I, 105; II, 20, 313). Какъ трогательно обращеніе поэта къ Казбеку:

1) Курсивъ Сергѣенка.

2) Ср. IV, 204.

3) Ср. II, 316, ст. 291; 361, ст. 356.

Сердца *тихаго* моленье

Да отнесутъ твои скалы

Въ надзвѣздный край, въ твое владѣнье —

Къ престолу вѣчному Аллы. (II 213) <sup>1)</sup>.

Природа немолчно славить Творца (I, 139; II, 317); «пустыня внемлетъ *Богу*» (II, 347); ангелъ молился за душу грѣшницы,

и мнилось —

*Природа втѣсть съ нимъ молилась.* (II, 398).

Герои Лермонтова страстно любятъ природу и испытываютъ на себѣ ея умиротворяющее вліяніе. Измаиль-Бей заплакалъ, увидѣвъ родимыя горы послѣ долгой разлуки,

Забылъ онъ все, что испыталъ:

Друзей, враговъ, тоску изгнанья;

И, какъ невѣсту въ часъ свиданья,

Душой природу обнималъ! (II, 30).

Онъ еще ребенкомъ любилъ ее, и съ годами

*Не измѣнилось только это въ немъ!* (II, 83).

Такъ же любятъ природу—русскій офицеръ, врагъ Измаила-Бея (II, 55), Вадимъ (IV, 24). Мицыри передъ смертью признавался, что безъ трехъ «блаженныхъ дней», проведенныхъ въ лѣсной трущобѣ, его жизнь

Была-бъ печальнѣй и мрачнѣй

Безсильной старости... (II, 315).

Эгоистическая душа Печорина смягчалась при видѣ красоты природы, и не было женскаго взора, котораго бы онъ не забылъ при созерцаніи ихъ (IV, 220; ср. 204); отправляясь на дуэль, т. - е. идя навстрѣчу смерти, онъ «въ этотъ разъ больше, чѣмъ когда-нибудь прежде», любилъ природу (IV, 256). Саша Арбенинъ съ шести лѣтъ испытывалъ «непонятно-сладостное чувство», любуясь закатомъ

<sup>1)</sup> Ср. стихотвореніе „Крестъ на скалѣ“ (I, 128, 129).

или мѣсяцемъ, заглядывавшимъ въ его кроватку; бѣдному ребенку въ эти минуты «хотѣлось, чтобъ кто-нибудь его приласкалъ, поцѣловалъ, приголубилъ» (IV, 299).

Небо приковываетъ къ себѣ взоры героевъ Лермонтова и Толстого. Мцыри рассказываетъ:

Въ то утро былъ небесный сводъ  
 Такъ чистъ, что ангела полетъ  
 Прилежный взоръ слѣдить бы могъ;  
 Онъ такъ прозрачно былъ глубокъ,  
 Такъ полонъ ровной синевой!  
 Я въ немъ глазами и душой  
 Тонулъ... (II, 317).

Такъ любитъ небо Нехлюдовъ: «Безъ мыслей и желаній, какъ это всегда бываетъ послѣ усиленной дѣятельности, онъ легъ на спину подъ деревомъ и сталъ смотрѣть на прозрачныя утреннія облака, пробѣгавшія надъ нимъ по глубокому, безконечному небу. Вдругъ, безъ всякой причины, на глаза его навернулись слезы, и, Богъ знаетъ какимъ путемъ, ему пришла ясная мысль, наполнившая всю его душу, за которую онъ ухватился съ наслажденіемъ,—мысль, что любовь и добро есть истина и счастье, и одна истина и одно возможное счастье въ мірѣ». (III, 38). Оленинъ, очарованный лѣснымъ уютомъ и тишиной, ни о чемъ не думалъ и ничего не желалъ. «И вдругъ на него нашло такое странное чувство безпричиннаго счастья и любви ко всему, что онъ, по старой дѣтской привычкѣ, *сталъ креститься и благодарить кого-то*». (II, 85).

Переживанія этихъ героевъ—переживанія самихъ авторовъ. Природа восхищала Лермонтова и Толстого своей гармоніей, избыткомъ своихъ силъ. Ея торжественная тишина и величіе напоминало имъ о Богѣ. Ея красота притягивала, плѣняла ихъ, какъ художниковъ. Блескъ неба, причудливые узоры облаковъ, мерцанье звѣздъ, яркіе цвѣты, окропленные росой, пѣніе птицъ, шумъ листвы, говоръ волнъ—все сливалось для нихъ въ мощную, чудесную симфонію красокъ и звуковъ, разгоняло гнетущія мыс-

ли, смягчало боль душевныхъ ранъ, разглаживало на челѣ морщины, навѣвало радужныя мечты... И понятно, что вторженіе человѣка-хищника въ мирную жизнь природы являлось страшнымъ диссонансомъ, и вызывало со стороны Лермонтова и Толстого благородное негодованіе; но прежде, чѣмъ подойти къ этому вопросу, необходимо подробно остановиться на отношеніи ихъ къ войнѣ.

---

## Глава VIII.

### В о й н а.

Война! знакомый людямъ звукъ  
Съ тѣхъ поръ, какъ братъ отъ братнихъ рукъ  
Предъ алгаремъ погибъ невинно... (Л., II, 48).

Лермонтовъ у насъ первый выступилъ съ пламеннымъ протестомъ противъ войны, этого кошмарнаго призрака, идущаго по пятамъ цивилизаціи. 16-лѣтнимъ юношей поэтъ съ грустью мечталъ о томъ, что

Нашъ прахъ лишь землю умягчитъ  
Другимъ, чистѣйшимъ существамъ...  
... Братьевъ праведную кровь  
Они со смѣхомъ не прольютъ!.. (I, 133).

Еще не побывавъ на войнѣ<sup>1)</sup>, онъ часто говоритъ о ней, какъ о явленіи, идущемъ вразрѣзъ и съ религіей, и съ нравственностью, и съ гармоничной жизнью природы. Онъ рассказываетъ въ «Вадимѣ», какъ *«толпа слушала съ благоговѣніемъ всенощную. Эти самые люди готовились проливать кровь завтра, нынче!* И они, крестясь и кланяясь въ землю, поталкивали другъ друга, если замѣчали возлѣ себя дворянина, и готовы были растерзать на мѣстѣ, но еще

---

1) Толстой, напротивъ, лишь тогда сталъ протестовать противъ войны, когда воочию увидѣлъ ея ужасы. Напримѣръ, какъ странно читать теперь слѣдующія строки изъ его письма 1851 г.: *«По мѣрѣ силъ моихъ буду способствовать съ помощью пушки къ истребленію хищниковъ и непокорныхъ азіатовъ».* (Письма Л. Н. Т., собр. и ред. Сергѣенко. М. 1910 г., 15).

не смѣли: еще ни одинъ козакъ не привозилъ кровавыхъ приказаній въ окружающія деревни». (IV, 41).

Вотъ на Кавказѣ:

Горятъ аулы: нѣтъ у нихъ защиты,  
 Врагомъ сыны отечества разбиты,  
 И зарево, какъ вѣчный метеоръ,  
 Игряя въ облакахъ, пугаетъ взоръ.  
 Какъ хищный звѣрь, въ смиренную обитель  
 Врывается штыками побѣдитель.  
 Онъ убиваетъ старцевъ и дѣтей,  
 Невинныхъ дѣвъ и юныхъ матерей  
 Ласкаетъ онъ кровавою рукою.  
 Но жены горъ не съ женскою душою!  
 За поцѣлуемъ вслѣдъ звучитъ кинжалъ...  
 Отпрянулъ русскій, захрипѣлъ и палъ!  
 „Отмсти, товарищъ!“—и въ одно мгновенье  
 (Достойное за смерть убійцѣ мшенье!)  
 Простая сакля, веселя ихъ взоръ,  
 Горитъ. Черкесской вольности костеръ!.. (II, 63).

Пока онъ не видѣлъ войны, и описанія ея холодны; но и въ нихъ порою бросаетъ онъ штрихи высокой художественной цѣнности.

Напримѣръ, тѣснимые русскими, черкесы отступаютъ:

Ихъ кругъ тѣснѣй ужъ становился;  
 Одинъ подъ саблю свалился,  
 Другой, пробитый въ грудь свинцомъ,  
 Былъ въ поле унесенъ конемъ,  
*И, мертвый, на сѣдлѣ все бился...*  
 Оружье брось,—надежды нѣтъ,  
 Черкесь, читай свои молитвы!  
*Въ крови твой шелковый бешметъ,*  
 Тебѣ другой не видѣть битвы!.. (II, 74).

Эти два стиха —

Былъ въ поле унесенъ конемъ,  
 И, мертвый, на сѣдлѣ все бился —

являются первымъ наброскомъ, той изумительной по красотѣ, яркости и экспрессіи картины, которая даже въ «Демонѣ» — одно изъ лучшихъ мѣстъ:

Несется конь быстрѣ лани,  
Храпитъ и рвется будто къ брани;  
То вдругъ осадить на скаку,  
Прислушается къ вѣтерку,  
Широко ноздри раздувая,  
То, разомъ въ землю ударяя  
Шипами звонкими копытъ,  
Взмахнувъ растрепанною гривой,  
Впередъ безъ памяти летить.  
На немъ есть всадникъ молчаливой:  
Онъ бьется на сѣдлѣ порой,  
Припавъ на гриву головой;  
Ужъ онъ не править поводами,  
Задвинувъ ноги въ стремяна,  
И кровь широкими струями  
На чепракъ его видна...  
Скакунъ лихой, ты господина  
Изъ боя вынесъ какъ стрѣла,  
Но злая пуля осетина  
Его во мракъ догнала! (II, 358, 359).

Изображенія сраженій встрѣчаемъ часто; на примѣръ, въ «Литвинкѣ», «Ангелѣ Смерти», «Измаилѣ-Беѣ», «Вадимѣ», «Бояринѣ Оршѣ» и другихъ произведеніяхъ, написанныхъ до первой ссылки на Кавказъ; эскизы эти эффектны, но въ нихъ мало внутренняго содержанія. Побывавъ подъ пулями, ознакомившись съ боевымъ духомъ русскихъ войскъ, съ бытомъ и психологіей русскаго солдата, поэтъ создаетъ шедевры — «Бородино» и «Валерикъ».

«Боевыя сцены «Бородино», по живости изображенія военныхъ силъ и ихъ дѣйствій, не уступаютъ позднѣйшимъ военнымъ картинамъ, которыя Лермонтовъ, уже испытанный боевой офицеръ на Кавказѣ, рисуетъ въ «Валерикѣ» 1840 г. и въ «Спорѣ» 1841 г. Но въ «Валерикѣ», въ этомъ

«безыскусственномъ разсказѣ», Лермонтовъ говоритъ о войнѣ, какъ ея участникъ, какъ графъ Л. Н. Толстой въ «Севастопольскихъ очеркахъ», говоритъ съ «грустью тайной и сердечной». Въ «Бородино» и въ «Спорѣ» рисуются однѣ величественныя военныя картины безъ всякой рефлексіи. (Владиміровъ. «Историч. и народно-бытовые сюжеты въ поэзіи М. Ю. Л». Кіевъ. 1892 г., 28).

На первый взглядъ кажется, конечно, страннымъ: чело­вѣкъ, считающій войну зломъ, носитъ военный мундиръ и принимаетъ участіе въ сраженіяхъ. Но намъ извѣстно, что Лермонтовъ уже съ 1837 года тяготился военной службой, хотѣлъ выйти въ отставку, да встрѣтилъ препятствія: сначала со стороны бабушки и родственниковъ, потомъ, и это главное,—начальства; всѣ попытки поэта оставить службу были напрасны (см. Л., IV, 330, 339, 341, 342, 404, 405; Висковатый, 373—377). Вспомнимъ, что и впоследствіи у насъ были военными такіе проповѣдники добра и мира, какъ Левъ Толстой, Гаршинъ и Надсонъ.

Генераль Галафѣевъ, подъ командой котораго находился поэтъ, писалъ о немъ въ донесеніи о дѣлѣ при Валерикѣ: «Тенгинскаго пѣхотнаго полка Лермонтовъ, во время штурма непріятельскихъ заваловъ на рѣкѣ Валерикѣ, имѣлъ порученіе наблюдать за дѣйствіями передовой штурмовой колонны и увѣдомлять начальника отряда объ ея успѣхахъ, что было сопряжено съ величайшею для него опасностью отъ непріятеля, скрывавшагося въ лѣсу за деревьями и кустами. Но офицеръ этотъ, несмотря ни на какія опасности, исполнялъ возложенное на него порученіе съ отличнымъ мужествомъ и хладнокровіемъ и съ первыми рядами храбрѣйшихъ ворвался въ непріятельскіе завалы». (Висковатый, 349, 350) <sup>1)</sup>. Страшно подумать, какому риску

---

<sup>1)</sup> О Валерикскомъ сраженіи см., напр.,—Юровъ. „1840, 1841 и 1842 годы на Кавказѣ“. („Кавказскій сборникъ“, X, стр. 302—307.) Янжуль. „Восемьдесятъ лѣтъ боевой и мирной жизни 20-й артиллерійской бригады“. Тифлисъ. 1886 г. I, 402—405. О Гехинскомъ лѣсѣ—см. „Складчина“, СПб., 1874 года, баронъ Э. Э. Тарновъ—„Изъ воспоминаній бывшаго кавказца“.

подвергался Лермонтовъ; но чеченскія пули оказались добръе мартыновской.

И горечь, и какая-то усталость слышится въ словахъ поэта: «Я вошелъ во вкусъ войны и увѣренъ, что для чело-вѣка, который привыкъ къ сильнымъ ощущеніямъ этого банка, мало найдется удовольствій, которыя бы не показались приторными». (IV, 340). Онъ командовалъ отрядомъ, который получилъ названіе «Лермонтовскаго»; отрядъ этотъ передалъ ему Дороховъ, сынъ участника отечественной войны И. С. Дорохова. Въ Дороховѣ видятъ прототипъ Долохова изъ «Войны и мира» Толстого ( см. Висковатый, 343; Л., IV, 408) <sup>1)</sup>. Лермонтовъ сумѣлъ «привязать къ себѣ: людей, совершенно входя въ ихъ образъ жизни. Онъ спалъ на голой землѣ, ѣлъ съ ними изъ одного котла и раздѣлялъ всѣ трудности похода». (Висковатый, 342). «За дѣло подъ Валерикомъ для Лермонтова испрашивался орденъ Св. Владиміра 4 степени съ бантомъ, что въ тѣ времена для столь молодого чело-вѣка являлось высокою наградою». (Висковатый, 350). Ближайшее начальство любило и цѣнило боевыя способности Лермонтова, но въ высшпхъ сферахъ поэтомъ были недовольны, и его вычеркнули изъ валерикскаго представленія (Л., IV, 341). Последній эпизодъ очень характеренъ: онъ повторяется и въ біографіяхъ Льва Толстого и Гаршина. Толстому три раза выпадалъ случай получить Георгіевскій крестъ, но крестъ такъ и не былъ полученъ: то бумага запоздаетъ, то Толстого же попросятъ уступить крестъ рядовому; это очень огорчалс Толстого (Бирюковъ, I, 234, 235). Гаршину рота единогласно присудила крестъ, «котораго однако онъ почему-то не получилъ». (Воспоминанія брата Гаршина, см. «Полное собр. соч». Гаршина. СПБ. Изд. Маркса, 1910 г., 14).

«Валерикъ», по мѣткому опредѣленію Мережковскаго,

<sup>1)</sup> Дороховъ былъ однимъ изъ свидѣтелей дуэли Лермонтова (см.—Висковатый, 420).—Отчасти типъ Долохова списанъ съ двоюроднаго дяди Л. Н., Э. Толстого (Американца); см. объ этомъ—Бирюковъ, „Л. Н. Т.“, I, 33, 90. Лермонтовъ изобразилъ Э. Толстого въ „Маскарадѣ“, въ лицѣ „Неизвѣстнаго“ (см. „Нива“, 1913 г., № 37, статья Лернера).

«первое во всемирной литературѣ явленіе того особеннаго русскаго взгляда на войну, который такъ безконечно углубилъ Л. Толстой. Изъ этого горчичнаго зерна выросло исполинское дерево «Войны и мира». (Мережковскій. «Л.», 70). По формѣ это, какъ сказалъ самъ авторъ, «безыскусственный рассказъ»; нѣтъ здѣсь ни романтизма, бьющаго ключомъ въ «Измаилъ-Беѣ» и «Мцыри», ни колоритныхъ восточныхъ картинъ, которыми такъ блещетъ «Демонъ»; но какая мудрая простота и сжатость разсказа! Своей сжатостью и простотой «Валерикъ» напоминаетъ два кавказскихъ разсказа Толстого—«Кавказскій плѣнникъ» и «Набѣгъ»; къ «Набѣгу» «Валерикъ» особенно близокъ. Здѣсь видно и вліяніе Лермонтова на разсказъ Толстого, и тяготѣніе обоихъ геніевъ къ однѣмъ и тѣмъ же проблемамъ. Схема одна и та же: обращеніе къ читателю; выступленіе русскаго отряда противъ горцевъ; стычка; трагическая смерть одного изъ участниковъ боя, останавливающая на себѣ исключительное вниманіе авторовъ; безмятежная красота природы. Мѣсто дѣйствія—Кавказъ; время дѣйствія одно и то же—іюль<sup>1)</sup>; разсказъ ведется отъ перваго лица. Лермонтовъ и Толстой останавливаются на однѣхъ и тѣхъ же подробностяхъ, хотя бы и незначительныхъ.

Надъ допотопными лѣсами  
 Мелькали маяки кругомъ,  
 И дымъ ихъ то вился столбомъ,  
 То разстился облаками. (II, 302).

Въ «Набѣгѣ»: «Изрѣдка на мрачномъ фонѣ горъ вспыхивали въ различныхъ мѣстахъ яркіе огни и тотчасъ же исчезали.

— Скажите, пожалуйста, что это за огни?—спросилъ я шопотомъ у татарина, ѣхавшаго подлѣ меня<sup>2)</sup>.

— А ты не знаешь?—отвѣчалъ онъ.

<sup>1)</sup> У Лермонтова время дѣйствія—*одиннадцатое іюля*; разсказъ Толстого начинается *двѣнадцатымъ* числомъ того же мѣсяца.

<sup>2)</sup> Лермонтовъ въ «Валерикѣ» тоже обращается съ разспросами къ туземцу.

— Не знаю.

— *Это горской соломой на таякъ<sup>1)</sup> связалъ и огонь махать будетъ.*

— Зачѣмъ же это?

— *Чтобы всякій человекъ зналъ — русской пришелъ».* (II, 19).

Н. Семеновъ рассказываетъ: «Въ 1877 году, во время возстанія чеченцевъ, мнѣ привелось находиться при отрядѣ, дѣйствовавшемъ противъ мятежниковъ. То, что происходило передъ нашимъ отрядомъ въ лѣсахъ, занятыхъ противникомъ, было поразительно сходно съ картиною, нарисованною Лермонтовымъ». (Н. Семеновъ. «Туземцы сѣв.-восточнаго Кавказа». СПб. 1895 г., 74).

У Лермонтова—чеченцы мелькаютъ невдали съ ружьями и осторожно прячутся:

Надъ бревнами завала  
Ружье какъ-будто заблестало,  
Потомъ мелькнуло шапки двѣ,—  
И вновь все спряталось въ травѣ. (II, 302).

У Толстого: «Съ обѣихъ сторонъ стали безпрестанно мелькать конные и пѣшіе горцы, и такъ близко, что я очень хорошо видѣлъ, какъ нѣкоторые, согнувшись, съ винтовкой въ рукахъ, перебѣгали отъ одного дерева къ другому». (II, 24).

Чеченцы со значками:

Ужъ показались значки  
Тамъ, на опушкѣ — два и болѣ. (II, 301).

У Толстого: «Показались значки, — и онъ<sup>2)</sup> указываетъ плетью на конныхъ татаръ, впереди которыхъ ѣдутъ два человекъ на бѣлыхъ лошадяхъ съ красными и синими доскутами на палкахъ». (II, 21).

---

1) *Таякъ*, значить шесть, на кавказскомъ нарѣчьи (Л. Т.).

2) Полковникъ.

Гиканье горцевъ:

Вдругъ съ *гикомъ* кинулись на пушки. (II, 302).

У Толстого: «Въ лѣсу слышались *гиканье*, слова: *іай гяуръ! Урусъ іай!*» (II, 24). «Непріятель... снова усиливалъ огонь, крики и *гиканье*». (Тамъ же). «Это былъ непріятельскій передовой пикетъ. Татары, составлявшіе его, *гикнули*, выстрѣлили наудачу и разбѣжались». (II, 20).

Звукъ летящей пули похожъ на жужжанье насѣкомаго:

*Прожужжала*

Шальная пуля. (II, 300, 301).

У Толстого: звукъ пули похожъ «на полетъ *пчелы*». (II, 20).

У Лермонтова:

*Генераль*

*Впередъ со свитой поскакаль.* (II, 301).

У Толстого: «*Генераль со свитой* стали переправляться... Какъ скоро переправа кончилась, генераль вдругъ выразилъ на своемъ лицѣ какую-то задумчивость и серьезность, повернулъ лошадь и съ конницей рысью поѣхалъ по широкой, окруженной лѣсомъ полянѣ, открывавшейся предъ нами». (II, 20).

У Лермонтова:

*Разсыпались* въ широкомъ полѣ,

Какъ пчелы<sup>1)</sup>, съ *гикомъ* *козаки*. (II 301).

У Толстого: «*Казачьи* конныя цѣпи *разсыпались* вдоль опушекъ». (II, 20).

У Лермонтова:

*Генераль*

*Сидѣль въ тѣни на барабанъ*

И донесенья принималъ. (II, 304).

---

<sup>1)</sup> Ср.: Черкесы на коней садятся,  
Быстрѣ стрѣль по лѣсу мчатся,  
Какъ пчель неутомимый рой... (I, 6, 7).

У Толстого: «Баталіонный командиръ *ствѣлъ въ тѣни на барабанъ*». (II, 13).

Разумѣется, это внѣшнее сходство, это мелочи; перейдемъ къ существенному.

Лермонтовъ даетъ потрясающее описаніе стычки:

„Въ штыки!

Дружнѣ!“—раздалось за нами.

Кровь загорѣлася въ груди!

Всѣ офицеры впереди...

Верхомъ помчался на завалы,

Кто не успѣлъ спрыгнуть съ коня... <sup>1)</sup>

„Ура!“—и смолкло <sup>2)</sup>.—„Вонъ кинжалы!..

Въ приклады!..“ И пошла рѣзня.

И два часа въ струяхъ потока

Бой длился; рѣзались жестоко,

Какъ звѣри, молча, съ грудью грудь;

Ручей тѣлами запрудили. (II, 303).

«Какъ *звѣри*». Homo homini lupus est. Эту ужасную способность человѣка превращаться въ звѣря Лермонтовъ подчеркиваетъ и въ «Измаилѣ-Беѣ»:

Какъ *хищный звѣрь*, въ смиренную обитель

Врывается штыками побѣдитель: (II, 63).

Въ вариантахъ «Валерика»:

Какъ *звѣрь*, онъ жаденъ, дикъ и злобенъ. (II, 470).

<sup>1)</sup> По вѣрному предположенію Висковатова, это можно отнести къ самому поэту. Современникъ Лермонтова, баронъ Россильенъ, старшій офицеръ генеральнаго штаба, рассказывалъ Висковатову: „Гарцовалъ Лермонтовъ на бѣломъ, какъ снѣгъ, конѣ, на которомъ, молодецки заломивъ бѣлую холщевую шапку, бросался на чеченскіе завалы. Чистое молодчество!—ибо кто же кидался на завалы верхомъ?!“ (Висковатый, 344).

<sup>2)</sup> Ср. у Андреева: „Люди бѣжали и кричали „ура“ такъ громко, что почти заглушали выстрѣлы,—и вдругъ прекратились выстрѣлы—и вдругъ прекратилось „ура“,—и вдругъ наступила могильная тишина: это они добѣжали, и начался штыковой бой“. („Красный смѣхъ“.—Сборникъ т-ва „Знаніе“ за 1904 г., III, 334).

Толстой подмѣчаетъ въ боевомъ крикѣ татаръ «*звѣрскій* порывъ удали и злости» (II, 20). Въ «Кзакахъ» Лукашка, подстрѣливъ абрека, говоритъ, что убилъ «*звѣря*» (II, 53). «Съ чувствомъ, съ *которымъ онъ несся наперерѣзъ волку*, Ростовъ, выпустивъ во весь махъ своего донца, скакалъ наперерѣзъ разстроеннымъ рядамъ французскихъ драгунъ». (VI, 53). Въ «Хаджи-Муратъ»: люди, убившіе Хаджи-Мурата и его товарища, стояли надъ ихъ тѣлами, «какъ охотникъ надъ убитымъ *звѣремъ*» (XII, 90).

Ср. у Надсона:

Какъ *звѣри*, схватившись съ отважнымъ врагомъ,  
Мы бились весь день напролетъ. (Надсонъ, 238).

Въ «Красномъ смѣхѣ» Андреева докторъ рассказываетъ:

«Вчера я видѣлъ: къ намъ пришелъ сумасшедшій солдатъ. Неприятельскій солдатъ. Онъ былъ раздѣтъ почти до-гола, избитъ, исцарапанъ и голоденъ, какъ *животное*; онъ весь заросъ волосами, какъ заросли и мы всѣ, и былъ похожъ на дикаря, на первобытнаго человѣка, на *обезьяну*». (Сборникъ т-ва «Знаніе», III, 302; см. еще—303). Люди «всегда убійцы, и ихъ спокойствіе, ихъ благородство—спокойствіе *сытаго звѣря*, чувствующаго себя въ безопасности». (Тамъ же, 327). «Сообщаютъ, что у нѣкоторыхъ частей не хватило снарядовъ, и тамъ люди дрались камнями, руками, *грызлись, какъ собаки*». (Тамъ же, 332). «Вы *звѣри*. За что убили вы моего брата? Если бы у васъ было лицо, я далъ бы вамъ пощечину, но у васъ нѣтъ лица, у васъ *морда хищнаго звѣря*. Вы притворяетесь людьми, но подъ перчатками я вижу *когти*, подъ шляпою—*приплюснутый черепъ звѣря*; за вашей умной рѣчью я слышу потаенное безуміе, бряцающее ржавыми цѣпями. И всею силою моей скорби, моей тоски, моихъ опозоренныхъ мыслей—я проклиная васъ, несчастные слабоумные *звѣри!*» (Тамъ же, 340, 341).

Лермонтовъ сравниваетъ войну съ театральнымъ представленіемъ:

Въ этихъ сшибкахъ удалыхъ  
 Забавы много, толку мало:  
 Прохладнымъ вечеромъ, бывало,  
 Мы любовались на нихъ  
 Безъ кровожаднаго волненья,  
 Какъ на *трагическій балетъ*.  
 Зато видалъ я *представленья*,  
 Какихъ у васъ на сценѣ нѣтъ... (II, 301, 302).

Это сравненіе широко использовано Толстымъ. Сначала онъ употребляетъ его въ „Набѣгъ“: „*Quel charmant coup d'oeil!*”<sup>1)</sup> — говоритъ генераль, слегка припрыгивая по-англійски на своей вороной тонконогой лошаdkѣ.

— *Charmant!* — отвѣчалъ грассируя майоръ и, ударяя плетью по лошади, подѣзжаетъ къ генералу. — *C'est un vrai plaisir que la guerre dans un aussi beau pays*”<sup>2)</sup> — говоритъ онъ.

— *Et surtout en bonne compagnie*”<sup>3)</sup>, — прибавляетъ генераль *съ пріятною улыбкою*. (II, 21).

Война—игра въ шахматы (VI, 182, 184); война—игра въ жмурки (VII, 133). Война—«истинно величественное» зрѣлище (II, 22). «Гуль орудій, не перестававшій 10 часовъ сряду и измучившій ухо, придавалъ особенную значительность зрѣлищу (какъ музыка при живыхъ картинахъ)». (VI, 200). Война—эффектное, грандіозное представленіе; Наполеонъ—актеръ. Въ эпизодѣ «Войны и мира» Толстой говоритъ: «Дѣйствіе совершено.

*Последняя роль сыграна. Актеру вѣльно раздѣться и смыть сурьму и румяна: онъ больше не понадобится.* Даже въ одиночествѣ, на островѣ св. Елены, Наполеонъ «играетъ самъ передъ собой жалкую комедію, интригуетъ и лжетъ, оправдывая свои дѣянія... «Распорядитель, окончивъ драму и раздѣвъ актера, показалъ его намъ.

— Смотрите, чему вы вѣрили! Вотъ онъ! Видите ли вы

1) Какое прекрасное зрѣлище (Л. Т.).

2) Это истинное наслажденіе—воевать въ такой прекрасной странѣ. (Л. Т.).

3) И особенно въ хорошемъ обществѣ. (Л. Т.).

теперь, что не онъ, а я двигалъ васъ?» (VII, 197, 198). Толстой отмѣчаетъ, что Наполеонъ и въ отношеніяхъ къ женѣ, сыну, солдатамъ, придворнымъ—театраленъ; его позы, его фразы рассчитаны на сценическій эффектъ (см. VI, 173—176).

Но война только издали величественна и красива. Войдите въ госпиталь, въ этотъ «домъ страдаій», и вы «увидите ужасныя, потрясающія душу зрѣлища; увидите войну не въ правильномъ, красивомъ и блестящемъ строе, съ музыкой и барабаннымъ боемъ, съ развѣвающимися знаменами и гарцующими генералами, а увидите войну въ настоящемъ ея выраженіи,—въ крови, въ страданіяхъ, въ смерти»... (II, 147). Любопытнымъ зрѣлищемъ кажутся прохожему проводы рекрутовъ; но подойдетъ онъ поближе, и любопытство смѣнится ужасомъ. «Мой это», сказалъ, заплакавъ, старый крестьянинъ о бравомъ парнѣ, обреченномъ на военную службу, и Толстому, залюбовавшемуся было видомъ рекрутовъ, лихо отплясывавшихъ и пацѣвавшихъ подъ веселыя звуки гармонки, «стало мучительно стыдно»... «И подумать», горько говоритъ онъ, «что все это совершается теперь надъ тысячами, десятками тысячъ людей по всей Россіи и совершалось и будетъ долго еще совершаться надъ этимъ кроткимъ, мудрымъ, святымъ и такъ жестоко и коварно обманутымъ русскимъ народомъ!» (X, 204). Лермонтовъ и Толстой ведутъ насъ за кулисы жизни, и мы видимъ, какъ грубы и безобразны декорации, какъ ужасны вблизи размалеванныя лица актеровъ. Краноткинъ говоритъ, что «жемчужина» поэзіи Лермонтова, «Валерикъ»,— «людьми, побывавшими въ сраженіяхъ, считается лучшимъ и наиболѣе точнымъ описаніемъ битвы, какое существуетъ въ поэзіи. А между тѣмъ Лермонтовъ не любилъ войны». («Идеалы и дѣйствительность въ русской литературѣ». СПб. 1907 г., 65). Лермонтовъ первый освѣтилъ картину сраженія не бенгальскимъ огнемъ, а солнцемъ; каждая подробность приводитъ васъ въ содроганіе. Нѣтъ «героевъ». Въмѣсто аристократическаго лица Печерина, красиваго лица Измаила-Бея, Юрія Палицына или загадочно-прекраснаго Демона пестятъ рисуется здѣсь лица, искаженные отъ злобы

и страданія, лица полу-звѣрей. Передъ зрителемъ мелькають пронзительно гикающіе горцы и казаки; жужжать пули; слышатся дико звучащіе окрики прячущихся чеченцевъ, да громкіе голоса солдатъ, которые зовутъ лѣвкарей и въ суматохѣ за ноги оттаскиваютъ раненыхъ. Потомъ—страшное молчаніе; напряженное ожиданіе, заставляющее замирать самыя храбрыя сердца; потомъ—залпы... крикъ: «въ штыки!..» и звѣрскій, двухчасовой рукопашный бой; тѣла раненыхъ и убитыхъ запружаютъ потокъ, и волны его, нагрѣтыя лѣтнимъ зноемъ и смѣшанныя съ человѣческой дымящеюся кровью, долго еще будутъ теплы и красны... «Вообрази себѣ», писалъ Лермонтовъ товарищу, «что въ оврагѣ, гдѣ была потѣха, часъ послѣ дѣла еще пахло кровью. Когда мы увидимся, я тебѣ расскажу подробности очень интересныя». (IV, 339—340). Мы не знаемъ, что именно желалъ рассказать поэтъ, но тоже много интереснаго находимъ въ драгоцѣнныхъ вариантахъ «Валерика»<sup>1)</sup>:

Вотъ жарче, жарче... Крикъ!.. Глядимъ:  
 Ужь тащутъ одного,— за нимъ  
 Другихъ... и много... ружья носятъ  
 И кличутъ громко лекарей!  
 Ужь имъ не вмошь — подмоги просятъ;  
 А нашихъ тамъ порядкомъ косятъ...  
*...Валются (наши вверху ногами) цѣлыми рядами*  
*...Какъ птиць насъ бьютъ со всѣхъ сторонъ.* (II, 468).  
 Уже затихло все; тѣла  
 (Солдатъ) Изрубленныхъ  
 (Нагія грудами лежали) Стащили въ кучу.  
 (Огромной кучей)... (II, 470).

Груды нагихъ изрубленныхъ тѣлъ, *chaîr à canon*. Тема, использованная Верещагинымъ въ его знаменитой картинѣ «Побѣжденные». Ср. у Толстого: «Сотни свѣжихъ окровавленныхъ тѣлъ людей, за два часа тому назадъ полныхъ раз-

<sup>1)</sup> Въ вариантахъ сохраняется орѳографія оригинала.—Быть можетъ, лермонтовскіе варианты вовсе не были извѣстны Толстому, но и они даютъ кое-что для полноты сравнительной характеристики творчества этихъ гениевъ.

нообразныхъ, высокихъ и мелкихъ, надеждъ и желаній, съ оконченными членами лежали на росистой цвѣтущей долинѣ». (II, 177). Это уже мертвые, а нѣкоторые еще борются со смертью:

На шинели,  
Спиною къ дереву, лежалъ  
Ихъ капитанъ. Онъ умиралъ.. (II, 303).

Лермонтовъ и Толстой рассказъ о горячей схваткѣ заканчиваютъ описаніемъ смерти одного изъ участниковъ; въ «Валерикѣ» умираетъ капитанъ, въ «Набѣгѣ»—поручикъ Аланинъ. Лермонтовъ говоритъ про капитана:

Въ груди его *едва* чернѣли  
Двѣ *ранки*; кровь его *чуть-чуть*  
Сочилась. (II, 303).

Та же деталь у Толстого: «На бѣлой рубашкѣ подъ разстегнутымъ сюртукомъ виднѣлось *небольшое кровавое пятнышко*». (II, 25). Эти характерныя подробности—признаки глубокаго духовнаго родства обоихъ художниковъ. На груди только ранка, только небольшое красное пятнышко, кровь чуть-чуть сочится... а человекъ умираетъ, съ каплями крови уходитъ жизнь; такъ и въ «Дарахъ Терека»:

На грудь изъ *малой раны*  
Струйка алая бѣжитъ. (II, 260).

И въ пророческомъ «Слѣ»:

Глубокая еще дымилась рана,  
*По капль* кровь сочилась моя. (II, 340).

Человекъ умираетъ, бой конченъ, и передъ нами уже не люди-звѣри, а просто люди. Еще недавно рѣзались они «молча, съ грудью грудь», а теперь безмолвіе нарушено, и слышатся скорбныя, за душу хватающіе, тихіе стоны:

„Спасите, братцы! тащатъ въ горы...  
Постойте! гдѣ же генераль?..  
Не слышу...“ Долго онъ стоналъ,

Но все слабѣй, и понемногу  
Затихъ — и душу отдалъ Богу. (II, 303, 304).

И сподвижники умирающаго—они тоже теперь не звѣри:

Мрачно, грубо  
Казалось выраженье лицъ,  
Но слезы капали съ рѣсницъ,  
Покрытыхъ пылью. (II, 303).

Капитанъ умеръ.

Кругомъ  
Стояли усачи сѣдые  
И тихо плакали... (II, 304).

Описывая смерть Аланина, Толстой даетъ ту же, лермонтовскую картину. Умирающій окруженъ участниками стычки, выказывающими ему свое искреннее участіе:

— «Ахъ, какая жалость! — сказалъ я, невольно отворачиваясь отъ этого печальнаго зрѣлища.

— Извѣстно, жалко, — сказалъ *старый солдатъ*, который съ *угрюмымъ видомъ*, *облокотясь на ружье*, стоялъ подлѣ меня». (II, 26).

У Лермонтова тѣ же подробности:

*На ружья опершись, кругомъ*  
*Стояли усачи сѣдые*  
И тихо плакали... (II, 304).

И видъ у нихъ былъ если не «угрюмый», то «мрачный, грубый»; въ сущности, это одно и то же; Лермонтовъ и Толстой указываютъ на особенность простого русскаго человѣка: съ виду грубый, угрюмый, молчаливый, онъ таитъ въ душѣ добрыя, теплыя чувства. При видѣ страданій Аланина, этого милаго, наивнаго, задорнаго юноши, даже у капитана «на всегда равнодушно-холодномъ лицѣ... выразилось искреннее сожалѣніе». (II, 26).

Звѣрскій порывъ проходитъ, люди только на время становятся свирѣпыми,—вотъ что до извѣстной степени оправдываетъ человѣка въ глазахъ Лермонтова и Толстого; вотъ

почему «Валерикъ» и «Набѣгъ» проникнуты не негодова-  
ніемъ, не презрѣніемъ, а грустью, въ которой есть что-то  
примиряющее.

Дикія вспышки злыхъ чувствъ и смѣняющія ихъ чувства  
добрыя—наводятъ поэта на размышленія: почему человѣкъ  
такъ мятеженъ, непостояненъ? Тамъ, вдали—горы, вѣчно-  
спокойныя, гордыя, вѣчно-прекрасныя; надъ ними небо, та-  
кое же прекрасное и чистое; а люди...

Съ грустью тайной и сердечной  
Я думалъ: жалкій человѣкъ...  
Чего онъ хочетъ?.. Небо ясно,  
Подъ небомъ мѣста много всѣмъ, —  
Но безпрестанно и напрасно  
Одинъ враждуетъ онъ... *Зачѣмъ?*.. (II, 304).

Этотъ вопросъ не впервые всталъ передъ Лермонтовымъ;  
«Валерикъ» написанъ въ 1840 г., а поэтъ еще въ 1831 году,  
въ «Ангелѣ Смерти», говорилъ:

*Зачѣмъ* въ долинѣ сокровенной  
Отъ миртовъ дышетъ ароматъ?  
*Зачѣмъ?*.. Властители вселенной,  
Природу люди оскверняютъ. (I, 321).

Правда, эти стихи ближе къ «Тремъ пальмамъ», нежели  
къ «Валерику», но смыслъ ихъ тотъ же: безпокойный, склон-  
ный ко злу человѣкъ противопоставляется неизмѣнно-пре-  
красной и безмятежной природѣ. И въ «Ангелѣ Смерти», и  
въ «Валерикѣ» очень характерно это «зачѣмъ?», которое  
звучитъ безконечной печалью и тоской.

Слова Лермонтова буквально повторяются Толстымъ въ  
«Набѣгѣ»:

«Природа дышала примирительно красотой и силой.

*Неужели тѣсно жить людямъ на этомъ прекрасномъ свѣ-  
тѣ, подъ этимъ неизмѣримымъ звѣзднымъ небомъ? Неужели  
можетъ среди этой обаятельной природы удержаться въ  
душѣ человѣка чувство злобы, мщенія или страсти истре-  
бленія себѣ подобныхъ?»* и т. д. (II, 17). Ср. еще: «*Зачѣмъ,*

для кого мнѣ убивать и быть убитому? Убивайте, кого хотите; дѣлайте, что хотите, а я не хочу больше!» Мысль эта къ вечеру одинаково созрѣла въ душѣ каждаго. Всякую минуту могли всѣ эти люди ужаснуться того, что они дѣлали, бросить все и побѣжать, куда попало». (VI, 214). Эти мысли служатъ признакомъ моральнаго и физическаго переутомленія, испытываемаго къ концу боя. Сражавшіеся подъ Бородинымъ, какъ описываетъ ихъ Толстой, къ вечеру имѣли видъ испуганный, изнуренный; они были лишены пищи и отдыха; продолжая сражаться, они отъ изнеможенія спотыкались на ходу и задыхались. (VI, 214). Лермонтовъ тоже говорить о такой усталости:

И зной и битва утомили  
Меня. (II, 303).

Вариантъ:

Тогда, на самомъ мѣстѣ сѣчи,  
У батареи я прилегу,  
Безъ силъ и чувствъ; я изнемогу.

Или:

Тогда довольно равнодушно  
На батарею я прилегу.  
Признаться вамъ, я изнемогу,  
Хотѣлось спать и было душно. (II, 470).

«Набѣгъ» заканчивается описаніемъ наступленія вечера, полного умиротворяющей красоты; здѣсь Толстой опять какъ бы повторяетъ то, что уже сказано въ «Валерикѣ»; онъ говоритъ: «Солнце скрылось за снѣговымъ хребтомъ и бросало послѣдніе розовые лучи на длинное, тонкое облако, остановившееся на ясномъ, прозрачномъ горизонтѣ. Снѣговья горы начинали скрываться въ лиловомъ туманѣ; только верхняя линія ихъ обозначалась съ чрезвычайною ясностью на багровомъ свѣтѣ заката. Давно взошедшій прозрачный мѣсяцъ начиналъ бѣлѣть на темной лазури». (II, 27).

У Лермонтова:

Вдали, грядой нестройной,  
 Но вѣчно гордой и спокойной,  
 Въ своемъ нарядѣ снѣговомъ<sup>1)</sup>,  
 Тянулись горы, и Казбекъ  
 Сверкаль главой остроконечной.  
 ...Небо ясно... (II, 304).

Оба, какъ мы видимъ, любятъ послѣ боя снѣговыми горами и яснымъ небомъ, т.-е.—тѣмъ, что недоступно—высоко и потому-то такъ прекрасно и спокойно. Аналогичная мысль—въ «Красномъ смѣхѣ» Андреева: «На улицѣ я взглянулъ въ ту сторону неба, гдѣ была война — тамъ все было спокойно, и ночныя, желтыя отъ огней облака ползли медленно и спокойно. «Быть можетъ, все это сонъ и никакой войны нѣтъ?»—подумалъ я, обманутый спокойствіемъ неба и города. Но изъ-за угла выскочилъ мальчишка, радостно крича:

— Громовое сраженіе.—Огромныя потери. Кушите телеграмму—ночную телеграмму!

У фонаря я прочелъ ее. Четыре тысячи труповъ. Въ театрѣ было, вѣроятно, не болѣе тысячи человекъ. И всю дорогу я думалъ: «четыре тысячи труповъ». (Сборникъ т-ва «Знаніе», III, 328).

Укажемъ еще нѣкоторыя черты «Набѣга», приближающія Толстого къ Лермонтову. Въ «Набѣгѣ» авторъ разсуждаетъ о храбрости съ капитаномъ Хлоповымъ, и тотъ разсказываетъ объ испанцѣ, котораго онъ зналъ, который ходилъ въ синемъ плащѣ, а въ сраженіи все, бывало, бросался впередъ, гдѣ шла перестрѣлка.

— «Такъ, стало-быть, храбрый,—сказалъ я.

— Нѣтъ, это не значитъ храбрый, что суется туда, гдѣ его не спрашиваютъ»... (II, 7).

1) Есть предположеніе, что этотъ стихъ не принадлежитъ Лермонтову (см. собр. соч. Л—ва подъ ред. Висковатова, I, 375; собр. соч. Л—ва подъ ред. Болдакова, II, 387); въ Академическое изданіе онъ, однако, внесенъ безъ оговорокъ.

Это напоминает Грушицкаго; правда, онъ не носилъ синяго плаща, по рисовался и въ шпелли, и увѣрялъ себя и другихъ, «что онъ существо, не созданное для мѣра»; это былъ одинъ изъ тѣхъ людей, для которыхъ производить эффектъ — наслажденіе; замѣчаніе Печорина о храбрости Грушицкаго совпадаетъ со словами капитана Хлопова. «Грушицкій слыветъ отличнымъ храбрецомъ; я его видѣлъ въ дѣлѣ: онъ махаетъ пашкой, кричитъ и *бросается впередъ*, закурмя глаза. *Это что-то не русская храбрость!..*» (IV, 206). Въ «Набѣгѣ» же Толстой рассказываетъ про поручика Розенкранца, по характеру и привычкамъ похожаго — отчасти на Грушицкаго, отчасти на Печорина. «Это былъ одинъ изъ пашихъ молодыхъ офицеровъ, удалцовъ-джигитовъ, образовавшихся по Марлинскому и *Лермонтову*. Эти люди смотрятъ на Кавказъ не иначе, какъ сквозь призму *«героевъ нашего времени»*, Мулла-Нуровъ и т. п., и во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ руководствуются не собственными наклонностями, а примѣромъ этихъ образцовъ». (II, 11). Ссылка на Лермонтова характерна; Толстой самъ связываетъ съ его именемъ свой рассказъ.

Духовное сродство капитана Хлопова съ Максимомъ Максимычемъ замѣчено еще Дудышкинымъ (см. Зелинскій. «Русская критич. литер. о произведеніяхъ М. Н. Т.» Ч. I. М. 1903 г., 23, 37).

«Я видѣлъ, какъ ядромъ убило солдата», говоритъ Толстой. «Но зачѣмъ рассказывать подробности этой страшной картины, когда я самъ дорого бы далъ, чтобы забыть ее!» (II, 24). Не то же ли читаемъ у Лермонтова?

Вы едва-ли

Вблизи когда-нибудь видали,  
Какъ умирають. Дай вамъ Богъ  
И не видать: иныхъ тревогъ  
Довольно есть. Въ самозабвеньи  
Не лучше-ль кончить жизни путь?.. (II, 305).

Ниже мы остановимся еще на нѣкоторыхъ существенныхъ общихъ чертахъ «Набѣга» и произведеній Лермонтова,

а здѣсь укажемъ на два любопытныхъ штриха. Толстой въ «Набѣгѣ» упоминаетъ про «далекій заунывный вой шакаловъ, похожій то на отчаянный плачь, то на хохотъ» (II, 17); та же подробность въ «Хаджи-Муратѣ»—«послышался вой, визгъ, плачь, хохотъ шакаловъ» (XII, 11; см. еще—19). У Лермонтова въ «Мцыри» нѣчто тождественное:

Порой въ ущелии шакаль  
Кричалъ и плакалъ какъ дитя. (II, 316) 1).

Толстой въ «Набѣгѣ» описываетъ рѣчку, находившуюся въ разливѣ. «Стада дикихъ голубей вились около нея: то сажались на каменный берегъ, то, поворачиваясь на воздухъ и дѣлая быстрые круги, улетали изъ вида». (II, 9). Такая же картина есть у Лермонтова: Аргуна,

По гладкимъ камнямъ въ бездну ниспадая,  
Теряется во мракъ, и надъ ней  
Съ прощальнымъ воркованьемъ вьется стая  
Пугливыхъ, сизыхъ, вольныхъ голубей... (II, 42).

Рѣшеніе вопроса о вліяніи Лермонтова на Толстого осложняется тѣмъ, что послѣдній, какъ извѣстно, недолюбливалъ стиховъ<sup>2)</sup>; но Лермонтова онъ, конечно, долженъ былъ хорошо знать; къ нему онъ чувствовалъ особое влеченіе. Сходство «Набѣга» съ «Валерикомъ» въ значительной степени объясняется тѣмъ, что Лермонтовъ и Толстой сами были на Кавказѣ, принимали участіе въ стычкахъ съ горцами, жили въ однихъ и тѣхъ же условіяхъ, и въ силу одинаковаго душевнаго уклада, останавливались нерѣдко на однихъ и тѣхъ же мотивахъ, а при разработкѣ сюжетовъ—на однихъ и тѣхъ же подробностяхъ. Упоминаніе о генералѣ, сидящемъ на барабанѣ, солдатѣ, опирающемся на ружье, о дикихъ голубяхъ надъ рѣкой и т. п.—прямого от-

1) Ср. —, «Засыпалъ подь крикъ шакаловъ» (изъ письма къ Раевскому, IV, 330).

2) См. напр., Бирюковъ, I, 133.— Это, однако, не мѣшало ему писать остроумные шуточные стихи, восхищаться лирикой Пушкина, Фета и др. поэтовъ.

пошенія къ идеѣ разсказовъ не имѣютъ; это видѣншее сходство. Но когда Лермонтовъ и Толстой говорятъ, что солдатъ, опиравшійся на ружье, былъ *старъ* и *угрюмъ*; что смертельныя раны капитана и поручика были *чуть-чуть* замѣтны; что люди, сражаясь, превращаются въ *звѣря*, а потомъ *скорбятъ* и *плачутъ*; что послѣ утомительнаго, жестокаго боя взоры человѣка, пролившаго братскую кровь, тянутся къ *небу*, и возникаетъ неотвязный вопросъ: *зачѣмъ мы враждуемъ*, если въ природѣ вѣчная *гармонія*, если на землѣ необъятный *просторъ*?—мы имѣемъ дѣло съ явленіями очень знаменательными; это уже признаки вліянія Лермонтова (вліянія, шедшаго, быть можетъ, скрытымъ путемъ, порою несознаваемаго самимъ Толстымъ), а также слѣдствіе одинаковаго духовнаго уклада обоихъ геніевъ. Нельзя сомнѣваться въ томъ, что слова Лермонтова:

*И съ грустью тайной и сердечной  
Я думалъ: жалкій человѣкъ...  
Чего онъ хочет?.. Небо ясно,  
Подъ небомъ мѣста много всѣмъ,—  
Не безпрестанно и напрасно  
Одинъ враждуетъ онъ... Зачѣмъ?..*

оказали неотразимое впечатлѣніе на Толстого глубиной, гуманностью и кристальной ясностью идеи. Лермонтовскую формулу Толстой воспринялъ всѣмъ своимъ существомъ; она сквозитъ въ «Набѣгѣ», въ севастопольскихъ очеркахъ, она такъ и мелькаетъ на страницахъ «Войны и мира».

Николай Ростовъ въ первый разъ принималъ участіе въ перестрѣлкѣ. Онъ «отвернулся и, какъ будто отыскивая чего-то, сталъ смотрѣть на даль, на воду Дуная, на небо, на солнце. Какъ хорошо показалось небо, какъ глубоко, спокойно и глубоко! Какъ ярко и торжественно опускающееся солнце! Какъ ласково-глянцевито блестяла вода въ далекомъ Дунаѣ! И еще лучше были далекія, голубющія за Дунаемъ горы, монастырь, таинственныя ущелья, залитые до макушъ туманомъ сосновые лѣса... Тамъ тихо, счастливо... «Ничего, ничего бы я не желалъ, ничего

бы не желалъ, ежели бы я только былъ тамъ,—думалъ Ростовъ.—Во мнѣ одномъ и въ этомъ солнцѣ такъ много счастья, а тутъ... стоны, страданія, страхъ, и эта неясность, эта поспѣшность... Вотъ опять кричатъ что-то, и опять всѣ побѣжали куда-то назадъ, и я бѣгу съ ними, и вотъ она, вотъ она, смерть, надо мной, вокругъ меня... Мгновеніе—и я никогда уже не увижу этого солнца, этой воды, этого ущелья»...

Въ эту минуту солнце стало скрываться за тучами; впереди Ростова показались другія носилки. И страхъ смерти и носилокъ, и любовь къ солнцу и жизни,—все слилось въ одно болѣзненно-тревожное впечатлѣніе.

«Господи Боже! Тотъ, Кто тамъ въ этомъ небѣ, спаси, прости и защити меня!» прошепталъ про себя Ростовъ». (IV, 141).

Та же жажда жизни просыпается въ душѣ князя Андрея во время Бородинскаго сраженія: «Я не могу, я не хочу умереть, я люблю жизнь, люблю эту траву, землю, воздухъ»... (VI, 206).

Развѣ это не лермонтовское? Всѣ элементы «Валерика» налицо: бой... раненые... челобѣтъ, тоскливо поднимающій взоры къ небу и думающій: зачѣмъ этотъ ужасъ, когда жизнь можетъ быть счастливой, когда природа прекрасна и спокойна?.. Даже обстановка въ первомъ отрывкѣ та же: лѣса, рѣка, горы, ясное небо.

Князь Андрей былъ раненъ и упалъ съ лошади. «Надъ нимъ не было ничего уже, кромѣ неба—высокаго неба, не яснаго, но все-таки неизмѣримо высокаго, съ тихо ползущими по немъ сѣрыми облаками. «Какъ тихо! спокойно и торжественно, совсѣмъ не такъ, какъ я бѣжалъ», подумалъ князь Андрей,—не такъ, какъ мы бѣжали, кричали и дрались; совсѣмъ не такъ, какъ съ озлобленными и испуганными лицами тащили другъ у друга банникъ французъ и артиллеристъ,—совсѣмъ не такъ ползутъ облака по этому высокому безконечному небу. Какъ же я не видалъ прежде этого высокаго неба? И какъ я счастливъ, что узналъ его наконецъ. Да! все пустое, все обманъ, кромѣ этого

безконечнаго неба. Ничего, ничего нѣтъ, кромѣ него. Но и того даже нѣтъ, ничего нѣтъ, кромѣ тишины, успокоенія. И слава Богу!.. (IV, 267). Опять развитіе мысли, высказанной впервые Лермонтовымъ. Размышленія Болконскаго напоминаютъ не только мотивъ «Валерика». Въ стихотвореніи «Выхожу одинъ я на дорогу» поэтъ тоже восхищается торжественнымъ небомъ и при видѣ его размышляетъ о диссонансѣ между невозмутимо-спокойной природой и мятельнымъ человѣкомъ. Опъ тоже любилъ облака, плывущія по небу, завидовалъ ихъ безстрастію и свободѣ («Тучи», «На воздушномъ океанѣ»).

На полѣ битвы князь Андрей, раненый, впадаетъ въ забытіе, потомъ приходитъ въ сознаніе. «Гдѣ оно, это высокое небо, которое я не зналъ до сихъ поръ и увидалъ нынче?» было первою его мыслью... Надъ нимъ было опять все то же высокое небо съ еще выше поднявшимися плывущими облаками, сквозь которыя виднѣлась снѣжная безконечность». (IV, 276, 277). Грезы о небѣ такъ заполнили его душу, терзаемую, къ тому же, физическимъ страданіемъ, что даже Наполеонъ, подѣхавшій къ нему, Наполеонъ, котораго онъ прежде боготворилъ, кажется ему ничтожнымъ (IV, 277, 279).

Тяготѣніе къ небу навсегда осталось въ душѣ Болконскаго, напоминая ему о чемъ-то радостномъ и молодомъ; «чувство это исчезло, какъ скоро князь Андрей вступилъ опять въ привычныя условія жизни; но онъ зналъ, что это чувство, которое онъ не умѣлъ развить, жило въ немъ». (V, 95). Стремленіе къ небу, этому символу недостигаемой, неизмѣнной, влекущей къ себѣ красоты, живетъ и въ душѣ Пьера. Однажды фхалъ онъ на паромѣ съ Болконскимъ и говорилъ о будущей жизни, о Богѣ. «Надо жить, надо любить, надо вѣрить,—говорилъ Пьеръ,—что живемъ не нынче только на этомъ клочкѣ земли, а жили и будемъ жить вѣчно, тамъ, во всемъ (онъ указалъ на небо).» Князь смотрѣлъ на воду, и ему казалось, что волны говорили: «правда, вѣрь этому». (V, 94, 95). Это роднитъ Безухова и Болконскаго съ героями Лермонтова (Мицри, Печори-

нымъ и др.), которые любили и такъ глубоко чувствовали красоту безконечнаго неба. Въ разсказѣ «Севастополь въ декабрѣ 1854 года», написанномъ послѣ «Набѣга», но до «Войны и мира», Толстой касается того же вопроса. Онъ говоритъ, что, находясь въ лазаретѣ, вы приходите въ ужасъ отъ зрѣлища нестерпимыхъ человѣческихъ страданій; но стоитъ выйти на свѣжій воздухъ, и видъ чистаго неба, сіяющаго солнца, городской сутолоки—отгонитъ печальныя мысли, вернетъ вамъ прежнее спокойное состояніе духа (II, 147, 148). Въ другомъ разсказѣ—«Севастополь въ маѣ 1855 года»—описывается цвѣтушая долина, на которой лежатъ свѣжія окровавленные тѣла,—жертвы войны; а надъ этой долиной, надъ этими трупами,—вспыхиваетъ зарница, мерцаютъ блѣднѣющія звѣзды, и всходитъ ликующее, радостное солнце (II, 177).

Лермонтовская формула принята у насъ не однимъ Толстымъ. У Огарева встрѣчаемъ слѣдующіе стихи:

...Себялюбивая природа  
 Блится дивною красой  
 Средь жизни вѣчно молодой.  
 И безъ участія глядитъ,  
 Какъ мимо съ вѣчною тоскою,  
 Вѣнцомъ страдальческимъ покрытъ,  
 Дыша сердитою враждою,  
 Не выпуская мечъ и щитъ,  
 Окровавленную стопою  
 Идетъ угрюмъ изъ вѣка въ вѣкъ  
 Себялюбивый человѣкъ. (Огаревъ, II, 90).

Ср. еще:

Былъ тихъ и шумень древній лѣсъ  
 И вѣялъ влагою смолистой.  
 Я сквозь навѣсъ его иглистый  
 Глядѣлъ далеко въ глубь небесъ:  
*Зачѣмъ же въ людяхъ плачь и горе*  
 И бури на житейскомъ морѣ?.. (Огаревъ, II, 377).

Голенищевъ - Кутузовъ во время войны за освобожденіе болгаръ писалъ:

...Насъ прелестью убійствъ дразнилъ далекій бой!  
Хотѣлось драться намъ — и мы кричали смѣло:  
„Въ отмщеніе небесъ поруганныхъ — впередъ!“  
*А небо ясное безоблачно синѣло;*  
Въ немъ заводился звѣздъ обычный хороводъ.  
И ночь тиха была, и мѣсяцъ безпристрастно  
На праведныхъ и злыхъ взирая съ высоты, —  
„Не полно-ль убивать другъ друга вамъ напрасно?“  
Шепталъ съ улыбкою добра и красоты.

(Г.-К., I, 43).

Гаршинъ, принимавшій участіе въ этой войнѣ, рассказываетъ: «Я лежалъ на спинѣ и *смотрѣлъ сквозь вѣтви на потемнѣвшее небо*. Гигантскіе, въ шесть обхватовъ стволы уходили вверхъ, вѣтвились, переплетались. Только кое-гдѣ выглядывала звѣздочка на черно-синемъ небѣ, и далеко-далеко казалась она на днѣ какой-то бездны и *мирно* посматривала оттуда. *А выстрѣлы все гремѣли и гремѣли*». ('«Аясларское дѣло» Соч., 384).

Природа спокойна и вѣчно-хороша, и эта гармонія, эта красота тѣмъ сильнѣе влекутъ человѣка, чѣмъ ужаснѣе окружающая его жизнь; по своей слабости онъ не можетъ не отдать дани злу, но совѣсть терзаетъ, и еще сильнѣе, хотя и безнадежно, стремится онъ грѣшной, смятенной душою къ небу.

Многіе поэты говорятъ, что природа не такъ безстрастна, какъ это кажется. Имъ чудится, что звѣзды нашептываютъ:

Мы здѣсь горимъ, чтобъ въ сумракъ непроглядный  
Къ тебѣ просился беззакатный день.  
Вотъ почему, когда дышать такъ трудно,  
Тебѣ отраднo такъ поднять чело  
Съ лица земли, гдѣ все темно и скудно,  
Къ намъ, въ нашу глубь, гдѣ пышно и свѣтло.

(Фетъ. „Среди звѣздъ“).

Мѣсяцъ, глядя на сражающихся людей, говоритъ:

„Не полно-ль убивать другъ друга вамъ напрасно?“

(Г.К., I, 43).

Толстой описываетъ, какъ къ концу Бородинской битвы «собрались тучки, и сталъ накрапывать дождикъ на убитыхъ, на раненыхъ, на испуганныхъ и на изнуренныхъ, и на сомнѣвающихся людей. Какъ будто онъ говоритъ: «Довольно, довольно, люди. Перестаньте... Опомнитесь. Что вы дѣлаете?» (VI, 214). Въ человѣкѣ издревле коренится вѣра въ сочувствіе природы; напр., «Слово о полку Игоревѣ» говоритъ: «Никнетъ трава отъ жалости, и дерево съ печалью къ землѣ приклонилось». Аналогичные мотивы встрѣчаемъ въ эпосахъ другихъ народовъ.

Иногда ликованіе природы вызываетъ грустныя мысли о томъ, что человѣкъ слишкомъ далекъ отъ идеала добра; въ «Пѣснѣ про купца Калашникова» поэтъ говоритъ передъ описаніемъ кулачнаго боя:

Тучки сѣрѣя разгоняючи,  
Заря алая подымается;  
Разметала кудри золотистыя,  
Умывается снѣгами разсыпчатыми,  
Какъ красавица, глядя въ зеркальце,  
Въ небо чистое смотреть, улыбается.  
*Ужъ зачѣмъ ты, алая заря, просыпалася?  
На какой ты радости разыгралася?* (II, 224),

Рисуя ужасы войны, поэты часто, для контраста, противопоставляютъ человѣку, обуреваемому злыми инстинктами,—цвѣты, какъ символъ всего, что есть въ природѣ иѣжнаго, прелестнаго, хрупкаго.

Зачѣмъ въ долинѣ сокровенной  
Отъ миртовъ дышетъ аромать?  
Зачѣмъ?.. Властители вселенной,  
Природу люди оскверняютъ.  
Цвѣтокъ измятый обагрится  
Ихъ кровью... (Л., I, 321).

Толстой, своеобразно развивая эту идею, дает потрясающую картину: «Посмотрите лучше на этого десятилѣтняго мальчишку, который въ старомъ-должно-быть, отцовскомъ—картузѣ, въ башмакахъ на босу ногу и нанковыхъ штанишкахъ, поддерживаемыхъ одною помочою, съ самаго начала перемирія вышелъ за валъ и все ходилъ по лощинѣ, съ тупымъ любопытствомъ глядя на французовъ и на трупы, лежащія на землѣ, и набиралъ *полевые, голубые цвѣты, которыми усыпана эта долина. Возвращаясь домой съ большимъ букетомъ, онъ, закрывъ носъ отъ запаха, который наносило на него вѣтромъ*, остановился около кучки снесенныхъ тѣлъ и долго смотрѣлъ на одинъ страшный безголовый трупъ, бывший ближе къ нему. Постоявъ довольно долго, онъ подвинулся ближе и дотронулся ногой до вытянутой окоченѣвшей руки трупа. Рука покачнулася пемного. Онъ тронулъ ее еще разъ и крѣпче. Рука покачнулася и опять стала на свое мѣсто. Мальчикъ вдругъ вскрикнулъ, *спряталъ лицо въ цвѣты* и во весь духъ побѣжалъ прочь, къ крѣпости». (II, 181).

Ср. у Надсона:

Вчера здѣсь былъ разгаръ кровопролитной битвы,  
А завтра—расцвѣтутъ душистые цвѣты. (Надсонъ, 117) <sup>1)</sup>.

Ср. еще:

Цвѣты и пушки—пестрое смѣшенье!  
На дняхъ здѣсь было жаркое сраженье...  
Какъ странны люди: въ сердцѣ ихъ царятъ  
Вражда и нѣжность, дружество и мщенье.  
(Шуфъ, „Блокгаузъ“).

Говоря о войнѣ, поэты и писатели перѣдко для контраста упоминаютъ и о дѣтяхъ; вѣдь дѣти такъ же чисты и прекрасны, какъ цвѣты. Война, съ ея насиліемъ, ужасомъ, непонятна дѣтямъ. У Толстого барчукъ Миша говоритъ запасному солдату Гаврилѣ, котораго берутъ на войну:

<sup>1)</sup> Эта тема оригинально и глубоко развита Сюлли-Прюдомомъ въ стихотвореніи „Цвѣты“ (см. С.-Пр., Стих., СПб., 1911 г., 133).

«Да вѣдь тебѣ не хочется идти?»

Гаврила. Кому же хочется жену, дѣтей бросать. Да и самому развѣ охота послѣ жисти хорошей.

Миша. Такъ зачѣмъ же ты идешь? Ты скажи, что «не хочу», и не иди. Что же они тебѣ сдѣлають?»

Гаврила (*смѣется*). Что сдѣлають? Силой потащатъ.

Миша. Да кто же тебя потащитъ?

Гаврила. Да такіе же вотъ, какъ я...<sup>1)</sup> («Дѣтская мудрость»).

Дѣти подрастають, и постепенно ихъ свѣтлыя, ангельскія души затемняются зломъ жизни. Мцыри уже ребенкомъ мечталъ про «битвы чудныя», въ которыхъ онъ всѣхъ побѣждалъ (II, 324). Подражая во всемъ «большимъ», Карлхенъ (9 лѣтъ) и Петя (10 лѣтъ) ведутъ серьезный разговоръ о войнѣ. «У каждаго свое войско, каждый собираетъ отъ своихъ подати», говорятъ они.

«Не понимаю, зачѣмъ врозь», вставляетъ 8-лѣтняя Маша. — «Развѣ не лучше всѣмъ вмѣстѣ?»

«Петя Орловъ. Это играть въ игрушки лучше вмѣстѣ, а это не игрушки, а важныя дѣла.

Маша Орлова. Не понимаю<sup>2)</sup>».

Карлхенъ Шмитъ. Вырастешь—поймешь.

Маша Орлова. Такъ не хочу и вырастать.

Петя Орловъ. Маленькая, а ужъ упрямая, какъ всѣ онѣ». («Дѣтская мудрость»).

Въ этихъ геніальныхъ эскизахъ ясно обрисовываются силуэты будущихъ взрослыхъ людей. Петя и Карлхенъ сами станутъ воевать или другихъ пошлютъ, а Маша,—уже жена или мать,—испытаетъ всю боль разлуки съ близкими—братомъ, мужемъ или сыномъ, ушедшими на войну. Тотъ же художественный приѣмъ въ «Красномъ смѣхѣ»; Андреевъ говоритъ: «Эти дѣти, эти маленькія, еще невинныя

1) Въ неоконченномъ произведеніи „Нѣтъ въ мірѣ виноватыхъ“ Толстой говоритъ о человѣкѣ, который отважился въ воинскомъ присутствіи заявить, что онъ здоровъ, а присягать и оружія брать не можетъ „по своей убѣжденіи“. Этотъ же вопросъ затронутъ въ драмѣ „И свѣтъ во тьмѣ свѣтитъ“.

2) Ср. стихотвореніе Бенедиктова „Война“.

дѣти. Я видѣлъ ихъ на улицѣ, когда они играли въ войну и бѣгали другъ за другомъ и *кто-то ужъ плакалъ тоненькимъ дѣтскимъ голосомъ*—и что-то дрогнуло во мнѣ отъ ужаса и отвращенія. И я ушелъ домой, и ночь настала— и въ огненныхъ грезахъ, похожихъ на пожаръ среди ночи, эти маленькія, еще невинныя дѣти превратились въ полчища дѣтей-убійць». (Сборн. Т-ва «Знаніе», III, 329). Мальчикъ, разносчикъ телеграммъ, *радостно* выкрикиваетъ сообщеніе про кровопролитное сраженіе (тамъ же, 328). На этотъ жгучій вопросъ Бальмонтъ отозвался превосходнымъ стихотвореніемъ «Это было»; приводимъ изъ него наиболѣе характерное:

*... Даже дѣти—дѣтства лишены,  
И въ войну играютъ въ дѣтской, слыша рѣзкій свистъ Войны.  
... О, безумны тѣ, что шутятъ силою Огня.  
Бойтесь жизни больше казни, разъ убійство шутка дня.  
Подождите! Бой неравенъ. Пресѣките нить.  
Лучше быть сто разъ убитымъ, чѣмъ хоть разъ одинъ убить.  
Подождите! Претерпите пытку до конца.  
Я клянусь вамъ: будетъ праздникъ Озареннаго Лица.  
Но въ то время, какъ я спорю съ вихрями временъ,  
Отъ разстрѣловъ и пожаровъ сталъ весь красный небосклонъ.  
И въ то время, какъ на нивѣ въ макахъ вся межа,  
Мальчикъ мой принесъ изъ дѣтской два блестящіе ножа.*

Иногда и дѣти идутъ на войну. Ну, какимъ воиномъ могъ быть Петя Ростовъ, этотъ мальчикъ «съ широкимъ румянымъ лицомъ и быстрыми, веселыми глазами» <sup>1)</sup>? Изъ подражанія взрослымъ онъ пошелъ на войну; рвется въ огонь, а самъ полонъ «нѣжной любви ко всѣмъ людямъ» <sup>2)</sup> и съ болью въ сердцѣ смотритъ на плѣннаго барабанщика—мальчугана. Онъ въ восторгѣ отъ того, что попалъ въ отрядъ Денисова и Долохова, съ которыми пойдетъ на французовъ завтра же, онъ съ дѣтскимъ смущеніемъ проситъ казака наточить свою саблю, угощаетъ офицеровъ

<sup>1)</sup> VII, 105.

<sup>2)</sup> VII, 111.

изюмомъ—«чудеснымъ», «безъ косточекъ». «Я привыкъ что-нибудь сладкое»<sup>1)</sup>, замѣчаетъ онъ... А раннимъ утромъ онъ былъ убитъ, и Денисовъ, глядя на «запачканное кровью и грязью, уже поблѣднѣвшее лицо Пети», напоминаетъ его слова: «Я привыкъ что-нибудь сладкое. Отличный изюмъ, берите весь». (VII, 123). Пьеръ впоследствии рассказывалъ Наташѣ: «Вы знаете, что это было въ тотъ самый день, какъ насъ освободили. Я видѣлъ его. Какой былъ прелестный мальчикъ!.. Что можно сказать или подумать въ утѣшеніе? *Ничего. Зачѣмъ было умирать такому славному, полному жизни мальчику?*» (VII, 177).

Ребенокъ, испугавшись мертвыхъ тѣлъ, прячетъ лицо въ букетъ цвѣтовъ и бѣжитъ. Съ поля битвы въ страхъ бѣгутъ даже воины:

Гарунъ бѣжалъ быстрѣ лани,  
 Быстрѣй, чѣмъ заяцъ отъ орла,—  
*Бѣжалъ онъ въ страхъ съ поля брани,*  
 Гдѣ кровь черкесская текла.  
 Отецъ и два родные брата  
 За честь и вольность тамъ легли,  
 И подъ пятой у супостата  
 Лежать ихъ головы въ пыли.  
*Ихъ кровь течетъ и проситъ мщенья.*  
*Гарунъ забылъ свой долгъ и стыдъ:*  
 Онъ растерялъ въ пылу сраженья  
 Винтовку, шапку, и бѣжитъ... (Л., II, 263, 264)<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> VII, 112.

<sup>2)</sup> Ср. стихи Горация, переведенные Пушкинымъ:

Ты помнишь часъ ужасной битвы,  
 Когда я, трепетный квирить,  
 Бѣжалъ, нечестно броса щить,  
 Творя обѣты и молитвы?  
 Какъ я боялся, какъ бѣжалъ! („Изъ Горация“).

Ср. у Гаршина: солдатъ говоритъ ополченцу-„барину“: „Вы меня держите, ежели чгò. Ужъ я бывалъ, знаю. Ну, да у насъ барицъ молодець, не побѣгитъ. А то былъ такой до васъ вольноопредѣляющій, такъ тотъ, какъ пошли мы, какъ начали пули летать, бросилъ онъ и сумки и ружье, и побѣгъ, а пуля ему вдогонку, да въ спину. Такъ нельзя, потому — присяга“. („Трусъ“.—Соч., 134).

Въ этихъ немногихъ словахъ поэтъ сумѣлъ сказать очень много. Гарунъ—горецъ; какъ извѣстно, горцы въ кавказской войнѣ отличались большой отвагой; воинственный духъ воспитывался въ нихъ съ дѣтскаго возраста. Но страхъ, объявшій Гаруна, такъ великъ, что Гарунъ забываетъ про долгъ по отношенію къ родинѣ, по отношенію къ отцу и братьямъ (мщеніе); его не остановитъ мысль о томъ, что его бѣгство позорно. Онъ бѣжитъ; бѣжитъ потому, что молодъ, и ему хочется жизни и счастья; «здѣсь»—неописуемый ужасъ, одиночество (близкіе убиты), а «тамъ», дома—мать, такъ любящая его и уже лишившаяся мужа и двухъ сыновей; тамъ невѣста; тамъ родные, мирные уголки, связанные съ воспоминаніями дѣтства... Сила страха, какъ это тонко отмѣчаетъ поэтъ, сказывается и въ стремительности бѣга («быстрѣ лани, быстрѣй, чѣмъ заяцъ отъ орла»), и въ растерянности («онъ растерялъ въ пылу сраженія винтовку, шашку»). Эта небольшая поэма названа у поэта «горской легендой»; весьма вѣроятно, что въ основу ея положено какое-нибудь горское преданіе; рассказъ о трусѣ, позорно убѣжавшемъ отъ враговъ, и въ наказаніе за это отвергнутомъ и людьми и Небомъ,— долженъ былъ производить сильное впечатлѣніе на подрастающее поколѣніе, закалять въ немъ мужество, внушать благоговѣйное почитаніе обычаевъ старины. Въ насъ же, какъ и въ самомъ поэтѣ, Гарунъ вызываетъ состраданіе. Изобразивъ трусомъ *горца*, Лермонтовъ не погрѣшилъ противъ истины; такіе случаи бывали, такой случай произошелъ съ знаменитымъ Хаджи-Муратомъ, о чемъ, хотя и вскользь, упоминаетъ Толстой. Хаджи-Муратъ даже среди горцевъ слылъ первымъ джигитомъ, а съ нимъ въ молодости случилось то же, что съ лермонтовскимъ Гаруномъ. Когда при немъ мюриды измѣнчески напали на аварскихъ хановъ (изъ которыхъ одинъ былъ названный братъ Хаджи-Мурата),—юноша, охваченный паническимъ страхомъ, бѣжалъ. Онъ впоследствии откровенно рассказывалъ Лорисъ-Мсликову: «На меня нашелъ страхъ, и я убѣжалъ.

— Вотъ какъ? — сказалъ Лорисъ-Меликовъ. — Я думалъ, что ты никогда ничего не боялся.

— Потомъ никогда. Съ тѣхъ поръ я всегда вспоминалъ этотъ стыдъ и когда вспоминалъ, то уже ничего не боялся». (XII, 43).

На войнѣ чувство страха сообщается и новичкамъ, и людямъ бывалымъ. Младшій Козельцовъ, по пути къ Севастополю, спрашивалъ брата: «А что, скажи по правдѣ, страшно на бастіонахъ?» — «Сначала страшно, потомъ привыкаешь — ничего. Самъ увидишь». (II, 192).

«И къ свисту пули можно привыкнуть, то-есть привыкнуть скрывать невольное біеніе сердца», — говорилъ Максимъ Максимычъ. (Л., IV, 173). Но нескоро пріобрѣтается эта привычка. Приближаясь къ Севастополю, Володя Козельцовъ начинаетъ думать: «Сейчасъ прямо въ Севастополь, въ этотъ адъ... ужасно! Однако все равно, когда-нибудь надо же было. Теперь, по крайней мѣрѣ, съ братомъ...» Только теперь понялъ онъ, что вотъ сейчасъ будетъ въ осажденномъ городѣ; это и смущало, и пугало его. (II, 193). Прибывъ туда, онъ испытываетъ настоящій страхъ. Ему было «ужасно страшно» и хотѣлось *бѣжать* какъ можно дальше. (II, 200). Николай Ростовъ, принимавшій участіе въ стычкѣ съ французами, въ страхѣ бѣжалъ — «съ чувствомъ *зайца, убѣгающаго отъ собакъ* <sup>1)</sup>. Одно нераздѣльное чувство страха за свою молодую, счастливую жизнь владѣло всѣмъ его существомъ. Быстро перепрыгивая черезъ межи, съ тою стремительностью, съ которою онъ бѣгалъ, играя въ горѣлки, онъ летѣлъ по полю, изрѣдка оборачивая свое блѣдное, доброе, молодое лицо, и холодъ ужаса пробѣгалъ по его спинѣ». (IV, 179). Другой трусъ, Гуськовъ, самъ говорилъ о себѣ: «Я знаю, что они меня зовутъ трусомъ; пускай я трусъ, я точно трусъ и не могу быть другимъ». (II, 274). Однажды онъ убѣжалъ изъ секрета, бросивъ ружье (II, 266) <sup>2)</sup>. Передъ первымъ боемъ че-

<sup>1)</sup> Ср.: Быстрѣй, чѣмъ заяцъ отъ орта. (Л., II, 263).

<sup>2)</sup> Ср.: Онъ растерялъ въ пылу сраженія  
Винтовку, шашку, и бѣжить... (II, 264).

ловѣкъ иногда страдаетъ отъ страха сильнѣе, чѣмъ приговоренный къ смерти (II, 242). Толстой рассказываетъ про одного офицера, который по собственному желанію пошелъ на войну. Пока онъ доѣхалъ до Севастополя (путешествіе продолжалось три мѣсяца), пылъ его остылъ, и онъ наслушался отъ очевидцевъ столько страшныхъ разсказовъ, что прибылъ въ этотъ страшный городъ «жалкимъ трусомъ». Онъ былъ бы героемъ, если бы попалъ прямо на бастионы; теперь же «много ему надо было пройти моральныхъ страданій, чтобы сдѣлаться тѣмъ спокойнымъ, терпѣливымъ человѣкомъ въ трудѣ и опасности, какимъ мы привыкли видѣть русскаго офицера». Но даже черезъ три мѣсяца онъ былъ «жесточайшимъ трусомъ» и блѣднѣлъ, когда говорили о выбывшихъ изъ строя. (II, 189, 190). Нерѣдко сильный, безотчетный страхъ проникаетъ въ душу людей храбрыхъ, много разъ бывавшихъ въ огнѣ: «Уже нѣсколько шаговъ только оставалось Калугину перейти черезъ площадку до блиндажа командира бастиона, какъ опять на него нашли затменіе и этотъ глупый страхъ; сердце забилось сильнѣе, кровь хлынула въ голову, и ему нужно было усиліе надъ собою, чтобы пробѣжать до блиндажа»<sup>1)</sup>. (II, 168). «Лица солдатъ были блѣдныя и испуганныя. Чувство страха невольнo сообщалось Козельцову; морозъ пробѣжалъ у него по кожѣ». (II, 225). Этотъ страхъ, какъ электрическимъ токомъ перебѣгающій отъ одного къ другому, можетъ вырваться наружу, и тогда цѣлыя массы людей обращаются въ бѣгство: «Пѣхотные полки, застигнутые врасплохъ въ лѣсу, выбѣгали изъ лѣса, и роты, смѣшиваясь съ другими ротами, уходили безпорядочными толпами. Одинъ солдатъ въ испугѣ проговорилъ страшное на войнѣ и бессмысленное слово: «отрѣзали!» и слово вмѣстѣ съ чувствомъ страха сообщилось всей массѣ.

— Обошли! Отрѣзали! Пропали! — кричали голоса бѣгущихъ,

...Несмотря на отчаянный крикъ прежде столь грознаго

<sup>1)</sup> См. еще—Т., II, 174.

для солдатъ голоса полкового командира, несмотря на разъяренное, багровое, на себя непохожее лицо полкового командира и маханье шпагой, солдаты всѣ бѣжали, разговаривали, стрѣляли въ воздухъ и не слушали команды. Нравственное колебаніе, рѣшающее участь сраженій, очевидно разрѣшалось въ пользу страха». Казалось, дѣло проиграно, но неожиданно появилась рота во главѣ съ безумно рѣшительнымъ и отважнымъ Тимохинымъ; бѣглецы остановились, пріободрились, и французы въ паническомъ страхѣ, побросавъ оружіе, бросились назадъ <sup>1)</sup>). Вотъ какъ заразительны и страхъ, и отвага, вотъ какъ колеблется участь успѣха и неуспѣха сраженія.

Мы видимъ, что Толстой много разъ и съ разныхъ сторонъ подходилъ къ этому вопросу; вѣроятно, онъ его очень занималъ. Страхъ, испытываемый подъ непріятельскимъ огнемъ, въ большинствѣ случаевъ не есть, какъ показываетъ писатель, проявленіе *ничтожности* личности; почти всѣ на войнѣ испытываютъ страхъ; люди бывалые умѣютъ подавлять его, борются съ нимъ, но нужно пройти суровую школу, чтобы пріобрѣсть эту выдержку, эту способность не теряться въ самую критическую минуту и, сохраняя спокойный видъ, подавать другимъ примѣръ мужества. Напримѣръ, когда надъ головой Калугина летѣла бомба, и огонь не легъ на землю, какъ это дѣлали, обыкновенно, другіе, и лишь немного и невольно, подъ вліяніемъ крика сапернаго офицера «ложись!», нагнувъ голову, одинъ матросъ сказалъ: «Вишь, какой brave! и ложиться не хочетъ». Матросъ не зналъ, что Калугинъ въ эту минуту внутренне содрогался отъ ужаса, но только, какъ человѣкъ испытанный, не давалъ своему чувству вырваться наружу. (II, 168). Война, съ ея лишеніями, смертоубійствами, болѣзнями, идетъ вразрѣзъ и съ гуманными принципами христіанства, и съ возвышеннымъ міромъ искусствъ и наукъ, которыя могутъ процвѣтать только въ мирное время, и съ нашей потребностью личнаго счастья, и съ врожденнымъ отвращеніемъ

<sup>1)</sup> IV, 180, 181.

къ пролитію крови себѣ подобнаго. Одни идутъ на войну изъ повиновенія, другіе — изъ сознательнаго чувства долга, третьи — ищутъ смерти, четвертые — славы, пятыхъ не удовлетворяетъ прежняя жизнь <sup>1)</sup>, и имъ пужна переменна мѣсть и лицъ, шестые — жаждутъ подвига, и т. д., и т. д.; всѣхъ влекутъ различныя побужденія, но едва ли не всякій согласится въ душѣ, что война—ужасъ. Если человѣку грозитъ насильственная смерть, если надъ нимъ виситъ какая-нибудь опасность, — жизнь представляется желаннѣе и драгоцѣннѣе, чѣмъ когда-либо, ярче вспыхиваетъ любовь къ жизни, особенно въ существѣ молодомъ, полномъ силъ и надеждъ, — въ Гарунѣ, Хаджи-Муратѣ, Володѣ Козельцовѣ.

«*Какая ужасная вещь война, какая ужасная вещь*», говоритъ императоръ Александръ I, только что видѣвшій мученія раненаго солдата; солдатъ этотъ «былъ такъ нечистъ, грубъ и гадокъ, что Ростова оскорбила близость его къ государю. Ростовъ видѣлъ, какъ содрогнулись, какъ бы отъ пробѣжавшаго мороза, сутуловатыя плечи государя, какъ лѣвая нога его судорожно стала бить шпорой бокъ лошади»... (IV, 242). Несвицкій, глядя на перестрѣлку нашихъ съ французами, сказалъ, отворачиваясь: «*Былъ бы я царь, никогда бы не воевалъ*». (IV, 140). Левинъ говоритъ: война «есть такое животное, жестокое и ужасное дѣло, что ни одинъ человѣкъ, не говорю уже христіанинъ, не можетъ лично взять на свою отвѣтственность начало войны, а можетъ только правительство, которое призвано къ этому и приводится къ войнѣ неизбежно». (IX, 313). Въ Тильзитѣ лпкованіе по поводу свиданія Наполеона и Александра, а Ростовъ спрашиваетъ себя: «Для чего же оторванныя руки, ноги, убитые люди?» (V, 121) <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> „Ну, для чего вы идете на войну?“ спросилъ Пьеръ Болконскаго. — „Для чего? я не знаю. Такъ надо. Кромѣ того, я иду...—Онъ остановился. — Я иду потому, что эта жизнь, которую я веду здѣсь, эта жизнь—не по мнѣ!“ (IV, 26).

<sup>2)</sup> См. еще —VI, 166; „Письма Л. Н. Т.“, собр. и ред. П. А. Сергѣенко, 1910 г., 288.

Одно изъ страшныхъ золъ войны — страданія раненыхъ, забытыхъ на полѣ сраженія. Во сто кратъ счастливѣе тотъ, кто умираетъ на рукахъ родныхъ или товарищей; но лежать среди мертвыхъ или умирающихъ, испытывать острые физическія муки, невыносимое чувство одиночества, тоски по близкимъ, терпѣть голодь, жажду, зной...

— «Скажите, что вы чувствовали, когда лежали среди убитыхъ и раненыхъ?» — спросилъ однажды Лермонтовъ генерала Шульца, который подъ Ахульго получилъ рану и весь день пролежалъ тогда на землѣ, пока его не подобралъ. — «Что я чувствовалъ? Я чувствовалъ, конечно, беспомощность, жажду подъ палящими лучами солнца; но въ полузабытѣ мысли мои часто неслись далеко отъ поля сраженія, къ той, ради которой я очутился на Кавказѣ... Помнитъ ли она меня, чувствуетъ ли, въ какомъ жалкомъ положеніи очутился ея женихъ». (Шульцъ любилъ дѣвушку, съ которой, по волѣ ея родителей, долженъ былъ разстаться; онъ уѣхалъ на Кавказъ; невѣста обѣщала остаться ему вѣрной). Черезъ нѣсколько дней поэтъ встрѣтилъ Шульца и сказалъ: «Благодарю васъ за сюжетъ. Хотите прочесть?» И онъ прочелъ ему стихотвореніе «Сонъ» («Въ полдневный жаръ, въ долину Дагестана»). — (Градовскій. «Шульцъ и Лермонтовъ». — Ист. Вѣстн., 1902 г., XI, 476, 477; то же въ книгѣ Градовскаго «Итоги». Кіевъ, 1908 г., 366—370). Существуютъ и другія версіи происхожденія этого знаменитаго стихотворенія; едва ли возможно установить, которая изъ нихъ настоящая. Градовскій, слышавшій изложенный нами эпизодъ отъ самого Шульца, не сомнѣвается въ его истинности; по его словамъ, Шульцъ былъ «правдивый воинъ, чуждый всякой хлестаковщины». (О Шульцѣ — см. — Баронъ А. И. Дельвигъ. «Мои воспоминанія». М. 1912 г., I, 295, 296, 304, 305, 307—309).

Лермонтовъ съ поразительной художественностью и правдивостью изобразилъ въ своемъ стихотвореніи и душевное состояніе одинокаго, забытаго воина, переживающаго жгучія физическія и моральныя муки, и тоску любящаго

женскаго сердца, предчувствующаго страшное несчастье<sup>1)</sup>. Въ поэмѣ «Ангель Смерти» есть картина, имѣющая нѣчто общее съ «Валерикомъ» и «Сномъ»: умирающій Зораимъ лежитъ среди труповъ; вѣрная Ада находитъ его; онъ встрѣчаетъ ее словами:

Ты здѣсь! теперь?—и ты ли, Ада?  
О, твой приходъ мнѣ не отрада;  
Зачѣмъ?.. *Для ужасовъ войны*  
*Твои глаза не созданы;*  
Смерть не должна быть ихъ предметомъ. (I, 324).

Это то же, что поэтъ говоритъ въ «Валерикѣ», обращаясь къ Бахметевой (Лопухиной):

Вы едва-ли  
Вблизи когда-нибудь видали,  
Какъ умирають. Дай вамъ Богъ  
И не видать: иныхъ тревогъ  
Довольно есть. (II, 305).

Лермонтовскій мотивъ объ умирающемъ покинутомъ воинѣ встрѣчаемъ у послѣдующихъ писателей и поэтовъ.

Толстой описываетъ переживанія князя Андрея, долго пролежавшаго на Аустерлицкомъ полѣ и потомъ побраннаго французами. Болконскій то смотрѣлъ въ далекое небо, забывая на время про физическую боль, то впадалъ въ забытѣе, бредилъ, и въ его горячечныхъ грезахъ мелькали то родные, то ничтожный Наполеонъ, то высокое небо. (IV, 276—280). Къ стихотворенію «Сонъ» близокъ еще слѣдующій эпизодъ изъ жизни Андрея Болконскаго: князь, раненый вторично, лежитъ на операционномъ столѣ и вдругъ вспоминаетъ про свою невѣсту. «Онъ вспомнилъ Наташу такую, какою онъ видѣлъ ее въ первый разъ на балѣ 1810 года, съ тонкой шеей, руками, съ готовымъ на восторгъ, испуганнымъ, счастливымъ лицомъ, и любовь и нѣжность къ ней еще живѣе и сильнѣе, чѣмъ когда-либо, просну-

<sup>1)</sup> Ср. стихотвореніе „Le blessé“, приписываемое Лермонтову. (Л., II, 421).

лись въ его душѣ». (VI, 209, 210). Раненый Ростовъ во снѣ видитъ семью, любимую дѣвушку — Сою; а кругомъ — снѣгъ, ночь; холодно, тоскливо; рана ноетъ, гѣритъ. (IV, 189).

Канва разсказа Гаршина «Четыре дня» та же, что въ стихотвореніи Лермонтова «Сонъ»: тяжело-раненый лежитъ, всѣми покинутый, страдая отъ физической боли, отъ невыносимаго солнечнаго зноя, тоскуя по родному дому, по невѣстѣ; вотъ, на примѣръ, характерныя строки:

«Неужели мнѣ въ самомъ дѣлѣ такъ больно? Должно-быть. Только я не понимаю этой боли, потому что у меня въ головѣ туманъ, свинецъ. Лучше лечь опять и уснуть, спать, спать... Только проснусь ли я когда-нибудь? Это все равно». (Гаршинъ, Соч., 91).

«Вы, воспоминанія, не мучьте меня, оставьте меня! Былое счастье, настоящія муки... пусть бы остались одни мученія, пусть не мучатъ меня воспоминанія, которыя невольно заставляютъ сравнивать. Ахъ, тоска, тоска! Ты хуже ранъ.

Однако становится жарко. Солнце жжетъ». (92).

«Вѣдь, если меня найдутъ, я спасенъ... Я увижу родницу, мать, Машу...

«Господи, не дай имъ узнать всю правду! Пусть думаютъ, что я убитъ наповалъ. Что будетъ съ ними, когда они узнаютъ, что я мучился два, три, четыре дня!» (94).

«Я лежу въ совершенномъ изнеможеніи. Солнце жжетъ мнѣ лицо и руки. Накрыться печѣмъ. Хоть бы ночь поскорѣе; это, кажется, будетъ вторая.

Мысли путаются, и я забываюсь». (95).

«Прощай, мать, прощай, моя невѣста, моя любовь! Ахъ, какъ тяжело, горько!» (98).

Сходство этого знаменитаго разсказа со стихотвореніемъ «Сонъ» очевидно, но въ значительной мѣрѣ случайно; поводомъ къ созданію «Четырехъ дней» послужило, по словамъ самого Гаршина, дѣйствительное происшествіе съ однимъ солдатомъ <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Гаршинъ, Соч., 8.

Въ неоконченномъ «народномъ преданіи» Надсона «Святитель» мать рассказываетъ, какъ она томится по сынѣ, принимавшемъ участіе въ Бородинскомъ сраженіи:

Снится мнѣ, что лежитъ онъ, обнявшись съ врагомъ,  
А въ груди его тяжкая рана..  
Дымъ отъ вражьихъ пищалей нависнулъ кругомъ,  
Словно пологъ ночного тумана..  
Крики, стоны, рыданья, стукъ конскихъ копытъ,  
Барабаны гремятъ, не смолкая,  
А вверху, надъ стралальческимъ полемъ, кружить  
Черныхъ вороновъ хищная стая..  
И лежитъ онъ, и стонеть... Померкнулъ въ очахъ  
Ясный свѣтъ отъ томительной муки,  
Запеклась богатырская кровь на устахъ,  
Разбросались могучія руки;  
И какъ будто меня онъ, родной мой, зоветъ,  
Будто просить онъ пить, изнывая... (Надсонъ, 188).

О хищныхъ птицахъ надъ павшими воинами упоминаеть и Лермонтовъ:

Съ крикомъ, точно духъ ночной,  
Надъ ослабѣвшей головой  
Летаетъ коршунъ, гость незванный. (I, 326).  
Надъ тѣлами христіанъ  
Чертитъ круги ночная птица. (II, 358).

Прекрасное стихотвореніе П. Я. — «Сонъ» <sup>1)</sup> иллюстрируетъ недавнюю русско-японскую войну:

Въ небѣ странно высокою, зловѣще-нѣмомъ  
Гасъ кровавый вечерній закатъ.  
Умиралъ я отъ ранъ, — въ гаолянѣ густомъ  
Позабытый своими солдатъ.  
Какъ ребенокъ, затерянный въ чащѣ лѣсной,  
Я кричалъ, я отчаянно звалъ —  
И на помощь ни свой не пришелъ, ни чужой,

---

<sup>1)</sup> П. Я. „Стихотворенія“. Т. II. СПб. 1906 г., 82, 83.

Гаолянъ только глухо шуршаль!  
Да орель цѣлый день надъ горою париль,—  
Хищный клѣкотъ носился кругомъ...  
Все на сѣверъ, въ безвѣстную даль уходиль  
Затихающихъ выстрѣловъ громъ.

Онъ вспоминаетъ родное село, мать старуху, вспоминаетъ, какъ ѣхаль на Дальній Востокъ...

Умираль я отъ ранъ на чужой сторонѣ...  
Такъ хотѣлось мучительно жить,—  
О преступной, безумно-кровоавой войнѣ,  
Какъ о грѣзѣ проклятой, забыть!

Тема и заглавіе навѣяны Лермонтовымъ («Сномъ»). Въ то же время, есть черты, очень близкія къ «Четыремъ днямъ». У П. Я. раненый лежитъ «въ гаолянѣ густомъ»; у Гаршина — въ кустахъ. У П. Я. раненый вспоминаетъ мать:

Вонъ старуха съ клюкой. Не моя-ль это мать  
„По кусочки“ съ сумой побрела?  
Горегорькая! Сына тебѣ не дождать —  
Ты на муку его родила!

У Гаршина: «Быть можетъ, и у него, какъ у меня, есть старая мать. Долго она будетъ по вечерамъ сидѣть у дверей своей убогой мазанки да поглядывать на далекій сѣверъ: не идетъ ли ея ненаглядный сынъ, ея работникъ и кормилецъ?..» (Г., 93). «Мать моя, дорогая моя! Вырвешь ты свои сѣдья косы, ударисья головою объ стѣпу, проклянешь тотъ день, когда родила меня, весь міръ проклянешь, что выдумалъ на страданіе людямъ войну!» (Г., 98). Ср. еще у П. Я.:

О преступной, безумно-кровоавой войнѣ,  
Какъ о грѣзѣ проклятой, забыть!

Ср.—горе матери въ «Красномъ смѣхѣ» Андреева: «А мать ползала у кресла и уже не кричала, а хрипѣла только и билась головой о колеса». (Сб. т-ва «Знаніе», III, 308).

У П. Я.:

Въ черномъ небѣ невиданно-яркихъ, большихъ,  
Странныхъ звѣздъ засвѣтился узоръ.

У Гаршина: «Почему я вижу звѣзды, которыя такъ ярко свѣтятся на черно-синемъ болгарскомъ небѣ?» (Г., 90). «Надо мною—клочокъ черно-синяго неба, на которомъ горитъ большая звѣзда и нѣсколько маленькихъ». (Г., 91).

У П. Я.:

И въ зловѣщей тиши, мнѣ казалось, не я—  
Кто-то чуждый безсильно стоналъ...

У Гаршина: «Какіе-то странные звуки доходятъ до меня... Какъ будто бы кто-то стонетъ. Да, это—стонъ. Лежитъ ли около меня какой-нибудь такой же забытый, съ перебитыми ногами или съ пулею въ животѣ? Нѣтъ, стоны такъ близко, а около меня, кажется, никого нѣтъ... Боже мой, да вѣдь это—я самъ!» (Г., 91).

Пушкинъ однажды выразился, что война—«ужасная необходимость». (Смирнова. «Записки». I. СПб. 1895 г., 193) <sup>1)</sup>.

Въ «Войнѣ и мирѣ» Александръ I, со слезами на глазахъ, говоритъ: „*Quelle terrible chose que la guerre!*“ (IV, 242). Въ сказкѣ объ Иванѣ-дуракѣ Толстой рассказываетъ про одного царя, который не пожелалъ воевать; но царь этотъ и всѣ его подданные были «дураки». Пришли къ нимъ враги и стали разорять страну. «Все не обороняются дураки, только плачутъ. Плачутъ старики, плачутъ старухи, плачутъ малые ребята.

— За что, говорятъ, вы насъ обижаете? Зачѣмъ вы, говорятъ, добро дурно губите? Коли вамъ нужно, вы лучше себѣ берите.

---

<sup>1)</sup> Обь отношеніи Пушкина къ войнѣ — см. еще замѣтку Ашевскаго — „Пушкинъ и война“. („Міръ Божій“, 1899, VI, отд. II, 14—20). По мнѣнію автора замѣтки, Пушкинъ былъ далекъ отъ радикальной проповѣди — „долой оружіе!“ и допускалъ войну, только какъ неизбѣжное зло; неизбѣжными войнами онъ считалъ — оборонительныя, освободительныя и войны ради распространенія высшей культуры.

Гнусно стало солдатамъ. Не пошли дальше, и все войско разбѣжалось». (XVI, 74, 75) 1).

Наши писатели и поэты нерѣдко пользуются приѣмомъ Толстого: высказывать гуманныя идеи отъ лица «дураковъ», «сумасшедшихъ», называть свои слова «сномъ» или «бредомъ». Минаевъ въ стихотвореніи «Дикіе сны» 2) говоритъ:

Я уснулъ, и въ какомъ-то безумномъ бреду  
Мнѣ приснился волшебный, невиданный свѣтъ:  
Будто въ дивномъ саду  
По цвѣтамъ я иду...

.....  
Не мрачить чистыхъ душъ преступленія тьма,  
И желѣзныя цѣпи для ногъ и для рукъ,  
Эшафотъ и тюрьма.

Для людского ума  
Тамъ еще — непонятный, неслышанный звукъ.  
Рѣчи, *странныя* мнѣ, раздаются вокругъ:  
*Какъ про звѣрскій разбой, о войны говорятъ,*  
И нигдѣ, проносясь надъ счастливой страной,  
*Я нигдѣ не видалъ ни штыковъ, ни солдатъ...*  
Что за *дикіе сны* могутъ сниться весной!..

Чудесное стихотвореніе Полонскаго «Сумасшедшій» приводимъ полностью:

Кто говоритъ, что я съ ума сошелъ?!  
Напротивъ! я гостямъ радешенекъ... садитесь,  
Какъ вамъ не грѣхъ? Неужели я золь!  
Не укушу — чего боитесь...  
Давило голову, въ груди лежалъ свинецъ...

---

1) Къ концу Бородинскаго сраженія, какъ пишетъ Толстой, „въ каждой душѣ одинаково поднимался вопросъ: „Зачѣмъ, для кого мнѣ убивать и быть убитому? Убивайте, кого хотите; дѣлайте, что хотите, а я не хочу больше!“ Мысль эта къ вечеру одинаково созрѣла въ душѣ каждаго. Всякую минуту могли всѣ эти люди ужаснуться того, что они дѣлали, бросить все и побѣжать, куда попало“. (VI, 214).

2) Заглавіе характерно: грезы о вѣчномъ мирѣ — не только сонъ, но „дикій“ сонъ, т.-е. — несбыточный.

Глаза мои горять, но я давно не плачу —  
 Я все скрывалъ отъ васъ. Внимайте, наконецъ  
 Я разрѣшилъ мою задачу!!  
 Да, господа! мѣръ обновленъ. Вѣка  
 Къ благословенному придвинули насъ вѣку...  
 Вамъ скажетъ всякая приказная строка,  
 Что счастье нужно челоуѣку.  
*Народы поднялись и обнажили мечъ,  
 Но образумились и обнялись, какъ братья...*  
 Гербы и знамена — все надо было сжечь,  
 Чтобъ только снять печать проклятья.  
 Настало царствіе небесное — свѣтло,  
 Просторно... На землѣ нѣтъ ни одной столицы,  
 Тирановъ также нѣтъ—и все, какъ сонъ, прошло:  
 Рабы, оковы и темницы...  
 Науки царствуютъ: видѣнья отошли,  
 Одни безумцы ими одержимы...  
 Чу! слышите — поютъ со всѣхъ концовъ земли  
 Невидимые херувимы!..  
 Ликуйте! Вѣчную привѣтствуйте весну!  
 Свободы райскій гимнъ изъ сердца такъ и рвется!..  
 И я тянусь, тянусь, какъ лучъ, въ одну струну...  
 Что если сердце оборвется?!..

Въ стихотвореніи Надсона «Изъ тьмы временъ» Герострата называютъ «безумнымъ»—за то, что онъ жрецамъ говорилъ: «Смѣшны мольбы камнямъ...», а воину: «*Стыдись, — ты не герой*». (Надсонъ, 62). Въ разсказѣ Гарпина «Красный цвѣтокъ» сумасшедшій грезить: «Скоро, скоро распадутся желѣзные рѣшетки, всѣ эти заточенные выйдутъ отсюда и помчатся во всѣ концы земли, и весь мѣръ содрогнется, сброситъ съ себя ветхую оболочку и явится въ новой, чудной красотѣ». Красный цвѣтокъ «въ его глазахъ осуществлялъ собою все зло; онъ впиталъ въ себя всю невинно пролитую кровь (оттого онъ и былъ такъ красенъ), всѣ слезы, всю желчь челоуѣчества. Это было таинственное, страшное существо, противоположность

Богу, Ариманъ, принявшій скромный и невинный видъ. Нужно было сорвать его и убить». (Гаршинъ, 264—267). Въ разсказѣ Горькаго «Ошибка» сумасшедшій Кравцовъ говоритъ: «Во мнѣ пылаетъ безсмертный огонь желанія подвига!.. Я напою моихъ братій изъ кастальскаго источника свободы и возбужу души ихъ къ жизни творчества... къ жизни подвиговъ... къ жизни всепрощенія и воссозданія человѣка!» Ярославцевъ, сельскій учитель, сошелъ съ ума, наслушавшись безумныхъ рѣчей Кравцова, и обращается къ товарищамъ и доктору: *«Вгдѣ такъ у васъ все сумасшедшее, все, кто хочетъ счастья другимъ и кто простираетъ руку помощи... кто горячо жалуетъ и много любитъ бѣдныхъ, загнанныхъ жизнью и затравленныхъ другъ другомъ людей...»* (М. Горькій. «Разсказы». I. СПб. 1901 г., 171, 172, 184). 1). Въ замѣчательномъ, кошмарно-жуткомъ разсказѣ «Красный смѣхъ» Андреевъ устами не одного, а многихъ сумасшедшихъ протестуетъ противъ войнъ нашего времени; войны теперь еще ужаснѣе; люди для истребленія ближнихъ не ограничиваются холоднымъ и огнестрѣльнымъ оружіемъ, а прибѣгаютъ къ помощи разнообразныхъ изощренно-жестокихъ, губительныхъ изобрѣтеній. «Работай, братъ, работай!» думаетъ одинъ безумный, которому чудится, что въ другой комнатѣ за письменнымъ столомъ сидитъ его братъ, военный, недавно умершій. «Твое перо не сухо — оно обмокнуто въ живую человѣческую кровь. Пусть кажутся твои листки пустыми — своей зловѣщей пустотою они больше говорятъ о войнѣ и о разу-

1) Ср. слова Чацкаго:

Безумнымъ вы меня прославили всѣмъ хоромъ —  
Вы правы: изъ огня тотъ выйдетъ невредимъ,  
Кто съ вами день пробыть успеетъ,  
Подышитъ воздухомъ однимъ,  
И въ комъ разсудокъ уцѣлѣетъ.

(Грибоѣдовъ. «Горе отъ ума», IV д.).

Ореоломъ высшей духовной красоты окружено «безуміе» Гамлета, Донъ-Кихота, князя Мышкина. Ср. стихотворенія Полонскаго «Сумасшедшій» и Мережковскаго «Донъ-Кихотъ».

мѣ, чѣмъ все написанное умнѣйшими людьми. Работай, братъ, работай 1). (Сб. т—ва «Знаніе», III, 336).

Перекуютъ ли люди когда-нибудь мечи на плуги?.. 2)  
Лермонтовъ въ юности вѣрилъ въ это:

Нашъ прахъ лишь землю умягчить  
Другимъ, чистѣйшимъ существамъ.  
Не будутъ проклинать они;  
Межъ нихъ ни злата, ни честей  
Не будетъ; станутъ течь ихъ дни  
Невинные, какъ дни дѣтей;  
Межъ нихъ ни дружбу, ни любовь  
Приличья цѣпи не сожмутъ,  
*И братьевъ праведную кровь*  
*Они со смѣхомъ не прольютъ!..* (I, 133).

Поэтъ полно и ясно выразилъ здѣсь гуманныя идеи, легшія въ послѣдствіи въ основу извѣстнаго стихотворенія Надсона «Другъ мой, братъ мой, усталый, страдающій братъ» и цитированныхъ уже стихотвореній Минаева и Полонскаго. Подобно Лермонтову, указавшему (въ «Вадимѣ») 3) на лицемѣріе людей, сейчасъ выказывающихъ себя добрыми христианами, а потомъ берущихся за оружіе, и Толстой возмущается тѣмъ, что «люди христіане, исповѣдующіе одинъ великій законъ любви и самоотверженія», на короткое время заключаютъ перемиріе, улыбаются другъ другу, но не раскаиваются въ содѣянномъ злѣ, спускаютъ бѣлый флагъ, «и снова свистятъ орудія смерти и страданій, снова льется невинная кровь и слышатся стоны и проклятія». (II, 182). «Сойдутся, какъ завтра, на убійство другъ друга, перебыютъ, перекалѣчатъ десятки тысячъ людей, а потомъ будутъ служить благодарственные молебны за то, что побили много людей (которыхъ число еще прибавляютъ), и провозглашаютъ побѣду, полагая, что чѣмъ больше по-

1) Ср. еще стихотвореніе Симборскаго „Сонъ“.

2) Дивную картину грядущаго золотого вѣка рисуетъ Гейне въ стихотвореніи „Миръ“.

3) IV, 14, 54.

бито людей, тѣмъ больше заслуга. *Какъ Богъ оттуда смотритъ и слушаетъ ихъ!*» (VI, 172). Толстой всю жизнь казнилъ тѣмъ, что въ юности «убивалъ людей на войнѣ»; онъ не могъ «безъ ужаса, омерзения и боли сердечной» вспоминать объ этомъ (XV, 8).

Люди пытаются бороться съ милитаризмомъ: устраиваются международные конгрессы, основываются «лиги мира»; но все это не оказываетъ хоть сколько-нибудь замѣтнаго вліянія на ходъ грозныхъ міровыхъ событій <sup>1)</sup>.

Толстой описываетъ, какъ во время перемирія наши и французы стояли недалеко другъ отъ друга и шутили; слышался «грохотъ такого здороваго и веселаго хохота, невольно черезъ цѣль сообщившагося и французамъ, что послѣ этого нужно было, казалось, разрядить ружья, взорвать заряды и разойтись поскорѣе всѣмъ по домамъ.

Но ружья остались заряжены, бойницы въ домахъ и укрѣпленіяхъ такъ же грозно смотрѣли впередъ и такъ же, какъ прежде, остались другъ противъ друга обращенныя, снятыя съ передковъ пушки». (IV, 167).

Лермонтовъ, рассказавъ про дѣло при Валерикѣ, въ грустномъ раздумьи говоритъ:

Но я боюсь вамъ наскучить.  
 Въ забавахъ свѣта вамъ смѣшны  
 Тревоги дикія войны;  
 Свой умъ вы не привыкли мучить  
 Тяжелой думой о концѣ...  
 ... Вы едва-ли  
 Вблизи когда-нибудь видали,  
 Какъ умирають. Дай вамъ Богъ  
 И не видать: иныхъ тревогъ  
 Довольно есть. (II, 305).

Тѣмъ же настроеніемъ проникнуто окончаніе разсказа Толстого «Севастополь въ маѣ 1855 года»: «Вотъ я и сказалъ, что хотѣлъ сказать на этотъ разъ. Но тяжелое

<sup>1)</sup> См. письмо Л. Н. Т. къ баронессѣ фонъ-Сутнеръ. („Письма“, 1910 г. М., 206).

раздумье одолеваетъ меня. Можетъ, не надо было говорить этого, можетъ - быть, то, что я сказалъ, принадлежитъ къ одной изъ тѣхъ злыхъ истинъ, которыя, безсознательно таясь въ душѣ каждаго, не должны быть высказываемы, чтобы не сдѣлаться вредными, какъ осадокъ вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его». (II, 182).

Понятно, что если во взглядахъ на войну сильному вліянію Лермонтова подвергся такой могучій художникъ, какъ Левъ Толстой, — легко найти слѣды лермонтовскаго вліянія въ творчествѣ нашихъ другихъ антимилитаристовъ: Голенищева - Кутузова, Некрасова, Гаршина, Надсона, Вас. Немировича - Данченка, Леонида Андреева, Владимира Семенова <sup>1)</sup>, Мельшина и др.; въ ихъ произведеніяхъ сквозятъ идеи «Валерика», этого «безыскусственнаго», задушевнаго разсказа, поэтическія красоты котораго не поблѣднѣли даже послѣ появленія «Войны и мира».

---

<sup>1)</sup> См., напр., его разсказъ „Страшное слово“.

## Глава IX.

### Война (продолженіе). Наполеонъ.

Вопросъ объ отношеніи Лермонтова и Толстого къ войнѣ неразрывно связанъ съ отношеніемъ ихъ къ Наполеону.

Одинъ изъ воспитателей Лермонтова былъ эльзасецъ Капэ, офицеръ наполеоновской гвардіи. По словамъ Висковатова, поэтъ любилъ его *больше всѣхъ другихъ гувернеровъ*, и Капэ «научилъ его тепло относиться къ генію Наполеона, котораго Лермонтовъ идеализировалъ и не разъ воспѣвалъ». (Висковатый, «М. Ю. Л.», 29). «Трагическая же судьба этого генія, такъ чудесно возвысившагося, такъ громко прогремѣвшаго по всему міру и такъ неожиданно павшаго, увлекла даже самого Байрона, Гейне и, естественно, поразила и Лермонтова. Видя гибель всего сколько-нибудь выдающагося въ своемъ отечествѣ (у Лермонтова гибнутъ всѣ личности сколько-нибудь выдающіяся надъ толпой; гибель прекраснаго и въ «Памяти Одоевскаго», и въ «Трехъ пальмахъ»), поэтъ поразился и гибелью Наполеона и отнесся къ нему сочувственно, не вдумавшись въ то, что величіе этого деспота несло за собой зло». (Острогорскій. «Мотивы лермонтовской поэзіи». СПб. 1910 г., 76) <sup>1)</sup>. Стихотворенія, въ которыхъ поэтъ воспѣваетъ Наполеона, большей частью написаны въ ранней юности; они

---

<sup>1)</sup> Наполеонъ, по словамъ Овсяннико-Куликовскаго, „умѣлъ обманывать цѣлыя народы, цѣлыя поколѣнія и, что можетъ быть еще печальнѣе,— такіе умы, такихъ друзей человѣчества, какъ Пушкинъ, Лермонтовъ, Гейне. Честь и слава Толстому, что онъ не поддался этой иллюзіи“. (Овс.Кул., Собр. соч., III, „Л. Н. Т.“, 86).

полны искренняго сочувствія къ герою, судьба котораго такъ необычайна и печальна. Наполеонъ —

жертва вѣроломства  
И рока прихоти слѣпой.

(I, 268; ср. I, 127 — «мужъ рока»).

Великое земное  
Различно съ мыслями людей:  
Сверши съ успѣхомъ дѣло злое —  
Великъ, не удалось — злодѣй..  
Среди дружинъ необозримыхъ  
Былъ чуть не Богъ Наполеонъ,  
Разбитый же въ снѣгахъ родимыхъ —  
Безумцемъ порицаемъ онъ! (I, 110).

По мѣткому замѣчанію Иванова-Разумника, здѣсь въ нѣсколькихъ строкахъ затронута тема «Преступленія и наказанія» Достоевскаго (Ив.-Р. «Ист. рус. общ. мысли». I. СПБ., 1911 г., 162). Дѣйствительно, ср., на примѣръ, слова Раскольниковова: «Настоящій властелинъ, кому все разрѣшается, громить Тулонъ, дѣлаетъ рѣзню въ Парижѣ, забываетъ армию въ Египтѣ, тратитъ полмилліона людей въ московскомъ походѣ и отдѣляется каламбуромъ въ Вильнѣ; и ему же, по смерти, ставятъ кумиры, — а, стало-быть, и все разрѣшается. Нѣтъ, на такихъ людяхъ, видно, не тѣло, а бронза!..» «Наполеонъ, пирамиды, Ватерлоо—и тощая гаденькая регистраторша, старушонка, процентщица»... («Преступленіе и наказаніе». Изд. Маркса. 1894 г., 270, 271).

Въ стихотвореніяхъ «Воздушный корабль» и «Послѣднее новоселье» поэтъ говоритъ о Наполеонѣ не только какъ о вождѣ и военномъ геніи, но и о *человѣкѣ*, измученномъ тоскою по отчизнѣ и по любимомъ сынѣ. Сколько грусти и задумчивости, на примѣръ, въ этихъ словахъ:

И капають горькія слезы  
Изъ глазъ на холодный песокъ. (II, 286).

Для однихъ Наполеонъ былъ кумиромъ, для другихъ тираномъ, для третьихъ—игрушкой судьбы; въ «Воздушномъ кораблѣ» онъ является ни тѣмъ, ни другимъ, ни третьимъ; это человѣкъ, пережившій крушеніе завѣтныхъ грезъ, человѣкъ, еще обладающій громадными духовными силами, но осужденный врагами на бездѣйствіе; это отецъ, навѣки разлученный съ сыномъ; это страдалецъ, которому даже въ могилѣ не дадутъ отдохнуть...

«Его смерть трогала сердце Лермонтова больше, чѣмъ его подвиги, такъ какъ обстановка этой смерти соотвѣтствовала тѣмъ мечтамъ объ одинокой кончинѣ, которая грезилась иногда самому поэту». (Котляревскій. «М. Ю. Л.», СПБ., 1905 г., 181).

По воззрѣніямъ же Толстого, Наполеонъ—«ничтожнѣйшее орудіе исторіи» (VII, 149); «нѣтъ величія тамъ, гдѣ нѣтъ простоты добра и правды» (VII, 135); Наполеонъ—«человѣкъ безъ убѣжденій, безъ привычекъ, безъ преданій, безъ имени, даже не французъ»; его выдвинуло «невѣжество сотоварищей, слабость и ничтожество противниковъ, искренность лжи и блестящая самоувѣренная ограниченность». (VII, 194). Толстой, какъ и Лермонтовъ, видитъ въ Наполеонѣ *жертву рока*; въ фатальности судьбы Наполеона для Лермонтова было нѣчто трагическое, величественное, достойное сочувствія и поклоненія; для Толстого же—это лишнее доказательство пассивной роли Наполеона: если въ исторіи, вообще, личность не вершитъ событій, то тѣмъ менѣе значительный слѣдъ долженъ былъ оставить жалкій, ничтожный завоеватель. Война—ужасъ, злодѣяніе, а Наполеонъ служитъ только богу войны; вотъ еще одна причина, побуждавшая Толстого развѣнчать его.

Но отношенія къ Наполеону Лермонтова и Толстого не столь разнятся, какъ это можетъ показаться на первый взглядъ.

«Когда Лермонтовъ касался похода Наполеона на Россію, то патриотизмъ заставлялъ его нѣсколько умѣрять свой энтузіазмъ по отношенію къ французскому императору. («Два великана»»). (Грунскій. «Наполеоны I въ русской

художественной литературѣ». 90 стр.). Дѣйствительно, въ стихотвореніи «Два великана» нѣтъ ни одной нотки сочувствія Наполеону: ему ли, трехнедѣльному удалцу, бороться съ могучимъ русскимъ великаномъ? Русскій богатырь только улыбнулся,

тряхнулъ главою,—

Ахнулъ дерзкій и упаль... (II, 11).

Однако, это задорное стихотвореніе лишено объективности. «Извѣстно, что борьба съ полчищами Наполеона, лучшими войсками въ мірѣ, была для Россіи крайне тяжела и потребовала напряженія всѣхъ русскихъ силъ». (Ал. Соловьевъ. «М. Ю. Л.», СПБ., 1908 г., 43). Аналогичный мотивъ находимъ въ поэмѣ «Сашка; поэтъ обращается къ Кремлю:

Напрасно думалъ чуждый властелинъ

Съ тобой, столѣтнимъ русскимъ великаномъ,

Помѣяться главою и обманомъ

Тебя низвергнуть. Тщетно поражалъ

Тебя пришлецъ: ты вздрогнулъ,— онъ упаль. (II, 145).

Сравненіе Россіи съ богатыремъ есть въ извѣстной замѣткѣ поэта: «У Россіи нѣтъ прошедшаго: она вся въ настоящемъ и будущемъ <sup>1)</sup>. Сказывается и сказка: Ерусланъ Лазаревичъ сидѣлъ сиднемъ 20 лѣтъ и спалъ крѣпко, но на 21-мъ году проснулся отъ тяжкаго сна и всталъ и пошелъ... и встрѣтилъ онъ тридцать семь королей и семьдесятъ богатырей и побилъ ихъ и сѣлъ надъ ними царствовать... Такова Россія». (IV, 352). Ср. еще: «Русскій народъ, этотъ сторукий исполинъ»... (IV, 8). Еще до «Двухъ великановъ» и «Сашки» Лермонтовъ написалъ «Поле Бородина», первый набросокъ знаменитаго «Бородина». Какъ въ «Полѣ Бородина», такъ и въ «Бородинѣ» о Наполеонѣ — *ни слова*; на первомъ планѣ — русскій народъ, которому принадлежатъ всѣ симпатіи поэта. Отмѣтимъ еще нѣкоторые штрихи. Лермонтовъ говоритъ про Наполеона:

Родился онъ игрой судьбы случайной. (I, 268).

<sup>1)</sup> Курсивъ Лермонтова.

По словамъ Толстого, Наполеонъ получилъ власть благодаря *случайности*. (VII, 195—196).

Въ «Двухъ великанахъ» Наполеонъ — *«трехнедельный удалецъ»*, у Толстого — *ребенокъ*, «который, держась за тесемочки, привязанныя внутри кареты, воображаетъ, что онъ править». (VII, 76) <sup>1)</sup>. Лермонтовъ подчеркиваетъ *дерзость* Наполеона, вступившаго въ борьбу съ мощной Россіей: «рукою *дерзновенной*», «ахнулъ *дерзкій*». (II, 11). Толстой видитъ въ Наполеонѣ *«ребяческую дерзость»* (VII, 194), *«дерзость преступлений»*. (VII, 195).

«Для Толстого такъ характерно разжалованіе героя», говоритъ Айхенвальдъ. «Вспомнимъ, что онъ сдѣлалъ съ Наполеономъ, какъ безжалостно разрушилъ воздушный корабль по синимъ волнамъ океана и всѣ эти красивыя сказки—въ дѣнадцать часовъ по ночамъ». (Айхенвальдъ. «Посмертныя сочиненія Л. Н. Т.», СПБ., 1912 г., 41). По нашему мнѣнію, эти сказки не разрушены, у cadaго поэта, писателя, историка—свой Наполеонъ; однимъ изъ этихъ Наполеоновъ мы сочувствуемъ, другимъ—нѣтъ. Въ толстовскомъ Наполеонѣ—«глупость и подлость, не имѣющая примѣровъ» (VII, 196); «нѣтъ поступка, нѣтъ злодѣянія или мелочного обмана, который бы онъ совершилъ и который тотчасъ же въ устахъ его окружающихъ не отразился бы въ формѣ великаго дѣянія» (тамъ же). Описывая наружность Наполеона, Толстой не забудетъ обратить вниманія читателя на пухлую бѣлую ручку, на подергивающуюся икру ноги; словомъ, это и съ виду не цезарь, не полубогъ. Его фразы, его жесты—все неискренно, рассчитано на заранѣе обдуманнй эффектъ; это опытный, хитрый актеръ. Ср., напр.: «Императоръ, уставши отъ тщетнаго ожиданія и своимъ *актерскимъ* чутьемъ чувствуя, что величественная минута, продолжаясь слишкомъ долго, начинаетъ терять свою величественность, подалъ рукой знакъ». (VI, 266). Или: «Le coup de théâtre avait raté» <sup>2)</sup> (VI, 268). Или: «Дѣйствіе совершено».

<sup>1)</sup> Ср. еще: *«Ребячески неосторожный, безпричинный и неблагородный отъѣздъ его изъ Африки»*... (VII, 195).

<sup>2)</sup> «Не удалась развязка театрального представленія». (Л. Т.).

Послѣдняя роль сыграна. *Актеру* вѣдно раздѣться и смыть сурьму и румяна: онъ больше не понадобится.

И проходятъ нѣсколько лѣтъ въ томъ, что этотъ человекъ, въ одиночествѣ на своемъ островѣ, играетъ самъ передъ собой жалкую комедію... (VII, 197, 198). Такой Наполеонъ ни въ комъ не возбудитъ сочувствія. Лермонтовскій—царственно величавъ въ своей скорби:

На немъ треугольная шляпа  
И сѣрый походный сюртукъ.

Скрестивши могучія руки,  
Главу опустивши на грудь,  
Идетъ...

... На берегъ большими шагами  
Онъ смѣло и прямо идетъ,  
Соратниковъ громко онъ кличетъ  
И маршаловъ грозно зоветъ.

... И топнувъ о землю ногою,  
Сердито онъ взадъ и впередъ  
По тихому берегу ходить...

... Стоитъ онъ и тяжело вздыхаетъ,  
Пока озарится востокъ,  
И капаютъ горькія слезы

Изъ глазъ на холодный песокъ. (II, 285, 286).

Это не актеръ; его слезы непритворны; его горе искренно и глубоко; онъ одинъ, и ему не передъ кѣмъ лгать. Въ обрисовку личности знаменитаго завоевателя Лермонтовъ и Толстой внесли много пристрастнаго, но фигуры, созданныя ими, очень рельефны; черты искусства необъятно обширны, и въ нихъ есть мѣсто и толстовскому Наполеону, и лермонтовскому.

Кстати, «Воздушный корабль»—не переводъ, а свободное подражаніе Цедлицу, подраженіе, въ которомъ Лермонтовъ ярко проявилъ индивидуальность своего поэтического гения (см. Соч. Л-ва подъ ред. Болдакова, II, стр. 371—373; Бархинъ, «Соч. М. Ю. Л.», I, 120—122).

Въ «Войнѣ и мирѣ» есть строки, чрезвычайно близкія

къ «Послѣднему новоселью» Лермонтова. Капитанъ Рамбаль говоритъ Пьеру про Наполеона: «Il m'a empoigné. Je n'ai pas pu résister au spectacle de grandeur et de gloire dont il couvrait la France<sup>1)</sup>». (VI, 299). Лермонтовъ:

И мѣръ трепещущій въ безмолвіи взираль  
На ризу чудную могущества и славы,  
Которой васъ онъ одѣвалъ. (II, 306).

«Послѣднее новоселье», въ свою очередь, носить слѣды вліянія Пушкина.

Лермонтовъ:

Разбитый свой вѣнецъ онъ снялъ и бросилъ самъ. (II, 307).

Пушкинъ:

Оцѣпенѣлыми руками  
Схвативъ желѣзный свой вѣнецъ... („Наполеонъ“).

Лермонтовъ:

Какъ будетъ онъ жалтъ, печалію томимый,  
О знойномъ островѣ подъ небомъ дальнихъ странъ. (II, 308).

Пушкинъ:

Подъ сѣною чуждою небесъ.  
... знойный островъ заточенья. („Наполеонъ“) <sup>2)</sup>.

Толстой въ «Войнѣ и мирѣ» говоритъ, что для изученія законовъ исторіи нужно оставить въ покоѣ царей, министровъ,—а изучать *однородные, безконечно-малые элементы*, которые руководятъ массами». (VI, 218). Нѣчто схожее съ этимъ,—предпочтеніе человѣка обыкновеннаго—герою,—есть у Лермонтова—въ предисловіи къ «Журналу Печорина»: «Исторія души человѣческой, *хотя бы самой*

---

1) „Онъ завладѣлъ мною. Я не могъ устоять передъ зрѣлищемъ величія и славы, которымъ онъ покрывалъ Францію“. (Л. Т.).

2) Ср. съ „Воздушнымъ кораблемъ“:

Одинъ, одинъ, о миломъ сынѣ

Въ унынѣ горькомъ думалъ онъ. (Пушкинъ, „Наполеонъ“).

*мелкой души*, едва ли не любопытнѣе и не полезнѣе исторіи цѣлаго народа». (IV, 194). «Самая мелкая душа» и есть «безконечно-малый элементъ», и въ «Героѣ нашего времени» симпатіи автора явно лежатъ не на сторонѣ Печорина, «героя», а Максима Максимыча, обыкновеннаго человѣка.

---

## Глава X.

### Война (продолженіе). „Бородино“.

«Валерикъ»—одна сторона эпопеи Толстого, предсказанная Лермонтовымъ, «Бородино»—другая.

Еще въ 1830 г. Лермонтовымъ было написано стихотвореніе «Поле Бородина»; черезъ семь лѣтъ эта юношеская, напыщенная ода чарами поэзіи была превращена въ знаменитое «Бородино»<sup>1)</sup>. «Весьма можетъ статься, что поэтъ въ Кавказскихъ «Суворовскимъ» духомъ проникнутыхъ войскахъ и подслушалъ разговоръ стараго солдата, очевидно Бородинской битвы, съ рекрутомъ и, по обычаю своему, все, что писалъ, брать изъ жизни, облекъ свое стихотвореніе въ форму діалога между старикомъ солдатомъ и рекрутомъ». (Висковатый. «М. Ю. Л.», 259).

Комендантъ Бѣлогорской крѣпости, ветеранъ изъ «Бородина», Максимъ Максимычъ, капитанъ Хлоповъ, Каратаевъ—незабвенные, родственные между собою, типы русскаго воина, русскаго благодушнаго чловѣка. «Между маленькимъ Печоринымъ и большимъ Максимомъ Максимычемъ, какъ двумя полярными точками, колеблется все творчество нашего поэта. И побѣдилъ Максимъ Максимычъ. Въ общемъ смиреніи Пушкина и Лермонтова есть та высшая внутренняя дѣйственность, которую прославилъ Толстой въ Платонѣ Каратаевѣ... (Айхенвальдъ. «Отд. страницы». П. М. 1910 г., 113). Еще Боденштедтъ подмѣтилъ, что Лермонтовъ выше всего тамъ, гдѣ наиболѣе нарядень. Въ

---

<sup>1)</sup> Сравненіе этихъ вариантовъ см. у Владимірова („Истор. и народно-бытовые сюжеты въ произведеніяхъ М. Ю. Л.“, К., 1892 г., 26—28).

Лермонтовъ была стихійная любовь къ русскому человѣку. Смутное, но могучее тяготѣніе къ русскому народу сказалося въ искреннихъ словахъ юноши-поэта: «Какъ жалко, что у меня была мамушкой нѣмка, а не русская,—я не слыхалъ сказокъ народныхъ». (IV, 350, 351). Оно сказалося въ его глубоко-вѣрномъ, замѣчательномъ самоопредѣленіи:

Нѣтъ, я не Байронъ: я другой,  
Еще невѣдомый избранникъ,—  
Какъ онъ, гонимый міромъ странникъ,  
Но только съ русскою душой. (I, 300).

Оно сказалося въ созданіи Калашникова, въ которомъ таится столько духовной мощи, смиренія, любви къ семьѣ и готовности постоять за правду «до-послѣднева»; она сказалась въ созданіи выпуклой фигуры милаго Максима Максимыча, этой золотой души; казачки, воспитывающей для трудной боевой жизни новаго богатыря; въ созданіи трогательной картины смерти капитана, окруженнаго сѣдыми усачами, съ запыленныхъ рѣсницъ которыхъ капаютъ слезы. Поэту дорогъ этотъ ярославскій мужикъ, «безпечный русакъ», который не слѣзъ съ облучка на такомъ опасномъ мѣстѣ горной дороги, гдѣ даже привычный туземецъ шель, осторожно ведя коренную (IV, 173); ему любо смотрѣть до полночи:

На пляску съ топаньемъ и свистомъ,  
Подъ говоръ пьяныхъ мужичковъ. (II, 330).

Ему до боли жаль этихъ мужичковъ, угнетаемыхъ помѣщиками («Странный человѣкъ»).

Въ «Бородино» поэтъ вложилъ всю свою любовь къ русскому народу, всю вѣру въ его скрытыя могучія силы. Его ветеранъ 12-го года—не хвастунъ, не балагуръ; передъ нами человѣкъ, выдавшій виды, но степенный. Ему присущи высокія качества нашего солдата—любовь къ отчизнѣ, крѣпкая вѣра въ Бога, отвага, преданность своему вождю, готовность всего себя отдать для блага другихъ; онъ шутитъ передъ самымъ боемъ, выказывая этимъ избытокъ

бодрости, спокойную увѣренность въ своихъ силахъ; онъ наблюдателенъ, словоохотливъ; онъ пересыпаетъ рассказъ мѣткими простонародными выраженіями: «у нашихъ уши на макушкѣ», «ломить стѣною», «постой-ка, братъ, мусью», «ну - жъ былъ денекъ». Этимъ напоминаетъ онъ Каратаева, который такъ любилъ употреблять пословицы и поговорки; ласковостью же, трезвымъ умомъ, смиреніемъ Каратаевъ похожъ на Максима Максимыча; Толстой говоритъ, что Платонъ Каратаевъ—«олицетвореніе всего русскаго, добраго и круглаго» (VII, 40); это было бы приложимо и къ Максиму Максимычу. Лермонтовскій ветеранъ покоренъ волѣ Бога:

Не будь на то Господня воля... (II, 204).

Когда - бъ на то не Божья воля... (II, 207).

По наблюденіямъ Толстого, въ русской арміи «чаще другихъ встрѣчающійся типъ,—типъ болѣе милый, симпатичный и большею частью соединенный съ лучшими христіанскими добродѣтелями: кротостью, набожностью, терпѣніемъ и преданностью волѣ Божіей». (II, 232). Каратаевъ, какъ доказываетъ Овсяннико - Куликовскій, солдатъ по службѣ, но «психологически совсѣмъ не солдатъ». (Овс.-Кул., Собр. соч., III, «Л. Н. Т.», 62); зато лермонтовскій участникъ Бородинской битвы—настоящій солдатъ. Готовность лечь костью за родину («Ужъ постоимъ мы головою за родину свою!»), за святую Москву («Не будь на то Господня воля, не отдали - бъ Москвы!», «Умереть мы обѣщали...») <sup>1)</sup>, восхищеніе своимъ начальникомъ («Рожденъ былъ хватомъ: слуга царю, отецъ солдатамъ...»), любовь къ нему («Да, жаль его...»), къ своимъ товарищамъ («Тогда считать мы стали раны, товарищей считать...») <sup>2)</sup>, нетерпѣливое ожиданіе рѣшительнаго боя («Досадно было, боя ждали, ворчали

<sup>1)</sup> Самъ поэтъ очень любилъ Москву, свою родину:

Москва, Москва!.. люблю тебя какъ сынъ,

Какъ русскій, — сильно, пламенно и нѣжно! (II, 145).

<sup>2)</sup> Ср.: Товарищей, друзей

Со вздохомъ возлѣ называли. (II, 304).

старики...», «Два дня мы были въ перестрѣлкѣ. Что толку въ этакой бездѣлкѣ?»), отвага и задоръ («Постой - ка, братъ, мусью! Что тутъ хитрить?—Пожалуй къ бою...»), упоеніе битвой («Вамъ не видать такихъ сраженій!..», «Русскій бой удалый, нашъ рукопашный бой!»), полупрезрительное отношеніе къ новому поколѣнію («Да, были люди въ наше время, не то, что нынѣшнее племя: богатыри,—не вы!»)<sup>1)</sup>,—всѣ эти черты присущи именно солдату. Въ такихъ выраженіяхъ, какъ—«Есть разгуляться гдѣ на волѣ!», «Ужъ мы пойдемъ ломить стѣною», «Русскій бой удалый, нашъ рукопашный бой!»—проявляется широкая натура русскаго простаго человѣка. Лермонтовъ и Толстой останавливаются на изображеніи борьбы Россіи съ наполеоновскими полчищами потому, что это тотъ моментъ русской исторіи, въ который нашъ народъ ярко выразилъ свою скрытую внутреннюю силу, единодушіе; на первомъ планѣ у обоихъ художниковъ не отдѣльныя личности, герои, а цѣлый народъ, народная масса; потому-то лермонтовскій ветеранъ и говоритъ отъ перваго лица множественнаго числа: «Мы долго молча отступали», «Два дня мы были въ перестрѣлкѣ», «Мы ждали третій день», «Умереть мы обѣщали», и проч.; въ этомъ видна и могучая сплоченность народа, и кротость рассказчика, который только однажды говоритъ лично отъ себя:

Забилъ зарядъ я въ пушку туго

И думалъ: угощу я друга! (II, 205)<sup>2)</sup>.

Отдавая должную дань положительнымъ качествамъ родного народа, Лермонтовъ и Толстой, какъ истинные художники, сумѣли избѣгнуть шовинизма; каждое ихъ слово

<sup>1)</sup> Ср. Пушкинь: Ты, хлопецъ, можетъ быть не трусь,  
Да глупъ, а мы видали виды. („Гусаръ“).

<sup>2)</sup> Мы никакъ не можемъ согласиться со слѣдующимъ замѣчаніемъ Левенфельда: „До Толстого въ русской литературѣ не было вѣрнаго представленія о духѣ и характерѣ русскаго солдата“. (Левенфельдъ. „Гр. Л. Н. Толстой, его жизнь, произведенія и міросозерцаніе“. М. 1904 г., 76). А „Бородино“ Лермонтова?

согрѣто теплой, искренней любовью къ своему народу; въ отношеніи къ врагу русскій солдатъ не проявляетъ непримиримой злобы, презрѣнія или бахвальства. Въ словахъ— «Постой-ка, братъ, мусью!»—добродушная шутка. Въ словахъ—«Извѣдалъ врагъ въ тотъ день немало, что значить русскій бой удалый»—справедливая оцѣнка дѣятельности общихъ успій, сознание собственныхъ силъ, гордость,—но все въ умѣренной степени. Разказчикъ даже какъ бы любитъ, какъ знатокъ, стройностью и картинностью французскихъ войскъ:

Французы двинулись, какъ тучи,  
И все на нашъ редуть.  
Уланы съ пестрыми значками,  
Драгуны съ конскими хвостами,—  
Всѣ промелькнули передъ нами,  
Всѣ побывали тутъ. (II, 206).

Москву пришлось отдать непріятелю, но это—«Господня воля», и русскій солдатъ не питаетъ къ французамъ націоналистической ненависти; эту черту подмѣчаетъ въ нашемъ солдатѣ и Толстой; въ «Севастопольскихъ» разказахъ и «Войнѣ и мирѣ» онъ рисуетъ свѣтлыя картины перемирія, во время котораго русскіе низшіе чины отъ чистаго сердца шутятъ со своими противниками.

Подобно «Бородину» Лермонтова, превосходящему все, что написано у насъ въ стихахъ о Двѣнадцатомъ годѣ, эпопея Толстого возвышается надъ всѣмъ, что дала наша художественная проза о борьбѣ «двухъ великановъ». Характерно это тяготѣніе Лермонтова и Толстого къ однѣмъ и тѣмъ же темамъ; напр., элементы «Бородина» легко разыскать въ «Войнѣ и мирѣ» и другихъ произведеніяхъ Толстого.

Лермонтовъ:

Тихъ былъ нашъ бивакъ открытый. (II, 205).

Толстой тоже подчеркиваетъ строгое спокойствіе русскихъ солдатъ передъ рѣшительнымъ боемъ; они надѣваютъ чистыя рубашки, не пьютъ водки. (VI, 163,170).

Лермонтовъ:

Кто киверъ чистилъ весь избитый,  
Кто штыкъ точилъ, ворча сердито... (II, 205).

Толстой: «*Кто, снявъ киверъ, старательно распускалъ и опять собиралъ сборки; кто сухой глиной, распорошивъ ее въ ладоняхъ, начищалъ штыкъ*»... (VI, 204). Здѣсь тѣ же образы, почти тѣ же выраженія; несомнѣнно, влияніе «Бородина».

Лермонтовъ:

И молвилъ онъ, сверкнувъ очами:  
„Ребята! не Москва-ль за нами?  
Умремте-жъ подъ Москвой,  
Какъ наши братья умирали!“  
И умереть мы обѣщали,  
И клятву вѣрности сдержали  
Мы въ Бородинскій бой. (II, 206).

У Толстого «Корниловъ, объѣзжая войска, говорилъ: *умремъ, ребята, а не отдадимъ Севастополя*», и наши русскіе, неспособные къ фразерству, отвѣчали: *умремъ! ура!*» (II, 153). Ср. вариантъ въ письмѣ къ брату: «Корниловъ, объѣзжая войска вмѣсто: «здорово, ребята!» говорилъ: «нужно умирать, ребята, умрете?» и войска отвѣчали: «умремъ, Ваше Превосходительство, ура!» И это былъ не эффектъ, а на лицѣ каждаго видно было, что не шутя, а *взаправду*»<sup>1)</sup>. (Письма Л. Н. Т., 1910 г., 43).

Смирнова передаетъ слѣдующія слова Пушкина: «Наши солдаты, наши молодые офицеры, переменна въ ихъ настроеніи *до* и *послѣ* дѣла, производили на меня сильное впечатлѣніе. Конечно, я видалъ битвы только издали, но не могу сказать, до чего трогали меня лица солдатъ, идущихъ на бой и возвращающихся оттуда, а также погребеніе. Ни хвастовства, ни фразёрства нѣтъ въ нашихъ войскахъ». (А. О. Смирнова. «Записки». I. СПб. 1895 г., 193). Именно такимъ изображаютъ нашего воина Лермонтовъ и Тол-

<sup>1)</sup> Курсивъ Л. Г.

стой. Съ виду грубый и сдержанный, русскій человѣкъ, вообще, на самомъ дѣлѣ добръ и мягокъ, проникается теплымъ сочувствіемъ къ страданію ближняго. Послѣ Валерикскаго боя сѣдые усачи плачутъ надъ умирающимъ капитаномъ. Вернеръ (Лермонтовъ подчеркиваетъ его русское происхожденіе), этотъ скептикъ и матеріалистъ, «плакаль надъ умирающимъ солдатомъ» (IV, 210). Съ такою же непосредственностью русскій человѣкъ отзывается на чужую радость; Максимъ Максимычъ, рассказавъ о примиреніи Бѣлы съ Печоринымъ, добавляетъ: «Повѣрите-ли? я, стоя за дверью, также заплакаль, то-есть, знаете, не то чтобъ заплакаль, а такъ... глупость!..» (IV, 171). Такъ плачетъ за дверью Василій Лукичъ: онъ хотѣль войти въ дѣтскую, гдѣ была Анна Каренина съ сыномъ, «но ласки матери и сына, звуки ихъ голосовъ и то, что они говорили, все это заставило его измѣнить намѣреніе. Онъ покачалъ головой и, вздохнувъ, затворилъ дверь. «Подожду еще десять минутъ», сказалъ онъ себѣ, откашливаясь и утирая слезы» (IX, 87).

Лермонтовъ, какъ изобразитель военного быта, является однимъ изъ немногихъ предшественниковъ Толстого. «Въ повѣстяхъ Лермонтова, Марлинскаго и Даля (который одно время былъ полковымъ докторомъ) жизнь военного человѣка была впервые описана на основаніи нагляднаго наблюденія и потому кое-какія стороны этой своеобразной души и открылись читателю; и—что важнѣе всего—рядомъ со свѣтскимъ военнымъ появился въ литературѣ и смиренный армеецъ, и солдатъ». (Котляревскій. «Гоголь». СПб. 1908 г., 468) <sup>1)</sup>. Кромѣ Максима Максимыча и ветерана 12-го года изъ «Бородина», Лермонтовъ создалъ такіе удачные типы, какъ Печоринъ, Грушницкій, драгунскій капитанъ, Вуличъ, князь Звѣздичъ. Онъ, какъ въ послѣдствіи Толстой, отмѣчаетъ въ подобныхъ людяхъ бреттерство, исканіе сильныхъ ощущеній, погоню за успѣхами въ свѣтѣ, душевную пустоту, эгоизмъ. Эти люди лишены высшихъ

<sup>1)</sup> См. еще—Зелинскій. „Рус. критич. литер. о произведеніяхъ Л. Н. Т“. I. М. 1903 г., 70, 71; II. М. 1904 г., 132.

умственныхъ интересовъ. Умнѣйшіе изъ нихъ, какъ Печоринъ, сжигаютъ жизнь въ поискахъ минутныхъ наслажденій, въ соперничествѣ изъ-за первенства въ провинціальномъ обществѣ съ Грушницкими-Мартыновыми <sup>1)</sup>. Что наполняетъ ихъ жизнь? Балы, маскарады, товарищескія попойки, да карты.

— «Господа»,—говоритъ Вуличъ,—«кому угодно заплатить за меня двадцать червонцевъ?» Онъ играетъ жизнью, товарищи слабо протестуютъ, но ни у кого не хватаетъ духу твердо сказать, что это пари—безуміе. Печоринъ подобралъ катру, и «дыханіе у всѣхъ остановилось; всѣ глаза, выражая страхъ и какое-то неопредѣленное любопытство, бѣжали отъ пистолета къ роковому тузу, который, трепеща на воздухѣ, опускался медленно...» (IV, 271). Вуличъ готовился спустить курокъ, а окружающіе испытывали только смѣшанное чувство страха и *любопытства*. Такое же безразсудное пари держитъ Долоховъ съ англичаниномъ Стивенсомъ: будучи пьянъ, онъ, сидя на окнѣ третьяго этажа, со спущенными наружу ногами, долженъ былъ выпить бутылку рому. Одинъ благоразумный чело­вѣкъ хотѣлъ было вмѣшаться, но Долоховъ заявилъ, что кто будетъ къ нему соваться, того онъ спуститъ за окно. Пари состоялось. Вуличъ оцѣнилъ свою жизнь въ двадцать червонцевъ, Долоховъ—въ пятьдесятъ («Хотите на сто?» спросилъ онъ англичанина, но тотъ сказалъ — «Нѣтъ, пятьдесятъ». — IV, 33). Напомнимъ, что Лермонтовъ, какъ мы уже говорили, былъ знакомъ съ Дороховымъ, прототипомъ Долохова. Князь Звѣздичъ, Вуличъ, Гаринъ—страстные любители картежной игры; объ увлеченіи военными азартной игрою Толстой говоритъ въ «Двухъ гусарахъ», «Войнѣ и мирѣ» и другихъ произведеніяхъ. Бреттерство военныхъ подчеркнуто въ Долоховѣ и Турбинѣ.

Лермонтовъ мечталъ написать большой романъ, который долженъ былъ обнять вѣка Екатерины II, Александра I

<sup>1)</sup> Въ Грушницкомъ изображенъ не Мартыновъ (см. Висковатый, 365), но мы намѣренно соединяемъ эти два имени въ одно, потому что Грушницкій и Мартыновъ во многомъ похожи другъ на друга.

и Николая I; онъ говорилъ объ этомъ Бѣлинскому<sup>1)</sup>.  
Разсказываютъ еще, что по пути на роковой поединокъ  
онъ передавалъ Глѣбову, что задумалъ два романа, изъ  
которыхъ одинъ «изъ временъ смертельнаго боя двухъ  
великихъ націй, съ завязкою въ Петербургѣ, дѣйствіями  
въ сердцѣ Россіи и подъ Парижемъ и развязкой въ Вѣнѣ»;  
другой — изъ кавказской жизни, съ Тифлисомъ при Ермоловѣ,  
его диктатурой и кровавымъ усмирениемъ Кавказа, Персидской  
войной и катастрофой въ Тегеранѣ, въ которой погибъ Грибоѣдовъ.  
(Мартьяновъ. «Послѣдніе дни жизни М. Ю. Л.». — «Ист. В.», 1892 г., IV, 90).



---

<sup>1)</sup> См. Бѣлинскій. Соч., изд. Павленкова. 1900 г., II, 916.

## Глава XI.

### Война (продолженіе). „Казачья колыбельная пѣсня“. „Дары Терека“. „Завѣщаніе“.

По мнѣнію Шевырева, «Казачья колыбельная пѣсня», «при всей красотѣ своей и истинѣ, своимъ содержаніемъ напоминаетъ подобную колыбельную пѣсенку В. Скотта: «Lullaby of an infant chief». (Зелинскій. «Рус. критич. литер. о произведеніяхъ М. Ю. Л.». I. М. 1904 г., 198, 199). Вотъ эта «Колыбельная пѣснь надъ ребенкомъ вождя»:

О, спи спокойно, мое дитя — твой отецъ былъ рыцаремъ,  
Твоя мать была знатной госпожей—оба прелестные и блестящіе,  
Лѣса и долины, которые мы видимъ съ башень,—  
Всѣ принадлежать тебѣ, дорогое дитя.

О го ро...

О, не бойся рожка, хоть и звонко онъ трубитъ:  
Онъ зоветъ лишь стражу, которая охраняетъ твой покой;  
Ея луки будутъ натянуты, ея мечи будутъ обагрены кровью,  
Прежде чѣмъ стопа врага приблизится къ твоей постели.

О го ро...

О, спи спокойно, мой младенецъ!—скоро наступитъ время,  
Когда твой сонъ будетъ прерванъ трубой и барабаномъ;  
Наслаждайся же покоемъ, пока можешь:  
Борьба приходитъ съ возмужаніемъ, а пробужденіе—съ зарею.

О го ро...

(Бархинъ, I, 113).

Содержаніе лермонтовской пѣсни несравненно глубже и сложнѣе. «Нѣкоторые мотивы, затронутые пѣсней Л—ва, уже разрабатывались въ русской литературѣ: вспомнимъ

хотя бы известное сравнение у Гоголя «плачущей» волны Днѣпра въ бурную ночь съ матерью казака, провожающей въ войско своего удалого сына (Гоголь: «Страшная мѣсть») или описаніе чувствъ казачки-матери въ «Тарасѣ Бульбѣ»... (Бархинъ, I, 110). Есть сообщеніе, что «Казачья колыбельная пѣсня» была написана при слѣдующихъ обстоятельствахъ: осенью 1840 г., возвращаясь изъ Чечни (послѣ сраженія на Валерикѣ), Лермонтовъ останавливался въ станицѣ Червленной. Тамъ «поэтъ, увидя хозяйку, качающую въ люлькѣ ребенка, усѣлся за столъ и сталъ на клочкѣ бумаги писать карандашомъ». Казакъ этой станицы, Лукьянъ Борискинъ, напомнилъ поэту, что ямщикъ ждетъ «на водку»; «Лермонтовъ досталъ изъ кошелька «абазъ» и подалъ Борискину для передачи ямщику, а когда Борискинъ появился въ сѣняхъ, то Лермонтовъ вышелъ къ нему съ клочкомъ бумаги и вслухъ прочелъ «Колыбельную пѣсню». (К. Каминскій. — «Терекъ». 1911 г., 24 марта, № 3980). Здѣсь есть маленькая неточность; казачка, качавшая ребенка, была не хозяйка, а сестра ея, известная красавица Дунька Догадиха; память о ней до сихъ поръ живетъ среди гребенскихъ казаковъ. Поэтъ останавливался въ домикѣ, который въ то время занималъ его другъ, гвардеецъ Вербицкій, со своей возлюбленной, казачкой Степкой, сестрой Дуньки. Въ присутствіи Лермонтова Дунька качала въ колыбели сына сестры и напѣвала казачьи пѣсни, интригуя гостя. «Эта встрѣча подарила Россіи «Казачью колыбельную пѣсню». Это, можетъ быть, единственное свѣтлое пятно въ безумной и бурной жизни Догадихи». Князь Гагаринъ, будучи хорунжимъ Гребенского полка, въ 1846 г. былъ въ станицѣ Червленной и видѣлъ Дуньку, которой въ то время было около 30 лѣтъ. Онъ говоритъ: «Я никогда не предполагалъ, что могу встрѣтить между простыми казачками типы такой изящной красоты». (Подробности эти беремъ изъ книги Г. А. Ткачева — «Станица Червленная». Вып. I. Владикавказъ. 1912 г., 116, 211, 212).

Пѣсня Лермонтова дышитъ и теплой любовью къ дѣтямъ, и сочувствіемъ горю матери, знающей, что ея ма-

лотка-сынъ уже обреченъ на тревоги войны, и неколебимой вѣрой въ защиту и милосердіе Бога. Лермонтовъ является предшественникомъ Некрасова и Надсона, создавшихъ трогательный, лучезарный образъ матери-страдальцы.

Нѣкогда А. Н. Чудиновъ, охарактеризовавъ Тамару, Бѣлу, Мери, ея мать и Вѣру, пришелъ къ слѣдующему выводу: «Этими немногими типами совершенно исчерпывается весь кругъ міросозерцанія Лермонтова относительно женщины». (А. Н. Чудиновъ. «Исторія русской женщины въ послѣдовательномъ развитіи ея литературныхъ типовъ». Воронежъ. 1872 г., 160). Категоричность этого заявленія (*«совершенно исчерпывается весь кругъ»*...) въ высшей степени... странна; почему забыть типъ идеальной матери-казачки?—идеальной жены—въ «Пѣснѣ про купца Калашникова»? Почему авторъ не остановился на лирическихъ произведеніяхъ такого рода, какъ «Ребенку», «Я, Матерь Божія» <sup>1)</sup>?

Извѣстенъ восторженный отзывъ Бѣлинскаго о «Казачьей колыбельной пѣснѣ»: «Это стихотвореніе есть художественная апофеоза матери: все, что есть святого, беззавѣтнаго въ любви матери, весь трепеть, вся нѣга, вся страсть, вся безконечность кроткой нѣжности, безграничность безкорыстной преданности, какой дышитъ любовь матери—все это воспроизведено поэтомъ во всей полнотѣ. Гдѣ, откуда взялъ поэтъ эти простодушные слова, эту умилительную нѣжность тона, эти кроткіе и задушевные звуки, эту женственность и прелесть выраженія? Онъ видѣлъ Кавказъ, — и намъ понятна вѣрность его картинъ Кавказа; онъ не видалъ Аравіи, и ничего, что могло бы дать ему понятіе объ этой странѣ палящаго солнца, песчаныхъ степей, зеленыхъ пальмъ и прохладныхъ источниковъ, но онъ читалъ ихъ описанія: какъ же онъ такъ глубоко могъ проникнуть въ тайны женскаго и материнскаго чувства?» (Бѣлинскій. Соч., изд. Павленкова. II. 1900 г., 134). Детальный разборъ этого стихотворенія покажетъ, какъ тѣсно свя-

<sup>1)</sup> Любопытно мнѣніе Чудинова, что красота женщины была для Лермонтова «единственнымъ (!) источникомъ вдохновенія». (Тамъ же, 158).

зано оно съ творчествомъ самого Лермонтова, Толстого и другихъ нашихъ поэтовъ и писателей.

Стихи — *Тихо смотритъ мѣсяць ясный*  
*Въ колыбель твою.* (II, 278).

Ср.: о Сашѣ Арбенниѣ въ начатой повѣсти: «непонятно-сладостное чувство уже волновало его душу, когда полный мѣсяць свѣтилъ въ окно на его дѣтскую кровать». (IV, 299). «Свѣтъ мѣсяца—необходимый элементъ колыбельныхъ пѣсенъ нашихъ поэтовъ (Майкова, Полоцкаго, Плещеева, Бальмонта...)». (Барахинъ, I, 111). Въ «Казачьей колыбельной пѣснѣ» мѣсяць «ясный». Излюбленный же эпитетъ поэта—«золотой». Напримѣръ:

Раздвинулъ тучи мѣсяць *золотой*. (I, 210).

Прямо въ очи

Недвижно смотритъ мѣсяць *золотой*. (II, 154).

Надъ пустынею Пророка

Всталъ тихо мѣсяць *золотой*. (II, 264).

Лишь только мѣсяць *золотой*

Изъ-за горы тихонько встанетъ. (II, 361).

Другіе эпитеты—«полный» (II, 321; IV, 195, 299); «полный и красный» (IV, 272), «бѣлый» (II, 110), «туманный» (I, 97), «серебристый» (II, 175). Съ *мѣсяцемъ* поэтъ связываетъ представленіе о *тишинѣ*:

*Тихо смотритъ мѣсяць ясный.*

То же—въ «Сашкѣ»: «все полно *тишиной*... прямо въ очи недвижно смотритъ *мѣсяць золотой*» (II, 154), *мѣсяць «тихо гасъ»* (II, 175); въ «Бѣглецѣ»: «всталъ *тихо мѣсяць золотой*» (II, 264); въ «Демонѣ»: «*мѣсяць золотой изъ-за горы тихонько встанетъ*» (II, 361) 1).

1) Ср. Достоевскій: „Огромный, круглый, мѣдно-красный мѣсяць глядѣлъ прямо въ окна. „*Это отъ мѣсяца такая тишина*, подумалъ Раскольниковъ,—онъ вѣрно теперь загадку загадываетъ“. Онъ стоялъ и ждалъ, долго ждалъ, и *чѣмъ тише былъ мѣсяць*, тѣмъ сильнѣе стучало его сердце, даже больно становилось. И *все тишина*“. („Преступленіе и наказаніе“. Полн. собр. соч. СПб. 1894 г., V, 274).

Стихи — *Стану сказывать я сказки,  
Пьсенку спою.* (II, 278).

Сашѣ Арбенину горничныя дѣвушки рассказывали «сказки про волжскихъ разбойниковъ» (IV, 299). О себѣ же поэтъ съ грустью говоритъ: «Какъ жалко, что у меня была мамушкой нѣмка, а не русская,—я не слыхалъ сказокъ народныхъ». (IV, 350, 351).

Въ избушкѣ позднею порою  
Славянка юная сидитъ.  
... И люльку дѣтскую качая,  
Поетъ славянка молодая .. (I, 161).

А я глазыньками гусей пасу,  
И я рученьками бѣль кужель пряду,  
И я ноженьками дитя качаю;  
Ты баю-баю, мило дитятко!.. (I, 168).

Мцыри помнитъ звуки пѣсенъ, которыя пѣли ему сестры надъ его колыбелью (II, 314). «Въ шумѣ родной рѣки есть что-то схожее съ колыбельной дѣсною, съ рассказами старой няни. Вадимъ это чувствовалъ, и память его невольно переселилась въ прошедшее».. (IV, 24) <sup>1)</sup>.

Стихи — *По камнямъ струится Терекъ,  
Плещетъ мутный валъ;  
Злой чеченъ ползетъ на берегъ,  
Точитъ свой кинжалъ <sup>2)</sup>.  
Но отецъ твой — старый воинъ,  
Закаленъ въ бою... (II, 278).*

«Эффектный переходъ отъ идиллической картины: «тихо смотритъ мѣсяцъ ясный въ колыбель... стану сказывать я сказки, пьсенку спою»... къ картинѣ мрачной: бурному

---

<sup>1)</sup> Князь Андрей помнитъ, какъ „няня, убаюкивая, пѣла надъ нимъ“. (VI, 209).

<sup>2)</sup> Ср.— въ „Дарахъ Терека“: *На кинжалъ чеченца злого  
Сложить голову свою.* (II, 260).

Поэтъ употребляетъ обѣ формы: „чеченъ“ и „чеченецъ“; см. еще: II, 21— „чеченъ“; II, 305, 452 — „чеченецъ“.

Тереку, къ чеченцу, оттачивающему въ ночной тьмѣ свой кинжалъ для внезапнаго нападенія»... Затѣмъ—«успокоеніе: переходъ къ прежнему спокойному тону: мать какъ бы сама испугалась впечатлѣнія, произведеннаго на ребенка разсказомъ о «зломъ чеченцѣ». (Бархинъ, I, 111). Поэтъ говоритъ здѣсь объ исконной борьбѣ казаковъ съ горцами,—борьбѣ, въ которой противники старались превзойти другъ друга въ удалствѣ и хитрости, и вѣчнымъ свидѣтелемъ которой былъ буйный Терекъ<sup>1)</sup>. Въ повѣсти «Казачи» Толстой описываетъ, какъ Лукашка, сидѣвшій въ «секретѣ» на берегу Терека, убиваетъ абрека-чеченца; это какъ бы иллюстрація къ лермонтовской пѣснѣ:

Ночь. У самыхъ ногъ казаковъ бурлитъ Терекъ, и время отъ времени на его волнахъ, какъ тѣни, проносятся каряги. Лукашку одолеваетъ сонъ, и онъ уже хочетъ разбудить товарища, чтобы тотъ смѣнилъ его, какъ вдругъ до слуха долетаетъ подозрительный всплескъ; изощренное зрѣніе сейчасъ же замѣчаетъ, что одна карча плыветъ какъ-то странно, не перекачиваясь, направляясь къ берегу. «И вотъ, при слабомъ свѣтѣ мѣсяца, ему мелькнула татарская голова впереди карчи. Онъ навелъ ружьемъ прямо на голову. Она ему показалась совсѣмъ близко, на концѣ ствола. Онъ глянулъ черезъ. «Онъ и есть, абрекъ», подумалъ онъ радостно и вдругъ порывисто вскочилъ на колѣна, снова повелъ ружьемъ, высмотрѣлъ цѣль, которая чуть виднѣлась на концѣ длинной винтовки, и, по казачьей, съ дѣтства усвоенной привычкѣ, проговоривъ: «Отцу и Сыну», пожалъ шишечку спуска. Блеснувшая молнія на мгновеніе освѣтила камыши и воду. Рѣзкій, отрывистый звукъ выстрѣла разнесся по рѣкѣ и гдѣ-то далеко перешелъ въ грохотъ. Карча уже поплыла не поперекъ рѣки, а внизъ по теченію, крутясь и колыхаясь». (II, 51). Въ стихотвореніи «Дары Терека» Лермонтовъ великолѣпно рисуетъ убитаго горца:

<sup>1)</sup> Толстой говоритъ: „Терекъ, отдѣляющій казаковъ отъ горцевъ, течетъ мутно и быстро“. (II, 37). У Лермонтова — „мутный валъ“.

Съ поля битвы кабардинецъ,  
Кабардинецъ удалой.  
Онъ въ кольчугѣ драгоцѣнной,  
Въ налокотникахъ стальныхъ,  
Изъ Корана стихъ священный  
Писанъ золотомъ на нихъ.  
Онъ угрюмо сдвинулъ брови,  
И усовъ его края  
Обагрила знойной крови  
Благородная струя;  
Взоръ открытый, безотвѣтный,  
Полонъ старою враждой;  
По затылку чубъ завѣтный  
Вьется черною космой. (II, 259, 260).

Описание абрека, убитого Лукашкой, сильно напоминаетъ лермонтовскую картину: «Қоричневое тѣло въ однѣхъ потмѣвшихъ мокрыхъ синихъ порткахъ, стянутыхъ пояскомъ на впаломъ животѣ, было стройно и красиво. Мускулистая руки лежали прямо, вдоль реберъ. Синеватая свѣже-выбритая круглая голова съ запекшеюся раной съ боку была откинута. Гладкій загорѣлый лобъ рѣзко отдѣлялся отъ бритаго мѣста. Стеклянно-открытые глаза съ низко остановившимися зрачками смотрѣли вверхъ, казалось, мимо всего. На тонкихъ губахъ, растянутыхъ въ краяхъ и выставявшихся изъ-за красныхъ подстриженныхъ усовъ, казалось, остановилась добродушная, тонкая усмѣшка. На маленькихъ кистяхъ рукъ, поросшихъ рыжими волосами, пальцы были загнуты внутрь и ногти выкрашены краснымъ». (II, 55). О сшибкахъ казаковъ съ горцами Лермонтовъ говоритъ въ «Дарахъ Терека»:

По красоткѣ-молодицѣ  
Не тоскуеть надъ рѣкой  
Лишь одинъ во всей станицѣ  
Казачина гребенской.  
Осѣдлалъ онъ вороного,  
И въ горахъ, въ ночномъ бою,

На кинжаль чеченца злого  
Сложить голову свою. (II, 260).

Въ «Валерикѣ»:

Разсыпались въ широкомъ полѣ,  
Какъ пчелы, съ гикомъ козаки;  
Ужъ показались значки  
Тамъ, на опушкѣ — два и болѣ;  
А вотъ въ чалмѣ одинъ мюридь  
Въ черкескѣ красной ѣздить важно,  
Конь свѣтло-сѣрый весь кипить;  
Онъ машеть, кличетъ... Гдѣ отважный?  
Кто выйдетъ съ нимъ на смертный бой?..  
Сейчасъ... Смотрите: въ шапкѣ черной  
Козакъ пустился гребенской,  
Винтовку выхватилъ проворно,  
Ужъ близко... выстрѣлъ... легкой дымъ...  
„Эй вы, станичники, за нимъ!“ ..—  
„Что? раненъ?“ — „Ничего! бездѣлка!“ ..—  
И завязалась перестрѣлка... (II, 301).

Эту беззавѣтную отвагу, презрѣніе къ смерти и жизни въ горцахъ и казакахъ подчеркиваетъ и Толстой; въ повѣсти «Козаки» онъ съ мастерствомъ, ему присущимъ, описываетъ кровавую схватку абрековъ съ казаками. (См. II, 137, 138).

Стихи — *Я съдельце боевое  
Шелкомъ разошью...* (II, 278).

Ср.—въ «Демонѣ»:

Цвѣтными вышито шелками  
Его сѣдло. (II, 356).

Стихи — *Богатырь ты будешь съ виду  
И козакъ душой* (II, 278)—

какъ нельзя лучше иллюстрируетъ Толстой: «Лукашка, стоявшій на вышкѣ, былъ высокій, красивый малый, лѣтъ

двадцати, очень похожий на мать<sup>1)</sup>). Лицо и все сложение его, несмотря на угловатость молодости, выражали большую физическую и нравственную силу. Несмотря на то, что онъ недавно былъ *собранный* въ строевые, по широкому выражению его лица и спокойной увѣренности позы видно было, что онъ уже успѣлъ принять свойственную казакамъ и вообще людямъ, постоянно носящимъ оружіе, воинственную и нѣсколько гордую осанку, что онъ казакъ и знаетъ себѣ цѣну не ниже настоящей. Широкая черкеска была кое-гдѣ порвана, шапка была заломлена назадъ почеченски, ноговицы спущены ниже колѣнъ. Одежда его была небогатая, но она сидѣла на немъ съ тою особою казацкою щеголеватостью, которая состоитъ въ подражаніи чеченскимъ джигитамъ. На настоящемъ джигитѣ все всегда широко, оборвано, небрежно; одно оружіе богато. Но надѣто, подпоясано и пригнуто это оборванное платьѣ и оружіе однимъ извѣстнымъ образомъ, который дается не каждому и который сразу бросается въ глаза казаку или горцу. Лукашка имѣлъ этотъ видъ джигита. Заложивъ руки за шашку и шуря глаза, онъ все вглядывался въ дальній аулъ. Порознь черты лица его были нехороши, но, взглянувъ сразу на его статное сложение, чернобровое умное лицо, всякій невольно сказалъ бы: «молодецъ малый!» (II, 44).

Стихи — *Провожать тебя я выйду —  
Ты махнешь рукой...  
Сколько горькихъ слезъ украдкой  
Я въ ту ночь пролью!..* <sup>2)</sup> (II, 279).

Бабушка поэта «такъ дрожала надъ внукомъ, что всегда, когда онъ выходилъ изъ дому, крестила его и читала надъ

<sup>1)</sup> О его матери Толстой говорить: „Старая, высокая, мужественная женщина“. (II, 41).

<sup>2)</sup> Мать Ашикъ-Кериба, тоскуя по сынѣ, отъ слезъ потеряла зрѣніе (IV, 281). Это почти пророческія слова; Висковатый говорить о бабушкѣ Лермонтова: „Когда его не стало, она выплакала свои старыя очи. Ослабѣвшія отъ слезъ вѣки падали на нихъ, и, чтобы глядѣть на опостылый міръ, старушкѣ приходилось поддерживать ихъ пальцами“. (Висковатый, 5).

нимъ молитву. Онъ уже офицеромъ, бывало, спѣшитъ на ученье или парадъ, по службѣ, торопится, но бабушка его задерживаетъ и произноситъ обычное благословеніе, и такъ, бывало, по нѣскольку разъ въ день»... (Висковатый, 72). Толстой описываетъ, какъ мать и сестра провожаютъ Лукашку. Мать напутствуетъ его благословеніемъ: «Спаси тебя Христоръ, Лукашка! Богъ съ тобой!» Нѣмая сестра знаками говоритъ брату, возвращающемуся на сторожевой постъ, чтобы онъ еще убилъ чеченца. Молодой казакъ усмѣхается и уходитъ скорыми, легкими шагами. «Молча постоявъ у воротъ, старуха вернулась въ избушку и тотчасъ же принялась за работу». (II, 77, 78).

Графиня Ростова, съ тѣхъ поръ, какъ ея два сына ушли на войну, «не спала ночей и, когда засыпала, видѣла во снѣ убитыхъ сыновей». (VI, 243) 1).

Стихи — *Стану я тоской томиться,  
Безутѣшно ждать.* (II, 279).

У Гаршина раненый, глядя на убитаго турка, думаетъ: «Быть можетъ, и у него, какъ у меня, есть старая мать. Долго она будетъ по вечерамъ сидѣть у дверей своей убогой мазанки, да поглядывать на далекій сѣверъ: не идетъ ли ея ненаглядный сынъ, ея работникъ и кормилецъ?..» (Гаршинъ, 93).

У Некрасова:

Восемь лѣтъ сынка не видѣла.  
Живъ ли, нѣтъ — не откликается,  
Ужъ и свидѣться не чаяла... („Орина, мать солдатская“).

Стихи — *Стану цѣлый день молиться,  
По ночамъ гадать.* (II, 279).

Поэтъ указываетъ на то, что въ душѣ человѣка, въ особенности—простого, странно переплетаются религіозныя и суевѣрныя чувства. Этотъ мотивъ съ безпримѣрной красотой и силой развитъ Некрасовымъ въ поэмѣ «Морозъ

1) См. еще — „Пѣсни на деревнѣ“ (X).— Въ „Дѣтствѣ“ очень трогательная сцена прощанія матери съ уѣзжающими дѣтьми. (I, 38, 39).

Красный Носъ»: мужъ крестьянки Дарьи при смерти, и она идетъ за чудотворной иконой; ночь; мѣсяць за тучами; темно; эта темнота и одиночество пугаютъ крестьянку, пробуждаютъ въ ней древнія суевѣрія. Все, какъ кажется ей, предсказываетъ бѣду.

Взглянетъ на небо,—тамъ

какіе-то гробы,  
Цѣпи да гири выходятъ изъ тучъ.

Вотъ шмыгнулъ заяць.

— Заинька, стой! не посмѣй  
Перебѣжать мнѣ дорогу!

Заяць убѣжалъ, и она думаетъ: «*Слава Богу*»... Но страхъ сильнѣе охватываетъ ее, ей чудится, что

*нечистая сила*  
Залотошила, завыла,  
Заголосила въ лѣсу.

Дарья произноситъ заклинанье—«*чуръ меня!*» и тотчасъ же упоминаетъ имя Божьей Матери:

*Дѣвѣ Пречистой*  
Я приношенье несу!

На небѣ покатила звѣзда, и для крестьянки это недоброе предзнаменованіе. Она доходитъ, наконецъ, до монастыря, и вдругъ дрогнуло ея сердце: «*Воронъ сидитъ на крестѣ золоченомъ*»... Послѣдній штрихъ—сочетаніе креста, христіанскаго символа, и ворона, вѣщей птицы,—полонъ глубокаго смысла.

Стихи — *Дамъ тебѣ я на дорогу*  
*Образокъ святой:*  
*Ты его, моляся Богу,*  
*Ставь передъ собой;*  
*Да, готовясь въ бой опасный,*  
*Помни мать свою. (II, 279).*

Въ драмѣ «Два брата», написанной за четыре года до «Казачьей колыбельной пѣсни», Юрій говоритъ, что онъ имя любимой дѣвушки твердитъ, какъ молитву, хранитъ, *«какъ образъ—благословеніе матери»*. (III, 331). Ашикъ-Керибъ, пускаясь въ странствованіе, беретъ у матери благословеніе (IV, 278). Лермонтовъ свято чтитъ образа, натѣльные кресты. Послѣ его смерти осталось четыре образа и натѣльный крестъ съ мощами (см. Мартыяновъ. «Послѣдніе дни жизни М. Ю. Л.»—«Ист. В.», 1892 года, IV). Поэтъ глубоко національный, онъ подчеркиваетъ въ русскомъ человѣкѣ усердное почитаніе этихъ святынь. У боярина Орши въ красныхъ углахъ иконы

въ ризѣ дорогой,

Въ алмазахъ, въ жемчугѣ, съ рѣзью. (II, 109).

Запоздала Алена Дмитревна, и въ домѣ непорядокъ: дѣти не спятъ, плачутъ, столъ не накрытъ,

А свѣча передъ образомъ еле теплится. (II, 220).

Калашниковъ носить на груди

мѣдный крестъ

Со святыми мощами изъ Кіева. (II, 226) <sup>1)</sup>.

Самъ поэтъ передъ образомъ Богоматери горячо молится о счастье любимой дѣвушки (II, 208). Икона, озаренная лучомъ лампы, навѣвала миръ и отраду въ его мятежную, скорбную душу (II, 142). Его трогаль видъ ребенка, молящагося передъ образомъ вмѣстѣ съ матерью (II, 287). Въ «Тамани» находимъ слѣдующій характерный штрихъ: «Я вошелъ въ хату: двѣ лавки и столъ, да огромный сундукъ возлѣ печи составляли всю ея мебель. *На стѣнѣ ни одного образа—дурной знакъ!*» (IV, 196). См. еще описанія образовъ—IV, 11, 41, 42, 43.

Благословеніе дѣтей, покидающихъ родной кровъ,—древ-

<sup>1)</sup> Измаиль-Бей, тайно отъ соплеменниковъ, носилъ „бѣлый крестъ на лентѣ полосатой“. (II, 84).

ній обычай. Илья Муромецъ, собравшись ѣхать въ Кіевъ, говорить:

Охъ ты гой еси, родимый, милый батюшка!  
Дай ты мнѣ свое благословеньице.

Пушкинскій Гриневъ, вспоминая объ отъѣздѣ изъ дому, рассказываетъ: «Родители мои благословили меня». Гоголь въ «Тарасѣ Бульбѣ» даетъ высоко-художественное описаніе напутствія матерью молодыхъ отъѣзжающихъ воиновъ.

Толстой чаще другихъ упоминаетъ о благоговѣйномъ отношеніи русскаго человѣка къ иконѣ. Мать капитана Хлопова говоритъ волонтеру, отправляющемуся на Кавказъ: «Вотъ это Неопалимой Купины наша Матушка-Заступница,—сказала она, съ крестомъ поцѣловавъ изображеніе Божьей Матери и передавая мнѣ въ руки,—потрудитесь, батюшка, доставьте ему. Видите ли: какъ онъ поѣхалъ на *Кавказъ*<sup>1)</sup>, я отслужила молебенъ и дала обѣщаніе, коли онъ будетъ живъ и невредимъ, заказать этотъ образъ Божьей Матери. Вотъ ужъ восемнадцать лѣтъ, какъ Заступница и угодники святые милуютъ его: ни разу раненъ не былъ, а ужъ въ какихъ, кажется, *страженіяхъ*<sup>2)</sup> не былъ!»... На самомъ дѣлѣ капитанъ былъ четыре раза тяжело раненъ, но не писалъ объ этомъ матери (II, 7, 8). Розенкранцъ (онъ говорилъ, «что онъ и предки его были чистые русскіе»), пользовавшійся извѣстностью отчаяннаго храбреца, каждый вечеръ молился Богу и никогда не снималъ съ шеи «огромнаго образа» (II, 12). Севастополецъ Михайловъ, пробѣгая по траншеѣ, дотрогивался «безпрестанно до образа Митрофанія угодника, въ котораго онъ имѣлъ особенную вѣру» (II, 177). Володя Козельцовъ, попавъ въ Севастополь, испытываетъ въ первую ночь сильный страхъ; но когда ему припомнилась *мать, «провожающая его въ уѣздномъ городѣ и горячо со слезами молящаяся передъ чудотворной иконою»*, «вдругъ мысль о Богѣ всемогущемъ и добромъ, который все можетъ сдѣлать и услы-

1) Курсивъ Л. Т.

2) Тоже курсивъ Л. Т.

шать всякую молитву, ясно пришла ему въ голову. Онъ сталъ на колѣни, перекрестился и сложилъ руки такъ, какъ его въ дѣтствѣ еще учили молиться. Этотъ жестъ вдругъ перенесъ его къ давно забытому отрадному чувству». Онъ помолился, и «дѣтская, запуганная, ограниченная душа вдругъ возмужала, просвѣтлѣла и увидѣла новые обширные, свѣтлые горизонты». (II, 206). «Господи великій!» восклицаетъ самъ Толстой, «только Ты одинъ слышалъ и знаешь тѣ простыя, но жаркія и отчаянныя мольбы невѣдѣнія, смутнаго раскаянія просьбы исцѣленія тѣла и просвѣтленія души, которыя восходили къ Тебѣ изъ этого страшнаго мѣста смерти, отъ генерала, за секунду передъ этимъ думавшаго о завтракѣ и о Георгіи на шею и со страхомъ чующаго близость Твою, до измученнаго, голоднаго, вшиваго солдата, повалившагося на голомъ полу Николаевской батареи и просящаго Тебя дать ему тамъ безсознательно предчувствуемую имъ награду за всѣ страданія! Да, Ты не уставалъ слушать мольбы дѣтей Своихъ, ниспосылая имъ вездѣ ангела-утѣшителя, влагавшаго въ душу терпѣніе, чувство долга и отраду надежды». (II, 206—207). Въ шеголеватомъ флотскомъ блиндажѣ «въ углу стояла большая въ золотой ризѣ икона Божіей Матери и передъ ней горѣла розовая лампадка». (II, 207). У декабриста, вернувшагося изъ ссылки, образокъ во всѣхъ комнатахъ. (III, 335) <sup>1)</sup>. Съ именемъ прадеда Толстого, князя Сергѣя Ѳедоровича Волконскаго, связана такая легенда: «Князь Сергѣй Ѳедоровичъ Волконскій участвовалъ въ Семилѣтней войнѣ въ чинѣ ген.-майора. Во время похода женѣ его приснилось, что какой-то голосъ повелѣваетъ ей, написавши небольшую икону: съ одной стороны Живоноснаго Источника, а съ другой Николая Чудотворца, послать ее мужу. Она для того избрала дощечку, приказала написать на ней икону и черезъ фельдмаршала Апраксина доставила князю Сергѣю. Въ тотъ же день курьеръ привезъ ему повелѣніе—итти для поиска непріятели. Сергѣй Ѳедоровичъ, призвавъ Бога на помощь, возложилъ на себя полученный образъ. Въ

<sup>1)</sup> См. еще — XI, 197.

кавалерійскомъ дѣлѣ непріятельская пуля попала ему въ грудь, но ударила въ самую икону и не причинила ему вреда; такимъ образомъ икона эта спасла ему жизнь; образъ этотъ хранился послѣ у младшаго сына его князя Николая Сергѣевича. Князь Сергѣй Ѳедоровичъ умеръ 10-го марта 1784 г.

Левъ Николаевичъ, конечно, зналъ это преданіе и воспользовался имъ въ «Воинѣ и мирѣ» для изображенія религіознаго настроенія княжны Маріи Волконской передъ отправленіемъ князя Андрея на войну». (Бирюковъ. «Л. Н. Т.», I, 34—35). Вотъ эта знаменитая сцена:

Княжна Марья робко проситъ брата исполнить ея желаніе,—принять благословеніе. Братъ сначала шутитъ и говоритъ, что возьметъ образъ, «ежели онъ не въ два пуда и шею не оттянетъ». Но, «замѣтивъ огорченное выраженіе, которое приняло лицо сестры при этой шуткѣ, онъ раскаялся.—Очень радъ, право, очень радъ, мой другъ,—прибавилъ онъ.

Противъ твоей воли Онъ спасетъ и помилуетъ тебя и обратитъ тебя къ Себѣ, потому что въ Немъ одномъ и истина и успокоеніе<sup>1)</sup>»,—сказала она дрожащимъ отъ волненія голосомъ, съ торжественнымъ жестомъ держа въ обѣихъ рукахъ передъ братомъ овальный старинный образокъ Спасителя съ чернымъ ликомъ въ серебряной ризѣ на серебряной цѣпочкѣ мелкой работы<sup>2)</sup>.

Она перекрестилась, поцѣловала образокъ и подала его Андрею.

— Пожалуйста, André, для меня...

Изъ большихъ глазъ ея свѣтились лучи добраго и роб-

---

1) Раненый вторично, князь Андрей горько думалъ: „Состраданіе, любовь къ братьямъ, къ любящимъ; любовь къ ненавидящимъ насъ, любовь къ врагамъ; да, та любовь, которую проповѣдывалъ Богъ на землѣ, *которой меня учила княжна Марья и которой я не понималъ*,— вотъ отчего мнѣ жалко было жизни, вотъ оно то, что еще оставалось мнѣ, ежели бы я былъ живъ. Но теперь уже поздно. Я знаю это!“ (VI, 210).

2) „Его еще отецъ моего отца, нашъ дѣдушка, носилъ во всѣхъ войнахъ“,— сказала княжна брату. (IV, 102).

каго свѣта. Глаза эти освѣщали все болѣзненное, худое лицо и дѣлали его прекраснымъ. Братъ хотѣлъ взять образокъ, но она остановила его. Андрей понялъ, перекрестился и поцѣловалъ образокъ. Лицо его въ одно и то же время было нѣжно (онъ былъ тронуть) и насмѣшливо.

— Merci, mon ami.

Она поцѣловала его въ лобъ и опять сѣла на диванъ. Они молчали». (IV, 102—103).

Когда раненый князь Андрей лежалъ на полѣ битвы, французскіе солдаты сняли съ него образокъ; увидѣвъ потомъ, съ какой лаской Наполеонъ обращается съ плѣнными, вернули образокъ Болконскому. (IV, 279). Любопытно отмѣтить одну ошибку Толстого: въ началѣ романа онъ говоритъ, что образокъ этотъ былъ *«въ серебряной ризѣ на серебряной цѣпочкѣ»* (IV, 102); потомъ образокъ оказывается *золотымъ*, на *золотой цѣпочкѣ* (IV, 279).

Княжна Марья очень набожна. Лермонтовъ тоже указываетъ на религіозность русской *свѣтской* женщины; его трогаетъ, что княгиня Щербатова, свѣтская красавица, хранить «дѣтскую вѣру» въ Бога. (II, 294). Въ стихотвореніи «Ребенку» онъ немногими, но плѣнительными штрихами рисуетъ молодую мать, которая учитъ молиться свое дитя (II, 287). Володя Козельцовъ въ страшную севастопольскую ночь вспомнилъ о Богѣ, «сталъ на колѣни, перекрестился и сложилъ руки такъ, *какъ его въ дѣтствѣ еще учили молиться*. Этотъ жестъ вдругъ перенесъ его къ давно забытому отрадному чувству». (II, 206). Эти строки Толстого служатъ какъ бы продолженіемъ стихотвореній Лермонтова «Казачья колыбельная пѣсня» и «Ребенку»; мы видимъ, что сынъ не забылъ материнскаго завѣта и въ трудную минуту вспоминаетъ и мать, и Бога.

Темы, затронутыя Лермонтовымъ въ «Казачьей колыбельной пѣснѣ», часто привлекали вниманіе нашихъ поэтовъ; кромѣ вышеприведенныхъ, можно было бы найти еще много примѣровъ. Бархинъ приводитъ въ параллель стихи Пушкина изъ «Кавказскаго плѣнника» объ угрожающей казакамъ опасности:

Въ рѣкѣ бѣжить гремучій валь;  
Въ горахъ — безмолвіе ночное;  
Казакъ усталый задремаль,  
Склонясь на копіе стальное.  
Не спи, казакъ: во тьмѣ ночной  
Чеченецъ ходитъ за рѣкой.

О слезахъ матери—стихи изъ «Бахчисарайскаго фонтана»:

Журчить во мраморѣ вода  
И каплетъ хладными слезами,  
Не умолкая никогда;  
Такъ плачетъ мать во дни печали  
О сынѣ, павшемъ на войнѣ... (Бархинъ, 111, 112).

Владиміровъ указываетъ на близость къ названному стихотворенію Лермонтова стихотворенія Некрасова—«Внимаю ужасамъ войны». (Владиміровъ, 31). Ср. еще стихотвореніе Голенищева - Кутузова «Безвозвратный путь»:

Судьбу вопрошая, страшась и любя,  
Безпечный младенецъ, смотрю на тебя.  
Не вѣдая жизни таинственной цѣли,  
Съ улыбкой блаженства ты спишь въ колыбели...

. . . . .  
Но скоро безсилія свергнешь ты бремя,  
И ступишь ногою въ опасное стремя...

(Гол.-Кут., Соч., I, 161 — 165) <sup>1)</sup>.

Это напоминаетъ двустипиіе Шиллера, переведенное Лермонтовымъ:

Счастливъ ребенокъ — и въ люлькѣ просторно ему! Но дай время  
Сдѣлаться мужемъ,— и тѣсенъ покажется міръ! (Л., I, 77).

Горе матери, потерявшей сына на войнѣ, очень тепло изображено въ стихотвореніи Барыковой «За пальцами». Слѣдующее стихотвореніе извѣстной польской поэтессы

<sup>1)</sup> Ср. стихотвореніе К. Р. „Колыбельная пѣсенка“.

Конопницкой напоминает лермонтовскую колыбельную пѣсню:

Ахъ, качайся, ты качайся,  
 Колыбельюшка моя!  
 За тебя, сыночекъ милый,  
 Помолюся Богу я.  
 Пусть тебя Хранитель-Ангель  
 Сохранитъ годокъ, другой,  
 А потомъ тебя отнимутъ:  
 Будешь барскимъ ты слугой!  
 Ахъ, качайся, колыбелька,  
 Ты качайся побыстрѣй!  
 Изъ льна спряду я нитку <sup>1)</sup> —  
 Луга барскаго длиннѣй.  
 Будетъ та, сыночекъ, нитка  
 И сѣра, и не мягка,  
 Словно наша доля — горе,  
 Словно доля мужика.  
 Раскачайся, колыбелька...  
 Чу! и музыка гремитъ,  
 И сынокъ въ походъ собрался, —  
 У порога мать стоитъ...  
 Ахъ, качайся, ты качайся,  
 Колыбельюшка моя!  
 Одинокой, безпріютной  
 Побреду по свѣту я.  
 Свѣтъ широкъ... Да отъ сыночка  
 Далеко я не уйду:  
 На своемъ родномъ погостѣ —  
 Тамъ мѣстечко я найду!

(Переводъ И. Бѣлоусова).

Съ «Казачьей колыбельной пѣсней» тѣсно связано «Завѣщаніе» <sup>2)</sup>, — одно изъ самыхъ мрачныхъ стихотвореній

<sup>1)</sup> Ср. Лермонтовъ. И я рученьками бѣль кужель спряду,

И я ноженьками дитя качаю;

Ты баю-баю, мило дитятко! (I, 168).

<sup>2)</sup> Л., II, 296, 297.

Лермонтова. Поэтъ вѣчно томился предчувствіемъ, что его смерть будетъ преждевременна и трагична, что умереть онъ одинокимъ, никѣмъ не оплаканный; конечно, онъ писалъ это «Завѣщаніе», заглядывая къ себѣ въ душу... Умиравшій молодъ, знаетъ, что ему мало остается жить, но мысль объ этомъ не вызываетъ въ немъ той безумной жажды жизни и борьбы, которая кипѣла въ груди угасавшаго Мцыри. Быть можетъ, у него скоро начнется агонія, но пока умъ ясенъ, память свѣжа. Раненый не забываетъ послать поклонъ родинѣ, вспоминаетъ о старикахъ-родителяхъ, о любимой женщинѣ. Ему, видно, не жаль разстаться съ жизнью, она ничѣмъ не манитъ его. Онъ хладнокровно смотритъ въ глаза призраку смерти, и у него даже хватаетъ мужества пошутить: «Плохи наши лѣкаря...» Но какъ ни сдержанны эти рѣчи, а чувствуется, что душа его подна глухой, невыразимой, грызущей тоски; тяжело, хоть жизнь и не мила, умирать молодому; обидно, горько, что никто на родинѣ не озабоченъ твоей судьбой, и хочется, чтобы по тебѣ поплакала хотя бы эта женщина, уже разлюбившая и позабывшая тебя!.. Какой-то суровой гѣжностью, скрытой заботливостью звучатъ предсмертныя слова:

Отца и мать мою едва-ль  
 Застанешь ты въ живыхъ...  
 Признаться, право, было-бъ жаль  
 Мнѣ опечалить ихъ;  
 Но если кто изъ нихъ и живъ,  
 Скажи, что я писать лѣнивъ,  
 Что полкъ въ походъ послали,  
 И чтобъ меня не ждали.

Сынъ даже не знаетъ, живы ли его родители, онъ ничего не пишетъ имъ, но не думайте, что это говоритъ о черствости сердца, о дѣйствительной лѣности. Лермонтовъ говоритъ здѣсь о характерной чертѣ русскаго человѣка: сохраняя равнодушный видъ, рискуя уронить себя въ мнѣніи близкихъ, таитъ въ глубинѣ души неизмѣнныя, те-

плыя чувства. Пусть отецъ и мать посѣтуютъ на лѣность сына, на его упорное нежеланіе прислать о себѣ хотя бы нѣсколько строкъ, пусть дольше продлится обманъ, пускай дома сердятся на сына,—но не узнаютъ зато, что онъ умеръ, умеръ, страдая и отъ ранъ, и отъ одиночества... Максимъ Максимычъ говоритъ: «Объ отцѣ и матери я лѣтъ двѣнадцать ужъ не имѣю извѣстія». (IV, 176). Мать капитана Хлопова рассказываетъ: «Вѣдь я что и знаю про него, такъ только отъ чужихъ: онъ мнѣ, мой голубчикъ, *ничего про свои походы не пишетъ — меня напугать боится...* Нешто въ годъ разъ, и то когда съ деньгами, такъ словечко напишетъ, а то нѣтъ. *Ежели, говоритъ, маленька, я вамъ не пишу, значитъ живъ и здоровъ*, а коли что, избави Богъ, случится, такъ и безъ меня напишутъ». Восемнадцать лѣтъ онъ живетъ на чужбинѣ, и мать радуется, что ея сынъ, выдавшій много сраженій, ни разу не былъ раненъ; и не знаетъ, что ея «Пашенька» за это время былъ четыре раза тяжело раненъ. Это та святая ложь, о которой говоритъ Лермонтовъ въ «Завѣщаніи». Хлоповъ поступаетъ такъ, какъ лермонтовскій умирающій; мать послѣдняго, конечно, думала о сынѣ то же, что мать Хлопова о своемъ. Когда капитану Хлопову передали образокъ отъ матери, онъ отошелъ въ уголъ и долго возился тамъ съ трубкой, желая скрыть волненіе.—«Да, славная старуха!—сказалъ онъ оттуда нѣсколько глухимъ голосомъ.—Приведетъ ли еще Богъ свидѣться?—Въ этихъ простыхъ словахъ выражалась очень много любви и печали». (II, 7, 8).

Русскій человекъ въ выраженіи сильныхъ чувствъ часто бываетъ немногословенъ. «Сказанное слово—серебряное, а не сказанное—золотое». (Л. Т., VI, 238).

Николай Ростовъ, нѣжный сынъ и братъ, находясь въ дѣйствующей арміи, порою не давалъ о себѣ свѣдѣній домой, и мать проводила бессонныя ночи. (VI, 243). Герой Гаршина, лежа на полѣ сраженія, терзается мыслью, что мать и невѣста узнаютъ о подробностяхъ его страшнаго, казавшагося ему неизбѣжнымъ, конца: «Господи, *не дай имъ узнать всю правду!* Пусть думаютъ, что я убитъ на-

поваль. Что́ будетъ съ ними, когда онѣ узнаютъ, что я мучился два, три, четыре дня!» (Гаршинъ, 94). Андреевъ въ «Красномъ смѣхѣ» рассказываетъ про одного умирающаго: «У него уже начался гнойникъ, былъ сильный жаръ и черезъ три дня его должны будутъ свалить въ яму, къ мертвымъ, а онъ лежалъ, улыбался мечтательно и говорилъ объ орденѣ.

— А матери послалъ телеграмму?—спросилъ я.

*Онъ испуганно, но сурово и злобно взглянулъ на меня и не отвѣтилъ.* И я замолчалъ, и слышно стало, какъ стонуть и бредятъ раненые. Но когда я поднялся уходить, онъ сжалъ мою руку своею горячею, но все еще сильною рукою, и растерянно и тоскливо впился въ меня провалившимися горящими глазами.

— Что же это такое, а? Что же это?—пугливо и настойчиво спрашивалъ онъ, дергая мою руку.

— Что?

— Да вообще... все это. *Вгдѣ она ждетъ меня? Не могу же я.* Отечество—развѣ ей втолкуешь, что такое отечество.

— Красный смѣхъ,—отвѣтилъ я.

— Ахъ! Ты все шутишь, а я серьезно. Необходимо объяснить,— а развѣ ей объяснишь? Если бы ты зналъ, что она пишетъ! Что она пишетъ!» (Сб. т-ва «Знаніе», III, 283, 284).

Восторженный поклонникъ поэзіи Лермонтова, Огаревъ о «Завѣщаніи» писалъ въ одной замѣткѣ: «Стихотвореніе какъ лирически, такъ и музыкально, такъ великолѣпно, что я готовъ его перечитывать безконечное число разъ». (Огаревъ. «Съ утра до ночи».—«Сѣверныя Записки». 1913 г. III, 118). Въ его поэмѣ «Юморъ» есть отзвуки лермонтовской лиры:

Какъ знать? Вдали, въ краю чужомъ,  
(Хоть я и ѣзжу осторожно)  
Умру быть можетъ. Жалко вамъ?  
Да не желалъ бы я и самъ.  
Вотъ воля вамъ моя одна.

Скажите тѣмъ, кого любилъ я,  
Что въ смертный часъ ихъ имена  
Произнося, благословилъ я,  
Что смерть моя была ясна,  
Что помнить обо мнѣ просилъ я,  
Смирясь покорствовалъ судьбѣ  
И скоро жду ихъ всѣхъ къ себѣ.

(Огаревъ, II, 41, 42).

---

## Глава XII.

### Война (окончаніе). Вторженіе человѣка въ мирную жизнь природы.

Лермонтовъ считалъ войну великимъ зломъ потому еще, что она разрушаетъ первозданную красоту и гармонію природы. Въ поэмѣ «Ангель Смерти» онъ говоритъ:

Зачѣмъ въ долинѣ сокровенной  
Отъ миртовъ дышетъ ароматъ?  
Зачѣмъ?.. Властители вселенной,  
Природу люди оскверняютъ.  
Цвѣтокъ измятый обагрится  
Ихъ кровью, и стрѣла промчится  
На мѣсто птицы въ небесахъ,  
И солнце отуманитъ прахъ.  
Крикъ побѣдившихъ, стонъ сраженныхъ  
Принудятъ мирныхъ соловьевъ  
Искать въ предѣлахъ отдаленныхъ  
Другихъ долинъ, другихъ кустовъ,  
Гдѣ красный день, какъ ночь, спокоентъ,  
Гдѣ ихъ царицу, ихъ любовь,  
Не стопчетъ розу мрачный воинъ,  
И обагрить не можетъ кровь <sup>1)</sup>. (I, 321, 322).

Гибель въ природѣ прекраснаго больно отзывается въ душѣ поэта по той причинѣ, что онъ все въ природѣ *очеловѣчиваетъ*.

<sup>1)</sup> Ср. Кольцовъ:

Райскія долины  
Кровью обливались.

(Кольцовъ „Полн. собр. соч.“—Акад. Библиотека Рус. Писателей. СПб. 1909 г., 72).

Природа тѣшится шутя,  
*Какъ беззаботное дитя.* (II, 381).

Воздухъ на Кавказѣ «чистъ, какъ молитва ребенка» (I, 106), «чистъ и свѣжъ, какъ поцѣлуй ребенка» (IV, 204). Деревья шумятъ, «какъ братья въ пляскѣ круговой» (II, 313). У ручья—«ребячий лепетъ» (II, 326). Арагва и Кура обнимаются, «будто двѣ сестры» (II, 308). Шакаль кричитъ и плачетъ, «какъ дитя» (II, 316) <sup>1)</sup>. Раненый барсъ стонетъ, «какъ человѣкъ» (II, 322). У рыбки взоръ

Зеленыхъ глазъ  
*Быль грустно-нѣженъ и глубокъ.* (II, 327).

Звѣзды юга ярки,  
*какъ очи,*  
*Какъ взоръ грузинки молодой.* (II, 353).

Поэтъ часто прибѣгаетъ къ олицетвореніямъ. Каспійское море — величавый старикъ съ темно-синими глазами (II, 260) <sup>2)</sup>.

Кавказъ,  
нахмурясь, тихо дремлетъ,  
Какъ великанъ склонившись надъ щитомъ. (II, 263).

Казбекъ—«стражъ Востока»; его наморщенный лобъ повитъ бѣлою чалмой (II, 213); онъ

Кавказа царь могучій,  
Въ чалмѣ и ризѣ парчевой. (II, 364).

Метель —

дозоромъ ходить,  
Сдувая пылъ со стѣнъ съдыхъ,  
То пѣсню долгую заводитъ,  
То окликаетъ часовыхъ. (II, 383).

<sup>1)</sup> Толстой сравниваетъ крикъ шакала и филина съ плачемъ. (II, 17; XII, 11, 18, 19).

<sup>2)</sup> Ср. Л., I, 80: духъ озера Стрибогъ—старецъ съ сіяющими глазами.

## Утренняя зимняя заря

Разметала кудри золотистыя,  
Умывается снѣгами разсыпчатыми,  
Какъ красавица, глядя въ зеркальце,  
Въ небо чистое смотреть, улыбается. (II, 224).

Ср. еще олицетворенія въ стихотвореніи «Споръ» (II, 337 — 340).

Наоборотъ, описывая красоту человѣка или говоря о человѣческихъ чувствахъ, Лермонтовъ (какъ и Толстой) беретъ сравненія изъ міра природы. Красота женщины (на этомъ мы остановимся ниже)—недолговѣчный, но прелестный цвѣтокъ. Мцыри, попавъ въ дикій лѣсъ,

какъ *звѣрь*, былъ чуждъ людей,  
И ползъ, и прятался какъ *змѣй*. (II, 316).

Онъ страдалъ, но не желалъ помощи людей:

Я былъ чужой

Для нихъ навѣкъ, какъ *звѣрь* степной. (II, 321) <sup>1)</sup>.

Услышавъ на волѣ человѣческой голосъ, онъ трепещетъ, и его взглядъ боязливъ (II, 318): словно передъ нами рѣзвый, свободный, пугливый звѣрекъ. Онъ плачетъ, не стыдясь, такъ какъ его видѣли только лѣсъ и мѣсяць (II, 321) <sup>2)</sup>. Но онъ полонъ могучихъ силъ и дерзости: увидѣвъ барса, онъ не прячется, не бѣжитъ; онъ самъ идетъ на опасность; его сердце «зажглося жаждою борьбы и крови» (II, 321). Онъ схватился съ барсомъ грудь съ грудью: они сплелись «какъ пара *змѣй*» (II, 322). Мцыри говорить:

И я былъ *страшенъ* въ этотъ мигъ;  
Какъ *барсъ* пустынный, *золъ* и *дикъ*,

<sup>1)</sup> Ребенкомъ онъ былъ

Какъ *серна горъ*, пугливъ и дикъ,

И слабъ и гибокъ, какъ *тростникъ*. (II, 309).

<sup>2)</sup> Алеша Карамазовъ въ тихую звѣздную ночь плакалъ, цѣловалъ землю, обливая ее слезами, и „не стыдился изступленія сего“. („Бр. Кар.“ Достоевскаго. Соч., XII т. 1895 г. 430).

Я пламенѣль, визжалъ, какъ онъ:  
 Какъ будто самъ я былъ рожденъ  
 Въ семействѣ барсовъ и волковъ  
 Подъ свѣжимъ пологомъ лѣсовъ.  
 Казалось, что слова людей  
 Забылъ я,— и въ груди моей  
 Родился тотъ ужасный крикъ,  
 Какъ будто съ дѣтства мой языкъ  
 Къ иному звуку не привыкъ. (II, 322, 323) <sup>1)</sup>.

Въ вариантахъ «Героя нашего времени» Печоринъ сравнивается съ *тигромъ* <sup>2)</sup>: «Если вѣрить тому, что каждый человѣкъ имѣетъ сходство съ какимъ нибудь животнымъ, то, конечно, Печорина можно было сравнить только съ *тигромъ*... Сильный и гибкій, ласковый и мрачный, великодушный или жестокий, смотря по внушенію минуты, всегда готовый на долгую борьбу, иногда обращенный въ бѣгство, но не способный покориться...» и т. п. (IV, 372). Толстой въ страданіяхъ человѣка видитъ нѣчто животное, звѣриное. Раненый Веленчукъ кричитъ, «какъ *заяцъ*» (II, 245). Солдатъ - татаринъ во время операціи «какъ будто *жюкалъ*» и «*оскаливъ бѣлые зубы* начиналъ рваться, дергаться и *визжать* пронзительно-звонящимъ, протяжнымъ *визгомъ*» (VI, 208). Денисовъ, узнавъ о смерти Пети Ростова, стонетъ, и звуки стона похожи «на *собачій лай*» (VII, 123). Плѣнные французы «разрывали руками кусокъ сырого мяса. Что-то было страшное и *животное*» въ ихъ взглядѣ. (VII, 152). Кити тяжело мучилась во время родовъ, и Левинъ, стоя въ сосѣдней комнатѣ, «слышалъ чей-то

<sup>1)</sup> Первоначальный эскизъ боя Мцыри съ барсомъ находимъ въ „Аулъ Бастунджи“; Селимъ рассказываетъ:

Мой домъ изрытъ въ расщелинахъ скалы:  
 Въ немъ до меня два барса дружно жили;  
 Узнавъ пришельца, голодны и злы,  
 Они, воспрянувъ, бросились, завыли...  
 Я ихъ убилъ. (I, 346).

<sup>2)</sup> Ср. еще — „какъ *тигръ* вскочилъ Вадимъ“. (IV, 14). Казбичъ „опрометью бросился вонъ, какъ дикій *барсъ*“. (IV, 167).

никогда неслыханный имъ *визгъ, ревъ*». (IX, 237). Въ то же время Толстой, какъ показываетъ Мережковскій, очеловѣчиваетъ страданія животныхъ. «Испытывая, углубляя челоѣческое до животнаго, животное до челоѣческаго, въ послѣдней глубинѣ обоихъ находить Л. Толстой первое, общее, единое, *соединяющее* <sup>1)</sup>, символическое». (Мережковскій. «Л. Толстой и Достоевскій». I. СПБ. 1903 г., 242). Собаки и лошади, какими изображаетъ ихъ Толстой, чрезвычайно понятливы, чутки—и только не говорятъ <sup>2)</sup>).

Лермонтовъ очеловѣчиваетъ красоту и страданія природы. Жизнь природы сложна, ярка, и смерть ея дѣтей—не естественная, а причиненная челоѣкомъ,—является страшнымъ диссонансомъ; такова была смерть трехъ пальмъ.

По мнѣнiю Бархина <sup>3)</sup>, идея «Трехъ пальмъ» выражена въ поэмѣ «Ангель Смерти»:

Зачѣмъ въ долинѣ сокровенной  
Отъ миртовъ дышетъ аромать?  
Зачѣмъ?.. Властители вселенной,  
Природу люди осквернятъ. (I, 321).

Но для насъ очевидно, что идея «Трехъ пальмъ» шире; въ указанныхъ Бархинымъ стихахъ «Ангела Смерти» нѣтъ и намекъ на ропотъ гордыхъ дѣтей природы и на понесенную ими кару. Люди, погубившіе прелестный оазисъ, жестоки, но часть вины снимается съ нихъ, потому что они—орудіе въ рукахъ разгнѣваннаго Высшаго Судіи.

Въ поэмѣ «Ангель Смерти» (I, № 282, ст. 308—323) и въ «Трехъ пальмъ» отразилось вліяніе поэмъ Байрона—«Гяуръ» и «Абидосская невѣста». Еще въ 1830 г. Лермонтовъ перевелъ прозой начало «Гяура», и именно въ этомъ отрывкѣ заключаются нѣкоторыя идеи и художественные образы, которые мы находимъ въ «Ангелѣ Смерти» и «Трехъ пальмахъ».

<sup>1)</sup> Курсивъ Мережковского.

<sup>2)</sup> См. Вересаевъ. „Живая жизнь“. I. М. 1911 г., 69, 70.

<sup>3)</sup> Бархинъ, I, 79.

Байронъ: «Ибо здѣсь *роза*, — на скалѣ или въ *долинѣ*, *любовница (царица) соловья*, дѣва, для которой его звуки, тысячи его пѣсней слышны въ высотѣ, — цвѣтетъ, краснѣя отъ рассказовъ *соловья (его, любовника)*; *его царица*, царица садовъ, его *роза*, негибаемая вѣтрами, неоледѣняемая снѣгами, далеко отъ зимы западной, благословляемая каждымъ временемъ года и каждымъ зефиромъ, подарокъ природы — ароматъ отдаетъ небу въ сладчайшемъ благоуханіи; она признательно (съ благодарностью) возвращаетъ и лучшіе свои цвѣты улыбающемуся небу съ благовоннымъ вздохомъ». (Л., II, 423).

Лермонтовъ о розѣ и соловьѣ:

Златой Востокъ, страна чудесь,  
Страна любви и сладострастья,  
Гдѣ блещетъ *роза*, дочь небесъ... (I, 313).  
Крикъ побѣдившихъ, стонъ сраженныхъ  
Принудятъ мирныхъ *соловьевъ*  
Искать въ предѣлахъ отдаленныхъ  
Другихъ *долинъ*, другихъ кустовъ,  
Гдѣ красный день, какъ ночь, спокоенъ,  
Гдѣ *ихъ царицу*, *ихъ любовь*,  
Не стопчетъ *розу* мрачный воинъ,  
И обagrить не можетъ кровь. (I, 321, 322)<sup>1)</sup>.

Любовь соловья и розы — универсальный мотивъ; эта любовь воспѣвалась восточными поэтами (персидскими, арабскими, турецкими), средневѣковыми трубадурами и труверами (см. — Проф. Сумцовъ. «Пушкинъ». X. 1900 г., 174—179). Байронъ посвящаетъ соловью и розѣ прелестные стихи въ «Абидосской невѣстѣ»:

Любовникъ розы — соловей  
Прислалъ тебѣ цвѣтокъ свой милый;  
Онъ станетъ пѣснію своей  
Всю ночь плѣнять твой духъ унылый.

<sup>1)</sup> Ср.: Поэтъ породы птичьей,

Любовникъ розъ, надъ розовымъ кустомъ

Урчитъ и свищетъ межъ листовъ душистыхъ... (II, 164).

Онъ любить пѣть во тьмѣ ночей—  
И дышитъ пѣснь его тоскою;  
Но съ обнадеженной мечтою,  
Споетъ онъ пѣсню веселѣй.  
И съ думой тайною моею  
Тебя коснется пѣнныя сладость,  
И напоетъ на сердце радость  
Любовникъ розы—соловей.

(Перев. Козлова.—Козловъ. «Стихотворенія». СПб. 1892 г., 105) <sup>1)</sup>. Знаменательно, что къ поэмѣ «Каллы», написанной въ одинъ и тотъ же годъ съ поэмой «Ангель Смерти», поэтъ беретъ эпиграфомъ <sup>2)</sup> слѣдующіе характерные стихи изъ «Абидосской невѣсты»:

Тотъ край Востокъ, то солнца сторона!  
Въ ней дышитъ все Божественной красою,  
Но люди тамъ съ безжалостной душою.  
Земля какъ рай. Увы! зачѣмъ она—  
Прекрасная—злодѣямъ предана!  
Въ ихъ сердцахъ мечь; ихъ повѣсти печальны,  
Какъ стонъ любви, какъ поцѣлуй прощальный.

(Козловъ, 96,97).

Любовь соловья и розы не разъ воспѣвали и русскіе поэты. Лермонтовъ, какъ мы видѣли, не использовалъ широко этотъ мотивъ; зато Пушкинъ посвятилъ соловью и розѣ прекрасныя стихотворенія—«Соловей» и «О, дѣва-роза»; роза, вообще, была однимъ изъ любимѣйшихъ цвѣтовъ Пушкина <sup>3)</sup>. Проф. Сумцовъ упоминаетъ о стихотвореніи Щербины—«Голоса ночи». Укажемъ еще на стихотвореніе Кольцова «Соловей» (подражаніе Пушкину) и стихотвореніе Фета «Соловей и роза»; изъ русскихъ поэтовъ Фетъ глубже всѣхъ разработалъ восточный мотивъ; его

<sup>1)</sup> Дальнѣйшія ссылки къ этому изданію.

<sup>2)</sup> См. Л., I, 412.

<sup>3)</sup> См. изслѣдованія проф. Сумцова о Пушкинѣ.

стихотвореніе поразительно граціозно, изысканно и мелодично<sup>1)</sup>.

Какъ «Гяуръ» и «Абидосская невѣста», «Ангель Смерти» начинается описаніемъ края, въ которомъ прекрасно все— и небо, и цвѣты, и воды, и женщины, все растеть и цвѣтеть на волѣ, какъ въ раю. Лермонтовъ повторяетъ многія детали байроновскихъ поэмъ. Въ «Абидосской невѣстѣ» говорится о кипарисѣ и миртѣ (Козловъ, 96); Лермонтовъ:

На гордыхъ высотахъ Ливана.

Растеть могильный *кипарисъ*. (I, 316).

Зачѣмъ въ долину сокровенной

Отъ *миртовъ* дышетъ ароматъ? (I, 321).

Байронъ:

Тотъ край Востокъ, то солнца сторона!

Въ ней дышитъ все Божественной красою...

...Земля какъ рай. (Козловъ, 96).

...«Природа создала жилище достойное боговъ и смѣшала, истощила все прекрасное въ этомъ раю»... («Гяуръ».—Л., II, 423).

Лермонтовъ:

И міръ всю прелесть сохраняетъ

Тѣхъ дней, когда печатью зла

Душа людей, по волѣ рока,

Не обезславлена была. (I, 313).

Ср. еще:

Кругомъ меня цвѣлъ Божій садъ. (II, 316).

Байронъ: «И много здѣсь лѣтнихъ цвѣтовъ, и много тѣни, которую любовь желала бы раздѣлить, и многія есть пещеры, манящія въ отдохновенію, которыя служатъ вертепомъ для разбойника... Странно, что, гдѣ природа создала жилище достойное боговъ и смѣшала, истощила все прекрасное въ этомъ раю,—здѣсь человѣкъ, живущій разрушеніемъ, хочетъ обращать (обращаетъ) его въ дикую пустыню... Странно, что, гдѣ господствуетъ тишина, тамъ

<sup>1)</sup> У О. Уайльда есть прелестная сказка—«Соловей и роза».

страсти безпредѣльны въ гордости своей, и жадность и хищность (буйство) дико бушуютъ (царствуютъ), дабы помрачить прелестную землю». («Гяуръ».—Л., II, 423, 424). Здѣсь налицо многіе элементы «Ангела Смерти» и «Трехъ пальмъ». Цвѣтущей, роскошной природѣ, манящей на отдыхъ, противопоставляется человѣкъ-хищникъ. Байронъ говоритъ, что прекрасную землю человѣкъ обращаетъ «въ дикую пустыню».

Лермонтовъ:

И нынѣ все дико и пусто кругомъ. (Л., II, 258).

Байронъ: «Я расскажу вамъ *печальную повѣсть*, и (тѣ) внимающіе мнѣ могутъ *повѣрять* (думать), что тотъ, кто слушалъ ее въ первый разъ, имѣлъ право грустить»... («Гяуръ».—Л., II, 424).

Лермонтовъ:

Кто видалъ

Твоихъ красавицъ,—не забудеть

Надменный пламень ихъ очей,

И безъ сомнѣнья *върять* будетъ

*Печальной повѣсти* моей. (I, 313, 314).

Такимъ образомъ, произведенія Лермонтова «Ангель Смерти» и «Три пальмы» созданы, отчасти, подъ вліяніемъ Байрона («Гяуръ», «Абидосская невѣста») <sup>1)</sup>.

Извѣстно, что стихотвореніе «Три пальмы» написано также и подъ вліяніемъ стихотворенія Пушкина «И путникъ усталый на Бога ропталъ». (См. Соч. М. Ю. Л. подъ ред. Болдакова, II, 365, 366. Проф. Сумцовъ. «Пушкинъ». 164—174, 322—324. Бархинъ, I, 77, 78). Несмотря на мо-

<sup>1)</sup> Амфитеатровъ указываетъ на вліяніе перевода Козлова «Абидосской невѣсты» на отроческую поэму Лермонтова «Кавказскій плѣнникъ»; черкесская пѣсня (въ V строфѣ) и XXXV строфа «Кавказскаго плѣнника» написаны подъ сильнымъ вліяніемъ XII и XXVII строфъ «Абидосской невѣсты» Байрона—Козлова. (См.—Амфитеатровъ. «Новое изданіе сочиненій Лермонтова».—«Современникъ». 1911 г., IV, 369, 370).—Отрывки изъ поэмы въ переводѣ Козлова появлялись въ 1823 г. и 1825 г.; отдѣльное изданіе—въ 1826 г. (см. Козловъ, 338). «Кавказскій плѣнникъ» Лермонтова написанъ въ 1828 г.

гучія вліяння Байрона и Пушкина, Лермонтовъ блеснулъ несравненной силой, гибкостью и яркостью своего дарованія. «Три пальмы» ни въ коемъ случаѣ нельзя назвать «подражаніемъ» Байрону или Пушкину. Въ это великолѣпное стихотвореніе слишкомъ много вложено лермонтовскаго; достаточно сказать объ изумительной картинѣ шествія каравана, объ описаніи трагической гибели прекрасныхъ, столѣтнихъ пальмъ. Въ нашу задачу не входитъ разборъ всего стихотворенія; мы остановимся на одной подробности—на гибели пальмъ.

Это были<sup>1)</sup> «высокія», «гордыя» деревья, съ «махровойі главой», «зелеными, роскошными» листьями. Цѣлые вѣка возвышались пальмы надъ голыми песчаными степями Аравіи, защищая прозрачный родникъ отъ тропическаго солнца и самума. Онѣ мечтали о томъ, что когда-нибудь ихъ увидитъ человекъ и возрадуется, и отдохнетъ подъ ихъ шатромъ, и утолитъ свою жажду, и полюбуется ихъ мощной красотѣ. Однообразно, томительно долго шли годы; никто еще не побывалъ въ чудесномъ оазисѣ; жизнь стала казаться пальмамъ безцѣльной: для чего выросли онѣ, если прошлое нечѣмъ помянуть, если настоящее—уныло, а будущее сулитъ мучительную смерть? Вѣдь ужъ стали сохнуть и листья, и ручей... И гордыя, прекрасныя пальмы возроптали на Небо. Ропотъ на Бога—одинъ изъ излюбленныхъ мотивовъ Лермонтова. Поэтъ самъ не разъ ропталъ, сѣтуя на свою судьбу; Азраилъ и Демонъ вступали въ неравный споръ съ Богомъ и понесли за это кару; понесли тяжелую кару и пальмы, ибо, по воззрѣніямъ поэта, на Небо нельзя роптать даже тогда, если тобою руководитъ желаніе добра... Бѣдныя пальмы! Онѣ дали пріютъ пришельцамъ, онѣ были счастливы; но счастье на землѣ кратковременно; съ вечернимъ сумракомъ въ пустынѣ раздавался звукъ топора... Мы уже говорили, что поэтъ очеловѣчиваетъ все въ природѣ. «Въ морѣ каждая волна... *душой* одарена» (II, 2); желѣзная лопата врѣзывается «въ каменную *грудь*» горъ (II, 338). Пальмы, будучи

<sup>1)</sup> См. II, 257, 258.

срублены, падаютъ «безъ жизни», съ нихъ безжалостно срывають «одежду»; ихъ стволы—«тѣла». Поэтъ съ болью говоритъ:

По корнямъ упругимъ топоръ застучалъ.

Корни «упруги»,—значить, пальмы еще полны мощи. Топоръ—символь грубой власти человѣка-эгоиста надъ природой; ср.:

Въ глубинѣ твоихъ ущелій  
Загремитъ топоръ. (II, 338).

Далѣе:

И медленно жгли ихъ до утра огнемъ.

Поэтъ указываетъ, какъ длительна и мучительна была ужасная агонія.

Съ восходомъ солнца безпечный караванъ ушелъ. Цвѣтушаго оазиса уже нѣтъ. Мѣстность дика и угрюма, и звучный ключъ, лишенный прежней защиты, заносится песками.

Лермонтовъ, вообще, съ какой-то особенной любовью говоритъ о пальмѣ; она является у него то символомъ красоты и силы, то—печали. Возлѣ пещеры Зораима

стоятъ

Сторожевыя пальмы въ рядъ. (I, 315).

Счастливейшіе дни Зораима протекли въ этой пещерѣ, и, умирая, онъ говоритъ Адѣ:

О! кто-бъ подумалъ! какъ я молодъ,  
Какъ много я провелъ бы дней  
Съ тобою, въ тишинѣ глубокой,  
Подъ тѣнью пальмъ береговыхъ... (I, 325).

Въ стихотвореніи «Вѣтка Палестины»:

И пальма та жива-ль понынѣ?  
Все также-ль манитъ въ лѣтній зной  
Она прохожаго въ пустынѣ  
Широколиственной главой?

Или въ разлукѣ безотрадной  
Она увяла, какъ и ты,  
И дольний прахъ ложится жадно  
На пожелтѣвшіе листы?... (II, 141)

Эти стихи тѣсно связаны съ «Тремя пальмами»; поэтъ говоритъ здѣсь и о томъ, что пальма въ палящій зной манитъ путниковъ, и о томъ, что ей, какъ всему прекрасному, суждено рано или поздно погибнуть; характерно выраженіе—«дольний прахъ ложится *жадно*»; поэтъ указываетъ на неумолимость, жестокость закона разрушенія. На родинѣ африканца Зафира, принадлежавшаго Сашкѣ, на берегахъ Гвинеи—

пустыня

Осталась, неприступна какъ святыня,  
*И пальмы тамъ растутъ до облаковъ,*  
И пѣна водъ бѣлѣе жемчуговъ... (II, 187).

Сѣверной соснѣ, засыпанной снѣгомъ, снится:

Въ пустынѣ далекой,  
Въ томъ краѣ, гдѣ солнца восходъ,  
*Одна и грустна на утесъ горючемъ*  
*Прекрасная<sup>1)</sup> пальма растетъ.* (II, 289).

На автографѣ стихотворенія «Сосна» (1840г.), воспроизведенномъ въ изданіи Висковатова (Соч. М. Ю. Л., III), имѣется набросокъ поэта: на первомъ планѣ, слѣва—сосна на скалѣ; далѣе—бедуинъ на конѣ и пальма, поникшая верхушкой.

То же порицаніе нашей жестокости, то же сочувствіе природѣ, страдающей отъ грубаго вторженія челоуѣка, встрѣчаемъ у Толстого. Онъ говоритъ въ «Воскресеніи»: «Люди считали, что священно и важно не это весеннее утро, *не эта красота міра Божія, данная для блага всѣхъ существъ,—красота, располагающая къ миру, согласію и любви,* а священно и важно то, что они сами выдумали,

<sup>1)</sup> Вариантъ: „красавица“. (II, 461).

чтобы властвовать другъ надъ другомъ». (XI, 3). Ему больно видѣть *«липки съ подпорками и зеленыя лавочки, бѣдныя, пошлыя людскія произведенія, не утонувшія такъ, какъ дальнія дачи и развалины, въ общей гармоніи красоты, а, напротивъ, грубо противорѣчащія ей»*. (III, 145). Смерть прекраснаго, полнаго жизни дерева для него такъ же трагична, значительна, какъ смерть человѣка. Однажды Толстой разсказалъ слѣдующій эпизодъ изъ своего давняго: «Это было подъ Севастополемъ во время Крымской войны. Съ четвертаго бастиона, гдѣ я находился, меня назначили зачѣмъ-то командиромъ горной полубатарей. Забралъ я свои пушки и поѣхалъ. Мѣсто было отъ боя удаленное и совсѣмъ безопасное. Разстановили пушки на горѣ. Смотрю, впереди растетъ великолѣпный, толщиной въ обхватъ, орѣхъ. Намъ онъ не мѣшалъ нисколько, тѣмъ болѣе, что мнѣ было совершенно ясно, что стрѣлять отсюда мы никогда не будемъ, но... надо же было показать свою власть. «Руби!»... И орѣхъ срубили... До сихъ поръ не могу я забыть этого орѣха». (Наживинъ. «О Львѣ Николаевичѣ».—Международный альманахъ «О Толстомъ». 2-е изд., 177—178) <sup>1)</sup>. Здѣсь Толстой является и виновникомъ проступка, и собственнымъ судьей. Въ разсказѣ «Три смерти» съ поразительнымъ мастерствомъ описана смерть дерева:

Ясное утро. Тишина. «Вдругъ странный, чуждый природѣ звукъ разнесся и замеръ на опушкѣ лѣса. Но снова послышался звукъ и равномерно сталъ повторяться внизу около ствола одного изъ неподвижныхъ деревьевъ. Одна изъ макушъ необычайно затрепетала, сочные листья ея зашептали что-то, и малиновка, сидѣвшая на одной изъ вѣтвей ея, со свистомъ перепорхнула два раза и, подергивая хвостикомъ сѣла на другое дерево.

Топоръ низомъ звучалъ глуше и глуше, сочныя бѣлыя щепки летѣли на росистую траву, и легкій трескъ послы-

<sup>1)</sup> То же—см. въ книгѣ Наживина—„Изъ жизни Л. Н. Т.“ 1911 г. М., 58. Здѣсь же эпизодъ этотъ передается и въ беллетристической формѣ; см. разсказъ „Орѣхъ“ (стр. 15—28).

шался изъ-за ударовъ. Дерево вздрогнуло всѣмъ тѣломъ, погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колеблясь на своемъ корнѣ. На мгновеніе все затихло, но снова погнулось дерево, послышался трескъ въ его стволѣ, и, ломая сучья и спустивъ вѣтви, оно рухнулось макушей на сырую землю. Звуки топора и шаговъ затихли. Малиновка свистнула и вспорхнула выше. Вѣтка, которую она зацѣпила своими крыльями, покачалась нѣсколько времени и замерла, какъ и другія, со всѣми своими листьями. Деревья еще радостнѣе красовались на новомъ просторѣ своими неподвижными вѣтвями.

Первые лучи солнца, пробивъ сквозившую тучу, блеснули въ небѣ и пробѣжали по землѣ и небу. Туманъ волнами сталъ преливаться въ лощинахъ, роса, блестя, заиграла на зелени, прозрачныя побѣлѣвшія тучки, спѣша, разбѣгались по синѣвшему своду. Птицы гомозились въ чашѣ и, какъ потерянные, щебетали что-то счастливое; сочные листья радостно и спокойно шептались на вершинахъ, и вѣтви живыхъ деревъ медленно, величаво зашевелились надъ мертвымъ поникшимъ деревомъ». (III, 172).

Чтобы рѣзче подчеркнуть жестокость человѣка, художникъ говоритъ о глубокой тишинѣ лѣса (вслѣдствіе чего звукъ топора и кажется такимъ неожиданнымъ и «чуждымъ природѣ»), о рѣзвой малиновкѣ, беззаботно перепархивающей съ вѣтки на вѣтку, о солнцѣ, о блестящей росѣ, о прозрачныхъ тучкахъ, о синемъ небосводѣ,—обо всемъ, что такъ прекрасно и незлобиво въ природѣ. Эта картина менѣе печальна, чѣмъ лермонтовская; у Толстого рассказъ заканчивается призывомъ къ жизни, восхищеніемъ вѣчной красотой природы; но чертъ общихъ съ «Тремя пальмами», много. Толстой также говоритъ, что погибшее дерево было полно жизни («сочные листья», «сочныя бѣлыя щепки»); деревья—тѣ же живыя существа: «листья ея зашептали что-то», «испуганно колеблясь», «листья радостно и спокойно шептались», «вѣтви живыхъ деревъ», «надъ мертвымъ поникшимъ деревомъ». Словомъ, растенія страдают, пугаются, радуются, шепчутся,—какъ люди. Нѣкоторыя по-

дробности особенно близки къ лермонтовскимъ: «*топоръ низомъ звучалъ глуше и глуше*» (ср.—«по корнямъ упругимъ *топоръ застучалъ*»); «дерево вздрогнуло всѣмъ *тѣломъ*» (ср.—«изрублены были *тѣла* ихъ потомъ»); совершивъ злое дѣло, человѣкъ безопасно уходитъ.

Сравнимъ еще рассказы Толстого для дѣтей—«Черемуха» и «Лозина». Черемуху, осыпанную бѣлыми душистыми цвѣтами, надо было срубить,—она заглушала лещиновые кусты. И вотъ ее стали рубить и нагибать. «Въ то же время точно *вскрикнуло что-то*,—хрустнуло въ серединѣ дерева; мы налегли, и какъ будто *заплакало*, затрещало въ серединѣ, и дерево свалилось. Оно разодралось у надруба и, покачиваясь, легло сучьями и цвѣтами на траву. Подрожали вѣтки и цвѣты послѣ паденія и остановились.

«Эхъ, штука-то важная!—сказалъ мужикъ.—Живо жалко!» А мнѣ такъ было жалко, что я поскорѣе отошелъ къ другимъ рабочимъ». (XIV, 128—129). Жертвой людей является здѣсь нѣжное цвѣтущее растеніе, но вина ихъ нѣсколько смягчается тѣмъ, что въ душѣ ихъ проснулось раскаяніе. «Лозина» навѣяна «Тремя пальмами». Росла лозина; ея цвѣты давали пчеламъ медъ; въ ея тѣни отдыхали люди. Дѣти и взрослые, неблагодарные, обламывали ея вѣтви, но она все жила. «Собрались разъ ребята рано весной стеречь лошадей подъ лозину. Показалось имъ холодно, они стали разводять огонь, набрали жнивья, чернобылу, хворосту. Одинъ взлѣзъ на лозину, съ нея же наломалъ сучьевъ. Склали они все въ дупло лозины и зажгли. Зашипѣла лозина, закипѣлъ въ ней сокъ, пошелъ дымъ и сталъ перебѣгать огонь; все нутро ея почернѣло. Сморщились молодые побѣги, цвѣты завяли. Ребята угнали домой лошадей. Обгорѣлая лозина осталась одна въ полѣ. Прилетѣлъ черный воронъ, сѣлъ на нее и закричалъ: «что, издохла, старая кочерга? Давно пора было». (XIV, 65—66). Толстой, какъ и Лермонтовъ, передаетъ печальную исторію стараго дерева—прекраснаго и полезнаго, уничтоженнаго неблагодарнымъ и жестокимъ человѣкомъ. Растеніе гибнетъ отъ огня и идетъ на топливо. Уголокъ земли, оскверненный

эгоистичными людьми, мраченъ и дикъ. Прилетаетъ хищная птица (у Лермонтова—коршунъ, у Толстого—воронъ), что дѣлаетъ картину еще болѣе зловѣщей. Разсказъ проникнуть пессимизмомъ.

У стараго дуба, остановившаго на себѣ вниманіе Андрея Болконскаго, вѣтви походятъ на «растопыренные, корявые *руки и пальцы*»; онѣ вырастаютъ у него «изъ *спины*, изъ *боковъ*». (V, 123—124). Въ «Хаджи-Муратъ» Толстой разсказываетъ, какъ онъ однажды сорвалъ дикій, красивый репейникъ, и какъ ему потомъ стало жалко погубленнаго цвѣтка. «Какая, однако, энергія и сила жизни», подумалъ я, вспоминая тѣ усилія, съ которыми я отрывалъ цвѣтокъ. «Какъ онъ усиленно защищалъ и дорого продалъ свою жизнь»... «*Экое разрушительное существо—человѣкъ*, сколько уничтожилъ разнообразныхъ живыхъ существъ, растеній, для поддержанія своей жизни», думалъ я, невольно отыскивая *что-нибудь живое* среди этого мертваго, чернаго поля. Впереди меня, вправо отъ дороги, виднѣлся какой-то кустикъ. Когда я подошелъ ближе, я узналъ въ кустикѣ такого же «татарина», котораго цвѣтокъ я *напрасно* сорвалъ и бросилъ». Толстой говоритъ объ этомъ смятомъ цвѣткѣ, словно о звѣрски замученномъ человѣкѣ: «Кустъ «татарина» состоялъ изъ трехъ отростковъ. Одинъ былъ оторванъ, и, *какъ отрубленная рука*, торчалъ остатокъ вѣтки. На другихъ двухъ было на каждомъ по цвѣтку. Цвѣтки эти когда-то были красные, теперь же были черные. Одинъ стебель былъ сломанъ, и половина его, съ грязнымъ цвѣткомъ на концѣ, висѣла книзу; другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, все еще торчалъ кверху. Видно было, что весь кустикъ былъ переѣханъ колесомъ и уже послѣ поднялся и потому стоялъ бокомъ, но все-таки стоялъ,— *точно вырвали у него кусокъ тѣла, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глазъ*, но онъ все стоитъ и не сдается человѣку, уничтожившему всѣхъ его братьевъ кругомъ него». (XII, 3—4) 1).

Въ параллель описанію гибели пальмъ Бархинъ приво-

1) Ср. стихотвореніе Бальмонта „Придорожныя травы“.

дить знаменитую картину рубки лѣса изъ поэмы Некрасова «Саша». (Бархинъ, I, 81—82). Аналогичные мотивы встрѣчаемъ у многихъ писателей и поэтовъ; остановимся на наиболѣе яркихъ примѣрахъ. Тургеневъ: «Недавно срубленные осины *печально* тянулись по землѣ, придавивъ собою и траву, и мелкій кустарникъ; на иныхъ листья еще зеленые, но уже *мертвые*, вяло свѣшивались съ неподвижныхъ вѣтокъ; на другихъ они уже засохли и покоробились. Отъ *свѣжихъ*, золотисто-бѣлыхъ щепокъ, грудями лежавшихъ около ярко-влажныхъ пней, вѣяло особеннымъ, чрезвычайно пріятнымъ, горькимъ запахомъ. Вдали, ближе къ рощѣ, *глухо стучали топоры*, и по временамъ, торжественно и тихо, словно кланяясь и расширяя *руки*, спускалось кудрявое дерево». («Касьянъ съ Красивой Мечи».—Полн. собр. соч., изд. Маркса, 1898 г., I, 125). Здѣсь нѣтъ протеста; картина проникнута тихой грустью.

Гр. Алексѣй Толстой:

Острою сѣкирой *ранена* береза,

По корѣ сребристой покатались *слезы*. (А. Т., I, 288).

«Attalea princeps» Гаршина—цѣлая поэма о страданіяхъ растеній. «Вѣтви деревъ мѣшались съ огромными листьями пальмъ, гнули и ломали ихъ и, сами налегая на желѣзныя рамы, гнулись и ломались. Садовники постоянно обрѣзали вѣтви, подвязывали проволоками листья, чтобы они не могли расти, куда хотятъ, но это плохо помогало. Для растеній нуженъ былъ широкій просторъ, родной край и свобода. Они были уроженцы жаркихъ странъ, нѣжныя, роскошныя созданія, они помнили свою родину и тосковали о ней». (Гар., 188). Гордая пальма предложила всѣмъ плѣнникамъ расти выше, насколько можно, чтобы вырваться на волю; надъ нею смѣялись, но она не отреклась отъ своей мечты; тянулась вверхъ, напрягая всѣ силы, и вотъ, наконецъ, коснулась потолка оранжереи. «Тогда стволъ началъ сгибаться. Его листовая вершина скомкалась, холодные прутья рамы впились въ нѣжные молодые листья, перерѣзали и изуродовали ихъ»... (Гар., 193). Маленькая

травка, единственный другъ пальмы, спросила: «Скажите мнѣ, неужели вамъ не больно?» И пальма отвѣтила: «Больно? Что значитъ больно, когда я хочу выйти на свободу?» (Гар., 193). Она сломила желѣзную полосу, она разбила стекла рамы, но увидѣла осеннее небо; моросилъ дождь, шелъ снѣгъ... Гордую пальму перепилили у самага корня и бросили на дворъ—на стужу, въ грязь... Въ другой редакціи сказка написана стихами; смерть пальмы изображена такъ:

И скоро надъ бѣдной, прекрасною пальмой  
 Безжалостный ножъ заблестѣлъ.  
 Отъ дерева царскій вѣнецъ отдѣлили,  
 Оно содрогнулось стволомъ,  
 И трепетомъ шумнымъ отвѣтили дружно  
 Товарищи-пальмы кругомъ. (Гар., 399).

На обѣихъ редакціяхъ Гаршина сказалось вліяніе Лермонтова. Извѣстно, что Лермонтовъ былъ однимъ изъ его любимѣйшихъ авторовъ. «Пушкина и Лермонтова онъ перечитывалъ изъ года въ годъ». (Воспоминанія В. А. Фауссека.—Гаршинъ, 46). Онъ зналъ наизусть многія стихотворенія Лермонтова, всю поэму «Мцыри». (См. Воспоминанія В. А. Фауссека и Бибикова.—Гар., 34, 70). Гаршинъ, какъ Лермонтовъ, изображаетъ смерть гордой, роскошной пальмы отъ злой прихоти человѣка. Оба поэта сочувствуютъ страданіямъ растенія и порицаютъ бездушіе и жестокость людей. Гаршинъ трогательно рассказываетъ о блѣдной травкѣ, которая восхищалась красотой и силой пальмы и нѣжно обвивала ее; когда пальму пилили, травка не хотѣла разстаться со своимъ другомъ и тоже погибла. Этотъ эпизодъ не навѣялъ ли «Ангеломъ Смерти»? Въ лермонтовской поэмѣ есть слѣдующіе стихи:

На гордыхъ высотахъ Ливана  
 Растетъ могильный кипарисъ,  
 И вѣтки плюща обвились  
 Вокругъ его прямого стана;  
 Пусть вихорь мчится и шумить,

И сломить кипарисъ высокою;  
Вкругъ кипариса плющъ обвить,—  
Онъ не погибнетъ одиноко!.. (I, 316).

Въ стихотворномъ вариантѣ Гаршина видно также и вліяніе стихотворенія Лермонтова «Сосна».

Лермонтовъ:

Одна и грустна на утесъ горючемъ  
Прекрасная пальма растеть. (II, 289).

Гаршинъ: «прекрасная пальма»; зеленый султанъ пальмы «грустно поникнулъ», тоскуя по родинѣ<sup>1)</sup>. Стихотворный размѣръ «Сосны» Лермонтова и «Плѣнница» Гаршина— *одинъ и тотъ же*.

Такъ же трагично гибнетъ чеховскій вишневый садъ. Лопухинъ, довольный своей покупкой, кричитъ: «Приходите всѣ смотреть, какъ Ермолай Лопухинъ хватить топоромъ по вишневому саду, какъ упадутъ на землю деревья!» Прежніе владѣльцы сада еще не уѣхали, а уже «слышно, какъ вдали *стучатъ топоромъ по дереву*». Когда домъ опустѣлъ, въ тишинѣ раздался «*глухой стукъ топора по дереву, звучащій одиноко и грустно*». (Чеховъ. «Полн. собр. соч.» Изд. 2-ое. СПб. 1903 г. XXI т., 225, 229, 235)<sup>1)</sup>. Лопухинъ и его рабочіе такъ же жестоки и грубы, какъ арабы, не пощадившіе прекрасныхъ пальмъ. А какъ нѣженъ и чудесенъ былъ вишневый садъ! Любовь Александровна говорила о немъ: «Весь, весь бѣлый! О, садъ мой! Послѣ темной ненастной осени и холодной зимы, опять ты молодъ, полонъ счастья, ангелы небесные не покинули тебя... Какой изумительный садъ! Бѣлыя массы цвѣтовъ, голубое небо»... (Чеховъ, XXI, 200). Въ провинціальной глуши, гдѣ все такъ однообразно, скучно, сѣро, этотъ садъ былъ благодатнымъ оазисомъ. Но настала часъ, и садъ погибъ. На томъ мѣстѣ, гдѣ онъ красовался, появятся дачи съ ихъ шумомъ, съ ихъ пошлостью: картина, не менѣе печальная, чѣмъ лермонтовская—въ «Трехъ пальмахъ». Въ

<sup>1)</sup> Гаршинъ, 399.

<sup>2)</sup> Дальнѣйшія ссылки по этому изданію.

«Дядѣ Ванѣ» Астровъ горячо говоритъ: «Надо быть безразсуднымъ *варваромъ*, чтобы жечь въ своей печкѣ эту *красоту*, разрушать то, чего мы не можемъ создать. Человѣкъ одаренъ разумомъ и творческою силой, чтобы умножать то, что ему дано, но до сихъ поръ онъ не творилъ, а *разрушалъ*. Лѣсовъ все меньше и меньше, рѣки сохнутъ, дичь перевелась, климатъ испорченъ и съ каждымъ днемъ земля становится все бѣднѣе и безобразнѣе». (Чеховъ. «Дядя Ваня».—XIV, 13). Чеховъ, какъ Левъ Толстой и другіе, варьируетъ лермонтовскій сюжетъ; пусть его драмы разыгрываются не подъ аравійскимъ, а подъ тусклымъ сѣвернымъ небомъ; пусть передъ нами уже не дикіе кочевники, а мирные россияне;—но образы, но идеи—все тѣ же, давно знакомые. Прекрасныя, полезныя, полныя жизни растенія безпощадно истребляются людьми. У Чехова—«*стучатъ топоромъ по дереву*»; у Лермонтова—«*по корнямъ упругимъ топоръ застучалъ*»; у Чехова люди, губящіе лѣса, «безразсудные *варвары*»; у Лермонтова—*арабы*, настоящіе варвары; Чеховъ говоритъ, что у насъ отъ уничтоженія лѣсовъ «*рѣчки сохнутъ*»; у Лермонтова—ручей высыхаетъ отъ солнца и раскаленныхъ песковъ; Чеховъ указываетъ на то, что отъ рубки лѣсовъ портится климатъ, «земля становится все бѣднѣе и безобразнѣе»; Лермонтовъ говоритъ, что послѣ гибели пальмъ «все дико и пусто кругомъ». Конечно, Чеховъ, большой и искренній художникъ, не *подразжалъ*, но вліяніе Лермонтова, въ пьесахъ «Вишневый садъ» и «Дядя Ваня», налицо.

Ср. еще прелестное стихотвореніе Галлиной—«Лѣсъ рубятъ,—молодой, нѣжно-зеленый лѣсъ»...

Въ природѣ, по воззрѣніямъ Лермонтова и Толстого, нѣтъ диссонансовъ.

На воздушномъ океанѣ,  
 Безъ руля и безъ вѣтриль,  
 Тихо плаваютъ въ туманѣ  
 Хоры *стройныя* свѣтилъ.  
 Средь полей необозримыхъ  
 Въ небѣ ходятъ, безъ слѣда,

Облаковъ неувимыхъ  
Волокнистыя стада.  
Часть разлуки, часть свиданья  
Имъ не радость, не печаль;  
Имъ въ грядущемъ нѣтъ желанья,  
Имъ прошедшаго не жаль. (Л., II, 360).

Ср.—«Тучи» (Л., II, 289).

Природа не вмѣшивается въ безпокойную, мелочную жизнь людей; нѣкогда люди наивно думали, «что свѣтила небесныя принимаютъ участіе въ нашихъ ничтожныхъ спорахъ за клочекъ земли или за какія-нибудь вымышленныя права. И что-жъ? эти лампы, зажженныя, по ихъ мнѣнію, только для того, чтобъ освѣщать ихъ битвы и торжества, горятъ съ прежнимъ блескомъ, а ихъ страсти и надежды давно угасли вмѣстѣ съ ними»... (Л., IV, 272). Люди рѣжутся, кровь льется рѣкой, а небо ясно... Человѣкъ утонулъ въ прудѣ, «а вода все такъ же гладко, красиво, равнодушно стоитъ надъ нимъ, блестя золотомъ на полуденномъ солнцѣ»... (Г. «Метель».—III, 54). Человѣкъ не царь природы; «просто такой же комаръ или такой же фазанъ или олень»; умереть,—трава вырастетъ. (Г., II, 86).

#### Птица

И звѣрь, огонь и вѣтеръ, и земля  
Раздѣлятъ прахъ мой, и душа моя  
Съ душой вселенной, какъ эфиръ съ эфиромъ,  
Сольется и развѣется надъ міромъ!.. (Л., II, 170).

Но спокойствіе природы невозмутимо только до тѣхъ поръ, пока человѣкъ не посягнулъ на ея свободу и красоту; тогда она груститъ (Казбекъ—въ стихотвореніи «Споръ»), умираетъ въ страшныхъ мученіяхъ («Три пальмы», «Три смерти», «Лозина», «Черемуха»). Крики и стоны сражающихся пугаютъ «мирныхъ соловьевъ» («Ангель Смерти»). Звукъ топора «чуждѣ природѣ» («Три смерти»). Видъ крови приводитъ ее въ ужасъ:

Тѣснясь толпой,  
На трупы всадниковъ порой  
Верблюды съ ужасомъ глядѣли.

(II, 358. Поразительно-художественная подробность!) Касьянъ съ Красивой-Мечи не даромъ говорилъ: «Святое дѣло кровь! Кровь солнышка Божія не видитъ, кровь отъ свѣту прячется... великій грѣхъ показать свѣту кровь, великій грѣхъ и страхъ... Охъ, великій!» (Тургеневъ, I, 127). «Пока Хаджи-Муратъ съ своими людьми шумѣлъ, въѣзжая въ кусты, соловьи замолкли. Но когда затихли люди, они опять защелкали, перекликаясь. Хаджи-Муратъ, прислушиваясь къ звукамъ ночи, невольно слушалъ ихъ». (Толстой, XII, 87). «Соловьи, смолкнувшіе во время стрѣльбы, опять защелкали, сперва одинъ близко и потомъ другіе на дальнемъ концѣ». (Тамъ же, 90). Эти детали Толстого чрезвычайно близки къ стихамъ изъ «Ангела Смерти», уже цитированнымъ нами:

Крикъ побѣдившихъ, стонъ сраженныхъ  
Принудять мирныхъ соловьевъ  
Искать въ предѣлахъ отдаленныхъ  
Другихъ долинъ, другихъ кустовъ... (Л., I, 321).

Вина человѣка, вторгающагося въ заповѣдныя предѣлы природы съ оружіемъ, усугубляется еще тѣмъ, что природа, для Лермонтова и Толстого,—храмъ; слѣдовательно, война—нѣчто кощунственное.

Если же кто придетъ къ природѣ съ благими намѣреніями, попроситъ у нея помощи, утѣшенія,—она встрѣтитъ его, какъ друга. Природа дышитъ доброжелательствомъ. Поэту

ландышъ серебристый  
*Привѣтливо* киваетъ головой. (II, 208).  
*Привѣтствуютъ* пальмы нежданныхъ гостей,  
И щедро поить ихъ студеныи ручей. (II, 258).

Тишина поля, лѣса, горъ навѣтъ миръ въ усталую душу человѣка; онъ позабудетъ на время про житейское зло и тревоги, съ наслажденіемъ будетъ тонуть взоромъ въ безконечной синевѣ неба и сольется въ мечтахъ съ хоромъ растений, волнъ, насѣкомыхъ, птицъ, славящихъ Бога любви. (См., напр., Л., I, 139; II, 208, 316, 317; Т., II, 85).

---

## Глава XIII.

### Смерть.

Смерть не пугала, не страшила Лермонтова. Жизнь приносила ему много огорчений и страданий, угнетала своей пошлостью, предрекала бѣды, и онъ уже въ отрочествѣ томился предчувствіемъ преждевременнаго конца.

Боюсь не смерти я, о, нѣтъ! (I, 142).

—говорить 16-тилѣтній поэтъ. Черезъ семь лѣтъ:

Я безъ страха жду довременный конецъ;  
Давно пора мнѣ міръ увидѣть новый. (II, 215).

Еще черезъ три года:

Меня могила не страшитъ!  
Тамъ, говорятъ, страданье спитъ... (II, 312).

Правда, онъ любилъ «мученія земли» (I, 142), ему жаль было расстаться съ жизнью, потому что онъ былъ молодъ (II, 312), но въ то же время такъ хотѣлось отдохнуть, забыться, а ясное небо съ плѣнительной, бездонной глубиной, облаками, звѣздами, ангелами—такъ манило къ себѣ!.. Желаніе поэта было услышано, и онъ очень рано покинулъ земную темницу...

Онъ не боялся смерти и поэтому-то могъ такъ безпощадно-реально изображать ее. Вотъ на полѣ битвы умираетъ Зораимъ:

Какъ арфы дальней звонъ,  
Его слова невняты стали,  
Глаза всю яркость потеряли,  
И ослабѣлъ примѣтно онъ.

Страдальцу Ада не внимала,  
Лишь молча крѣпко обнимала...

. . . . .  
И хочеть юноша напрасно  
Послѣднимъ ласкамъ отвѣчать;  
И все, что можетъ онъ сказать,—  
Уныло, мрачно, но не страстно.

. . . . .  
Взглянулъ онъ въ очи дѣвы милой,  
Привсталъ, и вздрогнулъ, и вздохнулъ,  
И умеръ. (I, 325, 326).

Эта картина блѣдна, художникъ еще слишкомъ молодъ; въ болѣе зрѣлую пору творчества, изображая воина, умирающаго на полѣ сраженія, онъ дастъ новые, замѣчательные варианты. Умираетъ бояринъ Орша, старикъ:

Онъ дальше говоритъ хотѣлъ,  
*Но вдругъ языкъ оцѣпенѣлъ;*  
Онъ сдѣлать знакъ хотѣлъ рукой,  
*Но пальцы сжались межъ собой.*  
Тѣнь смерти мрачной полосой  
Промчалась на его челѣ;  
*Онъ обернулъ лицо къ земль,*  
*Вдругъ протянулся, захрипѣлъ,*  
И духъ отъ тѣла отлетѣлъ. (II, 133).

Бояринъ умиралъ въ полномъ сознаниі; языкъ и руки уже не слушались его, а мысль еще работала. Передъ смертью онъ «протянулся»; у Толстого Алеша Горшокъ «удивился чему-то, *потянулся* и померъ». (XII, 220) <sup>1)</sup>. Орша умеръ, но поэтъ еще не считаетъ свою задачу выполненной и говоритъ о послѣднемъ трепетѣ охладѣвающаго тѣла:

Къ нему Арсеній подошелъ,  
И *руки сжатая* развелъ,  
И поднялъ голову съ земли:

---

<sup>1)</sup> Иванъ Ильичъ „втянулъ въ себя воздухъ, остановился на половинѣ вдоха, *потянулся* и умеръ“. (X, 46).

*Двѣ яркія слезы текли  
Изъ поблѣвшихъ мутныхъ глазъ,  
Собой лишь свѣтлы, какъ алмазь. (II, 133).*

Арсеній

тихо распахнулъ кафтанъ:  
Старинныхъ и послѣднихъ ранъ  
На ней кровавые слѣды  
Вились, чернѣли, какъ бразды.  
*Онъ руку къ сердцу приложилъ,  
И трепетъ замиравшихъ жилъ  
Ему неясно возвѣстилъ,  
Что въ буйномъ сердцѣ мертвеца  
Кипѣли страсти до конца,  
Что блескъ печальный этихъ глазъ  
Гораздо прежде ихъ погасъ... (II, 133, 134).*

Стихъ:

руки сжатая развель —

ср. о женихѣ Тамары:

*Въ послѣднемъ бѣшенемъ пожать  
Рука на гривъ замерла. (II, 359).*

Арсенію легко было разжать руки, такъ какъ бояринъ только что умеръ. Ср. Гаршинъ: «попробовали разжать руку и вынуть красный цвѣтокъ. Но рука закоченѣла, и онъ унесъ свой трофей въ могилу». (Г., 270).

О глазахъ умирающаго—ср.—«глаза всю яркость потеряли» (I, 326), «молитъ жалости напрасно мутный взоръ» (II, 138).

На войнѣ Лермонтову часто приходилось видѣть тяжелыя картины предсмертныхъ мученій; подъ живымъ впечатлѣніемъ онъ пишетъ Бахметьевой:

Вы едва-ли

Вблизи когда-нибудь видали,  
Какъ умираютъ. Дай вамъ Богъ  
И не видать. (II, 305).

Передъ этимъ онъ только что видѣлъ, какъ умиралъ ихъ капитанъ. Раненый въ грудь, капитанъ страшно му-

чился, бредилъ; глядя на него, плакали даже старые солдаты<sup>1)</sup>. Здѣсь Лермонтовъ очень скупъ на подробности, но описаніе его, тѣмъ не менѣе, нисколько не проигрываетъ отъ этой сжатости въ цѣльности и глубинѣ производимаго имъ впечатлѣнія:

На шинели,  
Спиною къ дереву, лежалъ .  
Ихъ капитанъ. Онъ умиралъ;  
Въ груди его едва чернѣли  
Двѣ ранки; кровь его чуть-чуть  
Сочилась; но высоко грудь  
И трудно подымалась; взоры  
Бродили страшно. Онъ шепталъ:  
„Спасите, братцы! тащатъ въ горы..  
Постойте! гдѣ же генераль?..  
Не слышу“... Долго онъ стоналъ,  
Но все слабѣй, и понемногу  
Затихъ—и душу отдалъ Богу. (II, 303, 304).

Въ числѣ убитыхъ въ Валерикскомъ сраженіи былъ въ чинѣ *капитана* только одинъ—капитанъ Рожицынъ 1-ый, князя Варшавскаго полка. (См.—А. Юровъ. «1840, 1841 и 1842 годы на Кавказѣ».—«Кавказскій Сборникъ», X, 306). Быть можетъ, именно его смерть изобразилъ Лермонтовъ?

Та же строгая художественная мѣра соблюдена въ стихотвореніи «Сонъ», такъ ярко изображающемъ медленное угасаніе смертельно раненаго воина, сознание котораго уже заволокло мучительнымъ бредомъ. (II, 340). Мцыри едва не умеръ въ горахъ отъ голода и отъ ранъ, нанесенныхъ барсомъ; онъ помнитъ, что сначала почувствовалъ непривычную слабость и головокруженіе:

Хотѣлъ я встать,—передо мной  
Все закружилось съ быстротой. (II, 326).

Сознаніе держалось, но языкъ сталъ коснѣть:

<sup>1)</sup> Вернеръ плакалъ надъ умирающимъ солдатомъ. (IV, 210).

Хотѣлъ кричать,—языкъ сухой  
Безвученъ и недвижимъ былъ. (II, 326).

Ср. Толстой: «Онъ хотѣлъ крикнуть, что онъ контуженъ; но ротъ былъ такъ сухъ, что языкъ прилипъ къ нѣбу, и ужасная жажда мучила его». (II, 175). Толстой какъ бы переложилъ на прозу стихи Лермонтова; Мцыри тоже мучила жажда:

*Жажду вѣчную* поя,  
Какъ ледъ холодная струя,  
Журча, вливалася мнѣ въ грудь. (II, 327).

Онъ впалъ въ бредъ:

Я умиралъ. Меня томилъ  
Предсмертный бредъ. (II, 326).

Ему приснился странный, волшебный сонъ; потомъ исчезъ и сонъ:

Туть я забылся. Божій свѣтъ  
Въ глазахъ угасъ. Безумный бредъ  
Безсилью тѣла уступилъ. (II, 328).

Съ большими подробностями описываетъ Лермонтовъ смерть Нины Арбениной и Бэлы.

На балу Нина приняла, не зная того, ядъ, подсыпанный мужемъ. Вернувшись домой, она чувствуетъ себя нездоровой и обращается къ служанкѣ:

*Мнѣ что-то дурно: вѣрно, отъ корсета.*  
Скажи, къ лицу была сегодня я одѣта?

Посмотрѣвъ въ зеркало, говоритъ:

Ты права: я блѣдна, какъ смерть блѣдна;  
Но въ Петербургѣ кто не блѣденъ, право?  
Одна лишь старая княжна,  
И то румяна! Свѣтъ лукавый! (III, 268).

Она шутить; она не знаетъ, что ждетъ ее, не чувствуетъ вѣянія смерти и не придаетъ значенія недомоганію; мужъ заходитъ къ ней, и она говоритъ:

Я, кажется, больна,  
И голова въ огнѣ. Поди сюда поближе.  
Дай руку: чувствуешь, какъ вся горитъ она?<sup>1)</sup>  
Зачѣмъ я тамъ мороженое ѣла:  
Я, вѣрно, простудилася тогда.  
Не правда-ли? (III, 269).

Упомянувъ о мороженомъ, она не подозрѣваетъ, какъ близки ея слова къ ужасной истинѣ; разговариваетъ съ мужемъ, пересиливая возрастающую боль и глухую тревогу, но потомъ проситъ его послать за докторомъ. Арбенниъ отказывается и открываетъ ей глаза:

Я тебѣ на балѣ подаль ядъ. (III, 273).

Нина мечется, зоветъ на помощь, падаетъ безъ чувствъ и умираетъ въ тяжкихъ мукахъ.

Но эта картина блѣднѣетъ передъ потрясающей картиной смерти Бѣлы.

«Разбойничьимъ ударомъ»<sup>2)</sup> Бѣла ранена была въ спину и мучилась три дня. Максимъ Максимычъ рассказываетъ: «Я умру!»—сказала она. Мы начали ее утѣшать, говорили, что лѣкаръ обѣщаль ее вылѣчить непременно; она покачала головкой и отвернулась къ стѣнѣ: ей не хотѣлось умирать!..

«Ночью она начала бредить; голова ея горѣла, по всему тѣлу иногда пробѣгала дрожь лихорадки. Она говорила несвязныя рѣчи объ отцѣ, братѣ; ей хотѣлось въ горы, домой...»

«Къ утру бредъ прошелъ; съ часъ она лежала неподвижно, блѣдная и въ такой слабости, что едва можно было замѣтить, что она дышитъ; потомъ ей стало лучше»... (IV, 182).

«Какъ она перемѣнилась въ этотъ день! Блѣдныя щеки впали, глаза сдѣлались большіе, большіе, губы горѣли.

<sup>1)</sup> Ср. слова умирающаго Мцыри: „Прощай, отецъ... дай руку мнѣ.

*Ты чувствуешь: моя въ огнѣ“... (II, 328).*

<sup>2)</sup> IV, 181.

Она чувствовала внутренній жаръ, какъ будто въ груди у ней лежало раскаленное желѣзо.

Настала другая ночь; мы не смыкали глазъ, не отходили отъ ея постели. Она ужасно мучилась, стонала, и только-что боль начинала утихать, она старалась увѣрить Григорья Александровича, что ей лучше, уговаривала его итти спать, цѣловала его руку, не выпускала ея изъ своихъ. Передъ утромъ стала она чувствовать тоску смерти, начала метаться, сбила перевязку, и кровь потекла снова.

...Половину слѣдующаго дня она была тиха, молчалива и послушна, какъ ни мучилъ ее нашъ лѣкаръ припарками и микстурой.

...Послѣ полудня, она начала томиться жаждой. Мы отворили окна, но на дворѣ было жарче, чѣмъ въ комнатѣ, поставили льду около кровати — ничего не помогло. Я зналъ, что эта невыносимая жажда—признакъ приближенія конца <sup>1)</sup>, и сказалъ это Печорину. — «Воды, воды!..»—говорила она хриплымъ голосомъ, приподнявшись съ постели.

...Да, батюшка, видаль я много, какъ люди умирають въ гонпиталяхъ и на полѣ сраженія, только это все не то, совсѣмъ не то!..» (IV, 183).

«Только-что она испила воды, какъ ей стало легче, а минуты черезъ три она скончалась. Приложили зеркало къ губамъ — гладко!..» (IV, 184).

Не менѣе замѣчательно описаніе смерти морской царевны:

Вотъ оглянулся царевичъ назадъ,  
Ахнулъ,—померкъ торжествующій взглядъ.  
Видитъ: лежитъ на пескѣ золотомъ  
Чудо морское съ зеленымъ хвостомъ.  
Хвостъ чешуею змѣиной покрытъ,  
*Весь замирая, свиваясь, дрожитъ.*  
Пѣна струями сбѣгаетъ съ чела,  
*Очи одѣла смертельная мгла.*

<sup>1)</sup> Мцыри (Л., II, 327) и Праскухинъ (Г., II, 175), умирая, тоже мучились жаждой.

*Блѣдныя руки хватаютъ песокъ,  
Шепчутъ уста непонятный упрекъ...*

Ѣдетъ царевичъ задумчиво прочь...

Будеть онъ помнить про царскую дочь! (II, 346).

У Толстого люди рефлексіи боятся смерти, не мирятся съ нею. Князь Андрей думаетъ: «Умереть... Чтобы меня убили... завтра... Чтобы меня не было... Чтобы все это было, а меня бы не было». Онъ живо представилъ себѣ отсутствіе себя отъ этой жизни. И эти березы съ ихъ свѣтомъ и тѣнью, и эти курчавыя облака, и этотъ дымъ костровъ, все это вокругъ преобразилось для него и показалось *чтѣмъ-то страшнымъ и угрожающимъ. Морозъ пробѣжалъ по его спинѣ*. (VI, 166). Иванъ Ильичъ терзается въ душѣ: «Хоть бы скорѣе. Что скорѣе? Смерть, мракъ... *Нѣтъ, нѣтъ. Все лучше смерти!*» (X, 35). Люди же темные относятся къ этому вопросу безразлично. Толстой говоритъ о Никитѣ: «Мысль о томъ, что онъ можетъ и даже, по всѣмъ вѣроятіямъ, долженъ умереть въ эту ночь, пришла ему, но мысль эта показалась ему *не особенно неприятной, ни особенно страшной*». (X, 146). Алеша Горшокъ сильно ушибся и захворалъ; на третьи сутки послали за попомъ.

— «Что же, али помирать будешь? — спросила Устинья.

— А то что же? Развѣ все и жить будемъ. Когда-нибудь надо, — быстро, какъ всегда, проговорилъ Алеша».

И какъ просто, легко онъ умеръ: молился только руками и сердцемъ, зная, что если здѣсь жилъ хорошо, то и «тамъ» хорошо будетъ, говорилъ мало, потянулся—и умеръ. (XII, 219, 220). Такъ же просто умираютъ другіе—дядя Федоръ («Три смерти», III, 166—168), рядовой Авдеевъ («Хаджи-Муратъ», XII, 29).

Что же пугаетъ людей въ смерти? Неизвѣстность грядущаго и мысль о томъ, какъ это ты, человѣкъ, желающій жить, окруженный людьми здоровыми и беззаботными, долженъ испытывать тяжкія страданія, а потомъ—умрешь, переступишь таинственную, роковую границу, отдѣляющую

живого отъ мертваго. «Одинъ шагъ за эту черту, напоминающую черту, отдѣляющую живыхъ отъ мертвыхъ, и— неизвѣстность страданія и смерть. И что тамъ? кто тамъ? тамъ, за этимъ полемъ и деревомъ и крышей, освѣщенной солнцемъ? Никто не знаетъ, и хочется знать; и *страшно перейти эту черту*, и хочется перейти ее; и знаешь, что рано или поздно придется перейти ее и узнать, что тамъ, по той сторонѣ черты, какъ и неизбѣжно узнать, что тамъ, по ту сторону смерти. А самъ силенъ, здоровъ, весель и раздраженъ и окруженъ такими здоровыми и раздраженно - оживленными людьми». Такъ ежели и не думаетъ, то чувствуетъ всякій человѣкъ, находящійся въ виду непріятели, и чувство это придаетъ особенный блескъ и радостную рѣзкость впечатлѣній всему происходящему въ эти минуты». (IV, 136). Ср. еще: «Опять, какъ и на Энскомъ мосту, между эскадрономъ и непріателемъ никого не было, и между ними, раздѣля ихъ, лежала *та же страшная черта неизвѣстности и страха, какъ бы черта, отдѣляющая живыхъ отъ мертвыхъ*. Всѣ люди чувствовали эту черту, и вопросъ о томъ, перейдутъ ли или нѣтъ и какъ перейдутъ они черту, волновалъ ихъ». (IV, 178). Говоря о смерти, Толстой прибѣгаетъ къ одному, излюбленному имъ, приему: онъ противопоставляетъ умирающаго или мертваго человѣку живому, полному силъ, здоровья. Въ рассказѣ «Три смерти»: «Въ передней каретѣ сидѣли двѣ женщины. Одна была госпожа, *худая и блѣдная*. Другая — горничная, *глянцевито - румяная и полная*». (III, 163). Въ «Казакахъ», описавъ тѣло мертваго абрека, авторъ продолжаетъ: «Лукашка все еще не одѣвался. Онъ былъ мокръ, шея его была краснѣе, и глаза его *блестѣли больше обыкновеннаго*; *широкія скулы вздрагивали*; *отъ бѣлаго, здороваго тѣла шель чуть замѣтный паръ на утреннемъ свѣжьемъ воздухѣ*». (II, 55). Иванъ Ильичъ тяжело боленъ, ослабѣлъ обезсилѣлъ, и за нимъ ухаживаетъ Герасимъ— «чистый, свѣжій, раздобрывшій на городскихъ харчахъ *молодой мужикъ*». (X, 31). Иванъ Ильичъ смотритъ на жену, «разглядываетъ ее всю и въ упрекъ ставитъ ей и *близину*,

*и пухлость, и чистоту ея рукъ, шеи, глянецъ ея волосъ и блескъ ея полныхъ жизни глазъ. Онъ всѣми силами души ненавидитъ ее. И прикосновеніе ея заставляетъ его страдать отъ прилива ненависти къ ней». (X, 36). «Вошла дочь, разодѣтая, съ обнаженнымъ молодымъ тѣломъ, тѣмъ тѣломъ, которое такъ заставляло страдать его. А она его выставляла. Сильная, здоровая, очевидно, влюбленная и негодующая на болѣзнь, страданія и смерть, мѣшающія ея счастію». (X, 38). За нею вошелъ женихъ — съ «обтянутыми сильными ляжками въ узкихъ черныхъ штанахъ». (Тамъ же). Въ «Аннѣ Карениной»: Кити, подойдя къ умирающему Николаю Левину, «взяла въ свою *свѣжую, молодую* руку *остовъ* его огромной руки, пожалала ее» (IX, 50); авторъ рѣзко подчеркиваетъ немощъ страшно исхудавшаго больного, цѣпляющагося за жизнь, и молодую, цвѣтущую красоту Кити; придавая глубокое значеніе смерти, Толстой даетъ главѣ, въ которой описывается смерть Николая, заглавіе «Смерть» (единственная во всемъ романѣ глава съ заглавіемъ). Нехлюдовъ («Воскресеніе»), глядя на портретъ матери, «вспомнилъ, какъ *за день до смерти* она взяла его *сильную бѣлую* руку своей *костлявой черняющей* ручкой»... (XI, 82). Или: «Одно впечатлѣніе — неготовящагося къ смерти и *умирающа о* Крыльцова — было тяжелос и грустное. Другое же впечатлѣніе — *блдрой* Катюши, нашедшей любовь такого человѣка, какъ Симонсонъ»... (XI, 325).*

Лермонтовъ, изображая смерть, тоже противопоставляетъ красотѣ тѣла — его разрушеніе, но пользуется своеобразнымъ приемомъ: онъ въ этихъ случаяхъ беретъ не двухъ людей (умирающаго или мертваго — и здороваго), а одного и того же человѣка, но въ разные моменты его жизни: въ расцвѣтѣ силъ — и уже умирающимъ или умершимъ. Напримѣръ, въ одномъ изъ раннихъ стихотвореній — «Къ Нэерѣ» (1830 г.) — онъ обращается къ дѣвушкамъ:

Скажи, для чего передъ нами  
Ты въ кудри вплетаешь цвѣты?

*Себя ли украсишь ты розой  
Прелестной, минутной, какъ ты?  
Зачѣмъ приводить намъ на память,  
Что могутъ ланиты твои  
Увянуть, что взоръ твой забудеть  
Восторги надеждъ и любви?*

*О! лучше умри поскорѣе,  
Чтобъ юный красавецъ сказалъ:  
„Кто былъ этой дѣвы милѣе,  
Кто раньше ея умералъ?“ (I, 88, 89).*

Въ стихотвореніи «Морская царица» поэтъ сначала описываетъ красоту русалки:

*Вышла молодая потомъ голова:  
Въ косу вплелась морская трава,  
Синія очи любовью горятъ,  
Брызги на шеѣ, какъ жемчугъ, дрожатъ.*

А потомъ передъ нами уже не красавица-царица, а «чудо морское съ зеленымъ хвостомъ»; хвостъ,

*Весь замирая, свиваясь, дрожитъ.  
Пѣна струями сбѣгаетъ съ чела,  
Очи одѣла смертельная мгла.  
Блѣдныя руки хватаютъ песокъ... (II, 346).*

Въ «Трехъ пальмахъ» то же: сначала — стройныя, гордые пальмы съ «зелеными», «роскошными» листьями, «упругими» корнями, а затѣмъ—«изрубленные» тѣла деревьевъ, «теплъ съдой и холодной», «остатки сухіе». (II, 257, 258).

Смерть не пугаетъ поэта, онъ вѣрилъ въ безсмертіе души; но онъ любилъ земную красоту, и его приводило въ ужасъ безобразіе недолговѣчной разрушающейся оболочки, его приводилъ въ ужасъ процессъ разложенія трупа. Зораимъ умеръ;

*съ синими губами  
И съ побѣлѣвшими очами,  
Ликъ, прежде милый, былъ страшный  
Всего, что страшно для людей! (I, 326).*

Въ стихотвореніи «Смерть» Лермонтовъ передаетъ свой сонъ: ему снилось, что онъ умеръ, и что душа его освободилась отъ узъ тѣла; и вотъ ему захотѣлось взглянуть на свои бранные останки.

И я сошелъ въ темницу—длинный гробъ,  
Гдѣ *гниль мой трупъ*, и тамъ остался я.  
*Здѣсь кость была уже видна, здѣсь мясо*  
*Кусками синее висѣло*, жилы тамъ  
Я примѣчалъ съ *засохшею въ нихъ кровью*.  
Съ отчаяньемъ сидѣлъ я и взиралъ,  
Какъ быстро насѣкомыя роились  
И съ жадностью глотали пищу смерти.  
Червякъ то выползалъ изъ впадинъ глазъ,  
То вновь скрывался въ *безобразный черепъ*. (I, 182, 183) <sup>1)</sup>.

Это напоминаетъ стихотвореніе Гейне «Сумерки боговъ»; въ то время, какъ пышный май цвѣтетъ и будить въ людяхъ жажду жизнь и веселость, на душѣ поэта—камень, поэтъ видитъ оборотную сторону медали:

Сквозь старую кору земли проникнуть  
Я взорами, какъ будто бы она  
Изъ хрустала—и вижу я тотъ ужасъ,  
Который май напрасно хочетъ скрыть  
Подъ зеленью веселой. Вижу мертвыхъ:  
Тамъ, подъ землей, лежатъ они въ гробахъ,  
Раскрывъ глаза, скрестивши руки. Бѣлы  
Ихъ саваны и бѣлы лица ихъ,  
И по губамъ ползутъ большіе черви. (Перев. Вейнберга).

Подобныя страшныя картины часто вставляли въ воображеніи Лермонтова; разрушеніе тѣлесной красоты женщины особенно ужасно для него, такъ какъ здѣсь еще рѣзче виденъ контрастъ между красотой человѣка и безобразіемъ скелета или гниющаго трупа. Въ «Испанцахъ» Фернандо надъ тѣломъ Эмилиі говоритъ:

<sup>1)</sup> Ср. I, 115, 116; 159, 160 (№ 172), 175, 176 (№ 196).

И предадутъ ее сырой землѣ;  
Глаза, волшебныя уста, къ которымъ  
Мой дерзкій взоръ прикованъ былъ такъ часто,  
И грудь, и эти длинныя рѣсницы  
Песокъ засыплетъ; червь переползетъ безъ страха  
Недвижное, безцвѣтное, сырое,  
Холодное чело... (III, 80).

А что случилось съ прелестной дочерью Орши? Нѣкогда она была

Свѣжа, невинна, весела. (II, 110).

Но вотъ передъ Арсеніемъ ея останки:

Громаду бѣлую костей  
И желтый черепъ безъ очей,  
Съ улыбкой вѣчной и нѣмой —  
Вотъ что узрѣлъ онъ предъ собой.  
Густая, длинная коса,  
Плечъ бѣломраморныхъ краса,  
Разсыпавшись, къ сухимъ костямъ  
Кой-гдѣ прилипнула... и тамъ,  
Гдѣ сердце чистое такой  
Любовью билось огневой,  
Давно безъ пищи ужъ бродиль  
Кровавый червь—жилецъ могиль... (II, 136, 137).

Аполлонъ Григорьевъ по поводу этихъ стиховъ «Боярина Орши» говоритъ: «Уже и по одному такому много-знаменательному мѣсту — мы всѣ были въ правѣ видѣть въ поэтѣ то, что онъ самъ въ себѣ провидѣлъ, т. е. — «не Байрона, а другого, еще невѣдомаго избранника», и при томъ «съ русскою душой»; ибо только русская душа способна до такой безошадной послѣдовательности мысли или чувства въ ихъ приложеніи на практикѣ, — и отъ этой трагической, еще мрачной безтрепетности — одинъ только шагъ до простыхъ отношеній графа Толстого къ идеѣ смерти и до его безошаднаго анализа этой идеи въ

послѣднемъ его разсказѣ («Три смерти»). (Ап. Григорьевъ. I т. 1876 г., 298).

Ср. еще «Дары Терека»: что смерть сдѣлала съ «красоткой - молодежи»? На волнахъ Терека,

какъ снѣгъ бѣла,  
Голова съ косою размытой,  
Колыхаяся, всплыла. (II, 260).

Съ такимъ ужасомъ и Толстой говоритъ о губительномъ дѣйствиіи разрушенія. Николенька Иртеневъ разсказываетъ, какъ онъ, преодолевая страхъ, рѣшился въ послѣдній разъ взглянуть на умершую мать. «Все какъ-то странно сливалось вмѣстѣ: свѣтъ, парча, бархатъ, большіе подсвѣчники, розовая, обшитая кружевами подушка, вѣнчикъ, чепчикъ съ лентами и еще *что-то прозрачное, воскового цвѣта*. Я сталъ на стулъ, чтобы разсмотрѣть ея лицо; но на томъ мѣстѣ, гдѣ оно находилось, мнѣ опять представился тотъ же *блѣдно-желтоватый, прозрачный предметъ*. Я не могъ вѣрить, чтобъ это было ея лицо. Я сталъ вглядываться въ него пристальнѣе и мало-по-малу сталъ узнавать въ немъ знакомыя милыя черты. *Я вздрогнулъ отъ ужаса*, когда убѣдился, что это была она; но отчего закрытые глаза *такъ ввали*? отчего эта *страшная блѣдность* и на одной щекѣ *черноватое пятно* подъ прозрачною кожей?» (I, 71, 72). И не только сына пугаетъ ликъ смерти: «На табуретѣ подлѣ гроба стояла та же крестьянка и *съ трудомъ удерживала въ рукахъ дѣвочку, которая, отмахиваясь ручонками, откинувъ назадъ испуганное личико и уставивъ выпученные глаза на лицо покойной, кричала страшнымъ, неистовымъ голосомъ*. Я вскрикнулъ голосомъ, который, я думаю, былъ еще ужаснѣе того, который поразилъ меня, и выбѣжалъ изъ комнаты.

Только въ эту минуту я понялъ, отъ чего происходилъ тотъ сильный, тяжелый запахъ, который, смѣшиваясь съ запахомъ ладана, наполнялъ комнату; и мысль, что то лицо, которое за нѣсколько дней было исполнено красоты и нѣжности, лицо той, которую я любилъ больше всего

на свѣтѣ, могло возбуждать ужасъ, какъ будто въ первый разъ открыла мнѣ горькую истину и наполнила душу отчаяніемъ». (I, 74). Сережа Каренинъ «не вѣрилъ въ смерть вообще и въ особенности въ ея смерть», то-есть— въ смерть матери, хотя взрослые увѣряли его, что мать умерла (IX, 78). Вѣроятно, и Сережа такъ же громко и страшно крикнулъ бы, если бы увидѣлъ тѣло своей несчастной матери, когда оно, обнаженное и окровавленное, лежало на столѣ желѣзнодорожной казармы. Видъ *умирающаго* близкаго (матери или отца) однихъ дѣтей сильно пугаетъ, другихъ мало или вовсе не пугаетъ и только вызываетъ тихія слезы. Николенька Иртеневъ рассказываетъ: «Глаза маман были открыты, но она ничего не видѣла... О, никогда не забуду я этого страшнаго взгляда! Въ немъ выразалось столько страданія!» (I, 71). Семилѣтній сынъ Андрея Болконскаго, не по возрасту наблюдательный и серьезный, испуганно смотрѣлъ на умиравшаго отца, но не плакалъ, потому что другіе не плакали. (VII, 48). Сынъ Ивана Ильича, гимназистикъ, «тихонько прокрался къ отцу и подошелъ къ его постели. Умирающій все кричалъ отчаянно и кидалъ руками. Рука его попала на голову гимназистика. Гимназистикъ схватилъ ее, прижалъ къ губамъ и заплакалъ». (X, 45).

Однимъ изъ преемниковъ Лермонтова является Гаршинъ, съ тѣми же страшными подробностями описывавшій разложеніе трупа; вотъ нѣсколько строкъ изъ разсказа «Четыре дня»: «Сегодня будетъ, кажется, жарко. Мой со-сѣдъ — что станетъ съ тобой? Ты и теперь ужасень.

Да, онъ былъ ужасень. Его волосы начали выпадать. Его кожа, черная отъ природы, поблѣднѣла и пожелтѣла; раздутое лицо натянуло ее до того, что она лопнула за ухомъ. Тамъ копошились черви. Ноги, затянутыя въ штиблеты, раздулись, и между крючками штиблетъ вылѣзли огромные пузыри. И весь онъ раздулся горою». (Гар., 96).

Въ изображеніи разрушенія тѣла человѣка дальше Лермонтова, Толстого или Гаршина могъ пойти развѣ только Бодлъръ, который еще рѣзче, но уже нарушая художествен-

ную мѣру, подчеркиваетъ страшную разницу между красотой живого и безобразіемъ мертваго; см., напримѣръ, его стихотвореніе «Падалъ» (П. Я. «Стихотворенія». II т., СПБ., 1906 г., 226, 227). У Бодлѣра темныя краски слишкомъ сгущены; онъ говоритъ о парочкѣ влюбленныхъ, наткнувшейся на гнѣющее тѣло, о несчетныхъ червяхъ, волной ползущихъ по трупу, о собачонкѣ, жадно смотрящей на страшное блюдо, но эти правдивыя подробности, нагроможденныя одна на другую, вызываютъ отвращеніе. О безобразіи смерти и силѣ ея разрушенія несравненно больше скажетъ намъ утонченное лермонтовское описаніе:

Однако, *смято* ложе сна,  
 Какъ будто-бы на немъ она,  
 Тому назадъ лишь день, лишь часъ,  
 Главу поконла не разъ,  
*Младенческій* вкушая сонъ.  
 Но, *приближаясь*, видитъ онъ  
 На тонкихъ бѣлыхъ кружевахъ  
 Чернѣющій слоями прахъ,  
 И ткани паутинь съдыхъ  
 Вкругъ занавѣсокъ парчевыхъ. (II, 136).

Увидѣвъ останки любимой дѣвушки, Арсеній вскрикиваетъ. Сашка ребенкомъ лишился матери;

когда послѣднее лобзанье  
 Ему велѣли матери отдать,  
 То сталъ онъ громко плакать и кричать. (II, 166).

Такъ кричитъ всякій, кто всѣмъ существомъ своимъ постигнетъ ужасъ смерти: Николенька Иртеневъ, маленькая крестьянская дѣвочка, влюбленные Бодлѣра. И черноватое пятно на прозрачной кожѣ тамапа Николеньки, — штрихъ болѣе художественный, чѣмъ всѣ детали «Падали»<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Превосходно другое стихотвореніе Бодлѣра—„Пляска смерти“ (см. П. Я. I, 154—156); ср. стихотвореніе въ прозѣ Тургенева „Черепья“ (Тургеневъ,

Остановимся еще на нѣкоторыхъ подробностяхъ. Лицо мертвеца или черепъ — улыбаются.

Лермонтовъ:

И желтый черепъ безъ очей,  
Съ улыбкой вѣчной и нѣмой. (II, 137).

О Тамарѣ:

Улыбка странная застыла,  
Мелькнувши по ея устамъ,  
О многомъ грустномъ говорила  
Она внимательнымъ глазамъ:  
Въ ней было хладное презрѣнье  
Души, готовой отцвѣсти,  
Послѣдней мысли выраженье,  
Земль беззвучное: прости. (II, 378).

Толстой: «На тонкихъ губахъ, растянутыхъ въ краяхъ и выставлявшихся изъ-за красныхъ подстриженныхъ усовъ, казалось, остановилась добродушная, тонкая усмѣшка». (II, 55).

Гаршинъ: «Лица у него уже не было. Оно сползло съ костей. Страшная костяная улыбка, вѣчная улыбка, показала мнѣ такой отвратительной, такой ужасной, какъ никогда, хотя мнѣ случалось не разъ держать черепа въ рукахъ и препарировать цѣлыя головы». (Гар., 97, 98).<sup>1)</sup>

Лицо только-что умершаго еще сохраняетъ отпечатокъ спокойствія и красоты.

Лермонтовъ о бояринѣ Оршѣ:

Спокойны были всѣ черты,  
Исполнены той красоты,  
Лишенной чувства и ума,  
Таинственной, какъ смерть сама. (II, 133).

---

соч., IX, 85). Художественные приемы Бодлера и Тургенева тѣ же, что у Лермонтова: цвѣтушій, беззаботный челоуѣкъ противопоставляется своему же скелету или трупу.

<sup>1)</sup> Ср. Бодляръ: „Улыбку вѣчную оскаленныхъ зубовъ  
Никто переносить безъ тошноты не въ силахъ!“  
(„Пляска смерти“. П. Я., II, 155).

Почти то же о Тамарѣ:

И были всѣ ея черты  
Исполнены той красоты,  
Какъ мраморъ, чуждой выраженья,  
Лишенной чувства и ума,  
Таинственной, какъ смерть сама. (II, 378).

Толстой о маман Николеньки: «Отчего губы такъ блѣдны и складъ ихъ такъ прекрасенъ, такъ величественъ и выражаетъ такое неземное спокойствіе, что холодная дрожь пробѣгаетъ по моей спинѣ и волосамъ, когда я вглядываюсь въ него?..» (I, 72). Объ абрекѣ: его тѣло «было стройно и красиво». (II, 55). У мертвой Анны Карениной «прелестное» лицо «съ полуоткрытымъ румянымъ ртомъ». (IX, 292, 293). У умершаго Корнея Васильева «строе, прекрасное, старое лицо». (X, 172).

Некрасовъ о Проклѣ:

Красивое, чуждое муки  
Лицо — и до рукъ борода...  
(„Морозъ Красный-Носъ“).

Въ этой же поэмѣ Некрасова—о молодой схимницѣ:

Утренняя шла,  
Тихо по церкви ходили монашены,  
Въ черныя рясы наряжены.  
Только покойница въ бѣломъ была:  
Спать: молодая, спокойная,  
Знаетъ, что будетъ въ раю.  
. . . . .  
Всѣхъ ты моложе, наряднѣй, милѣй,  
Ты межъ сестеръ словно горлинка бѣлая  
Промежду сизыхъ, простыхъ голубей.  
Въ ручкахъ чернѣются чотки,  
Писанный вѣнчикъ на лбу,  
Черный покровъ на гробу —  
Этакъ-то ангелы кротки! (Некрасовъ, I, 328).

Картина Некрасова какъ бы навѣяна стихами «Демона», изображающими Тамару (тоже *монахиню*) лежащей въ гробу.

Ср. Лермонтовъ:

Какъ пери *спящая мила*,  
Она въ гробу своемъ лежала. (II, 377).

Некрасовъ:

*Спитъ* — молодая, спокойная...  
...Всѣхъ ты моложе, наряднѣй, *мильй*. (Н., I, 328).

Тамара была то же наряднѣе всѣхъ:

Ни разу не былъ въ дни веселья  
Такъ разноцвѣтенъ и богатъ  
Тамары праздничный нарядъ. (II, 377).

Лермонтовъ указываетъ на бѣлизну тѣла и одежды усопшей:

*Бѣлѣй и чище покрывала*  
*Былъ томный цвѣтъ ея чела*. (II, 377).

Некрасовъ:

Только покойница въ *бѣломъ* была.  
...Поцѣловала и я, недостойная,  
*Бѣлую* ручку твою!  
...словно горлинка *бѣлая*... (Н., I, 328).

Тамара *молода*; она красива и въ гробу:

И были всѣ ея черты  
Исполнены той *красоты*... (II, 378).

Некрасовъ:

*Молодая*, спокойная...  
Всѣхъ ты *моложе*, наряднѣй, *мильй*. (Н., I, 328).

Лермонтовъ часто размышлялъ о недолговѣчности жизни и красоты человѣка; касаясь этого въ своихъ произведенияхъ, онъ всегда прибѣгаетъ къ излюбленному имъ приему — къ сравненію человѣка съ древеснымъ листкомъ, съ плодомъ, созрѣвшимъ до времени, съ цвѣткомъ. Что та-

кое челоѡѡкъ? Быстро увядающее растение (I, 74), листокъ, оторвавшійся отъ вѣтки и гонимый вѣтромъ (I, 51, 88, 214, 343; II, 311, 400; IV, 305), тощій плодъ, созрѣвшій до срока (II, 16, 17, 210, 252); еще чаще поэтъ пользуется сравненіемъ челоѡѡка съ цвѣткомъ.

Немного долголѣтній челоѡѡкъ

Цвѣтка; въ сравненіи съ вѣчностью ихъ вѣкъ

Равно ничтоженъ. (I, 255; ср. еще — I, 223; II, 325).

Дѣвушка—«прелестная», «минутная» роза (I, 88). Азраиль говоритъ любимой дѣвушкѣ: «Сбрось эти цвѣты,—твои губы душистѣе 1). Пускай эти гвоздики и фіалки унесетъ ближній потокъ, какъ нѣкогда время унесетъ твою собственную красоту». (I, 307). Вадимъ—Ольгѣ: «Узнавъ мою тайну, ты отдашь судьбу свою въ руки опаснаго челоѡѡка: онъ не сумѣетъ делѣять цвѣтокъ этотъ, онъ изомнетъ его...» (IV, 6). Ср.—въ той же повѣсти: «Божественная, милая дѣвушка! и ты погибла, погибла безъ возврата... одинъ ударъ,—и свѣжій цвѣтокъ скленилъ голову!» (IV, 90). Печоринъ: «А вѣдь есть необъятное наслажденіе въ обладаніи молодой, едва распустившейся души! Она, какъ цвѣтокъ, котораго лучший ароматъ испаряется навстрѣчу первому лучу солнца; его надо сорвать въ эту минуту и, подышавъ имъ до-сыта, бросить на дорогѣ: авось кто-нибудь подниметъ!» (IV, 231). О Нинѣ—въ «Сказкѣ для дѣтей»:

Она росла, какъ ландышъ за стекломъ,

Или, скорѣй, какъ блѣдный цвѣтъ подснежной. (II, 273).

Послѣдній образъ навѣянъ, вѣроятно, чтеніемъ произведеній Пушкина; ср.—о женахъ Гирея:

Въ тѣни хранительной темницы

Утаены ихъ красоты:

Такъ аравійскіе цвѣты

Живутъ за стеклами теплицы.

(„Бахчисарайскій фонтанъ“).

1) Ср.: „Слова ея усть ароматныхъ“ (II, 294).

Ольга Ларина—

цвѣла, какъ *ландышъ* потаенный,  
Незнаемый въ травѣ глухой  
Ни мотыльками, ни пчелой“.

(„Евгеній Онѣгинъ“).

На землѣ, по словамъ Демона,

нѣтъ ни истиннаго счастья,  
Ни долговѣчной красоты. (II. 374).

Сравненіемъ человѣка съ цвѣткомъ часто пользуется и Толстой. «Соня—шестнадцатилѣтняя дѣвушка во всей прелести только что распустившагося цвѣтка». (V, 35). Соня—«пустоцвѣтъ» (VII, 210). Анна Каренина говоритъ Левину о Кити: «Она оставила во мнѣ впечатлѣніе прелестнаго цвѣтка, именно цвѣтка». (IX, 222). Вронскій смотрѣлъ на Анну, «какъ смотритъ человѣкъ на сорванный имъ и завядшій цвѣтокъ, въ которомъ онъ съ трудомъ узнаетъ красоту, за которую онъ сорвалъ и погубилъ его». (VIII, 304). Это чрезвычайно близко къ цитированнымъ нами словамъ Печорина: «А вѣдь есть необъятное наслажденіе...» и т. д. (II, IV, 231). Въ то же время, мысль Толстого является зерномъ очень поэтичнаго вступленія къ позднѣйшей повѣсти «Хаджи-Муратъ», въ которомъ онъ сравниваетъ знаменитаго наиба съ красивымъ дикимъ цвѣткомъ, безжалостно сорваннымъ и изуродованнымъ (см. XII, 3, 4, 90). Правда, вступленіе къ повѣсти написано подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ, занесеннымъ въ дневникъ 19 іюля 1896 г.: «Вчера иду по передвоенному черноземному пару. Пока глазъ окинетъ, ничего, кромѣ черной земли,—ни одной зеленой травки; и вотъ на краю пыльной, сѣрой дороги кустъ татарника (репья). Три отростка: одинъ сломанъ, и бѣлый, загрязненный цвѣтокъ виситъ; другой сломанъ и забрызганъ грязью черной, стебель надломленъ и загрязненъ; третій отростокъ торчитъ вбокъ, тоже черный отъ пыли, но все еще живъ, и въ серединкѣ краснѣется. Напомнилъ Хаджи-Мурата. Хочется написать. Отстаиваетъ жизнь до послѣдняго, и одинъ среди всего поля хотъ какъ-

нибудь, да отстоялъ ее». («Русское Слово», 14 апрѣля 1913 г., № 87). Однако, мысль эта, какъ видимъ, высказана, хотя и по другому поводу, еще въ «Аннѣ Карениной»; вообще, уподобленіе человѣка недолговѣчному цвѣтку было у Толстого, какъ у Лермонтова, однимъ изъ любимѣйшихъ художественныхъ приѣмовъ, которымъ онъ пользовался на протяженіи всего своего творчества. Объ Аннѣ Федоровнѣ въ «Двухъ гусарахъ»: «Глядя на нее, дѣйствительно приходило въ голову, что это не женщина, а цвѣтокъ, и не розанъ, а какой-то дикій, бѣло-розовый пышный цвѣтокъ безъ запаха, выросшій одинъ изъ дѣвственнаго снѣжнаго сугроба въ какой-нибудь очень далекой землѣ». (III, 91). Ср.—о женщинѣ, показавшейся Пьеру «совершенствомъ восточной красоты»: «Среди раскиданныхъ пожитковъ, въ толпѣ, на площади она въ своемъ богатомъ атласнымъ салопѣ и ярко-лиловомъ платкѣ, накрывавшемъ ее голову, напоминала нѣжное тепличное растеніе, выброшенное на снѣгъ». (VI, 319). Толстой и самого себя сравниваетъ съ цвѣткомъ: «Весна такъ дѣйствуетъ на меня, что я иногда застаю себя въ полномъ разгарѣ мечтаній о томъ, что я—растеніе, которое распустилось вотъ только теперь, вмѣстѣ съ другими, и станетъ просто, спокойно и радостно расти на свѣтѣ Божіемъ... Дайте мѣста необыкновенному цвѣтку, который надуваетъ почки и вырастаетъ вмѣстѣ съ весной...» (Изъ письма къ гр. А. А. Толстой, 1858 г.—Письма Л. Н. Т., 1910 г., 63, 64).

Воспѣвая красоту женщины, поэты, какъ извѣстно, очень часто берутъ сравненія изъ міра флоры. Цвѣты, вообще, играютъ большую роль въ области искусствъ, въ исторіи, въ обычаяхъ и повѣрїяхъ всѣхъ народовъ. См. объ этомъ, напримѣръ, очерки Н. Э. Золотницкаго («Ежемѣсячныя литературныя приложенія» къ журналу «Нива», 1901 г., 1932 г.); его же—«Три цвѣтка весны» («Ежемѣсячныя литературныя приложенія» къ журналу «Нива», 1909 г.). Проф. Сумцовъ, «Пушкинъ», 174—179, 222—226. Е. Г. Кагаровъ. «Роза въ поэзіи античной Греціи». («Вѣстн. Харьковскаго Истор.-Филологич. Общ.» X. 1913. вып. 3, стр. 16—22).

## Глава XIV.

### Герои Лермонтова и Толстого.— Непривлекательная наружность.

Въ главахъ XIV—XIX мы остановимся на нѣкоторыхъ чертахъ, сближающихъ лермонтовскихъ героевъ съ толстовскими.

Лермонтовъ и Толстой, такъ тонко чувствовавшіе, такъ превосходно описывавшіе красоту природы и человѣка, сами не были красивы; натуры увлекающіяся и самолюбивыя, они добивались успѣха въ великосвѣтскихъ гостиныхъ, и непривлекательная наружность причиняла имъ много тайныхъ огорченій.

Лермонтовъ въ шестнадцать лѣтъ «былъ невысокаго роста, довольно плечистъ, съ неустоявшимися еще чертами матоваго, скорѣе смуглаго, лица. Темные волосы, съ свѣтлымъ бѣлокурымъ клочкомъ чуть повыше лба, окаймляли высокое, хорошо развитое чело. Прекрасные большіе умные глаза легко мѣняли выраженіе и не теряли ничего отъ появлявшейся порою золотушной красноты. Слегка вздернутый носъ и большею частью насмѣшливая улыбка, тщательно старавшаяся скрыть мелькавшее изъ-подъ нея выраженіе мягкости или страданія,—вотъ какимъ описываютъ Мишу Лермонтова знавшіе его въ эти годы». (Висковатый. «М. Ю. Л.», 85). См. еще—Л., I, 51, 360. Мартыновъ говоритъ, что Лермонтовъ, въ пору пребыванія въ юнкерской школѣ, былъ съ виду невзраченъ: малъ ростомъ, кривоногъ, съ большой головой, «непомѣрно-широкимъ туловищемъ»; лицо онъ имѣлъ «довольно пріятное»; «обыкно-

венное выраженіе глазъ въ покоѣ нѣсколько томное»; при разговорѣ взглядъ бѣгалъ съ необыкновенной быстротой съ предмета на предметъ, былъ «неуловимъ». («Русскій Архивъ», 1893 г., VIII, «Изъ бумагъ Н. С. Мартынова»). Тургеневъ, видѣвшій поэта подъ новый 1840 годъ, даетъ слѣдующее замѣчательное описаніе его наружности: «Въ наружности Лермонтова было что-то зловѣщее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью вѣяло отъ его смуглаго лица, отъ его большихъ и неподвижно-темныхъ глазъ. Ихъ тяжелый взоръ странно несогласовался съ выраженіемъ почти дѣтски-нѣжныхъ и выдававшихся губъ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, съ большою головою на сутулыхъ, широкихъ плечахъ возбуждала ощущеніе непріятное; но присущую мощь тотчасъ сознавалъ всякій». (Тургеневъ, XII, 76). Боденштедтъ видѣлъ Лермонтова въ маѣ 1841 года: «У вошедшаго была гордая, непринужденная осанка, средней ростъ и замѣчательная гибкость движеній. Вынимая, при входѣ, носовой платокъ, чтобы обтереть мокрые усы, онъ выронилъ на полъ бумажникъ или сигарочницу и при этомъ нагнулся съ такою ловкостью, какъ будто былъ вовсе безъ костей, хотя плечи и грудь были у него довольно широки.

Гладкіе, бѣлокурые<sup>1)</sup>, слегка вьющіеся по обѣимъ сторонамъ волосы оставляли совершенно открытымъ необыкновенно высокій лобъ. Большіе, полные мысли глаза, казалось, вовсе не участвовали въ насмѣшливой улыбкѣ, игравшей на красиво очерченныхъ губахъ молодого человека». (Боденштедтъ о Лермонтовѣ.—Сальниковъ. «Лермонтовъ, его мысли и взгляды», съ приложеніемъ статьи: «Боденштедтъ о Лермонтовѣ». СПБ. 1889 г., 19)<sup>2)</sup>. Лица,

<sup>1)</sup> Висковатый поясняетъ, «что у Лермонтова посреди темени былъ клокъ болѣе свѣтлыхъ волосъ, почему нѣкоторые считали его блондиномъ. Вообще же волосы его были темнокаштановые, почти черные, — почему другіе описывали его брюнетомъ.» (Висковатый, „М. Ю. Л.“, 380).

<sup>2)</sup> См. еще „Литер. воспоминанія“ Панаева („Современникъ“, 1861 г. Т. LXXXV. № 2. Отд. I, 657).

близко знавшія Лермонтова, утверждаютъ, что къ концу жизни черты его какъ бы преобразовывались къ лучшему вмѣстѣ съ расцвѣтомъ богатыхъ духовныхъ силъ; «выраженіе глазъ и прекрасно очерченныхъ губъ останавливало на себѣ вниманіе и даже могло привлекать». (Висковатый, «М. Ю. Л.», 296 — 297).

Лермонтовъ въ значительной мѣрѣ надѣлялъ своихъ героевъ собственными внѣшними и внутренними качествами. Въ «Вадимѣ» онъ преувеличиваетъ свои недостатки; поэтъ имѣлъ сутулыя плечи, былъ кривоногъ, Вадимъ — горбать, кривоногъ, безобразень, отвратителень; но *«въ его глазахъ было столько огня и ума, столько неземного... На лицѣ его постоянно отражалась насмѣшка, горькая, безконечная»*. (IV, 2). Вадимъ ненавидитъ Юрія за его красоту (IV, 26), но не можетъ не любоваться имъ (IV, 28). Печоринъ, какимъ его изображаетъ поэтъ въ «Княгинѣ Лиговской», обладаетъ наружностью «вовсе не привлекательною»; «онъ былъ *небольшого роста, широкъ въ плечахъ, вообще нескладенъ и казался сильнаго сложенія*». (IV, 98). Его лицо было *«смуглое, неправильное, но полное выразительности»*. (IV, 99). Онъ «восхищался благородной красотой лица Красинскаго, но когда женщина, увлекавшая всѣ его думы и надежды, обратила особенное вниманіе на эту красоту, онъ понялъ, что она невольно сдѣлала сравненіе, для него убійственное, и ему почти показалось, что онъ вторично потерялъ ее навѣки, и съ этой минуты въ свою очередь возненавидѣлъ Красинскаго. Грустно, а надо признаться, что самая чистѣйшая любовь наполовину перемѣшана съ самолюбіемъ». (IV, 145). Одна изъ причинъ размолвокъ между Лермонтовымъ и Мартыновымъ была та, что послѣдній пользовался у женщинъ бѣлымъ успѣхомъ, нежели поэтъ. Мартыновъ былъ красивъ лицомъ, высокъ, хорошо сложенъ, заботился объ эффектности своего костюма и нравился женщинамъ. Это задѣвало самолюбіе поэта, и онъ находилъ нѣкоторое удовлетвореніе въ томъ, что давалъ своему сопернику смѣшныя прозвища и рисовалъ его уродомъ. Печоринъ въ «Героѣ нашего времени»—«вообще очень не-

дурень и имѣлъ одну изъ тѣхъ оригинальныхъ фізіономій, которыя особенно нравятся женщинамъ». (IV, 190). «Онъ былъ средняго роста; стройный, тонкій станъ его<sup>1)</sup> и широкія плечи доказывали крѣпкое сложеніе... (IV, 188). «Въ его улыбкѣ было что-то дѣтское. Его кожа имѣла какую-то женскую нѣжность»; онъ имѣлъ *вьющіеся бѣлокурые волосы, блѣдный благородный лобъ, немного вздернутый носъ, ослѣпительной бѣлизны зубы*<sup>2)</sup>. Онъ имѣлъ странные глаза; «они не смѣялись, когда онъ смѣялся»; «они сіяли какимъ-то фосфорическимъ блескомъ»; взглядъ ихъ былъ пронизателенъ и *тяжелъ*, и казался бы дерзкимъ, если бы не былъ *равнодушно-спокоенъ*. (IV, 189). У Вернера «наружность была изъ тѣхъ, которыя съ перваго взгляда поражаютъ непріятно, но которыя нравятся впоследствии, когда глазъ выучится читать въ неправильныхъ чертахъ отпечатокъ души испытанной и высокой. Бывали примѣры, что женщины влюблялись въ такихъ людей до безумія и не промѣняли бы ихъ безобразія на красоту самыхъ свѣжихъ и розовыхъ эндиміоновъ». (IV, 210). Онъ былъ малъ ростомъ, худъ, слабъ и *хромалъ*, имѣлъ *непропорціонально-большую голову*. (IV, 211). Лугинъ искренно говоритъ Минской: «Я *дурень*, и, слѣдственно, женщина меня любить не можетъ... Если я умѣлъ подогрѣть въ нѣкоторыхъ то, что называютъ капризомъ, то это стоило мнѣ *неимоверныхъ трудовъ и жертвъ*». Его наружность была «ничуть не привлекательна»; «онъ былъ неловко и грубо сложенъ», но «въ странномъ выраженіи глазъ его было много огня и остроумія». (IV, 285—286). См. еще IV, 287, 292.

Мы видимъ, что поэтъ въ описанія наружности своихъ героевъ вплетаетъ много личныхъ чертъ; при этомъ онъ всякій разъ останавливается на вопросѣ, который его само-

1) Стройный, тонкій станъ, по мнѣнію Лермонтова, одно изъ неотъемлемыхъ вѣшнихъ достоинствъ мужчины; ср. о женихѣ Тамары: «Ремнемъ занять *легкій станъ*» (II, 356). Варіанты: «*стройный*», «*ловкій*» (II, 489). У Селима—«*тонкій станъ, высокій и красивый*». (I, 335). У бедуина «*станъ худощавый*». (II, 258).

2) Ср. обь Измаиль-Беѣ: «И блещетъ бѣлый рядъ зубовъ,  
Какъ брызги пѣны у бреговъ». (II, 26).

го, очевидно, мучилъ: можетъ ли быть любимъ женщиною некрасивый мужчина при наличности высокихъ душевныхъ качествъ? Отвѣтъ отрицательный. Безобразный Вадимъ ни въ комъ бы не возбудилъ любви. Лугину неимовѣрныхъ трудовъ стоило добиться у нѣкоторыхъ женщинъ мимолетнаго успѣха. Печоринъ, въ молодости бывший некрасивымъ, долженъ былъ скомпрометировать свѣтскую дѣвушку, чтобы пріобрѣсти извѣстность въ петербургскихъ салонахъ. Правда, поэтъ о безобразномъ Вернерѣ говоритъ: «Бывали примѣры, что женщины влюблялись въ такихъ людей до безумія». (IV, 210). Но Вернеръ, очевидно, исключеніе; самое выраженіе «бывали примѣры» сулитъ мало утѣшительнаго тому, кто, какъ Вадимъ, обиженъ природой. Некрасивый мужчина, будь онъ очень уменъ и талантливъ, потому не нравится женщинамъ, что онѣ, по словамъ поэта, *«чаще и долѣе насъ покорны первому впечатлѣнію»*. (IV, 285). Если человѣкъ некрасивъ, первое впечатлѣніе, конечно, всегда будетъ не въ его пользу. Минская, назвавъ разсужденіе Лугина на эту тему «вздоромъ», въ душѣ «невольна съ нимъ согласилась» (IV, 285). Не обладая счастливою наружностью, Лермонтовъ заботился о своемъ костюмѣ; въ этомъ сказывался и его прирожденный аристократизмъ. Но поэтъ рѣзко отличается въ своихъ привычкахъ отъ Мартынова, человѣка зауряднаго, который пріятно поражалъ пятигорскихъ дамъ и дѣвицъ щегольскими черкесками разныхъ цвѣтовъ. Боденштедтъ говоритъ: «Одѣтъ онъ былъ не въ парадную форму: на шеѣ небрежно повязанъ черный платокъ; военный сюртукъ не новъ и не до верху застегнутъ, и изъ-подъ него виднѣлось ослѣпительной свѣжести бѣлье. Эполетъ на немъ не было». (Боденштедтъ о Лермонтовѣ, 19). Ту же изысканную небрежность подмѣчаетъ Лермонтовъ въ Печоринѣ: *«Пыльный бархатный сюртучокъ его, застегнутый только на двѣ нижнія пуговицы, позволялъ разглядѣть ослѣпительно-чистое бѣлье, изблѣчившее привычки порядочнаго человѣка; его запачканныя перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической рукѣ, и когда онъ*

снялъ одну перчатку, то я былъ удивленъ *худобой его блѣдныхъ пальцевъ*. (IV, 189). О Вернерѣ: «Въ его одеждѣ замѣтны были *вкусъ и опрятность*; его *худощавыя*, жилистые и *маленькія* руки красовались въ свѣтло-желтыхъ перчаткахъ. Его сюртукъ, *галстукъ* и жилетъ были постоянно *чернаго цвѣта*. (IV, 211). По свидѣтельству Боденштедта, Лермонтовъ за обѣдомъ не пряталъ «своихъ *нужныхъ, выхоленныхъ рукъ*». (Боденштедтъ о Лермонтовѣ, 20). На маскарадѣ въ Благородномъ Собраніи поэтъ, какъ запомнилъ Тургеневъ, не снималъ сабли и перчатокъ. (Тургеневъ, XII, 75). Лугинъ одѣвался со вкусомъ. (IV, 287).

Лермонтовъ имѣлъ смуглое лицо и надѣляетъ этимъ признакомъ даже тѣхъ героевъ, которые отличались красотой: Измаила-Бея (II, 26), Арсенія (II, «Бояринъ Орша», 130), жениха Тамары (II, 359) <sup>1)</sup>. Особенной красотой отличались—Юрій Палицынъ (IV, 26, 28), Красинскій (IV, 106) и Демонъ.

Толстой тоже сознавалъ, что онъ некрасивъ (см., напр., Бирюковъ, I, 250). Николенька Иртеневъ говоритъ: «Я имѣлъ самыя странныя понятія о красотѣ,—даже Карла Ивановича считалъ первымъ красавцемъ въ мірѣ; но очень хорошо зналъ, что я нехорошъ собой, и въ этомъ нисколько не ошибался; поэтому *каждый намекъ на мою наружность больно оскорблялъ меня*. Онъ помнитъ, что когда ему было шесть лѣтъ, заговорили однажды о его наружности, и мать напрасно старалась найти что-нибудь хорошее въ его лицѣ; она сказала сыну: «Ты это знай, Николенька, что за твое лицо тебя никто не будетъ любить; поэтому ты долженъ стараться быть умнымъ и добрымъ мальчикомъ». «Несмотря на это»,—продолжаетъ Иртеневъ,—«на меня часто находили минуты отчаянія: я воображалъ, что нѣтъ счастья на землѣ для человѣка съ такимъ широкимъ носомъ, толстыми губами и маленькими сѣрыми глазами, какъ я; я просилъ у Бога сдѣлать чудо—превраща-

<sup>1)</sup> Грушницкій тоже смугль. (IV, 205).

тить меня въ красавца, и все, что имѣлъ въ настоящемъ, все, что могъ имѣть въ будущемъ, я все отдалъ бы за красивое лицо». (I, 47). Иногда у него являлась мысль: въ самомъ ли дѣлѣ онъ такъ некрасивъ? «Проходя черезъ бабушкинъ кабинетъ, я взглянулъ на себя въ зеркало: лицо было въ поту, волосы растрепаны, вихры торчали больше, чѣмъ когда-нибудь; но общее выраженіе лица было такое веселое, доброе и здоровое, что я самъ себѣ понравился.

«Если бъ я былъ всегда такой, какъ теперь,—подумалъ я,—я бы еще могъ понравиться».

Но взглянувъ въ личико Сонечки, исполненное изящной и нѣжной красоты, онъ понялъ, какъ глупо было «надѣяться обратить на себя вниманіе такого чудеснаго созданія». (I, 63).

Николенька описываетъ, каковъ онъ былъ на видъ передъ поступленіемъ въ университетъ: «Я гораздо ниже ростомъ Володи, широкоплечъ и мясистъ, попрежнему дурень и *попрежнему мучусь этимъ*. Я стараюсь казаться оригиналомъ. Одно утѣшаетъ меня—это то, что про меня папа сказалъ какъ-то, что у меня *умная рожа*<sup>1)</sup>, и я вполнѣ вѣрю въ это». (I, 129). Онъ часто заглядывалъ въ зеркало и «всегда отходилъ съ тяжелымъ чувствомъ унынія и даже отвращенія». «Выразительнаго ничего не было,—самыя обыкновенныя, грубыя и дурныя черты; глаза маленькіе, сѣрые, особенно въ то время, когда я смотрѣлся въ зеркало, были скорѣе глупые, чѣмъ умные. Мужественнаго было еще меньше; несмотря на то, что я былъ не малъ ростомъ и очень силенъ по лѣтамъ, всѣ черты лица были мягкія, вялыя, неопредѣленныя. Даже и благороднаго ничего не было; напротивъ, лицо мое было такое, какъ у простаго мужика, и такія же большія ноги и руки; а это въ то время мнѣ казалось очень стыдно». (I, 137). Но и въ этомъ возрастѣ, подъ минутнымъ впечатлѣніемъ, Иртеневъ, какъ утопающій за соломинку, хватается за мысль:

---

<sup>1)</sup> Курсивъ Л. Т.

можетъ быть, будучи хорошо одѣтъ, онъ покажется даже красивымъ? Вотъ онъ отправляется въ университетъ, на первый экзамень: «Я былъ во фракѣ, въ первый разъ въ моей жизни, и все платье, даже бѣлье, чулки, было на мнѣ самое новое и лучшее. Когда швейцаръ снялъ съ меня внизу шинель и я предсталъ передъ нимъ во всей красотѣ своей одежды, мнѣ даже стало нѣсколько совѣстно за то, что я такъ ослѣпительнъ». Но онъ вошелъ въ свѣтлый залъ, гдѣ были сотни молодыхъ людей въ гимназическихъ мундирахъ и фракахъ, и разочаровался въ надеждѣ стать предметомъ общаго вниманія. (I, 152).

Разумѣется, въ эти подробности авторъ внесъ много личныхъ переживаній. При этомъ Толстой отбѣняетъ и *комическое*, чего не дѣлаетъ Лермонтовъ. Николенька Иртенъевъ рассказываетъ, что ему захотѣлось разъ имѣть такія густыя брови, какими обладалъ герой одного романа. «Я, разсматривая свои брови передъ зеркаломъ, вздумалъ простричь ихъ слегка, чтобъ онѣ выросли гуще, но разъ, начавъ стричь, случилось такъ, что я выстригъ въ одномъ мѣстѣ больше,—надо было подравнивать, и кончилось тѣмъ, что я къ ужасу своему увидѣлъ себя въ зеркало безбровымъ и вслѣдствіе этого очень некрасивымъ. Однако надѣясь, что скоро у меня вырастутъ густыя брови, какъ у страстнаго человѣка, я утѣшился и только безпокоился о томъ, что сказать всѣмъ нашимъ, когда они увидятъ меня безбровымъ. Я досталъ пороху у Володи, натеръ имъ брови и поджогъ. Хотя порохъ не вспыхнулъ, я былъ достаточно похожъ на опаленнаго, никто не узналъ моей хитрости, и дѣйствительно у меня, когда я уже забылъ про страстнаго человѣка, выросли брови гораздо гуще». (I, 208). Такой случай былъ съ Толстымъ; сестра писателя, Марія Николаевна, рассказываетъ: «Разъ ему пришла фантазія остричь себѣ брови, что онъ и исполнилъ, обезобразивъ этимъ свое лицо, никогда не отличавшееся особой красотой, что немало сокрушало самого юношу». (Бирюковъ, I, 120). Смѣшно въ Николенькѣ и стремленіе быть *comme il faut* (I, 208—210). Отправляясь въ первый разъ на балъ,

онъ заѣхалъ съ братомъ къ парикмахеру. «Но сколько ни мазалъ m-r Charles какою-то липкою эссенціей мои вихры, они все-таки встали, когда я надѣлъ шляпу, и вообще моя завитая фигура мнѣ казалась еще гораздо хуже, чѣмъ прежде. Мое одно спасеніе была аффектація небрежности<sup>1)</sup>. Только въ такомъ видѣ наружность моя была на что-нибудь похожа». На балу онъ робѣлъ, не танцевалъ, говорилъ вздоръ, прибѣгая къ напыщеннымъ французскимъ фразамъ, о которыхъ «даже послѣ десятковъ лѣтъ» ему было совѣстно вспоминать. (I, 227, 228). Въ глубинѣ души Николенька сознавалъ, какъ смѣшны и напрасны его старанія быть *somme il faut*: «Могу смѣло сказать, что я былъ гораздо лучше въ дѣйствительности, чѣмъ то странное существо, которое я пытался представлять изъ себя». (I, 232).

---

---

<sup>1)</sup> Лермонтовъ и его герой, какъ мы говорили выше, тоже бывали небрежны въ костюмѣ, но въ ихъ небрежности не было ничего смѣшного; она была, дѣйствительно, красива.

## Глава XV.

### Герои Лермонтова и Толстого (продолженіе).

#### Физическая сила.

По свидѣтельству современниковъ, Лермонтовъ обладалъ большой физической силой и при случаѣ не прочь былъ показать ее; напр., будучи юнкеромъ, забавлялся однажды тѣмъ, что вмѣстѣ съ другимъ товарищемъ, славившимся силой, вязалъ шомполы въ узлы. (Висковатый, 176). Мартыновъ подтверждаетъ, что Лермонтовъ былъ весьма ловокъ въ физическихъ упражненіяхъ и силенъ. («Рус. Архивъ», 1893 г., VIII). Будучи офицеромъ, «Лермонтовъ пользовался репутаціей человѣка крайне ловкаго относительно всякаго рода физическихъ упражненій. Необыкновенно сильный и гибкій, онъ былъ отличный ѣздокъ, мѣткій стрѣлокъ и хорошо бился на рапирахъ»; онъ сажалъ «изъ пистолета пулю на пулю». (Висковатый, 333). По мнѣнію Анненскаго, въ поэтѣ рано должно было развиться пристрастіе къ физическимъ упражненіямъ; хилый и самолюбивый мальчикъ закалялъ себя, полюбилъ быстрыя движенія, верховую ѣзду. (Анненскій. «Объ эстетическомъ отношеніи Лермонтова къ природѣ».—«Рус. Школа», 1891 г., XII, 77). Въ дѣтствѣ Лермонтовъ игралъ съ однолѣтками изъ дворовыхъ въ войну, въ разбойниковъ. «Своихъ сверстниковъ Мишель любилъ дѣлить на два лагеря. Происходили военныя игры, и особенно зимою воздвигались и брались крѣпости, совершались переходы». (Висковатый, 22—24). Въ Тархалахъ, зимой, на замерзшемъ пруду, происходили кулачные бои крестьянъ, и Лермонтовъ въ дѣт-

ствѣ любовался этимъ зрѣлищемъ; въ 1836 г. онъ самъ устроилъ въ Тарханахъ кулачный бой; по другой версіи, сами крестьяне, желая отблагодарить добраго барина за подаренныя 25 десятинъ лѣса, потѣшили его кулачнымъ боемъ. (Висковатый, 228, 229). Герои его—Вадимъ и Печоринъ—крѣпкаго сложенія (IV, 2, 98, 188). Кирибѣевичъ былъ лучшимъ кулачнымъ бойцомъ у Ивана Грознаго, но встрѣтилъ болѣе сильнаго противника—купца Калашникова. Вадимъ игралъ большимъ камнемъ, какъ мячикомъ (IV, 3); вооруженный ножомъ, онъ убилъ въ лѣсу огромнаго волка и притащилъ его домой (IV, 29). Юный Фернандо—ловкій торреадоръ (III, 25). Селимъ сражается съ двумя барсами и одолеваетъ ихъ. (I, 346). Мцыри побѣдилъ барса, имѣя подъ рукой лишь тяжелый сукъ; помимо мужества, здѣсь была выказана и рѣдкая физическая сила. Поэтическія красоты описанія кулачнаго боя и схватки Мцыри съ кровожаднымъ хищникомъ никѣмъ у насъ въ литературѣ не достигнуты.

Толстой былъ тоже силенъ. «Въ бригадѣ онъ оставилъ по себѣ память, какъ ѣздокъ, весельчакъ и силачъ. Такъ, онъ ложился на полъ, на руки ему ставился въ пять пудовъ мужчина, и онъ, вытягивая руки, подымалъ его вверхъ; на палкѣ никто не могъ его перетянуть». (Бирюковъ, I, 275). Онъ любилъ физическія упражненія; одно время онъ особенно пристрастился къ шимъ. Фетъ рассказываетъ: «Въ то время у свѣтской молодежи входили въ моду гимнастическія упражненія, между которыми первое мѣсто занимало прыганіе черезъ деревяннаго коня. Бывало, если нужно захватить Льва Николаевича во второмъ часу дня, надо отправляться въ гимнастическій залъ на Большой Дмитровкѣ. Надо было видѣть, съ какимъ одушевленіемъ онъ, одѣвшись въ трико, старался перепрыгнуть черезъ коня, не задѣвши кожанаго, набитаго шерстью, конуса, поставленнаго на спинѣ этого коня. Не удивительно, что подвижная, энергическая натура 29-лѣтняго Л. Толстого требовала такого усиленнаго движенія»... (Фетъ. «Мои воспоминанія». М. 1890 г., I, 218). С. А. Берсъ рассказываетъ,

что въ 70-хъ годахъ Толстой съ увлеченіемъ занимался шведской гимнастикой, бѣганіемъ на конькахъ, въ перегонки, косьбой (см. С. А. Берсъ. «Воспоминанія о гр. Л. Н. Толстомъ». Смоленскъ. 1894 г.). «Л. Н. Толстой не былъ атлетомъ, но стремился развить мышечную силу и ловкость въ молодыхъ годахъ и никогда не прочь былъ до послѣднихъ лѣтъ, при случаѣ, показать достигнутые имъ результаты въ этомъ отношеніи.

Лѣтомъ 1890 г. пріѣхаль въ Ясную Поляну французъ, прикосновенный къ литературѣ. Бесѣдуя съ Толстымъ и графиней на кругу, передъ домомъ, французъ подошелъ къ реку, на которомъ упражнялись сыновья Толстыхъ съ учителемъ-французомъ, и продѣлалъ какой-то нетрудный туръ.

— Вотъ это искусство вамъ, графъ, ужъ, навѣрное, незнакомо,—обратился онъ любезно-заискивающе къ Толстому.

Л. Н. засмѣялся и началъ наглядно показывать французу, какъ надо обращаться съ рекомъ. Только энергичный протестъ графини положилъ конецъ гимнастикѣ 63-лѣтняго писателя. А французъ лишь покачивалъ головой и восклицалъ на всѣ лады: «Ого! Ага!» при видѣ, какъ чисто и отчетливо продѣлывалъ Л. Н. различныя упражненія на рукахъ». (Международный альманахъ «О Толстомъ».—А. М. Новиковъ. «Л. Н. Толстой и И. И. Раевскій». 186). Извѣстно, что Толстой любилъ верховую ѣзду, ѣзду на велосипедѣ, косьбу.

16-лѣтній Николай Иртеневъ, двойникъ Толстого, говоритъ: «Внѣ ученія занятія мои состояли: въ уединенныхъ, безсвязныхъ мечтахъ и размышленіяхъ, въ дѣланіи гимнастики, съ тѣмъ, чтобы сдѣлаться *первымъ силачомъ въ мірѣ*»... Онъ былъ «очень силенъ по лѣтамъ» (I, 137). Лицо и сложеніе Лукашки, «несмотря на угловатость молодости, выражали большую физическую и нравственную силу». (II, 44). «Дядя Ерощка былъ огромнаго роста казакъ, съ сѣдою какъ лунь широкою бородой и такими широкими плечами и грудью, что въ лѣсу, гдѣ

не съ кѣмъ было сравнить его, онъ казался невысокимъ; такъ соразмѣрны были всѣ его сильные члены». (II, 44, 45). Зато въ хатѣ можно было замѣтить «всю громадность и силу сложенія этого человѣка, несмотря на то, что красно-коричневое лицо его съ совершенно бѣлою окладистою бородой было все изрыто старческими, могучими, трудовыми морщинами. Мышцы ногъ, рукъ и плечъ были такъ полны и бочковаты, какъ бываютъ только у молодого человѣка. На головѣ его изъ-подъ короткихъ волосъ видны были глубокіе зажившіе шрамы. Жилистая, толстая шея была, какъ у быка, покрыта клѣтчатыми складками». (II, 60). Ему въ это время было лѣтъ 70. (II, 69). Этотъ старикъ, дышащій бодростью и силой, съ презрѣніемъ, какъ лермонтовскій солдатъ изъ «Бородина», говоритъ о новомъ поколѣніи: «Нынче уже и казаковъ такихъ нѣту. Глядѣтъ скверно. Отъ земли вотъ (Ерошка указалъ на аршинъ отъ земли)»... (II, 69). Пьеръ Безуховъ слылъ за «силача»; ему ничего не стоило выломать руками оконную дубовую раму. (IV, 32). Находясь въ плѣну, онъ показывалъ солдатамъ свою силу, «вдавливая гвозди въ стѣну балагана». (VII, 81). Прокофій, лакей Ростовыхъ, «былъ такъ силенъ, что за задокъ поднималъ карету». (V, 4). «Несмотря на свое несильное на видъ сложеніе, князь Андрей могъ переносить физическую усталость гораздо лучше самыхъ сильныхъ людей». (IV, 143). Левинъ любилъ косьбу, великолѣпно катался на конькахъ. Нехлюдовъ («Утро помѣщика») рисуется передъ крестьяниномъ силой и ловкостью: желая посмотреть молодой лошади въ зубы, онъ, схвативъ ее за уши, пригнулъ къ землѣ такъ, что она зашаталась и захрипѣла, стараясь вырваться. (III, 20). У Евгенія Иртенева («Дьяволъ») было много «силъ и физическихъ и духовныхъ. Ему было 26 лѣтъ, онъ былъ средняго роста, сильнаго сложенія съ развитыми гимнастикой мускулами, сангвиникъ съ яркимъ румянцемъ во всю щеку, съ яркими зубами и губами и съ негустыми, мягкими и вьющимися волосами». (XII, 127). Степанъ Пелагеюшкинъ былъ «человѣкъ отважный и силы непомѣрной». (XII, 199). «Сотоварищи уважали и боялись его, зная его твер-

дость и большую физическую силу, особенно послѣ случая съ двумя бродягами, которые напали на него, но отъ которыхъ онъ отбился, сломавъ одному изъ нихъ руку». (XII, 203). Князь Степанъ Касатскій былъ благороднаго и могучаго сложенія. (XII, 95). Иосифъ Мигурскій обладалъ «несбыкновенной физической силой» (X, 179), имѣлъ «могучія плечи». (X, 190).

Но физическая сила ни у Лермонтова, ни у Толстого не возведена въ культъ. Оба художника доказываютъ, что физическая сила является только какъ бы отраженіемъ могучаго духа. Мцыри, Печоринъ, Николай Иртеневъ, Андрей Болконскій, Пьеръ Безуховъ и др. одарены сложной духовной организаціей. Сила не дѣлаетъ человѣка грубымъ и дерзкимъ. Калашниковъ, Пьеръ, Пелагеюшкинъ (послѣ внутренняго перерожденія) проявляютъ христіанское смиреніе. Почти никто изъ героевъ Лермонтова и Толстого не злоупотребляетъ своей силой; пользуются они ею въ крайнемъ случаѣ, защищая себя и другихъ (Селимъ, Мцыри, Калашниковъ, Пелагеюшкинъ-арестантъ). Съ виду часто нескладные, некрасивые, они одарены красотой душевной, которая выражается въ искренней, чуждой ханжества, религіозности, стремленіи къ мистицизму, въ любви къ людямъ, къ природѣ, въ строгомъ контролѣ всѣхъ своихъ помысловъ и поступковъ, въ отвагѣ, въ благородствѣ. Конечно, никто изъ нихъ не совмѣщаетъ въ себѣ всѣ эти качества, но вѣдь Лермонтовъ и Толстой создаютъ типы людей, не насыщенныхъ добродѣтелями, а живыхъ, съ плотью и кровью, имѣющихъ свои слабости, недостатки (иногда большіе), но зато способныхъ къ труду, къ плодотворной дѣятельности, борьбѣ, подвигу. На что ужъ Ерощка не можетъ служить образцомъ нравственности (онъ и убійца, и воръ, и пьяница), а великій писатель подмѣчаетъ, что и въ этомъ темномъ, дикомъ человѣкѣ вмѣстѣ съ грубой физической силой уживается и что мягкое, трогательное: «Ерощка поднялъ голову и началъ пристально всматриваться въ ночныхъ бабочекъ, которыя вились надъ колыхавшимся огнемъ свѣчи и попадали въ него.

— Дура! Дура!—заговорилъ онъ.—Куда летишь? Дура! Дура!—Онъ приподнялся и своими *толстыми* пальцами сталъ отгонять бабочекъ. .

— Сгоришь, дурочка; вотъ сюда лети: мѣста много,—приговаривалъ онъ *нѣжнымъ* голосомъ, стараясь своими *толстыми* пальцами *учтиво* поймать ее за крылышки и выпустить. — Сама себя губишь, а я тебя жалѣю». (II, 71).

Здѣсь характерно и противопоставленіе могучей фигуры стараго казака воздушному, прелестному созданію, и этотъ переходъ отъ простодушно-шутливаго слова «дура» къ ласкательному — «*дурочка*». Человѣкъ съ крѣпкимъ сложениемъ и сильнымъ духомъ навсегда останется молодымъ. У 70-тилѣтняго Ерочки всѣ мышцы «такъ *полны и бочковаты*, какъ бываютъ *только у молодого* человѣка»; онъ шагаетъ черезъ порогъ «*легко и ловко*» (II, 60), онъ бодръ, жизнерадостенъ, веселъ, въ немъ играетъ избытокъ силы. Еще болѣе яркимъ примѣромъ можетъ служить самъ Толстой; какихъ только испытаній ни посылала ему судьба, а онъ до глубокой старости сохранилъ силу, свѣжесть и ясность своего генія.

---

## Глава XVI.

### Герои Лермонтова и Толстого (продолженіе). Любовь къ лошадямъ и быстрой ѣздѣ.

Любилъ Лермонтовъ и лошадей — красивыхъ и горячихъ и бѣшено-быструю ѣзду на нихъ. По словамъ Мартынова, въ Юнкерской Школѣ Лермонтовъ не слылъ хорошимъ ѣздокомъ: сидѣлъ на лошади крѣпко, но некрасиво, былъ дурно сложенъ. («Рус. Архивъ», 1893 г., VIII). Будучи въ тѣхъ стѣнахъ еще новичкомъ, поэтъ едва не заплатилъ слишкомъ дорого за свою охоту къ верховой ѣздѣ: лошадь ударила его въ ногу и сильно повредила ее; онъ проболѣлъ нѣсколько мѣсяцевъ, и у него на всю жизнь осталась легкая хромота. (Висковатый, 177). Впослѣдствіи самолюбивый поэтъ сталъ отличнымъ ѣздокомъ (Висковатый, 333). Средства позволяли ему имѣть прекрасныхъ коней. Въ письмѣ отъ 1836 г. онъ говоритъ бабушкѣ: «Я на дняхъ купилъ лошадь у генерала. Прошу васъ, если есть деньги, прислать мнѣ 1580 рублей; лошадь славная и стоитъ больше, а цѣна эта *не велика*». (IV, 326). Бабушка поэта, души въ немъ не чаявшая, поощряла его страсть; вотъ цѣнные строки изъ ея нѣжнаго письма къ внуку: «Я счастлива истинно, мой другъ, забываю всѣ горести и со слезами благодарю Бога, что Онъ на старости послалъ въ тебѣ мнѣ утѣшеніе. Лошадей тройку тебѣ купила и, говорятъ какъ птицы летятъ; онѣ одной породы съ буланой и цвѣтъ одинаковъ, только черный ремень на спинѣ и черныя гривы; забыла, какъ ихъ называютъ. Домашнихъ лошадей всѣхъ шесть, выбирай любыхъ: пара темногнѣдыхъ, пара свѣтлогнѣдыхъ и пара сѣрыхъ,

но здѣсь никто не умѣетъ выѣзжать лошадей; у Матюшки силы нѣтъ, Никанорка объѣзжаетъ купленныхъ лошадей, но боюсь, что нехорошо ихъ пріѣздить... Ежели ты своихъ вятскихъ продашь—и сундучекъ съ мундирами, и съ бѣльемъ съ нимъ можно отправить; впрочемъ, какъ ты самъ лучше придумаешь: тебѣ уже 21 годъ». (Висковатый. «М. Ю. Л.» Приложение II, стр. 5, 6). На Кавказѣ Лермонтовъ подолгу не слазилъ съ сѣдла; онъ писалъ оттуда (1837 г.) Раевскому: «Съ тѣхъ поръ какъ выѣхалъ изъ Россіи, повѣришь-ли, я находился до сихъ поръ въ непрерывномъ странствованіи то на перекладной, то верхомъ; извѣздилъ Линію всю вдоль, отъ Кизляра до Тамани, переѣхалъ горы, былъ въ Шущѣ, въ Кубѣ, въ Шемахѣ, въ Кахетіи, одѣтый по-черкесски, съ ружьемъ за плечами». (IV, 329). Однажды Лермонтову пришлось кинжаломъ отбиваться «отъ трехъ горцевъ, преслѣдовавшихъ его около озера между Пятигорскомъ и Георгіевскимъ укрѣпленіемъ. Благодаря превосходству своего коня поэтъ ускакалъ отъ нихъ. Только одинъ его нагонялъ, но до кровопролитія не дошло.—Михаилу Юрьевичу доставляло удовольствіе скакать съ врагами на перегонку, увертываться отъ нихъ, избѣгать перерѣзывающихъ ему путь». (Висковатый, 342). Одинъ изъ сослуживцевъ Лермонтова рассказываетъ: «Гарцовалъ Лермонтовъ на бѣломъ, какъ снѣгъ, конѣ, на которомъ, молодецки заломивъ бѣлую холщевую шапку, бросался на чеченскіе завалы». (Висковатый, 344).

Герои Лермонтова обладаютъ превосходными скакунами, холятъ ихъ, дѣлятъ съ ними свои труды и свой отдыхъ. Самому поэту нужно было сильно любить и хорошо знать лошадь, чтобы съ такими подробностями описывать благородную красоту ея, ея нравъ и умъ.

Вотъ прекрасная картина:

Селимъ сѣдлаетъ вѣрнаго коня,  
Гребенкой мѣдной гриву разбирая;  
Кубанскою оправою звеня,  
Уздечка блещетъ; крѣпко обвивая  
Сѣдло съ конемъ, сцѣпились два ремня.

Стремена ровны, плетка шелковая  
На арчагъ мотається. Храпить,  
Косится конь... Пора, садись, джигить.  
Горячъ и статень конь твой вороной!  
Какъ красный уголь, его сверкаетъ око,  
Нога стройна, косматый хвостъ трубой,  
И лоснится хребеть его высокой,  
Какъ черный камень, сглаженный волной;  
Какъ саранча, легко въ степи широкой  
Порхаетъ онъ подь легкимъ сѣдокомъ,  
И голосъ твой давно ему знакомъ!.. (I, 343).

Такіе же чудные кони — у Измаиля-Бея (II, 38), Хаджи-Абрека (II, 98 — 100), властителя Синодала (II, 356 — 359), Кирибѣевича (II, 217), Вадима (IV, 53), Печорина (IV, 220, 221, 264, 265), Қазбича (IV, 162—164). Мцыри въ монастырскихъ стѣпахъ грезилъ

Про волю дикую степей,  
Про легкихъ, бѣшенныхъ коней. (II, 324).

Въ вариантахъ поэмы «Мцыри» есть великолѣпная картина: въ предсмертномъ бреду Мцыри чудится, будто мимо него бурно проносится воинственная ватага всадниковъ-горцевъ, и между ними отецъ—на «кипучемъ» конѣ. (II, 477).

Горцу необходимъ конь,—вѣрный другъ его бранныхъ потѣхъ, его скитаній.

Золото купить четыре жены,  
Конь же лихой не имѣеть цѣны:  
Онъ и отъ вихря въ степи не отстанеть,  
Онъ не измѣнить, онъ не обманеть. (IV, 164)<sup>1)</sup>.

Эти кони знаютъ голосъ хозяина (I, 343; IV, 162). «Они дорогу знаютъ сами». (II, 78). Неутомимые, быстрые, они спасутъ господина

<sup>1)</sup> Ср. I, 348; II, 46, 47.

Отъ вражьей шашки и кинжала  
Въ степи глухой, въ недобрый часъ. (II, 39) <sup>1)</sup>.

Герець гордится такимъ скакуномъ, не продасть его; онъ говоритъ съ нимъ; онъ ободряетъ его во время долгой вѣзды:

Мы отдохнемъ въ краю родномъ;  
Твою уздечку еще болѣ  
Обвѣшу русскимъ серебромъ;  
И будешь ты въ зеленомъ полѣ...  
Давно-ль, давно-ль ты измѣнился,  
Скажи, товарищъ дорогой?  
Что рано пѣною покрылся?  
Что тяжело дышишь подо мной? (II, 99) <sup>2)</sup>.

Трогательная, безпредѣльная любовь горца къ вѣрному коню описана Лермонтовымъ съ несравненнымъ мастерствомъ въ «Бэлѣ». Судьба красавца Карагеца <sup>3)</sup> тѣсно переплетается съ судьбой многихъ людей—Казбича, Азамата, Бэлы, отца Азамата и Бэлы, Печорина.

Никто такъ великолѣпно не изображалъ у насъ быстро-скачущую лошадь,—одну или со всадникомъ,—какъ Лермонтовъ; его поэзія блещетъ картинами необычайной живописности и яркости. Вотъ Казбичъ и его неуловимый Карагезъ: «За мной неслись четыре козака; ужъ я слышалъ за собою крики гяуровъ, и передо мною былъ густой лѣсъ. Прилегъ я на сѣдло, поручилъ себя Аллаху и въ первый разъ въ жизни оскорбилъ коня ударомъ плети. Какъ птица, нырнулъ онъ между вѣтвями; острия колючки рвали мою одежду, сухіе сучья карагача били меня по лицу. Конь мой прыгалъ черезъ пни, разрывалъ кусты грудью... Вдругъ передо мною рывина глубокая; скакунъ мой при-

<sup>1)</sup> Ср. II, 99.

<sup>2)</sup> Ср. IV, 53.

<sup>3)</sup> Карагезъ — по турецки: „черноглазый“ (Веселовскій. „Разысканія въ области русскаго духовнаго стиха“. VI—X, стр. 145). У Карагеца „глаза не хуже, чѣмъ у Бэлы“ (IV, 162), а у Бэлы были глаза „черные“, какъ у горной серны“. (IV, 161).

задумался—и прыгнулъ. Заднія его копыта оборвались съ противнаго берега, и онъ повисъ на переднихъ ногахъ, я бросилъ поводья и полетѣлъ въ оврагъ; это спасло моего коня: онъ выскочилъ... Лѣсъ кончился, нѣсколько козачковъ выѣзжаютъ изъ него на поляну, и вотъ выскакиваетъ прямо къ нимъ мой Карагезъ; всѣ кинулись за нимъ съ крикомъ; долго, долго они за нимъ гонялись, особенно одинъ раза два чуть-чуть не накиннулъ ему на шею аркана; я задрожалъ, опустилъ глаза и началъ молиться. Черезъ нѣсколько мгновений поднимаю ихъ и вижу: мой Карагезъ летитъ, развѣвая хвостъ, вольный какъ вѣтеръ <sup>1)</sup>, а гяуры далеко одинъ за другимъ тянутся по степи на измученныхъ коняхъ». (IV, 162, 163).

Вотъ грузинскій князь на породистомъ карабахскомъ скакунѣ:

Ремнемъ затянуть легкій станъ <sup>2)</sup>;  
 Оправа сабли и кинжала  
 Блеститъ на солнцѣ; за спиной  
 Ружье съ насѣчкой вырѣзной;  
 Играетъ вѣтеръ рукавами  
 Его чухи; кругомъ она  
 Вся галуномъ обложена.  
 Цвѣтными вышито шелками  
 Его сѣдло; узда съ кистями <sup>3)</sup>;  
 Подъ нимъ весь въ мылѣ конь лихой <sup>4)</sup>,

1) Ср.: „Скачетъ веселъ и игривъ,  
 Хвостъ по вѣтру распустивъ“. (II, 207).

2) Ср. объ Измаилѣ-Беѣ: „И перетянуть онъ ремнемъ“. (II, 26). О Кирибѣвичѣ: „Кушачкомъ подтянуса шелковымъ“. (II, 217).

3) Ср.: „Вотъ показалась рука изъ воды,  
 Ловить за кисти шелковой узды“. (II, 346).

4) Ср.—о томъ же конѣ: „Скакунъ *лихой*, ты господина  
 Изъ боя вынесъ какъ стрѣла"...  
 „Не сядетъ на коня *лихова*“. (II, 359).

Ср. еще: „Садится на коня *лихова*“. (II, 32).

„Какъ я сяду-поѣду на *лихомъ* конѣ“. (II, 217). См. еще —  
 I, 97; IV, 164 и др.

Безцѣнной масти золотой —  
Питомецъ рѣзвый Карабаха —  
Прядеть ушми <sup>1)</sup> и, полный страха,  
Храпя, несется съ крутизны <sup>2)</sup>  
На пѣну скачущей волны. (II, 356, 357).

Эта картина, красочная и мирная, смѣняется картиной, изображающей дикую стремительность и ужасъ; князь убитъ, конь на брачный пиръ мчитъ охладѣвающее тѣло:

Несется конь быстрѣ лани,  
Храпитъ и рвется будто къ брани;  
То вдругъ осадить на скаку,  
Прислушается къ вѣтерку,  
Широко ноздри раздувая,  
То, разомъ въ землю ударяя  
Шипами звонкими копытъ,  
Взмахнувъ растрепанною гривой,  
Впередъ безъ памяти летить.  
На немъ есть всадникъ молчаливой:  
Онъ бьется на сѣдлѣ порой,  
Припавъ на гриву головой;  
Ужъ онъ не править поводами,  
Задвинувъ ноги въ стремяна,  
И кровь широкими струями  
На чепракѣ его видна... (II, 358, 359).

Вотъ гарцующій бедуинъ:

И, станъ худощавый къ лукѣ наклона,  
Арабъ горячилъ вороного коня.  
И конь на дыбы подымался порой  
И прыгаль, какъ барсъ, пораженный стрѣлой;  
И бѣлой одежды красивыя складки  
По плечамъ фариса вились въ беспорядкѣ;

---

1) Ср.: „Фыркаетъ конь и ушами прядеть“. (II, 346).

2) Вариантъ: „Храпя, косится съ крутизны“. (II, 489).

И съ крикомъ и свистомъ несясь по песку,  
Бросаль и ловиль онъ копье на-скаку. (II, 258) <sup>1)</sup>.

Вотъ смѣлые казаки и горцы, джигитующіе передъ боемъ:

Разсыпались въ широкомъ полѣ,  
Какъ пчелы, съ гикомъ козаки...  
...А вотъ въ чалмѣ одинъ мюридь  
Въ черкескѣ красной ѣздитъ важно,  
Конь свѣтло-сѣрый весь кипить;  
Онъ машеть, кличетъ... Гдѣ отважный?  
Кто выйдетъ съ нимъ на смертный бой?...  
Сейчасъ... Смотрите: въ шапкѣ черной  
Козакъ пустился гребенской... (II, 301).

Вотъ сказочный витязь купаетъ коня:

Въ морѣ царевичъ купаетъ коня...  
\* \* \* \* \*  
Фыркаетъ конь и ушами прядетъ,  
Брызгаетъ, и плещетъ, и далѣ плыветъ. (II, 346).

Вотъ конь Орши:

Стремянный молодой,  
За гриву правою рукой  
Держа боярскаго коня,  
Стоить; по временамъ, звеня,  
Стремена бьются о бока;  
Истертъ ногами сѣдока,  
Въ пыли малиновый чепракъ;  
Весь въ мылѣ, сѣрый аргамакъ  
Мотаеть гривую густой,  
Бьетъ землю жилистой ногой,

---

<sup>1)</sup> Первоначальный эскизъ встрѣчаемъ въ „Корсарѣ“:

„Мы часто на берегъ сходили  
И часто по степямъ бродили,  
Гдѣ конь арабскій вороной  
Игралъ скачками подо мной,  
Летая въ далѣ степи широкой“. (I, 36).

Грызеть съ досады удила;  
И пѣна легкая—бѣла,  
Чиста, какъ первый снѣгъ въ поляхъ—  
Съ желѣза падаетъ на прахъ. (II, 117).

Вотъ нетерпѣливый Арсеній, не давъ отдохнуть коню послѣ боя, мчится къ невѣстѣ:

Измучилъ непривычный бѣгъ  
Его коня,—въ глубокой снѣгъ  
Онъ вязнетъ часто... трудень путь!  
Какъ печь, его дымится грудь;  
Отъ нетерпѣнья сѣдока  
Въ крови и пѣнѣ всѣ бока. (II, 134, 135).

Изумительно это разнообразіе сюжетовъ, эта изысканность и скульптурность образовъ.

Бѣшеная ѣзда на конѣ—одинъ изъ любимѣйшихъ мотивовъ поэта (см. еще I, 343, 344; II, 72, 98; III, 166, 167; IV, 180, 181, 264, 265, и др.). Человѣкъ въ ней ищетъ забвенія. Селимъ говоритъ:

Я проклялъ небо... Осѣдлалъ коня,  
Пустился въ степь. Безъ цѣли мы блуждали,  
Не различалъ ни ночи я, ни дня...  
*Но всльдѣ за мной мечты мои скакали!* (I, 340).

Измайлъ-Бей, въ первый разъ убивъ человѣка, былъ необычайно взволнованъ:

Волною поднялася грудь,  
Хотѣлъ онъ и не могъ вздохнуть,  
Холодный потъ съ чела крутова  
Катился, но изъ усть—ни слова!  
И вдругъ очнулся онъ, вздрогнулъ,  
Къ лукъ прижалъ, коня толкнулъ;  
Одно мгновенье на курганѣ  
Онъ черной птицею мелькнулъ,  
И скоро скрылся весь въ туманѣ.

Чрезъ камни конь его несетъ,  
Онъ не глядитъ и не боится;  
*Такъ быстро скачетъ только тотъ,  
За кѣмъ раскаяніе мчится!..* (II, 28, 29).

Печоринъ говоритъ: «Я люблю скакать на горячей лошади по высокой травѣ, противъ пустынного вѣтра... *Какая-бы горестъ ни лежала на сердцѣ, какое-бы безпокойство ни томило мысль,—все въ минуту разсѣется, на душѣ станетъ легко, усталость тѣла побѣдитъ тревогу ума.* (IV, 220).

Заключенный просить:

Отворите мнѣ темницу,  
Дайте мнѣ сіянье дня,  
Черноглазую дѣвицу,  
Черногриваго коня!  
Дайте разъ по синю полю  
Проскакать на томъ конѣ;  
Дайте разъ на жизнь и волю,  
Какъ на чуждую мнѣ долю,  
Посмотрѣть поближе мнѣ. (II, 11, 12) <sup>1)</sup>.

Поэтъ самъ хорошо знаетъ, какое наслажденіе—дико мчаться на конѣ:

Я мчался на лихомъ конѣ  
Въ пространствѣ голубыхъ долинъ,  
Какъ вѣтеръ, волень и одинъ.  
Туманный мѣсяцъ и меня,  
И гриву, и хребетъ коня  
Сребристымъ блескомъ осыпаль.  
Я чувствовалъ, какъ конь дышаль,  
Какъ онъ, ударивши ногой,  
Отбрасываемъ былъ землей.  
И я въ чудесномъ забытѣи  
Движенья сковываль свои,  
И съ нимъ себя желаль я слить,  
Чтобъ этимъ бѣгъ нашъ ускорить.  
И долго такъ мой конь летѣлъ... (I, 97).

<sup>1)</sup> Ср. „Узникъ“. (II, 207).

Печоринъ описываетъ смерть Черкеса, своего коня: «Я, какъ безумный, выскочилъ на крыльцо, прыгнулъ на своего Черкеса, котораго водили по двору, и пустился во весь духъ по дорогѣ въ Пятигорскъ. Я беспощадно погонялъ измученнаго коня, который, храпя и весь въ пѣнѣ, мчалъ меня по каменистой дорогѣ.

Солнце уже спряталось въ черной тучѣ, отдыхавшей на хребтѣ западныхъ горъ; въ ущельѣ стало темно и сыро. Подкумокъ, пробираясь по камнямъ, ревѣлъ глухо и однообразно. Я скакалъ, задыхаясь отъ нетерпѣнья... И вотъ я сталъ замѣчать, что конь мой тяжело дышитъ; онъ раза два ужъ споткнулся на ровномъ мѣстѣ... Оставалось пять верстъ до Есентуковъ — казачьей станицы, гдѣ я могъ пересѣсть на другую лошадь.

Все было бы спасено, если-бъ у моего коня достало силъ еще на десять минутъ. Но вдругъ, поднимаясь изъ небольшого оврага, при выѣздѣ изъ горъ, на крутомъ поворотѣ, онъ грянулся о землю. Я проворно соскочилъ, хочу поднять его, дергая за поводъ — напрасно: едва слышный стонъ вырвался сквозь стиснутые его зубы; чрезъ нѣсколько минутъ онъ издохъ». (IV, 264, 265). Вскорѣ на курьерской тройкѣ мчался онъ изъ Кисловодска. «За нѣсколько верстъ отъ Есентуковъ, я узналъ близъ дороги трупъ моего лихого коня; сѣдло было снято — вѣроятно, проѣзжимъ козакомъ, — и, вмѣсто сѣдла, на спинѣ его сидѣли два ворона. Я вздохнулъ и отвернулся...» (IV, 268). Печоринъ — большой любитель лошадей и верховой ѣзды; онъ держалъ четырехъ лошадей: одну для себя и трехъ для пріятелей; онъ долго изучалъ горскую посадку, и ничѣмъ такъ нельзя было польстить его самолюбію, какъ похваливъ его искусство въ ѣздѣ по-туземному (IV, 221). Онъ и лошадь имѣлъ черкесскую (IV, 116), отчего и называлъ ее Черкесомъ.

Иногда человѣкъ предается быстрой скачкѣ потому, что онъ безумно счастливъ, и стремительность конскаго бѣга гармонируетъ съ радостно-возбужденнымъ душевнымъ настроеніемъ; напимѣръ:

Я знаю, чѣмъ утѣшенный,  
 По звонкой мостовой  
 Вчера скакаль, какъ бѣшенный,  
 Татаринъ молодой.  
 Недаромъ онъ красуется  
 Передъ твоимъ окномъ,  
 И твой отецъ любитъся  
 Персидскимъ жеребцомъ! (II, 344).

Художественныя работы Лермонтова, исполненныя карандашомъ, перомъ и красками, тоже свидѣтельствуютъ о его любви къ лошадямъ; онѣ изобилуютъ изображеніями красивыхъ, горячихъ скакуновъ (см., напримѣръ, воспроизведенія картинъ и рисунковъ поэта — I, 16—17; II, 72—73; IV, 1, 136—137; V, 224—225).

И Толстой любилъ лошадей; верховая ѣзда доставляла ему всегда большое удовольствіе. Художественно и очень тепло написанъ имъ рассказъ «Холстомѣръ»; это грустная исторія лошади, когда-то бывшей молодой и красивой, а потомъ искалѣченной человѣкомъ. Николай Ростовъ «отличный ѣздокъ». (IV, 234). Онъ любитъ и ѣзду на тройкѣ (V, 226, 227). Балага, «извѣстный троечный ящикъ», «любилъ эту безумную ѣзду, по восемнадцати верстѣ въ часъ, любилъ перекувырнуть извозчика и раздавить пѣшехода по Москвѣ, и во весь скокъ пролетѣть по московскимъ улицамъ». (V, 283). Въ романѣ «Анна Каренина» дана великолѣпная картина скачекъ; душевныя переживанія Вронскаго, желающаго всѣхъ соперниковъ превзойти въ быстротѣ и ловкости, любопытство, тревоги и опасенія зрителей, — все изображено съ рѣдкимъ мастерствомъ. Вниманіе читателя сосредоточено на Вронскомъ, страстномъ любителѣ лошадей. Герой Толстого, несмотря на осложнившіяся отношенія съ Анной, былъ сильно увлеченъ скачками. «Двѣ страсти эти не мѣшали одна другой. Напротивъ, ему нужно было занятіе и увлеченіе, независимое отъ его любви, на которомъ онъ освѣжался и отдыхалъ отъ слишкомъ волновавшихъ его впечатлѣній». (VIII, 150).

Это нѣсколько напоминаетъ лермонтовскихъ героевъ, для

которыхъ конь могъ быть дороже женской любви<sup>1)</sup>. Передъ началомъ скачекъ «волненіе лошади сообщилось и Вронскому; онъ чувствовалъ, что кровь прилиwała ему къ сердцу, и что ему, такъ же какъ и лошади, хочется двигаться, кусаться; было и страшно и весело». (VIII, 157). О тѣхъ же ощущеніяхъ, переживаемыхъ скачущимъ, Толстой говоритъ и въ «Хаджи-Муратъ»: «Небо было такъ ясно, воздухъ такъ свѣжъ, силы жизни такъ радостно играли въ душѣ Назарова, когда онъ, *слившись въ одно существо съ доброю, сильною лошадыю, летѣлъ по ровной дорогѣ* за Хаджи-Муратомъ...» (XII, 85). Толстой будто повторяетъ слова Лермонтова:

И я въ чудесномъ забытїи  
 Движенья сковывалъ свои,  
 И съ нимъ себя желалъ я слить,  
 Чтобъ этимъ бѣгъ нашъ ускорить.  
 И долго такъ мой конь *летѣлъ*... (I, 97).

Какъ Печоринъ, Вронскій находитъ въ быстрой ѣздѣ забвеніе; передъ скачками онъ ѣздилъ на тройкѣ, и «эта быстрая ѣзда успокоила его. Все тяжелое, что было въ его отношеніяхъ къ Аннѣ, вся неопредѣленность, оставшаяся послѣ ихъ разговора, все выскочило изъ его головы». (VIII, 164). Во время скачки Вронскій и его лошадь, стремящіяся къ одной и той же цѣли, охваченные однимъ желаніемъ — обогнать противниковъ, — и думаютъ, и поступаютъ одинаково, какъ бы представляя одно существо:

«Въ то самое мгновеніе, какъ Вронскій подумалъ о томъ, что надо теперь обходить Махотина, сама Фру-Фру, понявъ уже то, что онъ подумалъ, безъ всякаго поощренія значительно надала и стала приближаться къ Махотину съ самой выгодной стороны, со стороны веревки. Махотинъ

1) Ср. въ разсказѣ Тургенева „Конецъ Чертопханова“: „Главнымъ дѣломъ, главной заботой, радостью въ жизни Чертопханова—сталъ Малекъ-Адель. Онъ полюбилъ его такъ, какъ не любилъ самой Маши, привязался къ нему больше, чѣмъ къ Недоплюскину.—Да и конь же былъ!“ (Тургеневъ, I, 340, 341).

не давалъ веревки. Вронскій только подумалъ о томъ, что можно обойти и извнѣ, какъ Фру-Фру перемѣнила ногу и стала обходить именно такимъ образомъ». (VIII, 170). Вронскій, какъ и Печоринъ, является причиной гибели любимой лошади; она упала и сломала спину; бѣдное животное пристрѣлили. Это было первымъ тяжелымъ несчастіемъ въ жизни Вронскаго. «Воспоминаніе объ этой скачкѣ надолго осталось въ его душѣ самымъ тяжелымъ и мучительнымъ воспоминаніемъ въ его жизни». (VIII, 172). Печоринъ не реагируетъ такъ сильно на смерть Черкеса, но все же увидавъ его трупъ, ставшій добычей вороновъ, «вздохнулъ и отвернулся...» (Л., IV, 268).

Князь Степанъ Касатскій, во время пребыванія въ корпусѣ, былъ первымъ по верховой ѣздѣ. (XII, 91).

Тургеневъ въ прекрасномъ разсказѣ «Конецъ Чертопханова» передаетъ трогательную, печальную исторію привязанности къ лошади одинокаго человѣка; въ разсказѣ видно вліяніе Лермонтова. Мы присоединяемся къ мнѣнію Анненскаго, обронившаго замѣчаніе, что ни Малекъ-Адель Тургенева, ни скакуны Толстого не превзошли лермонтовскихъ скакуновъ. (Анненскій. «Объ эстетическомъ отношеніи Лермонтова къ природѣ». Рус. Шк., 1891 г., XII, 77).

## Глава XVII.

### Герои Лермонтова и Толстого (продолженіе). Карты.

Лермонтовъ, такъ часто писавшій объ азартной игрѣ въ карты, за карты брался рѣдко. Висковатый, описывая жизнь поэта въ Новгородѣ, говоритъ: «Картежная азартная игра, распространенная между товарищами по полку, ему быстро надоѣдаетъ, да къ тому же онъ раза два проигралъ значительныя суммы». (Висковатый, 295). Мартыновъ подтверждаетъ, что сердце поэта не лежало къ картамъ. (Мартыновъ. «Новыя свѣдѣнія о М. Ю. Л.» — «Истор. Вѣстникъ», 1892 г., XI, 384).

Въ «Маскарадѣ» Лермонтовъ превосходно изображаетъ міръ профессиональных игроковъ. «Мрачныя и грязныя стороны жизни, съ которыми авторъ недавно столкнулся, этотъ міръ игроковъ и кутиль, нашель яркое отраженіе въ его новомъ литературномъ произведеніи. «Маскарадъ», во всѣхъ своихъ *второстепенныхъ*<sup>1)</sup> герояхъ, произведеніе дѣйствительно «реальное», безъ всякаго преувеличенія списанное съ натуры». (Котляревскій. «М. Ю. Л.», 158). Какъ показываетъ поэтъ, игорная страсть губить человѣка, заглушая и убивая въ душѣ лучшія чувства. Одинъ изъ игроковъ, вспоминая печальное прошлое, говоритъ:

И я покинулъ все съ того мгновенья,  
Все—женщинъ и любовь, блаженство юныхъ лѣтъ,  
Мечтанья нѣжныя и сладкія волненья;  
И въ свѣтъ мнѣ открылся новый свѣтъ,

<sup>1)</sup> Курсивъ автора.

Міръ новыхъ, странныхъ ощущеній,  
Міръ обществомъ отверженныхъ людей,  
Самолюбивыхъ душъ и ледяныхъ страстей  
И увлекательныхъ мученій.  
Я увидалъ, что деньги — царь земли,  
И поклонился имъ... Года прошли,  
Все скоро унеслось: богатство и здоровье;  
Навѣки предо мной закрылась счастья дверь...  
Я заключилъ съ судьбой послѣднее условье  
И вотъ сталъ тѣмъ, что я теперь... (III, 281).

Понятія о нравственности, о добрѣ и злѣ — здѣсь иныя;  
Казаринъ, опытный игрокъ, говорить:

А эта молодежь  
Мнѣ просто—ножь!  
Толкуй имъ, какъ угодно,  
Не знаютъ ни завести, ни въ пору перестать,  
*Ни кстати честность показать,*  
*Ни передернуть благородно.*  
Взляните-ка, изъ стариковъ  
Какъ многіе игрой достигли до чиновъ,  
*Изъ грязи*  
*Вошли со знатью въ связи;*  
А все вѣдь отчего?—умѣли сохранять  
Приличіе во всемъ, блюсти свои законы,  
Держались правилъ, глядь:  
*При нихъ и честь и миллионы!..* (III, 242).

Онъ же:

Что ни толкуй Вольтеръ или Декартъ,  
Міръ для меня — колода картъ,  
Жизнь — банкъ: рокъ мечеть, я играю  
И правила игры я къ людямъ примѣняю. (III, 246).

Онъ суевѣренъ (III, 247). Онъ даетъ совѣтъ другу:  
если пріятель

тебя отъ пьянства удержалъ,  
То напои его сейчасъ безъ замедленья  
И въ карты обыграй въ обмѣнъ за наставленье;

А отъ игры онъ спась, такъ ты ступай на балъ,  
Влюбись въ его жену... иль можешь не влюбиться,  
Но обольсти ее, чтобъ съ мужемъ расплатиться.  
Въ обоихъ случаяхъ *ты будешь правъ*, дружокъ. (III, 247.)

Что же такъ манить людей въ эту бездну? Что даютъ карты взамѣнъ истинной дружбы, любви, книгъ, высшихъ интересовъ? Что получаетъ человѣкъ взамѣнъ пожертвованныхъ лѣтъ юности, душевнаго мира, семейнаго счастья, здоровья? Вотъ, какъ протекаетъ жизнь игрока:

Утромъ отдыхъ, нѣга,  
Воспоминанія пріятнаго ночлега...  
Потомъ обѣдъ, вино, Рауля честь,  
Въ граненыхъ кубкахъ пѣнится и блещетъ;  
Бесѣда шумная, остротъ не перечестъ;  
Потомъ въ театрѣ... душа трепещетъ  
При мысли, какъ съ тобой вдвоемъ изъ-за кулисъ  
Выманывали мы танцовщицъ и актрисъ...  
Не правда-ли, что древле  
Все было лучше и дешевле?  
Вотъ пьеса кончилась, и мы летимъ стрѣлой  
Къ пріятелю... Взосли... игра ужъ въ самой силѣ;  
На картахъ золото насыпано горой;  
Тотъ весь горитъ, другой  
Блѣднѣе, чѣмъ мертвецъ въ могилѣ.  
Садимся мы — и загорѣлся бой!..  
Туть, туть сквозь душу переходитъ  
Страстей и ощущеній тьма,  
И часто мысль гигантская заводитъ  
Пружину пылкаго ума...  
И если побѣдишь противника умнѣемъ,  
Судьбу заставишь пасть къ ногамъ твоимъ съ смиренѣемъ,  
Тогда и самъ Наполеонъ  
Тебѣ покажется и жалокъ и смѣшонъ. (III, 248, 249).

Неопытнымъ игрокамъ, проигравшимъ большія деньги, приходится испытывать горькія, мучительныя переживанія.

Арбенинъ дастъ такой совѣтъ Звѣздичу, впавшему въ отчаянье отъ крупнаго проигрыша:

Два средства только есть:  
Дать клятву за игру во - вѣки не садиться,  
Или опять сейчасъ же сѣсть.  
Но, чтобы здѣсь выигрывать рѣшиться,  
Вамъ надо кинуть все: родныхъ, друзей и честь;  
Вамъ надо испытать, ощупать безпристрастно  
Свои способности и душу; по частямъ  
Ихъ разобрать; привыкнуть ясно  
Читать на лицахъ, чуть знакомыхъ вамъ,  
Всѣ побужденья, мысли; годы  
Употребить на упражненье рукъ;  
Все презирать: законъ людей, законъ природы;  
День думать, ночь играть, отъ мукъ не знать свободы,  
И чтобъ никто не понялъ вашихъ мукъ!  
Не трепетать, когда близъ васъ искусствомъ равный;  
Удачи каждый мигъ постыдный ждать конецъ  
И не краснѣть, когда вамъ скажутъ явно:  
„Подлецъ!“ (III, 213).

Человѣкъ, прошедшій такую школу, неумолимо жестокъ по отношенію къ слабому противнику; князю Звѣздичу пришлось столкнуться на одной дорогѣ съ тѣмъ же Арбенинымъ; оскорбленный имъ, онъ восклицаетъ:

О! гдѣ ты, честь моя?... Отдайте это слово,  
Отдайте мнѣ его,—и я у вашихъ ногъ...  
Да въ васъ нѣтъ ничего святого,  
Вы человѣкъ иль демонъ?

Арбенинъ отвѣчаетъ:

„Я? — игрокъ“. (III, 262).

Заброшенные на далекую, глухую окраину, военные отъ смертельной скуки берутся за карты. Печоринъ рассказываетъ: «Офицеры собирались другъ у друга поочередно, по вечерамъ играли въ карты». (IV, 269). У Вулича «была

только одна страсть, которой онъ не таилъ -- страсть къ игрѣ. За зеленымъ столомъ онъ забывалъ все и обыкновенно проигрывалъ; но постоянныя неудачи только раздражали его упрямство». (IV, 269, 270). Провинціальный чиновникъ проигрываетъ въ карты заѣзжему гусару все имущество и даже — жену. («Казначейша»). Висковатый полагаетъ, что въ основу поэмы «Казначейша» взято дѣйствительное происшествіе, о которомъ поэтъ слышалъ во время пребыванія въ Тамбовѣ или самъ былъ свидѣтелемъ описаннаго эпизода. (Висковатый, 229). Владиміровъ же указываетъ, что поэма написана подъ вліяніемъ повѣсти Шидловскаго «Пригожая Казначейша». (Владиміровъ. «Историч. и народно-бытовые сюжеты въ поэзи М. Ю. Л.», 9).

Въ одной изъ начатыхъ повѣстей Лермонтовъ остановился на трудной задачѣ: онъ намѣренъ былъ прослѣдить душевныя переживанія игрока съ организаціей нервной, страдающаго навязчивыми идеями; задача осложнилась введеніемъ въ повѣсть фантастическаго элемента. Герой этого произведенія, Лугинъ, каждую ночь играетъ въ карты съ призракомъ. «Онъ похудѣлъ и пожелтѣлъ ужасно. Цѣлые дни просиживалъ дома, запершись въ кабинетѣ; часто не обѣдалъ. Онъ ожидалъ вечера, какъ любовникъ свиданія...» Ему не везло, — онъ проигрывалъ; онъ чувствовалъ приливы отчаянія и бѣшенства. «Онъ уже продавалъ вещи, чтобъ поддерживать игру; онъ видѣлъ, что недалеко та минута, когда ему нечего будетъ поставить на карту. Надо будетъ на что-нибудь рѣшиться. Онъ рѣшился...» (IV, 296). На этомъ повѣствованіе обрывается.

Обратимся къ Толстому. Онъ въ молодости много и съ увлеченіемъ игралъ въ карты. «Одной изъ главныхъ побудительныхъ причинъ поѣздки на Кавказъ Л. Н. Толстого въ 1851 г. была его неудачная страсть къ игрѣ. Онъ проигрался до такой степени, что для уплаты карточного долга долженъ былъ продать яснополянскій домъ, въ которомъ родился... На Кавказѣ Л. Н. Толстому тоже случалось поддаваться приливамъ игорной страсти, и въ большинствѣ случаевъ неудачно». (П. А. Сергѣенко. «Л. Н.

Т. и его современники».—«Л. Н. Толстой. Біографія, характеристики, воспоминанія». Сборникъ статей. М. 1910 г., 131). По словамъ супруги писателя, онъ въ возрастѣ 22—23 лѣтъ «очень много игралъ въ карты». (См. Левенфельдъ. «Гр. Л. Н. Толстой, его жизнь, произведенія и міросозерцаніе». Перев. Перелыгиной. М. 1904 г., 16). См. еще—Бирюковъ, I, 163, 204, 211.

Сильныя личныя ощущенія, испытанныя за картежной азартной игрой, позволили ему глубоко заглянуть въ душу игрока. Въ «Двухъ гусарахъ» корнетъ Ильинъ проигрываетъ своихъ 3000 и 15000 казенныхъ. Графъ Турбинъ предлагаетъ сыграть за него, но Ильинъ отказывается, хотя уже не видитъ выхода изъ этого положенія. Турбину жаль Ильина; онъ знаетъ, что партнеры корнета играли не чисто. Онъ идетъ къ Лухнову, обыгравшему Ильина, и предлагаетъ сыграть въ карты; тотъ не хочетъ; Турбинъ отнимаетъ у него всѣ выигранныя деньги и, не считая (денегъ оказалось больше, чѣмъ проигралъ корнетъ), отдаетъ ихъ пріятелю. Это напоминаетъ эпизодъ изъ «Маскарада» Лермонтова: князь Звѣздичъ, офицеръ, неопытный игрокъ, проигрываетъ огромную сумму, превышающую его средства, и не знаетъ, какъ спасти честь. Арбенинъ, насквозь видѣвшій всѣ плутни его партнеровъ, принимаетъ въ немъ участіе, садится играть и выигрываетъ князю пропавшія было деньги.

Карты—великое зло. Человѣкъ—рабъ азартной игры; она лишаетъ его силы воли, заставляетъ рискнуть послѣднимъ, толкаетъ на преступленіе. Бутлеръ «не могъ нарадоваться на свое рѣшеніе выйти изъ гвардіи и уйти на Кавказъ. Главная причина его перехода изъ гвардіи была та, что онъ проигрался въ карты въ Петербургѣ, такъ что у него ничего не осталось. Онъ боялся, что не будетъ въ силахъ удержаться отъ игры, оставаясь въ гвардіи, а проигрывать уже нечего было». (XII, 59). Но не легко навсегда отказаться отъ этой игры тому, кому уже приходилось испытать доставляемое ею мучительно-острое удовольствіе; Бутлеръ и на Кавказѣ (какъ Толстой) не ушелъ отъ себя,

и однажды, попавъ въ кружокъ игроковъ, «несмотря на данное себѣ и братьямъ слово не играть, сталъ понтировать». (XII, 74). Онъ остался въ большомъ проигрышѣ. Мирное теченіе жизни его нарушено этимъ; онъ жалокъ: раскаивается въ душѣ, конфузится и замѣчаетъ, что всѣ изъ состраданія избѣгаютъ его взгляда. Поразительна въ Толстомъ эта живучесть воспоминаній; уже будучи старикомъ, онъ не только возобновляетъ въ памяти давно пережитое, но можетъ и художественно воспроизвести его... Еще болѣе жалкимъ и ничтожнымъ изображаетъ великій писатель другую жертву картежной игры—чиновника, «нечаянно» проигравшаго не только свои, но и казенныя деньги. Вернувшись домой послѣ проигрыша, выслушивая упрёки жены, онъ сознаетъ безчестность своего поступка и лепечетъ безсвязныя оправданія. Жена, человекъ болѣе энергичный и находчивый, научаетъ его поѣхать къ директору банка и рассказать вымышленную исторію объ ограбленіи. («Нечаянно»). Для другого чиновника, Ивана Ильича, «настоящія радости» были только «радыи игры въ винтъ». (X, 20)<sup>1)</sup>; Иваны Ильичи не вызываютъ къ себѣ нашу симпатію, но дѣйствительно грустное и жалкое зрѣлище представляютъ за зеленымъ столомъ люди честные, временами безвольно поддающіеся власти демона картежной игры.

Вотъ Володя Козельцовъ; онъ не смогъ заплатить своего проигрыша штабсъ-капитану, съ которымъ игралъ въ до-рогѣ, и обратился за помощью къ брату. Тотъ уплатилъ за него (проигрышъ былъ небольшой), но сдѣлалъ справедливый упрёкъ, «что этакъ нельзя, когда денегъ нѣтъ, еще въ преферансъ играть». Володя едва удержался отъ слезъ, сгорая отъ стыда и обиды. (II, 193, 194). Однако и старшій Козельцовъ не въ силахъ иногда устоять противъ желанія поиграть въ карты. Попавъ въ кружокъ товарищей, коротающихъ время за картами, какъ не присоединиться, не выпить «для храбрости» чего-нибудь хмельного?

<sup>1)</sup> Судебный слѣдователь Махинъ—„нечестный человекъ въ долгахъ, соблазнитель женщинъ, *картежникъ*“. (XII, 204).

И за ночь Козельцовъ проигрываетъ все, даже тѣ завѣтныя деньги, что хранились про черный день. (II, 210, 211, 224). Люди въ родѣ Козельцовыхъ много не проигрываютъ и долги свои скоро уплачиваютъ. Бѣда, если неопытный игрокъ ведетъ большую игру съ завзятымъ, хищнымъ игрокомъ; у человѣка, начинающаго выигрывать или проигрывать, не хватаетъ, обыкновенно, мужества во время оборвать игру. Жадность къ деньгамъ или уязвленное самолюбіе побуждаютъ его часами сидѣть за столомъ, втайнѣ глубоко страдая. Въ такую атмосферу попалъ Николай Ростовъ—и въ одну ночь проигралъ Долохову 43000,—сумму большую, особенно для небогатыхъ Ростовыхъ. Отецъ съ трудомъ досталъ деньги для уплаты долга чести, Николай внутренне ужасно терзался, и его семья долго не могла оправиться отъ этого неожиданнаго, крупнаго расхода.

О пагубной страсти къ игрѣ писали: Пушкинъ, Гоголь, Чеховъ и др.; замѣтимъ, кстати, что начатая повѣсть Лермонтова (про Лугина) нѣсколько напоминаетъ повѣсть Пушкина «Пиковая дама»: обоихъ героевъ азартная игра доводитъ до сумасшествія.

---

## Глава XVIII.

### Герои Лермонтова и Толстого (продолженіе). Студенты.

Во время пребыванія своего въ университетѣ Лермонтовъ не сошелся близко съ коллегами; лучшую часть русскаго студенчества онъ мало зналъ, и не удивительно, что такъ мрачно смотрѣлъ на будущность своего поколѣнія, что, изображая студенческую жизнь, онъ бралъ почти одиѣ отрицательныя стороны. Будучи студентомъ, вращался онъ въ средѣ золотой молодежи, а если и примыкалъ иногда къ товарищамъ, то лишь для участія въ какой-нибудь шалости. Но самъ онъ въ эту пору много писалъ, обнаруживая и отзывчивость на событія политической жизни Россіи и Запада, и неустанное стремленіе къ разрѣшенію вѣчныхъ проблемъ добра и зла. Лермонтовъ усердно занимался университетскими предметами и на экзаменахъ выказывалъ большую начитанность, удивлявшую даже профессоровъ. Замкнувшись въ себѣ, онъ стоялъ въ сторонѣ отъ кружковъ Бѣлинскаго, Герцена и Станкевича; сталкиваясь со студентами во время университетскихъ «исторій» или въ свѣтскихъ гостиныхъ, поэтъ не уловилъ многихъ характерныхъ чертъ современнаго ему русскаго студенчества. Что, напримѣръ, дѣлають студенты въ храмѣ науки?

Пришли, шумять... Профессоръ длинный  
Напрасно входитъ, кланяется чинно,—  
Шумять... Онъ книгу взялъ, раскрылъ,—шумять;  
Уходитъ,—второе хуже. Сущій адъ!... (II, 182).

О чемъ говорятъ студенты?

О Богѣ, о вселенной и о томъ,

Какъ пить—ромъ съ чаемъ или голый ромъ. (II, 181).

На пирушкахъ неизбѣжны обильныя возліянія Вакху. Въ комнатѣ студента Рябинова «бутылки шампанскаго<sup>1)</sup> на столѣ, и довольно много беспорядка». (III, 163). Молодежь пришла сюда «на похороны добраго смысла и стыда» (III, 165), и не одинъ проведетъ ночь «въ грязной лужѣ, Вакхомъ упоенный». (II, 182). Поэтъ, однако, не всѣхъ студентовъ рисуетъ въ такомъ свѣтѣ; напр., нѣкоторые подъ шумъ нецензурныхъ тостовъ и беспорядочныхъ, пьяныхъ споровъ, говорятъ о Мочаловѣ въ «Разбойникахъ» или читаютъ стихи (III, 164—168); кто прожигаетъ жизнь, кто проводитъ ночь «съ лампадой средь трудовъ» (II, 182). Лермонтовъ, главнымъ образомъ, касается жизни студентовъ-аристократовъ, представителемъ которыхъ является Печоринъ.

«Пріятели Печорина, которыхъ число было, впрочемъ, не очень велико, были все молодые люди, которые встрѣчались съ нимъ въ обществѣ, ибо и въ то время студенты были почти единственными кавалерами московскихъ красавицъ, вздыхавшихъ неволью по эполетамъ и аксельбантамъ, не догадываясь, что въ нашъ вѣкъ эти блестящія вывѣски утратили свое прежнее значеніе.

Печоринъ съ товарищами являлся также на всѣхъ гуляньяхъ. Держась подъ руки, они прохаживались между вереницами каретъ, къ великому соблазну квартальныхъ. Встрѣтивъ одного изъ этихъ молодыхъ людей, можно было, закрывши глаза, держать пари, что сейчасъ явятся и остальные. Въ Москвѣ, гдѣ прозванія еще въ модѣ, прозвали ихъ *la bande joyeuse*<sup>2)</sup>». (IV, 123, 124). Это люди *comme il faut*, къ которымъ принадлежалъ (вѣрнѣе, желалъ при-

1) Значитъ, это пирушка студентовъ-аристократовъ.

2) Ср.—въ письмѣ къ С. А. Бахметевой: „Членъ вашей *bande joyeuse* М. Лерма“. (IV, 308).

надлежать) и Николай Иртеневъ, блестящая характеристика которыхъ дана Толстымъ въ повѣсти «Юность». Привыкшіе заботиться только о своей внѣшности, о безупречности французскаго выговора, о сохраненіи выраженія на лицѣ «нѣкоторой изящной, презрительной скуки» (Т. I, 209), они отрѣзаны отъ міра высшихъ интересовъ; они не живутъ, а играютъ на сценѣ свѣта, не могутъ держать себя просто даже на товарищеской пирушкѣ. Иртеневъ, съ присущей ему искренностью, рассказываетъ, что онъ переживалъ, попавъ на студенческій «кутежъ». «Я выпилъ уже цѣлый стаканъ жжонки, мнѣ налили другой; въ вискахъ у меня стучало, огонь казался багровымъ, кругомъ меня все кричало и смѣялось, но все-таки не только не казалось весело, но я даже былъ увѣренъ, что и мнѣ, и всемъ было скучно и что я и все только почему-то считали необходимымъ притворяться, что имъ очень весело». (Т., I, 230). Не по себѣ имъ и въ обществѣ товарищей, пьющихъ водку, курящихъ махорку, но успѣшно занимающихся. («Юность», гл. XLIII).

Однако, быть *comme il faut* и успѣшно заниматься науками—невозможно. Иртеневъ рассказываетъ: «Мнѣ было часто весело въ университетѣ. Я любилъ этотъ шумъ, говоръ, хохотню по аудиторіямъ... любилъ участвовать въ продѣлкѣ, когда курсъ на курсъ съ хохотомъ толпился въ коридорѣ. Все это было очень весело». (Т., I, 240). Это чрезвычайно близко къ стихамъ Лермонтова, воспоминающаго ребячество студентовъ:

Пришли, шумять... Профессоръ длинный  
 Напрасно входитъ, кланяется чинно,—  
 Шумять... Онъ книгу взялъ, раскрылъ,—шумять;  
 Уходитъ,—второе хуже. Сушій адъ!...  
 По сердцу Сашкѣ жизнь была такая,  
 И этотъ адъ считалъ онъ лучше райа. (II, 182).

Печоринъ въ теченіе года почти не посѣщалъ лекцій и намѣревался, пожертвовавъ наукѣ нѣсколько ночей, «однимъ прыжкомъ догнать товарищей». (IV, 124). Увлечен-

ный Вѣрочкой Р., онъ совсѣмъ не готовился къ экзаменамъ, обманывалъ мать, говоря, что экзамены отложены; дѣло кончилось тѣмъ, что онъ бросилъ университетъ и поступилъ въ гусарскій полкъ. (IV, 124—126).

Что случилось съ Иртеньевымъ?... Онъ иногда задумывался надъ тѣмъ, какъ будетъ держать экзамены, сравнивалъ себя съ товарищами и приходилъ къ слѣдующему утѣшительному выводу: «Они же будутъ держать, а большая часть ихъ еще не *comme il faut*, стало-быть, у меня еще лишнее передъ ними преимущество и я долженъ выдержать». (Т., I, 240). Онъ присталъ къ одной группѣ, начавшей подготавливаться къ экзаменамъ, но толку у него не вышло, такъ какъ онъ слишкомъ отсталъ и лѣнился. На первомъ же экзаменѣ онъ провалился и сталъ проситься у отца пойти въ гусары или уѣхать на Кавказъ.

На этомъ повѣсть Толстого заканчивается, и дальнѣйшая жизнь героя неизвѣстна<sup>1)</sup>.

Лермонтовъ съ явнымъ порицаніемъ относится къ Печорину и Сашкѣ. Его симпатіи на сторонѣ Владиміра Арбенина, Заруцкаго и Снѣгина («Странный человѣкъ»); это молодья, чуткія души. Характерна слѣдующая сценка: студенты справляютъ шумную пирушку, а въ сосѣдней комнатѣ Снѣгинъ, которому Заруцкій хочетъ показать стихи Арбенина, говоритъ: *«Пускай они пьютъ и дурачатся, а мы сядемъ тамъ, и ты мнѣ прочтешь»*... (III, 164). Съ московскимъ университетомъ у Лермонтова соединялись и нѣкоторыя свѣтлыя воспоминанія; въ поэмѣ «Сашка» онъ искренно называетъ университетъ *«святѣмъ мѣстомъ»* (II, 181).

Толстой, уже въ послѣдніе годы, оглядываясь назадъ, о студенческой своей жизни сказалъ: «Очень благодаренъ судьбѣ за то, что первую молодость провелъ въ средѣ, гдѣ можно было смолоду быть молодымъ, не затрагивая непосильныхъ вопросовъ и живя хоть и праздною, роскошною, но не злою жизнью». (Бирюковъ, I, 129).

<sup>1)</sup> Въ „Воскресеніи“ мелькомъ упоминается имя Николая Иртеньева — XI, 178, 179, 247; авторъ говоритъ, что Иртеневъ рано умеръ.

## Глава XIX.

### Герои Лермонтова и Толстого (окончаніе). Типы Толстого, родственные Печорину и Грушницкому.

Въ дѣйствующихъ лицахъ раннихъ произведеній Толстого часто мелькають черты лермонтовскихъ героевъ. Напримѣръ, по мнѣнію Николеньки Иртеньева, человѣка *comme il faut*, очень важно выработать въ себѣ «равнодушіе ко всему и постоянное выраженіе нѣкоторой изящной, презрительной скуки». (I, 209). Онъ «старался казаться равнодушнымъ ко всякому необыкновенному случаю, который видѣлъ или про который ему рассказывали; старался казаться злымъ насмѣшникомъ, не имѣющимъ ничего святого, и вмѣстѣ съ тѣмъ тонкимъ наблюдателемъ». (I, 232). Самъ авторъ говоритъ, что на Николеньку оказалъ вліяніе «Демонъ» Лермонтова: Николенька влюбился въ Сонечку въ третій разъ вслѣдствіе того, что читалъ «Демона», переписаннаго ею; «Демонъ» Лермонтова былъ *во многихъ мрачно-любовныхъ мѣстахъ подчеркнутъ красными чернилами* и заложень цвѣточками». (I, 226) <sup>1)</sup>. Вліяніе Лермонтова на Николеньку не подлежитъ сомнѣнію; читая книги, Николенька «находилъ въ себѣ всѣ описываемыя страсти и сходство со всѣми характерами, и съ героями, и съ злодѣями каждаго романа»... (I, 208). Въ романахъ ему нравились «и хитрая мысль, и пылкія чувства, и волшебныя событія»... (I, 208); все это онъ нашель, конечно, и въ поэмѣ Лермонтова.

<sup>1)</sup> О «Демонѣ» см. еще—Т., I, 233.

Дружба Иртеньева съ Нехлюдовымъ вызываетъ въ памяти слова Печорина: «Изъ двухъ друзей всегда одинъ рабъ другого, хотя часто ни одинъ изъ нихъ въ этомъ себѣ не признается». (Л., IV, 211). Иртеньевъ говоритъ: «Карръ сказалъ, что во всякой привязанности есть двѣ стороны: одна любитъ, другая позволяетъ любить себя; одна цѣлуетъ, другая подставляетъ щеку. Это совершенно справедливо; и въ нашей дружбѣ я цѣловалъ, а Дмитрій подставлялъ щеку; но и онъ готовъ былъ цѣловать меня. Мы любили равно, потому что взаимно знали и цѣнили другъ друга; но это не мѣшало ему оказывать вліяніе на меня, а мнѣ подчиняться ему». (Т., I, 136).

Въ «Набѣгѣ» Толстой даетъ типъ одного изъ «удальцовъ-джигитовъ, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову. Эти люди смотрятъ на Кавказъ не иначе, какъ сквозь призму «героевъ нашего времени», Мулла-Нуровъ и т. п., и во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ руководствуются не собственными наклонностями, а примѣромъ этихъ образцовъ». (II, 11).

Печоринъ, съ его беспощаднымъ самоанализомъ, является предшественникомъ тѣхъ людей рефлексіи, которыхъ такъ любили изображать Толстой (Николай Иртеньевъ, Нехлюдовъ, Оленинъ, Андрей Болконскій, Пьеръ Безуховъ и др.) и Достоевскій. Пьеръ Безуховъ и Нехлюдовъ (въ «Воскресеніи») ведутъ, подобно Печорину, дневникъ. «Въ признаніяхъ Печорина», замѣчаетъ Б. Садовской, «звучатъ толстовскія ноты; самая идея «исповѣди» роднитъ Лермонтова съ Толстымъ». (Б. Садовской. «Трагедія Лермонтова». Рус. Мысль. 1912 г., VII, 16). Оленинъ влюбляется въ простую *казачку*; любовь аристократа къ дикаркѣ, какъ извѣстно, привлекала вниманіе Пушкина («Кавказскій плѣнникъ»; «Цыгане») и Лермонтова («Кавказскій плѣнникъ», «Герой нашего времени»); Печоринъ увлекался то Бэлой, то контрабандисткой, то *казачкой Настей, дочерью стараго урядника*.

## Глава XX.

### Отношеніе къ просвѣщенію.

«Не разъ уже», говоритъ Острогорскій, «указывалось на несостоятельность взглядовъ Лермонтова на Европу, Наполеона и просвѣщеніе... Основательнаго, серьезнаго европейскаго просвѣщенія Лермонтову было видѣть негдѣ, а то, что по большей части предлагалось подъ видомъ образованія тогдашними учебными заведеніями, могло въ самомъ дѣлѣ показаться ему «сушащей умъ бесплодною наукой» и «ненужнымъ бременемъ познаній». (В. Острогорскій. «Мотивы Лермонтовской поэзіи». СПБ. 1910 г., 76—77).

Поэту казалось, что Европа уже гибнетъ, измучившись «въ борьбѣ сомнѣній и страстей», обративъ взоръ, со вздохомъ сожалѣнья, «на юность свѣтлую, исполненную силъ», которую она давно забыла «для язвы просвѣщенья, для гордой роскоши». (II, 438). Быть можетъ, поэтъ самъ созналъ рѣзкость или неосновательность такихъ сужденій, такъ какъ *зачеркнулъ* это продолженіе «Умирающаго гладіатора», нарушавшее художественную цѣльность стихотворенія. По мнѣнію поэта, науки не поднимаютъ нравственности, не облагораживаютъ и не освѣжаютъ души, не укрѣпляютъ волю. Въ раннемъ стихотвореніи «Монологъ», являющемся зерномъ «Думы», поэтъ горько говоритъ:

Къ чему *глубокія познанья*, жажда славы,  
Талантъ и пылкая любовь свободы,  
*Когда мы ихъ употребить не можемъ?* (I, 74).

Для самого поэта «жизнь скучна, когда боренья нѣтъ» (I, 259), но люди—ничтожны и безвольны, и горе, если они заражены

Развратомъ, ядомъ просвѣщенья  
Въ Европѣ душной!.. (II, 26).

Поколѣніе такихъ людей «въ бездѣйствіи состарится» и пройдетъ «безъ шума и слѣда». (II, 252—253). «Дума», какъ извѣстно, является предметомъ горячихъ преній<sup>1)</sup>. Мы согласны съ тѣмъ, что поэтъ недостаточно безпристрастенъ и дальновиденъ во взглядахъ на поколѣніе «сороковыхъ годовъ», но едва ли можно отрицать то, что онъ осуждаетъ не все современное ему поколѣніе; на это есть прямое указаніе въ стихотвореніи «Казбеку», написанномъ всего за годъ до «Думы». Въ этомъ стихотвореніи, относящемся ко времени возвращенія поэта изъ первой ссылки, онъ говоритъ:

Что если я со дня изгнанья  
Совсѣмъ на родинѣ забыть?  
Найду-ль тамъ прежнія объятья?  
Старинный встрѣчу-ли привѣтъ?  
Узнаютъ-ли друзья и братья  
Страдальца послѣ многихъ лѣтъ?  
Или среди могилъ холодныхъ  
Я наступлю на прахъ родной  
*Тѣхъ добрыхъ, пылкихъ, благородныхъ,  
Дѣлившихъ молодость со мной?* (II, 213, 214).

Въ «Думѣ» осуждаются Печорины, Грушниціе, Арбенины<sup>2)</sup>, Звѣздичи, но не «добрые, пылкіе, благородные», о су-

<sup>1)</sup> См., напр., Бѣлинскій, II, 123, 124; Андреевскій, „Литер. чтенія“, 1891 г. 234—5; С. Арнольди, „Тогда и теперь“ („Кому принадлежитъ будущее?—Изъ рукописей 90-хъ годовъ“. М. 1905 г., 173, 176, 177); Котляревскій, 172; Михайловскій, „Герой безвременья“ („Критическіе опыты“, 132); А. Веселовскій, „Западное вліяніе въ новой русской литературѣ“, М., 1910 г., 196, 197; Абрамовичъ (Соч. Л—ва, V, стр. ХСVI), и др.

<sup>2)</sup> „Маскарадъ“.

ществованіи которыхъ поэтъ, какъ мы видимъ, зналъ и которыми не могъ предрекать печальную, постыдную будущность; безъ такихъ людей жизнь была бы лишена для него всякаго смысла; въ стихотвореніи «Казбеку» онъ говорить, что если его вѣрные друзья умерли, пусть умретъ и онъ:

О! если такъ... своей метелью,  
Казбекъ, засыпь меня скорѣй,  
И прахъ бездомный по ущелью  
Безъ сожалѣнія развѣй! (II, 214).

Изъ отрицательныхъ сторонъ, подмѣченныхъ имъ въ современникахъ, его больше всего ужасало ничтожество, пустота души:

Тотъ самый человекъ пустой,  
Кто весь наполненъ самъ собой. (I, 62).

Единственное «благо» — ничтожество. (I, 74). Откровенная маска бросаетъ Звѣздичу въ лицо:

Ты?—безхарактерный, безнравственный, безбожный,  
Самолюбивый, злой, но *слабый* человекъ;  
Въ тебѣ одномъ весь отразился вѣкъ,—  
Вѣкъ нынѣшній, блестящій, но *ничтожный*. (III, 219).

Взгляды Лермонтова на просвѣщеніе, на культуру сложились, въ известной степени, подъ вліяніемъ Руссо. «По мнѣнію Руссо, «культура» является понятіемъ, прямо противоположнымъ понятію «природа»: культура есть уклоненіе отъ путей природы, есть извращеніе ея, забвеніе лучшихъ ея внушеній, есть своего рода болѣзнь, противъ которой нужно бороться». (М. Н. Розановъ. «Ж. Ж. Руссо и литературное движеніе конца XVIII и начала XIX в.—Очерки по исторіи руссоизма на Западѣ и въ Россіи». I. М. 1910 г., 69). Лермонтовъ говоритъ, что науки, изсушающія умъ и заглушающія лучшія стремленія души, «безплодны» («Дума»), что «удаляясь отъ условій общества и прибли-

жаясь къ природѣ, мы невольно становимся дѣтьми: все пріобрѣтенное отпадаетъ отъ души, и она дѣлается вновь такую, какой была нѣкогда и, вѣрно, будетъ когда-нибудь опять». (IV, 172).

Быть можетъ, скептическое отношеніе Лермонтова къ наукѣ стало въ немъ къ концу жизни исчезать; въ этомъ отношеніи очень характерна коротенькая фраза поэта въ письмѣ къ пріятелю (конецъ февраля 1841 г.): «Покупаю для общаго нашего обихода *Лафатера и Галя и множество другихъ книгъ*». (IV, 341). Проф. Абрамовичъ даетъ слѣдующее примѣчаніе: «Подъ «Лафатеромъ и Галемъ» разумѣются сочиненія знаменитыхъ френологовъ Jean-Gaspard Lavater'a: *L'Art de connaître les hommes par la physionomie...* Paris. 1820 (книга эта была и въ библіотекѣ А. С. Пушкина: ср. «Пушкинъ и его современники». Вып. IX—X, стр. 269) и Franz-Joseph Gall'я: *Anatomie et physiologie du système nerveux en général et du cerveau en particulier*. Paris. 1810—18». (Соч. Л.—ва, IV, 409). Съ Лафатеромъ Лермонтовъ былъ знакомъ раньше. Ср.: «Вы, конечно, не ученикъ *Ляфатера?*» (Л., III, 205); о Печоринѣ: «Лицо его, смуглое, неправильное, но полное выразительности, было бы любопытно для *Лафатера* и его послѣдователей: они прочли бы на немъ глубокіе слѣды прошедшаго и чудныя обѣщанія будущности». (IV, 99). Въ письмѣ къ бабушкѣ (1840 г.) поэтъ проситъ прислать ему въ Пятигорскъ «Очерки большого свѣта» гр. Ростопчиной, «полное собраніе сочиненій Жуковскаго послѣдняго изданія» и «полнаго Шекспира по-англійски»; характерны въ этомъ письмѣ просьбы скорѣе выслать книги; о книгѣ Ростопчиной: «пожалуйста, *тотчасъ по полученіи моего письма*, пошлите мнѣ ее сюда, въ Пятигорскъ»; о Жуковскомъ: «пришлите также сюда *тотчасъ*»; о Шекспирѣ: «да не знаю, можно-ли найти въ Петербургѣ; препоручите Екиму, только, пожалуйста, *поскорѣе*». (IV, 339, 408). Въ записную книжку поэта внесены княземъ В. О. Одоевскимъ выписки изъ Апостольскихъ посланій и къ нимъ приписка: «Эти выписки имѣли отношеніе къ религіознымъ спорамъ, которые *часто* по-

дымались между Лермонтовымъ и мною. Кн. В. Одоевскій. 1857». (Л., V, 36). Бѣлинскій, бесѣдовавшій съ заключеннымъ поэтомъ въ 1840 г., поражался глубинѣ и мощи его духа, вѣрности его взглядовъ на искусство. Лермонтовъ желалъ бросить службу, отдаться всецѣло литературной дѣятельности, «мечталъ объ основаніи журнала и часто говорилъ о немъ съ Краевскимъ»... (Висковатый, 368). Все это свидѣтельствуешь объ обширности духовныхъ запросовъ поэта, о быстромъ развитіи его генія. Предсмертная жажда знаній и усердная работа надъ самимъ собой не говорятъ ли за то, что Лермонтовъ иначе сталъ относиться къ просвѣщенію?.. Умеръ онъ рано, внезапно, и будущее его скрыто отъ насъ непроницаемой завѣсой.

«Въ стремленіяхъ познать смыслъ жизни, въ *судь надъ ложнымъ ходомъ культуры* въ стремленіяхъ къ братству, *опрощенію*, нравственному подвигу, учителемъ Толстого сталъ Руссо»... (А. Веселовскій. «Западное вліяніе въ новой русской литературѣ». М. 1910 г., 250). Мы не ставили себѣ задачей подробно останавливаться на изложеніи и анализѣ взглядовъ Толстого на просвѣщеніе; главнымъ предметомъ нашего изслѣдованія являются *художественныя* произведенія Лермонтова и Толстого. Извѣстно, что великій яснополянскій мудрецъ не былъ врагомъ просвѣщенія; онъ хорошо изучилъ постановку школьнаго дѣла у насъ и на Западѣ, обучалъ крестьянскихъ дѣтей, издавалъ педагогическій журналъ, много писалъ по вопросу о народномъ образованіи; но къ наукамъ и нашимъ учебнымъ заведеніямъ относился съ большимъ скептицизмомъ. Лермонтовъ говорилъ, что, удаляясь отъ условій общества и приближаясь къ природѣ, мы становимся дѣтьми; Толстой въ уста дѣтей вкладываетъ осужденіе ложной науки: восьмилѣтній мальчикъ спрашиваетъ учениковъ, толкующихъ о значеніи наукъ: «А какія науки, отъ какихъ люди лучше дѣлаются?» И ему отвѣчаютъ: «Такихъ нѣтъ. Это самъ всякій для себя дѣлаеть». И мальчикъ рѣшаетъ, что лучше не учиться, а

самому стараться жить хорошо<sup>1)</sup>. Такимъ образомъ, Лермонтовъ и Толстой предъявляютъ наукамъ одно и то же требованіе; по ихъ мнѣнію, науки цѣнны постольку, поскольку онѣ поднимаютъ нравственность, возвышаютъ личность человѣка.

---

---

<sup>1)</sup> „О наукѣ“. („Дѣтская мудрость“).

## Глава XXI.

### Отношеніе къ медицинѣ.

Въ раннихъ произведеніяхъ Мермонта замѣтно ироническое его отношеніе къ медицинѣ и врачамъ. Въ 1829 г. онъ пишетъ эпиграмму:

Дамонъ, нашъ врачъ, о другѣ прослезился,  
Когда тотъ кончилъ жизнь. Понынѣ онъ груститъ  
(Но не о томъ, что жизни другъ лишился):  
Пять разъ забылъ онъ взять билеты за визитъ!... (II, 63).

Демонъ (въ сатирѣ «Пиръ Асмодея») докладываетъ Асмодею:

Въ Москву болѣзнь холеру притащили.  
Врачи вступились за нее тотчасъ,  
Они морили, и они лѣчили,  
И больше уморили во сто разъ.  
Одинъ изъ нихъ, которому служили  
Мы нѣкогда, во-время вспомнилъ насъ,  
И онъ кого-то хлору пить заставилъ—  
И къ прадѣдамъ здороваго отправилъ.

На это Асмодей говоритъ:

Такъ вотъ сосудъ любезный и печальный,  
Драгой залогъ науки докторской!  
Благодарю. Хотя съ полночи дальной,  
Но мнѣ милѣе всѣхъ подарокъ твой.

Въ этомъ же стихотвореніи поэтъ замѣчаетъ, что Фаустъ, «начальникъ докторовъ», распространяетъ «сужденья дураковъ». (I, 170, 171).

Быть можетъ, корень этой непріязни къ докторамъ лежитъ въ томъ, что поэтъ въ дѣтствѣ часто лѣчился, а кто изъ дѣтей, вообще, безъ недовольства переноситъ лѣченіе? Рассказываютъ о Лермонтовѣ, что «въ дѣтствѣ на немъ постоянно показывалась сыпь, мокрая струнья, такъ что сорочка прилипала къ тѣлу, и мальчика много кормили сѣрнымъ цвѣтомъ» 1). (Висковатый, 22). Бабушка поэта нѣсколько разъ возила его ребенкомъ на кавказскія воды; въ 1825 г. ихъ сопровождалъ докторъ. (Висковатый, 22, 24, 25). Опека заботливой бабушки и доктора едва ли были милы больному, но такому живому мальчику, какимъ былъ Лермонтовъ.

Въ «Странномъ человѣкѣ» докторъ, рассказывая про Владиміра Арбенина, возмущается: «И еще вообразите, онъ смѣется все надо мной и надъ моей ученостью!.. онъ!.. надъ моей ученостью!.. смѣется!..» (III, 162); симпатіи автора явно на сторонѣ Арбенина; про этого же доктора мать Арбенина говоритъ: «Этотъ человѣкъ въ состояніи высосать послѣднюю копѣйку!» (III, 163). Она тоже не вѣритъ въ авторитетъ врача (III, 162).

Въ болѣе зрѣлыхъ произведеніяхъ насмѣшки поэта мягче и смѣняются иногда полной симпатіей къ врачу. Въ стихотвореніи «Завѣщаніе» онъ замѣчаетъ: «Плохи наши лѣкаря». (II, 296). Когда Бѣла была ранена, послали за лѣкаремъ. «Онъ былъ хотя пьянъ, но пришелъ, осмотрѣлъ рану и объявилъ, что она больше дня жить не можетъ». (IV, 181). Онъ ошибся: Бѣла промучилась три дня; прошелъ день, другой. «Половину слѣдующаго дня», рассказываетъ Максимъ Максимычъ, «она была тиха, молчалива и послушна, какъ ни мучилъ ее нашъ лѣкарь припарками и микстурой. — «Помилуйте! — говорилъ я ему, — вѣдь вы сами сказали, что она умретъ непременно, такъ зачѣмъ тутъ всѣ ваши препараты?» — «Все-таки, лучше, Максимъ Максимычъ, — отвѣчалъ онъ, — чтобъ совѣсть была спокойна. — Хороша совѣсть!» (IV, 183). Эти строки проникнуты исти-

1) Саша Арбенинъ въ дѣтствѣ перенесъ тяжелую болѣзнь. (IV, 300).

но-толстовскимъ духомъ; съ одной стороны—лѣкарь, который, хотя и знаетъ, что больная непременно и скоро умретъ, считаетъ своимъ долгомъ сдѣлать все, что можетъ, въ борьбѣ со смертью; съ другой стороны—Максимъ Максимычъ, человѣкъ добрый, но не признающій врачебной этики и желающій, чтобы больной дали спокойно умереть.

Вотъ характерный, аналогичный эпизодъ изъ біографіи Толстого. Въ 1906 г. сильно заболѣла графиня Софья Андреевна Толстая. Профессоръ Снегиревъ, приглашенный по этому случаю въ Ясную Поляну, нашелъ, что положеніе больной критическое, и операція неизбежна. Онъ высказалъ свое мнѣніе Толстому, и тотъ ствѣтилъ: «Я смотрю пессимистически на здоровье жены; она страдаетъ серьезной болѣзью. Приблизилась великая и торжественная минута смерти, которая на меня дѣйствуетъ умиротворяюще. И надо подчиниться волѣ Божьей... Я противъ вмѣшательства, которое, по моему мнѣнію, нарушаетъ величіе и торжественность великаго акта смерти... Всѣ мы должны умереть не сегодня, завтра... черезъ пять лѣтъ. Я понимаю васъ, что вы иначе дѣйствовать не можете. И я устраниюсь: я ни за, ни противъ... Вотъ соберутся дѣти, пріѣдетъ старшій сынъ, Сергѣй Львовичъ. И они рѣшатъ, какъ поступать... Но, кромѣ того, надо, конечно, спросить Софію Андреевну. И если она ничего не будетъ имѣть противъ, тогда вы можете дѣлать ваше дѣло».

Профессоръ сказалъ: «Можетъ быть, и не надо дѣлать операціи. Но тогда найдите средства, какъ утишить боль и страданія. Я не знаю другого средства, кромѣ операціи».

Толстой: «Страданія необходимы: они помогаютъ приготовиться къ великому акту смерти».

Больная и дѣти согласились съ профессоромъ, и операція была произведена удачно. (Проф. В. Ф. Снегиревъ. «Операція».—Международный альманахъ «О Толстомъ». 2-е изд., 335, 336).

Въ своихъ произведеніяхъ Толстой выражаетъ недовѣріе къ медицинѣ и нерасположеніе къ врачамъ.

Андрей Болконскій не вѣрилъ въ медицину. «Что за воображеніе, что медицина кого-нибудь и когда-нибудь вылѣчивала!» говорилъ онъ Пьеру (V, 90). Все же онъ выписываетъ въ Богучарово ученую бабушку для помощи родильницамъ (V, 122), а когда оставлялъ у отца больную жену, просилъ, чтобы для нея выписали, когда потребуется, акушера изъ Москвы. «Я знаю, что никто помочь не можетъ, коли натура не поможетъ, — говорилъ князь Андрей, видимо смущенный. — Я согласенъ, что изъ милліона случаевъ одинъ бываетъ несчастный, но это ея и моя фантазія». (IV, 104, 105).

Отецъ князя Андрея смѣялся надъ медициной и, когда самъ сталъ прихварывать, допустилъ къ себѣ врача только по совѣту *m-lle Bourienne*. (V, 242).

Бѣдко Толстой высмѣиваетъ врачей, которые лѣчили Наташу Ростову. «Доктора ѣздили къ Наташѣ и отдѣльно, и консиліумами, говорили много по-французски, и по-нѣмецки, и по-латыни, осуждали одинъ другого, прописывали самыя разнообразныя лѣкарства отъ всѣхъ имъ извѣстныхъ болѣзней». Они не могли помочь ей, «ибо каждый живой человѣкъ имѣетъ свои особенности и всегда имѣетъ особенную и свою, новую, сложную, неизвѣстную медицинѣ болѣзнь—не болѣзнь легкихъ, печени, кожи, сердца, нервовъ и т. д., записанныхъ въ медицинѣ, но болѣзнь, состоящую изъ одного изъ безчисленныхъ соединеній въ страданіяхъ этихъ органовъ». Лѣкарства, по мнѣнію Толстого, «большекъ частью вредныя вещества», и если вредъ отъ нихъ небольшой, то потому лишь, что подобныя вредныя вещества даются въ малыхъ дозахъ. Единственная польза, которую могутъ оказать врачи, состоитъ въ удовлетвореніи «той вѣчной человѣческой потребности надежды на облегченіе, потребности сочувствія и дѣятельности, которая испытываетъ человѣкъ во время страданія». (VI, 55). По-правилась Наташа потому, что молодость взяла свое, что время излѣчиваетъ всѣ раны. (VI, 57). О докторахъ Наполеонъ говоритъ: «Какая медицина, когда они не могутъ вылѣчить насморка. Корвизаръ далъ мнѣ эти пастиль-

ки, но онѣ ничего не помогаютъ. Что они могутъ лѣчить? Лѣчить нельзя». (VI, 183). По мнѣнію Толстого, Наполеонъ «въ отношеніи своихъ войскъ игралъ ту роль доктора, который мѣшаетъ своими лѣкарствами, — роль, которую онъ такъ вѣрно понималъ и осуждалъ». (VI, 198). Едва ли это не единственный случай сочувствія автора Наполеону.

Князь Щербацкій считалъ знаменитаго доктора, лѣчившаго его дочь, «пустобрехомъ»; «онъ, какъ пожившій, не глупый и не больной человѣкъ, не вѣрилъ въ медицину и въ душѣ злился на всю эту комедію». (VIII, 102). Кѣтъ ея болѣзнь и лѣченіе представлялись «такою глупою, даже смѣшною вещью!» (VIII, 104). Что такое, по Толстому, доктора? Люди, прописывающіе больнымъ лѣкарства въ хорошенькихъ коробочкахъ и баночкахъ; люди, которые шутятъ, говоря съ пациентами, и съ напускной серьезностью бесѣдуютъ съ ихъ близкими; люди, ловко подхватывающіе золотые въ мякоть своей руки. (VI, 55—59). Толстой не можетъ безъ ироніи говорить о докторахъ. Напримѣръ: «Несмотря на то, что доктора лѣчили его <sup>1)</sup>, пускали кровь и давали пить лѣкарства, онъ все-таки выздоровѣлъ». (VII, 166). Докторъ, лѣчившій Пьера, «считалъ своимъ долгомъ имѣть видъ человѣка, каждая минута котораго драгоценна для страждущаго человѣчества», но это не мѣшало ему *часами* засиживаться у своего пациента, тратя время на болтовню. (VII, 169). Съ какимъ-то особеннымъ удовольствіемъ Толстой говоритъ о «знаменитыхъ» докторахъ, которые кажутся ему людьми вовсе малознающими и пустыми. (См. VIII, 102—104; X, 21—24, 37). Выводъ, слѣдовательно, одинъ: докторъ, знаменитый или незнаменитый, не можетъ не только излѣчить, но даже облегчить физическихъ и моральныхъ страданій ближняго, а какъ человѣкъ — онъ, обыкновенно, ничтожество. Этотъ взглядъ на медицину и врачей высказанъ Толстымъ и въ одномъ изъ его позднихъ произведеній, въ повѣсти «Дьяволь»: «Къ обѣду пріѣхалъ докторъ и, разумѣется, сказалъ, что, хотя

---

<sup>1)</sup> Пьера Безухова.

повторныя явленія и могутъ вызыватьъ опасенія, но, собственно говоря, положительнаго указанія нѣтъ, но такъ какъ нѣтъ и противупоказанія, то можно, съ одной стороны, полагать, съ другой же стороны, тоже можно полагать. И потому надо лежать, и хотя я и не люблю прописывать, но все-таки это принимайте, и лежать. Кромѣ того, докторъ прочелъ еще Варварѣ Алексѣевнѣ лекцію о женской анатоміи, при чемъ Варвара Алексѣевна значительно кивала головой. Получивъ гонораръ, какъ и обыкновенно, въ самую заднюю часть ладони, докторъ уѣхалъ, а больная осталась лежать на недѣлю». (XII, 150). Здѣсь рѣзко выставлено и абсолютное безсиліе доктора помочь страждущему, и безучастіе, и его стараніе скрыть свое незнаніе безсвязными, ничего не значащими рѣчами, стараніе поддержать свой авторитетъ, и безстыдство, позволяющее брать деньги, хотя пациенту не оказано никакой помощи.

Только къ хирургамъ Толстой относится безъ непріязни. По его словамъ, ампутація — «отвратительное, но благодѣтельное дѣло». (II, 147). Добромъ помянуть докторъ, дѣлавшій операцию Андрею Болконскому: «Какъ только князь Андрей открылъ глаза, докторъ нагнулся надъ нимъ, молча поцѣловалъ его въ губы и поспѣшно отошелъ». (VI, 209) <sup>1)</sup>. Эти строки, такія красивыя и трогательныя, особенно цѣнны потому, что написаны человѣкомъ, не вѣрившимъ въ медицину и докторовъ.

Лугинъ, герой неоконченной повѣсти Лермонтова, три года лѣчился въ Италіи отъ ипохондріи, но не вылѣчился. Онъ вернулся въ Россію; ему посовѣтовали обратиться къ доктору; онъ на это сказалъ: «Доктора не помогутъ: это сплинъ!» (IV, 285, 286). Одно изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ «Героя нашего времени» — докторъ Вернеръ; это «человѣкъ замѣчательный по многимъ причинамъ»; онъ скептикъ и, въ одно и то же время, матеріа-

<sup>1)</sup> Ср. еще: въ рассказѣ „За что?“ Толстой говоритъ, что когда политическаго ссыльнаго, доктора-поляка, прогоняли сквозь строй, „русскій врачъ говорилъ солдатамъ: „Не бейте больно, пожалѣйте“. (X, 182).

листь и поэтъ, — «поэтъ — и не на-шутку: поэтъ на дѣлѣ всегда и часто на словахъ, хотя въ жизнь свою не написалъ двухъ стиховъ». «Обыкновенно Вернеръ исподтишка насмѣхался надъ своими больными; *но я разъ видѣлъ, какъ онъ плакалъ надъ умирающимъ солдатомъ*». Когда-то поэтъ обвинялъ врачей въ корыстолюбіи; теперь онъ говоритъ о Вернерѣ: «*Онъ былъ бѣденъ, мечталъ о миллионахъ, а для денегъ не сдѣлалъ бы лишняго шага*». (IV, 210). Вернеръ уменъ, остеръ, и даже Печоринъ относится къ нему съ уваженіемъ; онъ сразу отличилъ его въ толпѣ и, при всей своей скрытности, повѣрялъ ему, какъ другу, свои тайны.

Прототипомъ Вернера считаютъ д-ра Майера, съ которымъ поэтъ познакомился въ 1837 г.; Майеръ былъ чело-вѣкъ рѣдкаго ума, образованный, общительный, другъ декабристовъ, жившихъ въ Ставрополѣ. Своимъ портретомъ въ «Героѣ нашего времени» онъ остался недоволенъ, обидѣлся на поэта и, по выходѣ въ свѣтъ романа, писалъ Сатину о Лермонтовѣ: «*Pauvre sire, pauvre talent!*»<sup>1)</sup> Умеръ онъ въ 1846 г. (О немъ см. — Висковатый, 264 — 267. — «Изъ воспоминаній Н. М. Сатина» — въ сборникѣ Общества любителей россійской словесности «Починъ», 1895 г. — М. Гершензонъ. «Образы прошлаго». М. 1912 г., статья «Докторъ Вернеръ». — Баронъ А. И. Дельвигъ. «Мои воспоминанія». I. М. 1912 г., 304).

Въ драмѣ «Маскарадъ» (III, 276, 277) о докторѣ, который лѣчилъ Арбенина, поэтъ говоритъ безъ всякой ироніи и даже проявляетъ къ нему симпатію.

Такимъ образомъ, Лермонтовъ и Толстой къ медицинѣ относились скептически; къ врачамъ они (особенно Толстой) не были расположены, но порою и о нихъ говорили теплое слово.

---

<sup>1)</sup> „Починъ“. Сборн. Общ. любителей россійской словесности, 239.

## Глава XXII.

### Музыка <sup>1)</sup>.

Лермонтовъ былъ одаренъ артистической натурой: съ раннихъ лѣтъ полюбилъ поэзію, пробовалъ свои силы въ живописи, лѣпкѣ, декламациі, музыкѣ; по словамъ Висковатова, поэтъ «хорошо игралъ на скрипкѣ и на фортепіано». (Висковатый, 40). Быть можетъ, способность къ музыкѣ онъ унаслѣдовалъ отъ матери <sup>2)</sup>.

Въ бумагахъ поэта есть слѣдующія характерныя замѣтки: «Музыка моего сердца была совсѣмъ разстроена нынче. Ни одного звука не могъ я извлечь изъ скрипки, изъ фортепьяно, чтобъ они не возмутили моего слуха». (IV, 349). Написавъ о своей первой, дѣтской любви, онъ продолжаетъ: «Говорятъ (Байронъ), что ранняя страсть означаетъ душу, которая будетъ любить изящныя искусства. Я думаю, что въ такой душѣ много музыки». (IV, 350). «Когда я былъ трехъ <sup>3)</sup> лѣтъ, то была пѣсня, отъ которой я плакалъ: ее не могу теперь вспомнить, но увѣренъ, что если-бъ услышалъ ее, она бы произвела прежнее дѣйствіе. Ее пѣвала мнѣ покойная мать». (IV, 350). По мнѣнію Висковатова, созданіе стихотворенія «Ангелъ» связано съ этимъ воспоминаніемъ. (Висковатый, 143, 144). «Марья Михайловна была одарена душою музыкальною. Посадивъ ребенка своего себѣ на колѣни, она заигрывалася

<sup>1)</sup> Часть этой главы взята изъ нашей статьи объ „Ангелѣ“ Лермонтова.

<sup>2)</sup> Одинъ изъ предковъ поэта, со стороны отца, былъ шотландскій бардъ *Эома Лермонтъ*, прославившійся своими прорицаніями и пѣснями; *Вальтеръ Скоттъ* посвятилъ ему балладу—„Пѣвецъ *Эома*“. (Висковатый, 76—78).

<sup>3)</sup> Поэтъ ошибся; когда мать умерла, ему не было 3-хъ лѣтъ.

на фортепіано, а онъ, прильнувъ къ ней головкой, сидѣлъ неподвижно, звуки какъ бы потрясали его младенческую душу и слезы катились по его личику». (Висковатый, 15). Поэтъ мелькомъ упоминаетъ о пѣснѣ матери въ вариантахъ стихотворенія «Кавказъ» (I, 375), въ стихотвореніи «Булеваръ» (I, 148). Герои и героини Лермонтова съ грустью и любовью вспоминаютъ о колыбельной пѣснѣ, слышанной ими въ дѣтствѣ (см. II, 70, 314). Автобіографическій характеръ носятъ слѣдующія строки изъ драмы «Странный человѣкъ»: «А бывало, помню, ему еще было три года—бывало, барыня посадить его на колѣна къ себѣ и начнетъ играть на фортепьянахъ что-нибудь жалкое, — глядь, а у дитяти слезы по щекамъ такъ и катятся!..» (III, 159). Или: «Онъ все тотъ же, каковъ былъ сидящій на моихъ колѣнахъ, въ тѣ вечера, когда я была счастлива»... (III, 160). У Лермонтова не разъ встрѣчаемъ образъ женщины, поющей колыбельную пѣсню (см. I, 161, 168; II, 278, 279, 314).

Николенька Иртеневъ рассказываетъ: «Мама играла второй концертъ Фильда, своего учителя. Я дремалъ, и въ моемъ воображеніи возникали какія-то легкія, свѣтлыя и прозрачныя воспоминанія. Она заиграла патетическую сонату Бетховена, и я вспомнилъ что-то грустное, тяжелое и мрачное. Мама часто играла эти двѣ пьесы; поэтому я очень хорошо помню чувство, которое онѣ во мнѣ возбуждали. Чувство это было похожее на воспоминанія; но воспоминанія чего? казалось, что вспоминаешь то, чего никогда не было». (Т., I, 30). Въ лицѣ Николеньки Толстой изобразилъ себя, но матери своей онъ не помнилъ. Быть можетъ, эта прелестная подробность повѣсти навѣяна чтеніемъ Лермонтова и его біографіи.

Любовь Лермонтова къ музыкѣ ярко отражена въ его поэзіи.

Въ стихотвореніи «Мой домъ»<sup>1)</sup> онъ говоритъ:

<sup>1)</sup> Тема стихотворенія взята изъ „Чайльд-Гарольда“ Байрона. (См.—А. Веселовскій. „Западное вліяніе въ новой русской литературѣ“. М. 1910 г., 194).

Мой домъ вездѣ, гдѣ есть небесный сводъ,  
Гдѣ только слышны звуки пѣсенъ. (I, 180).

Онъ посвящаетъ восторженное стихотвореніе Бартеневой, извѣстной въ свое время свѣтской пѣвицѣ (см. I, 93, 370)<sup>1)</sup>. Въ стихотвореніи «Звуки» (I, 176, 177) онъ говоритъ, что, упиваясь звуками дивнаго пѣнія, воскресаетъ душою и опять готовъ полагаться на людей. Музыка успокаиваетъ его, какъ Саула; не даромъ онъ такъ понималъ мрачнаго, тоскующаго Саула, только въ музыкѣ находившаго отраду (см. II, 140, 158). Ср. у Толстого: «Я понимаю Саула. Меня не мучаетъ бѣсъ, но я понимаю его. Никакое искусство не можетъ такъ заставить забыть все, какъ музыка». («И свѣтъ во тьмѣ свѣтитъ». XX, 201).

Въ стихотвореніи «Ангель» (I, 284) поэтъ говоритъ о чудесномъ воздѣйствіи музыки на неодушевленную природу:

И мѣсяцъ, и звѣзды, и тучи толпой  
Внимали той пѣснѣ святой.

Это универсальный мотивъ, встрѣчаемый въ эпосахъ многихъ народовъ, въ произведеніяхъ древнихъ и новыхъ поэтовъ<sup>2)</sup>.

Если звуки музыки властны надъ бездушной природой, то какъ же могуче ея воздѣйствіе на человѣка! Слушая пѣніе птицы, поэтъ забываетъ про тягость душевныхъ мукъ (I, 272, 273). Онъ внимаетъ арфѣ и плачетъ, вспоминая былое (I, 295). Сидя въ заключеніи, онъ жадно ловитъ напѣвы своего «сосѣда»:

О чемъ они—не знаю, но тоской  
Исполнены, и звуки чередой,  
Какъ слезы, тихо льются, льются...  
И лучшихъ лѣтъ надежды и любовь—  
Въ груди моей все оживаетъ вновь,  
И мысли далеко несутся,  
И полонъ умъ желаній и страстей,

1) Ей же посвящено стихотвореніе Козлова — „П. А. Бартеневой“. (Козловъ. Стихотворенія, 257, 258).

2) См. нашу статью объ „Ангелѣ“ Лермонтова.

И кровь кипить, и слезы изъ очей,  
Какъ звуки, другъ за другомъ льются. (II, 209) <sup>1)</sup>.

Музыка вызывала слезы и у Толстого. Въ 1876 г. на устроенномъ по иниціативѣ Чайковскаго «для Толстого музыкальномъ вечерѣ въ консерваторіи Левъ Николаевичъ разрыдался при всѣхъ, слушая анданте ре-мажорнаго квартета Чайковскаго». (Н. Б. Бернштейнъ. «Музыка и Левъ Толстой». — Ежемѣсячныя литературныя и популярно-научныя приложенія къ журналу «Нива» на 1908 г., № 9, 125). Онъ плакалъ, слушая игру скрипача Эрденка («У Л. Н. Толстого въ послѣдній годъ его жизни. Дневникъ В. Ѳ. Булгакова». М. 1911 г., 231), слушая тріо, исполнявшее на скрипкѣ, фортепіано и віолончели (Сиборъ, Гольденвейзеръ и Букиникъ) созданія Моцарта, Гайдна, Бетховена, Аренскаго. (Н. Н. Гусевъ. «Два года съ Л. Н. Толстымъ». Записки бывшаго секретаря Л. Н. Толстого. М. 1912 г., 49). Гусевъ пишетъ въ своемъ дневникѣ: «Я никогда не видалъ человѣка, на котораго бы музыка такъ сильно дѣйствовала, какъ на Л. Н.—ча». (Тамъ же). Толстой самъ былъ хорошимъ музыкантомъ. «Тонкимъ своимъ умѣніемъ аккомпанировать и своей прочувствованной игрой онъ поражалъ близкихъ къ московскому кружку Фета не менѣе, чѣмъ теперешнихъ, близкихъ его дому, имѣвшихъ возможность слушать его игру». (Н. Б. Бернштейнъ. «Музыка и Левъ Толстой», 132). Слушая Шопена въ исполненіи Гольденвейзера, Толстой замѣтилъ: «Я долженъ сказать, что вся эта цивилизація, — пусть она исчезнетъ, но — музыку жалко!» (Дневникъ В. Ѳ. Булгакова, 83). Онъ говорилъ: «Люблю музыку больше всѣхъ другихъ искусствъ, мнѣ всего тяжелѣе было бы разстаться съ ней, съ тѣми чувствами, которыя она во мнѣ вызываетъ». (Дневникъ В. Ѳ. Булгакова, 123; см. еще — Н. Н. Гусевъ. «Два года съ Л. Н. Т.», 36).

Музыка, какъ чудится Лермонтову, звучитъ во всей

<sup>1)</sup> Сильное вліяніе этого стихотворенія замѣтно въ стихотвореніи Плещеева „Сосѣдь“ („Скучно, грустно мнѣ. Въ окошко“...).

вселенной. Человѣческая душа на землю приносится съ ангельской пѣсней (I, 284); надъ колыбелью ребенка не смолкаетъ пѣсня матери или сестры. Возмужавъ, человѣкъ всюду слышитъ дивныя мелодіи. Сладостная пѣсня птицы убаюкиваетъ тягостныя муки (I, 272, 273). Срѣзанный тростникъ поетъ «будто оживленный» (II, 6). Особенно пѣвучи волны: въ ихъ всплескахъ слышится то голосъ тоскующей русалки (II, 139, 140), то серебристая трель чудесной рыбки (II, 327, 328), то колыбельная пѣсня (IV, 24). Человѣческій же голосъ необычайно музыкаленъ, и его чары всесильны даже надъ гордыми бессмертными духами зла. Съ пѣсней человѣкъ хочетъ и умереть (II, 329, 348). На небесахъ безъ конца поютъ безплотныя хоры (I, 308; II, 360, 380). Словомъ, музыка разлита по всему міру, и только не всѣ слышатъ ее.

Многіе герои и героини Лермонтова и Толстого очень чутки и способны къ музыкѣ, знаютъ ея цѣлительную силу, легко поддаются ея вліянію.

Вадимъ (въ поэмѣ «Послѣдній сынъ вольности») въ трудную минуту обращается къ пѣвцу Ингелоту:

Подобно ласкѣ женскихъ рукъ,  
Смягчаетъ горе тѣсни звукъ;  
Такъ спой же, добрый Ингелоть,  
О чемъ-нибудь! о чемъ-нибудь  
Ты спой, чтобъ облегчилась грудь,  
Которую тоска гнететъ. (I, 230).

Юрій Волнинъ слушаетъ свирѣльные звуки, и любовь въ немъ разгорается еще сильнѣе. (III, 111). Арбенинъ (въ «Странномъ человѣкѣ») хорошо играетъ на фортепіано; музыка до слезъ волнуетъ его (III, 159, 188). Измаиль-Бей, услышавъ пѣсню Селима, терзается, вспомнивъ покинутую Зару (II, 71, 72). Въ сказкѣ «Ашикъ - Керибъ» герой — народный пѣвецъ; въ «Бэлѣ» поетъ Казбичъ.

Ангель пѣлъ свою дивную пѣсню въ *полночную пору*; на героевъ Лермонтова музыка особенно сильно дѣйствуетъ *вечеромъ или ночью*. Отчасти, это автобіографическая подроб-

ность: Лермонтовъ родился ночью, и, быть можетъ, именно потому въ «Ангелѣ» новую душу несутъ на землю *въ полночь*; другой причиной является то, что вечерній или ночной сумракъ содѣйствуетъ совершенію всего таинственнаго, чудеснаго (ср. «Ангелъ», «Тамара»); наконецъ, поэтъ могъ имѣть въ виду то, что человекъ за день утомляется и къ ночи становится болѣе раздражительнымъ, вслѣдствіе чего легко вызывается реакція. Поэту «птичка рая» напѣваетъ *по ночамъ* (I, 272, 273); пѣсня сосѣда слышится *по вечерамъ* (II, 209). Печоринъ говоритъ, что *вечеромъ* музыка сильно раздражаетъ его нервы: «Мнѣ дѣлается или слишкомъ грустно, или слишкомъ весело». (IV, 229). Мцыри слышалъ пѣсню грузинки и запомнилъ мелодію; лишь наступаютъ *сумерки*, пѣсня всплываетъ въ памяти (II, 318). Мцыри, вообще, обладаетъ душой музыкальной; онъ помнитъ пѣсню, которую сестры пѣли надъ его колыбелью (II, 314); въ тяжеломъ забытіи слышитъ прелестную пѣсню рыбки; хочетъ, чтобы ему, умирающему, дружескій голосъ напѣвалъ тихую пѣсню (II, 327—329). Арбенинъ импровизируетъ *«въ сумерки»* (III, 188). Лугинъ однажды *въ сумерки* долго сидѣлъ у окна; вдругъ на дворѣ шарманка заиграла старинный вальсъ. «Лугинъ слушалъ, слушалъ; *ему стало ужасно грустно*. Онъ началъ ходить по комнатѣ; *небывалое безпокойство имъ овладѣло; ему хотѣлось плакать, хотѣлось смѣяться...* онъ бросился на постель и заплакалъ: *ему представилось все его прошедшее*. Онъ вспомнилъ, какъ часто бывалъ обманутъ, какъ часто дѣлалъ зло, именно тѣмъ, которыхъ любилъ; какая дикая радость иногда разливалась по его сердцу, когда видѣлъ слезы, вызванныя имъ изъ глазъ, пынѣ закрытыхъ навѣки. И онъ съ ужасомъ замѣтилъ и признался, что онъ недостойнъ былъ любви безотчетной и истинной, — и ему стало такъ больно, такъ тяжело!» (IV, 292, 293) <sup>1)</sup>. Ср.

1) Ср.—Раскольниковъ Достоевскаго говоритъ: „Я люблю, какъ поютъ подъ шарманку, въ холодный, темный и сырой осенній вечеръ, непременно въ сырой, когда у всѣхъ прохожихъ блѣдно-зеленыя и больныя лица; или, еще

Толстой: «*Всѣ неоцѣненные минуты того времени одна за другой возставали передъ нимъ, но не какъ незначащія мгновенья бѣгущаго настоящаго, а какъ остановившіеся, разрастающіеся, укоряющіе образы прошедшаго. Онъ съ наслажденіемъ созерцалъ ихъ и плакалъ, — плакалъ не оттого, что прошло то время, которое онъ могъ употребить лучше (ежели бы ему дали назадъ это время, онъ не брался употребить его лучше), но онъ плакалъ оттого только, что прошло это время и никогда не воротится. Воспоминанія возникали сами собой, а скрипка Альберта говорила одно и одно. Она говорила: «прошло для тебя, навсегда прошло время силы, любви и счастья, прошло и никогда не воротится. Плачь о немъ, выплачь всѣ слезы, умри въ слезахъ объ этомъ времени, — это одно лучшее счастье, которое осталось у тебя».* (III, 127, 128). Это или отголосокъ поэзіи Лермонтова, или интуитивное восхожденіе къ одному и тому же образу, доказывающее родственность толстовскаго генія съ лермонтовскимъ.

Литвинъ и литвинка поютъ *ночью* (I, 210, 211); Селимъ (Зара) — *ночью* (II, 70—72); Юрій и Любовь слышатъ пѣсню со свирѣлью *ночью* (III, 111); царица Тамара поетъ *въ полночь* (II, 341, 342). Въ вариантахъ «Демона» чудесная пѣсня звучитъ: въ первомъ — *въ полночь* (II, 386), во второмъ — *вечеромъ* (II, 388), въ четвертомъ — *ночью* (II, 401, 402), въ послѣдней редакціи — *ночью* (II, 359—361) и *полночью* (II, 366). Число примѣровъ можно было бы значительно увеличить, но, полагаемъ, достаточно и этихъ, чтобы убѣдиться, что чудесная пѣсня связана съ вечерней или ночной порой; утромъ или днемъ она слышится рѣдко (см., напримѣръ, II, 318; IV, 199, и др.).

Музыка воскрешаетъ былое, зарождаетъ или разжигаетъ страсть, вызываетъ слезы, не забывается.

Въ первомъ очеркѣ поэмы «Демонъ» отверженный духъ, «врагъ небесъ», плачетъ, слушая пѣсню монахини; онъ *при-*

---

лучше, когда снѣгъ мокрый падаетъ, совсѣмъ прямо, безъ вѣтру, знаете? а сквозь него фонари съ газомъ блистаютъ"... („Пр. и нак.“ Полн. собр. соч. СПб. 1894 г., V, 155).

поминаетъ былое, въ немъ вспыхиваетъ любовь (II, 386). Во второмъ очеркѣ Демонъ, услышавъ пѣсню монахини, плачетъ, *вспоминаетъ прошлое* (II, 388); онъ проникаетъ въ келью; въ немъ загорается любовь; онъ борется съ этимъ чувствомъ, такъ какъ связанъ клятвой, данной князю тьмы; онъ хочетъ искутить монахиню—и не въ силахъ. Онъ

Нарушилъ клятвы роковыя  
И князя бездны раздражилъ.  
*Но прелесть звуковъ и видѣнья*  
*Остались на душу его,*  
*И въ памяти сего мгновенья*  
*Ужъ не загладитъ ничего...* (II, 389, 390).

(Ср. II, 390, ст. 132—135 и II, 318, ст. 349—352). См. еще четвертый очеркъ—II, 401—403. Въ послѣдней редакціи поэмы Демонъ самъ очаровываетъ монахиню Тамару волшебной пѣснью («Не плачь, дитя»...). Чудная пѣсня грузинки («*какъ будто для земли она была на небѣ сложена*») плѣняетъ его; ему чудится, что это *пѣсня ангела*, прилетѣвшаго на землю, «чтобъ усладить его мученье»; онъ плачетъ

Слезою жаркою какъ пламень,  
Не человѣческой слезой!.. (II, 366).

Ту же роль музыка играетъ въ жизни лермонтовскихъ героинь. Литвинка, слушая пѣсню родины, предается мечтамъ, *вспоминаетъ былое*. Она беретъ лютню и поетъ.

Этой пѣсни нѣтъ

Нигдѣ,—она мгновенна лишь была,  
И въ чьей груди родилась—умерла,  
И понялъ, кто внималъ! Не мудрено:  
*Понятье о небесномъ намъ дано;*  
Но слишкомъ для земли насъ создалъ Богъ,  
Чтобъ кто-нибудь ее запомнить могъ. (I, 211) <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Послѣдніе два стиха къ героямъ Лермонтова не относятся, т. к. они обладаютъ рѣдкой способностью запоминанія мелодій.

Гюльнара («Двѣ невольницы») играетъ на гитарѣ и поетъ (I, 186 — 188). Поетъ дѣва, которую полюбилъ Азраиль (I, 306), поетъ Зара (II, 70—72), поетъ возлюбленная Гаруна (II, 265 — 266), поетъ надъ сыномъ казачка (II, 278, 279), поютъ за работой еврейки (III, 49; ср. II, 141), поетъ Нина Арбенина (III, 265, 266), поетъ Бэла (IV, 161, 164, 169, 176), поетъ контрабандистка (IV, 198, 199) поетъ княжна Мери (IV, 228); въ неоконченной повѣсти упоминается о пѣвицѣ, исполнявшей балладу Шуберта на слова «Лѣсного царя» Гете (IV, 286); поетъ грузинка, про которую говоритъ Мцыри (II, 318), поетъ Виргинія (II, 334), поетъ русалка (II, 139, 140), и др. Въ голосѣ царицы Тамары—«желанье и страсть», «всесильныя чары», «непонятная власть» (II, 342). Тамара, дочь Гудала, услышала пѣсню Демона—и

Невыразимое смятенье

Въ ея груди: печаль, испугъ,

Восторга пыль—ничто въ сравненьи.

Всѣ чувства въ ней вскипѣли вдругъ:

Душа рвала свои оковы,

Огонь по жиламъ пробѣгалъ,

И этотъ голосъ, чудно новый,

Ей мнилось, все еще звучалъ. (II, 361).

Тамара обладала удивительнымъ даромъ играть на чангурѣ и пѣть (II, 366) <sup>1)</sup>.

Что же такое, по Лермонтову, музыка, каковы ея свойства?

Музыка—нѣчто *неземное*; пѣсня Тамары-монахини походить на *пѣсню ангела*; эта пѣсня такъ нѣжна, будто сложена на *небѣ*; дивная пѣсня литвинки понятна тому, кому дано «понятые о *небесномъ*», въ голосѣ любимой женщины—«*отголосокъ рая*» <sup>2)</sup>; душа встрѣчаетъ «*съ мольбою какъ ангела*» эти пѣсни, эти таинственные, мелодичныя рѣчи <sup>3)</sup>. Въ раю—немолчное пѣніе; родина музыки—небо.

<sup>1)</sup> Ср. еще объ Алень Дмитревнѣ: „Молвить слово — соловей поетъ“ (II, 218).

<sup>2)</sup> I, 280.

<sup>3)</sup> II, 466.

Музыка — нѣчто *чудодѣйственное*; она очаровываетъ природу («Ангель»), совершаетъ *чудо* надъ Демономъ: онъ впервые постигаетъ святую любовь, не можетъ искушать свою жертву и плачетъ!

Музыка — нѣчто *загадочное*; въ ней *непонятная* власть».

Музыка — нѣчто *страшное*. Услышавъ пѣсню Селима, Измаиль - Бей вскочилъ, «какъ безумный», просить не пѣть больше, стоитъ *«ужасенъ, съ шашкой обнаженной»*, грозить рукой *«чему-то страшному»*; видя это, Селимъ не могъ *не ужаснуться* своему искусству. Ср.—С. А. Берсъ о Толстомъ: «Я замѣчалъ, что ощущенія, вызываемыя въ немъ музыкой, сопровождались легкой блѣдностью лица и едва замѣтной гримасой, выражавшей *нѣчто похожее на ужасъ*». («Воспоминанія»). Демонъ, взволнованный пѣніемъ Тамары, хотѣлъ *«въ страхъ удалиться»*, но даже этого не могъ сдѣлать, околдованный музыкой. Иногда это страшное, это таинственное чудеснымъ образомъ сочетается съ небеснымъ. Услыхавъ пѣсню, Юрій Волинъ восклицаетъ: «Какіе звуки! они поразили мою душу... Кто ихъ произвелъ? *Не съ неба - ли, не изъ ада - ли?..*» (III, 111). Въ Демонѣ и царицѣ Тамарѣ неразрывно переплетается святое и грѣшное.

*Самая простая, незамысловатая* мелодія можетъ потрясти душу, произвести сильнѣйшее впечатлѣніе. Пѣсня Ингелота «дика и проста». (I, 231). Мцыри говоритъ, что у грузинки голосъ былъ *«безыскусственно живой»*, «простая пѣсня то была». (II, 318). Виргинія напѣваетъ *«простую пѣсню»*. (II, 334). Лугинъ плакалъ, слушая шарманку.

Музыка — *нѣчто раздражающее, волнуемое, вызывающее страсть*. Человѣку становится то весело, то грустно, онъ чувствуетъ безпокойство (Печоринъ, Лугинъ). Голосъ царицы Тамары *«весь былъ желанье и страсть»*. Ср. «Сосѣдъ»:

И полонъ умъ желаній и страстей,  
И кровь кипить...

Взволнованный пѣніемъ, Юрій Волинъ еще ярче вспыхиваетъ страстью; Демонъ постигаетъ «тоску любви, ея

волненье» (II, 366); дочь Гудала въ «невыразимомъ смятеніи» и чувствуетъ, что огонь пробѣгаетъ по жиламъ.

Музыка обращаетъ мысли къ *прошлому*. Это связано съ вѣрою поэта въ доземное существованіе души; пѣсни земли напоминаютъ о полузабытыхъ небесныхъ, и человѣкъ весь уходитъ въ былое, припоминаетъ что-то далекое, чудесное и, — одинокій, никѣмъ не понимаемый, изнывающий подъ бременемъ скучной жизни, — тоскуетъ и горько плачетъ.

Понятіе о *душѣ* и *идеалѣ* сливается у поэта съ понятіемъ о *музыкѣ*. Ангелъ говоритъ о Тамарѣ:

Ея душа была изъ тѣхъ,  
Которыхъ жизнь—одно мгновенье  
Невыносимаго мученья,  
Недостигаемыхъ утѣхъ;  
Творецъ изъ лучшаго ээира  
Соткалъ живыя струны ихъ... (II, 380).

То-есть, душа—нѣжный, прекрасный инструментъ; ея чувства, ея волненія, — это дрожаніе ея тончайшихъ живыхъ струнъ. Въ стихотвореніи «Ангелъ» тяготѣніе души, измученной скучной и тягостной земной жизнью, къ идеалу—связуется съ желаніемъ припомнить райскую мелодію, слышанную до рожденія.

Музыка — *нѣчто очищающее, просвѣтляющее*. Выше всего цѣнить поэтъ въ музыкѣ ея благотворное воздѣйствіе на человѣка: она смягчаетъ горе, облегчаетъ душу отъ гнетущей тоски, вызываетъ раскаяніе, вызываетъ искреннія слезы; рождается готовность полагаться на людей, воскресаютъ «лучшихъ лѣтъ надежды и любовь»; грезы уносятся къ невозвратному дѣтству; смутно звенятъ въ головѣ мелодіи милыхъ колыбельныхъ пѣсенъ; является жажда обновленія, жажда чистой любви, «душа рветъ свои оковы», душа открывается для добра, для новой жизни. Такъ велика призывная сила таинственныхъ звуковъ, смыслъ и мелодію которыхъ улавливаютъ, однако, только избранные.

Надежды въ нихъ дышуть,  
И жизнь въ нихъ играетъ,—  
Ихъ многіе слышуть,  
Одинъ понимаетъ <sup>1)</sup>.  
Лишь сердца роднова  
Коснутся въ дни муки  
Волшебнаго слова  
Цѣлебные звуки;  
Душа ихъ съ моленьемъ  
Какъ ангела встрѣтитъ,  
И долгимъ бѣньемъ  
Имъ сердце отвѣтитъ. (II, 466).

Поэтъ указываетъ и на *физиологическія явленія*, вызываемыя музыкой.

И кровь кипить, и слезы изъ очей,  
Какъ звуки, другъ за другомъ льются. (II, 209).

Печоринъ говоритъ, что музыка «слишкомъ раздражаетъ» его нервы (IV, 229). Тамара, слушая Демона, чувствовала, какъ «огонь по жиламъ пробѣгалъ» (II, 361). Сердце «долгимъ бѣньемъ» отвѣчаетъ на звуки волшебныхъ рѣчей. Лугинъ плачетъ, слушая шарманку. Музыка парализуетъ движенія:

*Неподвиженъ* внемлю  
Сладкимъ звукомъ я. (II, 176).

Измаиль-Бей стоитъ «*недвижимъ*». (II, 71). Демонъ

Хочетъ въ страхъ удалиться,—  
*Его крыло не шевелится!* (I, 366).

Музыка волнуетъ Демона до слезъ.

Герои Лермонтова *не забываютъ* пѣсенъ, взволновавшихъ и плѣбившихъ ихъ. Душа, принесенная ангеломъ на

---

<sup>1)</sup> Эти слова можно отнести къ обитателямъ швейцарскаго отеля, слушавшимъ пѣніе тирольца: изъ нихъ только Нехлюдовъ понялъ красоту и смыслъ незамысловатыхъ пѣсенъ и проникся живымъ участіемъ къ странствующему пѣвцу.

землю, вѣчно будетъ помнить его пѣсню и тосковать по ней. Мцыри, *разъ* услышавъ пѣсню грузинки, запоминаетъ ее. Печоринъ отъ слова до слова запоминаетъ пѣсню контрабандистки.

Демонъ слышалъ пѣсню монахини, и

Прелестъ звуковъ и видѣнья  
Остались на душѣ его,  
И въ памяти сего мгновенья  
Ужъ не загладитъ ничего... (II, 390).

Все это чрезвычайно близко къ міру толстовскихъ идей. Лермонтовъ говоритъ, что человѣкъ, воспріимчивый къ музыкальнымъ впечатлѣніямъ, можетъ быть потрясенъ и расстроганъ самой «простой», «безыскусственной» мелодіей. Толстой очень любилъ народныя пѣсни, нерѣдко отдавая имъ предпочтеніе передъ сложными, общепризнанными твореніями гениальныхъ композиторовъ. «Однажды мнѣ въ Оренбургѣ, — сказалъ Левъ Николаевичъ, — пришлось слышать, какъ одна башкирка ѣхала верхомъ и пѣла. *Я ничего не понималъ изъ ея словъ. Но пѣсня ея подѣйствовала на меня* <sup>1)</sup>, потому что она была непосредственнымъ выраженіемъ ея души. И всякую, чисто народную пѣсню пойметъ другой народъ. Современная же—порченная—музыка требуетъ исключительныхъ слушателей и существуетъ только для сытыхъ. Поэтому она меня и отталкиваетъ». (П. Сергѣенко, «Какъ живетъ и работаетъ гр. Л. Н. Толстой». М. 1908 г., 30). Онъ мечталъ «о созданіи народнаго театра съ общедоступными пьесами, дополненными музыкой». (Бернштейнъ. «Музыка и Левъ Толстой», 136). Платонъ Каратаевъ «пѣлъ пѣсни не такъ, какъ поютъ пѣсенники, знающіе, что ихъ слушаютъ; но пѣлъ, какъ поютъ птицы, очевидно потому, что звуки эти ему было такъ же необходимо издавать, какъ необходимо бываетъ потянуться или расхотиться; и звуки

<sup>1)</sup> Ср. Лермонтовъ: „Есть рѣчи—значенье  
Темно иль ничтожно,  
Но имъ безъ волненья  
Внимать невозможно“. (II, 297).

эти всегда бывали тонкіе, нѣжные, почти женскіе, заунывные, и лицо его при этомъ бывало очень серьезно». (VII, 40, 41). Аксеновъ былъ «первый весельчакъ и пѣсенникъ» (XIV, 75); даже въ старости «голосъ у него все еще былъ хорошъ» (XIV, 78). См. еще «Пѣсни на деревнѣ» (X). Дядюшка Ростовыхъ тоже «пѣлъ такъ, какъ поетъ народъ, съ тѣмъ полнымъ и наивнымъ убѣжденіемъ, что въ пѣснѣ все значеніе заключается только въ словахъ, что напѣвъ самъ собой приходитъ и что отдѣльнаго напѣва не бываетъ, а что напѣвъ—такъ только, для складу. Отъ этого-то этотъ безсознательный напѣвъ, какъ бываетъ напѣвъ птицы, и у дядюшки былъ необыкновенно хорошъ. Наташа была въ восторгѣ отъ пѣнія дядюшки. Она рѣшила, что не будетъ больше учиться на арфѣ, а будетъ играть только на гитарѣ. Она попросила у дядюшки гитару и тотчасъ же подобрала аккорды къ пѣснѣ». (V, 215). Незатѣйливая, но милая пѣсенка понравилась Наташѣ, и она, возвращаясь домой, долго припоминала мелодію и, наконецъ, вспомнила. (V, 216). Она запоминаетъ арію изъ оперы, нѣкогда слышанной въ Петербургѣ вмѣстѣ съ Болконскимъ (V, 220) <sup>1)</sup>. Подобно героямъ и героинямъ Лермонтова, Наташа Ростова обладаетъ голосомъ, вызывающимъ у другихъ слезы. Мать и отецъ Николеньки Иртеньева любили музыку; Николенька и Нехлюдовъ («Утро помѣщика») тоже любили ее, хотя и по дилетантски. Герои «Люцерна» и «Альберта»—музыканты; оба они самородки, и ихъ искусство чаруетъ людскія души. Федя Протасовъ любилъ цыганскія пѣсни; кстати, цыганскія пѣсни любилъ и Толстой, и Лермонтовъ (о Лермонтовѣ см. Мартыановъ. «Новыя свѣдѣнія о М. Ю. Л.» Ист. Вѣстн., 1892 г., XI, 384). Николай Иртеньевъ началъ играть на фортепіано изъ подражанія одному молодому человѣку, граціозные жесты и поза котораго ему очень понравились, и увидѣлъ въ музыкѣ новое средство «прельщать дѣвицъ»; учился играть онъ безъ всякой системы, не мало

<sup>1)</sup> Хаджи-Муратъ помнитъ пѣсню, которую пѣла мать, когда онъ былъ ребенкомъ. (XII, 79).

заботясь въ то же время о своихъ жестахъ. «Сквозь всю эту путаницу и притворство, какъ я теперь вспоминаю», говоритъ онъ, «во мнѣ, однако, было что-то въ родѣ таланта, потому что часто музыка дѣлала на меня до слезъ сильное впечатлѣніе, и тѣ вещи, которыя мнѣ нравились, я кое-какъ умѣлъ самъ безъ нотъ отыскивать на фортепіано; такъ что, ежели бы тогда кто-нибудь научилъ меня смотрѣть на музыку, какъ на цѣль, какъ на самостоятельное наслажденіе, а не на средство прельщать дѣвицъ быстротою и чувствительностью своей игры, можетъ-быть, я бы сдѣлался, дѣйствительно, порядочнымъ музыкантомъ». (I, 207). Музыка онъ «очень любилъ слушать». (I, 233).

Старшій Козельцовъ «хорошо пѣлъ, игралъ на гитарѣ». (II, 185). Дворникъ Василій обладалъ хорошимъ голосомъ и мастеръ былъ пѣсни пѣть; пѣніе его нравилось и господамъ, которые заставляли его пѣть. («Фальшивый купонъ», XII, 185, 186). Находясь въ тюрьмѣ, Василій «пѣлъ пѣсни своимъ прекраснымъ голосомъ» (XII, 200). Молодой судебный слѣдователь Махинъ былъ «очень музыкаленъ»; «онъ и вторилъ прекрасно и аккомпанировалъ на фортепьяно». (XII, 205). Ханефи, «названный братъ» Хаджи-Мурата, «зналъ много горскихъ пѣсенъ и хорошо пѣлъ ихъ... Голосъ у Ханефи былъ высокій теноръ, и пѣлъ онъ необыкновенно отчетливо и выразительно. Одна изъ пѣсенъ особенно правилась Хаджи-Мурату и поразила Бутлера своимъ торжественно-грустнымъ напѣвомъ». (XII, 68).

Наташа и Николай Ростовы были извѣстны въ кругу знакомыхъ своей музыкальностью (IV, 63). Братъ ихъ «Петя былъ музыкаленъ такъ же, какъ и Наташа, и больше Николая; но онъ никогда не учился музыкѣ»... (VII, 120). У Наташи голосъ не былъ обработанъ, но когда она пѣла, «даже знатоки-судьи ничего не говорили и только наслаждались этимъ необработаннымъ голосомъ и только желали еще разъ услышать его». (V, 48). Выйдя замужъ, Наташа совершенно оставила пѣніе; но когда она пѣла (это случалось очень рѣдко), въ ней зажигался прежній огонь. (VII, 215).

Толстой также указывает на физиологическія явленія, которыми сопровождаются музыкальныя воспріятія. Николенька Иртеневъ говоритъ, что музыка возбуждаетъ его нервы (I, 228). Она вызываетъ слезы у него (I, 207), у Андрея Болконскаго (V, 169). Делесовъ, слушая скрипача, «испытывалъ непривычное чувство. Какой-то холодный кругъ, то суживаясь, то расширяясь, сжималъ его голову. Корни волосъ становились чувствительны, морозъ пробѣгалъ вверхъ по спинѣ, что-то, все выше и выше подступая къ горлу, какъ тоненькими иголками кололо въ носу и нѣбѣ, и слезы незамѣтно мочили ему щеки». (III, 127).

Музыка разжигаетъ страсть; этотъ мотивъ развитъ Толстымъ въ «Крейцеровой сонатѣ», въ «Живомъ трупѣ» (1-е д., картина 2-я). См. еще—«Что я видѣлъ во снѣ». (XX, 19).

Музыка заставляетъ человѣка думать о быломъ. Николенька Иртеневъ рассказываетъ: «Въ то время, какъ я слушаю музыку, я ни о чемъ не думаю и ничего не воображаю, но какое-то странное сладостное чувство до такой степени наполняетъ мою душу, что я теряю сознаніе своего существованія, и это чувство—*воспоминаніе*. Но воспоминаніе чего? Хотя ощущеніе сильно, *воспоминаніе неясно*. Кажется, какъ будто вспоминаешь то, чего никогда не было». (I, 303; ср. I, 30). Это будто вариантъ «Ангела» Лермонтова. Наташа Ростова подбирала на гитарѣ арію изъ оперы, слышанной въ Петербургѣ, и «въ ея воображеніи изъ-за этихъ звуковъ воскресалъ рядъ *воспоминаній*. Она... слушала себя и *вспоминала*. Она находилась въ *состояніи воспоминанія*». (V, 220). Графиня Ростова, слушая пѣніе дочери, вспоминала свою молодость. (V, 224). Нехлюдовъ игралъ на роялѣ, и ему особенное наслажденіе доставляла «усиленная дѣятельность воображенія, безсвязно и отрывисто, но съ поразительною ясностью представлявшаго ему въ это время самые разнообразныя, перемѣшанные и нелѣпыя образы и картины изъ *прошедшаго* и *будущаго*». (III, 41). Подъ звуки скрипки Альберта всѣ «вдругъ незамѣтно перенесены были въ совершенно другой, *забытый* ими міръ. То въ душѣ ихъ возникало чувство тихаго созерцанія *прошедшаго*, то страст-

наго *воспоминанія* чего-то счастливаго, то безграничной потребности власти и блеска, то чувство покорности, неудовлетворенной любви и грусти». (III, 126). «По какому-то странному сцѣпленію впечатлѣній первые звуки скрипки Альберта *перенесли Делесова къ его первой молодости*. (III, 127). Хаджи-Мурать подѣ пѣніе Ханефи вспоминаетъ пѣсню, сложенную матерью и слышанную имъ въ дѣтствѣ; затѣмъ, по ассоціаціи идей, углубляется въ воспоминанія о младенческихъ лѣтахъ. (XII, 79 — 80).

Музыка часто вызываетъ чувство грусти. Слушатели Альберта испытываютъ чувство «неудовлетворенной любви и грусти». (III, 126). Игра на роялѣ Нехлюдову доставляетъ «грустное наслажденіе». (III, 41). Когда князь Андрей слушалъ пѣніе Наташи, «онъ былъ счастливъ, и ему вмѣстѣ съ тѣмъ было грустно». (V, 169).

Касаясь лермонтовскихъ вопросовъ, Толстой порой какъ бы повторяетъ даже выраженія своего учителя. Такъ, Лермонтовъ говоритъ о напѣвахъ узника:

О чемъ они—не знаю, но тоской  
Исполнены, и звуки чередой,  
Какъ слезы, тихо льются, льются...  
И лучшихъ лѣтъ надежды и любовь—  
Въ груди моей все оживаетъ вновь,  
И мысли далеко несутся,  
И полонъ умъ желаній и страстей,  
И кровь кипитъ, и слезы изъ очей,  
Какъ звуки, другъ за другомъ льются. (II, 209).

О пѣснѣ Тамары (въ «Демонѣ»):

И звуки тѣ лились, лились,  
Какъ слезы, мѣрно, другъ за другомъ;  
И эта пѣснь была нѣжна... (II, 366).

У Толстого слушатели Альберта переносятся въ «забытый ими міръ. То въ душѣ ихъ возникало чувство тихаго созерцанія прошедшаго, то *страстнаго* воспоминанія чего-то счастливаго, то безграничной потребности власти и блеска,

то чувство покорности, неудовлетворенной *любви* и грусти. То грустно-нѣжные, то порывисто-отчаянные *звуки*, свободно перемѣшиваясь между собой, *лились и лились другъ за другомъ* такъ изящно, такъ сильно и такъ бессознательно, что не звуки слышны были, а самъ собой лился въ душу каждаго какой-то прекрасный потокъ давно знакомой, но въ первый разъ высказанной поэзіи». (III, 126). Въ воображеніи Делесова всталъ образъ любимой дѣвушки «въ туманѣ неопредѣленныхъ *надеждъ*, непонятныхъ *желаній* и несомнѣнной вѣры въ возможность невозможнаго счастья». Онъ плакалъ, переживая бывшее, а скрипка говорила ему: «Плачь о немъ, выплачь всѣ слезы, умри въ слезахъ объ этомъ времени,—это одно лучшее счастье, которое осталось у тебя». (III, 127, 128). Здѣсь тѣ же идеи, то же настроеніе и даже совпаденіе въ подборѣ словъ и выраженій.

Толстой, какъ Лермонтовъ, указываетъ на то, что музыка вызываетъ чувство раскаянія, поднимаетъ духъ человѣка, дѣйствуетъ освѣжающе, цѣлительно. Нехлюдовъ рассказываетъ, что онъ переживалъ, очарованный пѣніемъ странствующаго тирольца: «Въ душѣ моей какъ будто распустился свѣжій, благоухающій цвѣтокъ. вмѣсто усталости, разсѣянія, равнодушія ко всему на свѣтѣ, которыя я испытывалъ за минуту передъ этимъ, я вдругъ почувствовалъ потребность любви, полноты надежды и безпричинную радость жизни. Чего хотѣть, чего желать? сказалось мнѣ невольно, вотъ она, со всѣхъ сторонъ обступаетъ тебя красота и поэзія. Вдыхай ее въ себя широкими, полными глотками, насколько у тебя есть силы, наслаждайся,—чего тебѣ еще надо. Все твое, все благо»... (III, 148). Когда Андрей Болконскій услышалъ пѣніе Наташи, онъ «почувствовалъ неожиданно, что къ его горлу подступаютъ слезы, возможность которыхъ онъ не зналъ за собой. Онъ посмотрѣлъ на поющую Наташу, и въ душѣ его произошло что-то новое и счастливое. Онъ былъ счастливъ, и ему вмѣстѣ съ тѣмъ было грустно. Ему рѣшительно не о чемъ было плакать, но онъ готовъ былъ плакать. О чемъ? О прежней любви? О маленькой княгинѣ? О своихъ разочарованьяхъ?..

О своихъ надеждахъ на будущее?.. Да и нѣтъ. Главное, о чемъ ему хотѣлось плакать, была вдругъ живо сознанная имъ страшная противоположность между чѣмъ-то безконечно великимъ и неопредѣлимымъ, бывшимъ въ немъ, и чѣмъ-то узкимъ и тѣлеснымъ, чѣмъ онъ былъ самъ и даже была она. Эта противоположность томила и радовала его во время ея пѣнія». (V, 169—170). Подъ пѣніе волшебницы Наташи у Николая «тронулось что-то лучшее, что было въ душѣ»... (V, 48).

Лермонтовъ находилъ въ музыкѣ элементъ *чудеснаго*. Толстой, слушая тріо извѣстныхъ музыкантовъ, плакалъ и повторялъ: «*Чудо, чудо!*» (Гусевъ. «Два года съ Л. Н. Т.», 49).

Демонъ потрясенъ пѣніемъ Тамары, «и, чудо!»—*плачетъ*.

И мыслить онъ, что жизни *новой*  
Пришла желанная пора. (II, 366).

И князь Андрей, растроганный пѣніемъ любимой дѣвушки, чувствуетъ, что къ горлу подступаютъ слезы («возможность которыхъ онъ не зналъ за собой»), «и въ душѣ его произошло что-то *новое* и счастливое».

Музыка, дѣлая человѣка лучшимъ, побуждаетъ его дѣлать добро. Демонъ входитъ къ Тамарѣ

любить готовый,  
Съ душой, открытой для добра. (II, 366).

Нехлюдовъ («Люцернъ») принимаетъ участіе въ судьбѣ пѣвца-тирольца, ласково бесѣдуетъ съ нимъ, угощаетъ, какъ друга <sup>1)</sup>. Делесовъ рѣшается на нѣчто большее; ему, «на котораго музыка произвела такое сильное и непривычное впечатлѣніе, пришла мысль сдѣлать добро этому человѣку. Ему пришло въ голову взять его къ себѣ, одѣть, пристроить къ какому-нибудь мѣсту—вообще вырвать изъ этого грязнаго положенія». (III, 128). Онъ взялъ несчастнаго музыканта въ свой домъ, принялъ самое горячее уча-

<sup>1)</sup> Рассказъ „Люцернъ“ носитъ автобіографическій характеръ (см. Бирюковъ, I, 341—346).

стіе въ немъ, но Альбертъ слишкомъ опустился, и его нельзя было спасти не по винѣ Делесова.

Природа и музыка,—вотъ что было для Лермонтова прекраснѣе всего на землѣ, вотъ что не доставляло ему ни тревогъ, ни тяжкихъ мукъ, и чему онъ самъ никогда не измѣнялъ, въ святости чего никогда не сомнѣвался. И какъ знаменательно: въ одномъ изъ послѣднихъ своихъ произведеній, въ элегіи «Выхожу одинъ я на дорогу», онъ говоритъ, что его несбыточное, но завѣтное желаніе—заснуть вѣчнымъ, безмятежнымъ сномъ и слышать неумолкающій, сладкій голосъ, поющій про любовь, да тихій шумъ дуба. Гармонія звуковъ и мягкій шелестъ листвы,—вотъ что дороже всего измученной душѣ поэта; только съ этимъ было бы ему жаль расстаться. Если бы не музыка, онъ и въ могилѣ не нашелъ бы покоя, терзался бы воспоминаніями о своихъ заблужденіяхъ и страстяхъ; вспомнимъ его «Любовь мертвеца». Но музыка, музыка... она будетъ навѣвать ему дивныя мечты, она утишитъ его тревоги, и закроются его душевныя раны; нѣтъ ничего прелестнѣе и нѣжнѣе мелодичнаго пѣнія. А дубъ склонялся бы надъ могилой, какъ добрый другъ, и поэтъ, понимающій голоса природы, вѣчно внималъ бы его мудрому и занимательному шелесту-говору<sup>1)</sup>. Такъ же близка и дорога была музыка отшельнику Ясной Поляны. Онъ сказалъ однажды: *«Музыка,—это единственное изъ мірскаго, что дѣйствуетъ на меня... Это подобно тому, какъ я радуюсь, смотрю на природу»*. (Н. Н. Гусевъ. «Два года съ Толстымъ», 36. Запись относится къ 1907 г.). Удивительное совпаденіе мыслей. Старецъ, познавшій жизнь во всемъ ея многообразіи и сложности глубже, чѣмъ кто-либо изъ художниковъ слова, человекъ, вкусившій всю сладость и горечь славы, любви, семейнаго счастья, религіозныхъ исканій,—говоритъ, что изъ всего, что узналъ онъ, ему особенно дорога только музыка, и что наслажденіе, доставляемое ею, можно сравнить по существу

<sup>1)</sup> Припомнимъ, что дубовый листокъ „немало знаетъ разказовъ мудреныхъ и чудныхъ“. (II, 345).

лишь съ наслажденіемъ созерцанія красотъ природы... Идя почти однѣми дорогами, юноша-поэтъ и патріархъ нашей литературы сошлись на однѣхъ и тѣхъ же высотахъ.

Какъ у Лермонтова, у Толстого смерть и музыка сливаются въ одно. Горцы умираютъ съ пѣсней на устахъ: «Все было тихо. Вдругъ со стороны чеченцевъ раздались странные звуки заунывной пѣсни, похожей на *ай-да-лай-лай*<sup>1)</sup> дяди Ерошки. Чеченцы знали, что имъ не уйти, и, чтобы избавиться отъ искушенія бѣжать, они связались ремнями, колѣно съ колѣномъ, приготовили ружья и заплѣли предсмертную пѣсню». (II, 138). Курбанъ, сподвижникъ Хаджи-Мурата, въ послѣдней схваткѣ съ русскими поетъ, не переставая (XII, 88—89); а когда Хаджи-Муратъ палъ въ неравномъ бою, «соловьи, смолкнувшіе во время стрѣльбы, опять зашелкали, сперва одинъ близко и потомъ другіе на дальнемъ концѣ». (XII, 90). Федя Протасовъ, слушая пѣніе цыганъ, говоритъ: «Ахъ, хорошо. Кабы только не просыпаться... Такъ и помереть»... (XX, 139).

Относительно Лермонтова необходимо еще добавить, что стихъ его необычайно музыкаленъ, пѣвучъ; вспомнимъ его волшебныя мелодіи—его «Ангела», «Русалку», «На воздушномъ океанѣ», «На свѣтскія цѣпи» и др. Въ высшей степени замѣчательны слѣдующія его слова въ письмѣ къ М. А. Лопухиной: «О, какъ желалъ бы я опять васъ увидѣть, говорить съ вами: *мнѣ благотворны были самые звуки вашихъ словъ. Право, слѣдовало бы въ письмахъ ставить ноты надъ словами*, а то теперь читать письмо то же, что глядѣть на портретъ: нѣтъ ни жизни, ни движенія; выраженіе неподвижной мысли, что-то, отзывающееся смертью!..» (IV, 399).

---

1) Курсивъ Л. Т.

## Глава XXIII.

### Пляска.

Еще чаще, чѣмъ на заоблачныхъ высотахъ Лермонтовъ и Толстой встрѣчались въ долинахъ жизни. Они не только пророки, то обличавшіе обитателей «шумныхъ градовъ» въ порочности и суетности, то уходившіе въ пустыню, въ объятія безмятежно-прекрасной природы. Это, въ то же время, пѣвцы земныхъ утѣхъ, земныхъ прелестей. Не разъ они являлись къ ближнимъ не съ обвинительными рѣчами, не съ проповѣдями объ аскетизмѣ, а съ призывомъ къ жизни радостной, вольной и буйной.

Можно было бы много сказать о парусѣ, просящемъ бури, о первой (не дѣтской) любви, о всежжгающей, пьянящей страсти и проч.; мы останавливаемся на одномъ мотивѣ, достаточно характеризующемъ эту сторону творчества обоихъ геніевъ, именно—на пляскѣ. Танецъ, по Лермонтову и Толстому, символизируетъ красоту жизни, безопасность, искреннее веселье и страсть; танецъ—проявленіе кипучихъ скрытыхъ силъ юности; танецъ—последняя, яркая вспышка удали въ человѣкѣ старомъ. Танецъ заставляетъ человѣка забыть про житейскія горести и заботы и упиться настоящимъ, пока чаша бытія не допита и пѣнится, пока небо надъ головой безоблачно. Завтра, быть можетъ, солнце скроется за тучами, и всѣ краски поблекнутъ, и въ дверь постучитъ скука или болѣзнь; пляши, быть можетъ, это послѣдній счастливый день! Еще мудрый Соломонъ говорилъ:

«Веселись, юноша, въ молодости твоей, и пусть сердце твое вкушаетъ радости въ юности твоей; иди, куда ведетъ

тебя сердце твое и куда глядятъ глаза твои; только знай, что за все это Богъ приведетъ тебя на судъ.

«Прогоняй печаль отъ сердца твоего и удаляй неприятное отъ тѣла твоего; потому что дѣтство и юность скоро проходятъ» (Экклезіастъ, XI, 9, 10).

Танецъ показываетъ всю физическую красоту человѣка, а ее любили описывать Лермонтовъ и Толстой. Тяготѣніе къ красотѣ усугублялось въ нихъ тѣмъ, что оба они не были красивы. Въ Тамарѣ (дочери Гудала) и Аннѣ Карениной—гармоническое сліяніе красоты духовной и тѣлесной. Духовная красота не теряетъ блеска безъ тѣлесной (напр., въ Маріи Болконской); физическая безъ духовной не производитъ очарованія; Лермонтовъ еще въ ранней юности написалъ безпощадныя стихотворенія—«Къ глупой красавицѣ» (I, 127) и «Глупой красавицѣ» (I, 159); прелестная Эленъ Безухова была «одной изъ самыхъ глупыхъ женщинъ въ мірѣ» (V, 238); о ней Наполеонъ сказалъ: *C'est un superbe animal*<sup>1)</sup>. (V, 143).

Лермонтовъ и Толстой сами любили танцевать. Мартыновъ говоритъ про Лермонтова: «Танцевалъ онъ ловко и хорошо». («Изъ бумагъ Н. С. Мартынова». Рус. Арх., 1893 г., VIII). Боденштедтъ подмѣтилъ ловкость и замѣчательную гибкость движеній поэта. Толстой—студентъ, несмотря на свою угловатость и застѣнчивость, много танцевалъ. Героини Лермонтова, къ какой бы націи и эпохѣ онѣ не принадлежали, любятъ пляску, которая дѣлаетъ ихъ еще очаровательнѣе.

Вотъ пляшетъ Ольга. Она начала танцевать не по своей охотѣ, и движенія ея «были плавны, небрежны, даже можно было замѣтить въ нихъ нѣкоторую принужденность, ей несвойственную, но скоро она забылась, и тогда душевная буря вылилась наружу. Какъ поэтъ, въ минуту вдохновеннаго страданія бросая божественные стихи на бумагу, не чувствуетъ, не помнитъ ихъ, такъ и она не знала, что дѣлала, не заботилась о приличіи своихъ движеній, и потому-то они обворожили всѣхъ зрителей; это было не искусство, но

<sup>1)</sup> „Это прекрасное животное“ (Л. Т.).

страсть». (IV, 18). Гостеприимная, беззаботная Леила, желая развеселить хмураго гостя,

бубень свой беретъ,  
Въ него перстами ударяя,  
Лезгинку пляшетъ и поетъ.  
Ея глаза, какъ звѣзды, блещутъ,  
И груди полныя трепещутъ;  
Восторгомъ дѣтскимъ, но живымъ  
Душа невинная объята;  
Она кружится передъ нимъ,  
Какъ мотылекъ въ лучахъ заката,  
И вдругъ звенящій бубень свой  
Подъемлетъ бѣлыми руками,  
Вертитъ его надъ головой  
И тихо черными очами  
Поводитъ. И, безъ словъ, уста  
Хотятъ сказать улыбкой милой:  
„Развеселись, мой гость унылой!  
Судьба и горе—все мечта!“ (II, 95).

Про Бѣлу Азаматъ говоритъ: «Какъ она пляшетъ!» (IV, 164). Максимъ Максимычъ о ней же: «Она, бывало, намъ поетъ пѣсни иль пляшетъ лезгинку... А ужъ какъ плясала! Видалъ я нашихъ губернскихъ барышень, а разъ былъ-съ и въ Москвѣ въ благородномъ собраніи, лѣтъ двадцать тому назадъ,—только куда имъ! совѣмъ не то!»... (IV, 176).

Пляшетъ Тамара, прощаясь со своей дѣвичьей волей.  
Подруги,

Въ ладони мѣрно ударяя,  
... поютъ, и бубень свой  
Беретъ невѣста молодая.  
И вотъ она, одной рукой  
Кружа его надъ головой,  
То вдругъ помчится легче птицы,  
То остановится,—глядитъ,  
И влажный взоръ ея блеститъ  
Изъ-подъ завистливой рѣсницы;

То черной бровью поведетъ,  
То вдругъ наклонится немножко,  
И по ковру скользить, плыветъ  
Ея божественная ножка;  
И улыбается она,  
Веселья дѣтскаго полна. (II, 354).

Въ дневникѣ Печорина читаемъ о княжнѣ Мери: «Она вальсируетъ удивительно хорошо». (IV, 224). Нина Арбе-нина, возвратившись съ бала, отдается наплыву воспоми-наній:

Какъ новый вальсъ хорошъ! Въ какомъ-то упоеньѣ  
Кружилась я быстрѣй, и чудное стремленье  
Меня и мысль мою невольно мчало вдаль <sup>1)</sup>. (III, 268, 269).

Въ «Сказкѣ для дѣтей»—маленькая Нина, потихоньку отъ всѣхъ, танцуетъ одна въ пустомъ залѣ; она

Сіянье, роскошь, музыку, цвѣты,  
Толпу гостей и шумъ воображала;  
Кипѣла кровь отъ душной тѣсноты;  
На платицѣ чудесные узоры  
Виднѣлись ей; и вотъ гремѣли шпоры,  
Къ ней кавалеръ незримый подходилъ  
И въ мнимый вальсъ съ собою уносишь;  
И вотъ она кружилась въ вихрѣ бала  
И, утомясь, на кресла упала... (II, 275).

Слѣдовательно, любовь къ танцамъ—нѣчто стихійное, врожденное, сказывающееся уже въ дѣвочкѣ,—въ дѣвочкѣ, росшей безъ подругъ, безъ «кавалеровъ» à la Николенька Иртеневъ, еще не выдавшей баловъ.

Юная римлянка Виргинія

въ пляскѣ,  
Передъ домашнимъ порогомъ, подругъ побѣждала искусствомъ.  
(II, 334).

---

<sup>1)</sup> См. еще стихотвореніе—„Я видѣлъ разъ ее въ веселомъ вихрѣ бала“ (I, 166).

Красивая женщина, какую ее рисуетъ поэтъ, необычайно граціозна. Леила кружится, какъ мотылекъ (II, 95); княжна Мери (IV, 208), Тамара (II, 354), графиня Воронцова-Дашкова (II, 293) — легче и проворнѣй птицы; Алена Дмитревна

Ходить плавно, будто лебедушка. (II, 218).

Въ красивой женщинѣ

Всѣ ея движенья,  
Улыбка, рѣчи и черты  
Такъ полны жизни, вдохновенья,  
Такъ полны чудной простоты. (II, 18) <sup>1)</sup>.

Изящныя, быстрыя движенья танцующей женщины описаны Лермонтовымъ превосходно; описанія эти хороши не только своей пластичностью и красочностью; они богаты и внутреннимъ содержаніемъ. Поэтъ говоритъ о душевныхъ переживаніяхъ героинь; картина пріобрѣтаетъ особую красоту и глубокой смыслъ, когда ей придается драматическій характеръ.

Вотъ Палицынъ, угощая почетнаго гостя, богаѣаго помѣщика, спрашиваетъ его:

«Потѣшить-ли тебя, сосѣдъ любезный?»

«А что?»

«Да ужъ то, что твоей милости и въ голову не придетъ; любишь-ли ты пляску?... а у меня есть дѣвочка—чудо... а какъ пляшетъ! жжетъ, а не пляшетъ. Я не монахъ, и ты не монахъ, Васильичъ»...

«Избави, Христось»...

Рѣчь идетъ объ Ольгѣ, воспитанницѣ Палицына. Хозяинъ велѣлъ созвать хоръ, а хозяйка пошла за Ольгой. Былъ поздній вечеръ, но дѣвушка еще не спала; передъ этимъ она узнала отъ Вадима, что они—братъ и сестра, что отецъ ихъ разорень Палицынымъ... Входитъ Наталья Сергѣевна и грубо приказываетъ: «Поди, надѣнь шелковый сарафанъ и выходи плясать... чтобъ голова не болѣла... слышишь... скорѣй же! Да не больно фишти передъ Борисомъ

<sup>1)</sup> Ср. „Демонъ“, II, 355, ст. 157—159.

Петровичемъ... а не то я тебѣ дамъ знать!... вѣдь вы всѣ рады заманить *барскую милость*... берегись»... Палицына знала, чѣмъ уколоть Ольгу, дочь дворянина. Заглушая отвращеніе и стыдъ, бѣдная дѣвушка нарядилась и пошла въ гостиную.

«Она взошла... и встрѣтила пьяные глаза, дерзко разбирающіе ея прелести; но она не смутилась, не покраснѣла; тусклая блѣдность ея лица изобличала совершенное отсутствіе безпокойства, совершенную преданность судьбѣ...

«Хоръ затянулъ плясовую. «Начинай же, Оленька! — закричалъ Палицынъ,—не стыдись!» Она вздрогнула; ей пришло на мысль, что она будетъ плясать передъ убійцею отца своего...

Если-бъ можно было изобразить страданіе этого нѣжнаго существа, то трудно бы вы повѣрили, что она не лишилась разсудка!... потому что ея рѣсницы были сухи, и сжатая, дрожащія губы не пропустили ни одного вздоха. «Что же! красота моя, начинай! не бойсь! ты такъ хороша сегодня!» — кричали оба помѣщика.

Что за лестное поощреніе! не правда-ли?

Ольга окинула взоромъ всю комнату, надѣясь уловить хсти одно сожалѣніе... неумѣстная надежда! подлая покорность, глупая улыбка встрѣтили ее со всѣхъ сторонъ... рабы не сожалѣли объ ней,—они завидовали! Пускай завидуютъ, подумала Ольга, это будетъ имъ наказаніе.

Она начала плясать».

Танецъ захватилъ ее быстротой движеній, но «вдругъ она остановилась, опомнилась, опустила пылающіе глаза; голова ея кружилась; всѣ предметы прыгали передъ нею, громкіе напѣвы слились для нея въ одинъ звукъ, нестройный, но рѣшительный, въ одинъ звукъ воспоминанія...

Она посмотрѣла вокругъ, ужаснулась... махнула рукою и выбѣжала»... (IV, 15—18).

Пляшетъ княжна Тамара—прелестная, улыбающаяся, «веселья дѣтскаго полна»; ничто, будто бы, не омрачаетъ счастья невѣсты, ждущей жениха и рѣзвящейся въ кругу подругъ... Но судьба Тамары не такъ ужъ завидна. Сердце дѣ-

вушки сжимается отъ глухой тоски. Этотъ день—послѣдняя страница беззаботной жизни, проведенной подъ нѣжной опекой отца; послѣдній разъ спѣты любимыя пѣсни княжны,

Въ послѣдній разъ она плясала...  
 Увы! завтра ожидала  
 Ее, наслѣдницу Гудала,  
 Свободы рѣзвое дитя,  
 Судьба печальная рабыни,  
 Отчизна чуждая донинѣ  
 И незнакомая семья.  
 И часто тайныя сомнѣнья  
 Темнили свѣтлыя черты... (II, 355).

Тамара знаетъ, что ждетъ ее, но избытокъ жизни играетъ въ ней, и она, отгоняя грустныя размышленія, пляшетъ со всѣмъ пыломъ молодости. Этотъ день еще ея, и чѣмъ меньше остается до страшнаго «завтра», тѣмъ милѣе кажутся дѣвичьи утѣхи, тѣмъ сильнѣе опьяняетъ быстрый танецъ, «послѣдній» танецъ!...

Нина Арбенина, танцуя, чувствуетъ какое-то безпокойствіе; то было предчувствіе смерти. Она не знала, что минуты ея уже сочтены; какъ Тамара, она, такая молодая и прекрасная, танцевала *послѣдній разъ*; на томъ же балу мужъ отравилъ ее.

Въ «Хаджи-Абрекъ» картина пляски проникнута трагизмомъ. Беззаботная Леила танцуетъ и не видитъ, что надъ головой ея собираются тучи; пляшущей красавицѣ-лезгинкѣ, объятай «восторгомъ дѣтскимъ», поэтъ противопоставляетъ мрачную, неподвижную фигуру Хаджи-Абрека. Идея картины выражена въ стихахъ:

*Она кружится передъ нимъ,  
 Какъ мотылекъ въ лучахъ заката.* (II, 95).

Мотылекъ прелестень, но живетъ только день; перепархивая съ цвѣтка на цвѣтокъ, онъ не замѣчаетъ, какъ мгновенье за мгновеньемъ уходитъ въ вѣчность; когда же солнце закатывается, его багровые лучи, потухающіе одинъ за

другимъ, напоминають мотыльку о близости смерти. Бѣдный! Онъ въ ужасѣ кружится надъ землею и чувствуетъ, какъ слабѣють его крылья, и видитъ, что сумракъ сгущается... А постороннему глазу этотъ трепетный полетъ кажется еще болѣе прелестнымъ. Леила хороша, какъ мотылекъ, и такъ же беззаботна. Она живетъ настоящимъ, все для нея озарено розовымъ свѣтомъ:

Судьба и горе—все мечта! (II, 95).

Хаджи-Абрекъ обращается къ ней:

Довольно! Перестань, Леила!  
*На мигъ веселость позабудь,  
Скажи, ужель когда-нибудь  
О смерти мысль не приходила  
Тебя встревожить? Отвѣчай!*

Леила.

*Нѣтъ! Что мнѣ хладная могила?  
Я на земль нашла свой рай.*

Хаджи-Абрекъ.

Еще вопросъ: ты не грустила  
О дальней родинѣ своей,  
О свѣтломъ небѣ Дагестана?

Леила.

Къ чему? Мнѣ лучше, веселѣй  
Среди нагорнаго тумана.  
Вездѣ прекрасенъ Божій свѣтъ;  
Отечества для сердца нѣтъ!  
Оно насилья не боится:  
Какъ птичка, вырвется, умчится...  
Повѣрь мнѣ,— счастье только тамъ,  
Гдѣ любятъ насъ, гдѣ вѣрятъ намъ! (II, 95, 96).

Она улыбается, она счастлива, не слышитъ вѣянія смерти... Но мстительный, жестокий Хаджи-Абрекъ, открывъ тайну своего приѣзда, произноситъ приговоръ:

Пора!

Твой часъ пробилъ еще вчера.

*Смотри, ужъ блещетъ лучъ заката!..* (II, 97).

Леила - мотылекъ блѣднѣетъ, рыдаетъ, умоляетъ:

Погибнуть *рано, рано* мнѣ!..

Оставь мнѣ жизнь! оставь мнѣ младость!

Ты зналъ-ли, что такое радость?

Бывалъ ли ты во цвѣтѣ лѣтъ

Любимъ, какъ я?.. О, вѣрно, нѣтъ! (II, 98).

Врагъ неумолимъ... Картина безпечной пляски смѣняетъ картиной ужасной смерти; Леила, какъ мотылекъ, гибнетъ при лучахъ заката.

Но рѣдко встрѣтятся люди, подобные Хаджи - Абреку, устоявшему передъ чарами красоты. Въ другихъ пляска красавицы пробуждаетъ и разжигаетъ страсть. Палицынъ («представьте себѣ мужчину лѣтъ 50-ти, высокаго, еще здороваго, но съ сѣдыми волосами и потухшимъ взоромъ»... IV, 2) говоритъ гостю про Ольгу: «А какъ пляшетъ! *жжжетъ, а не пляшетъ*. Я не монахъ, и ты не монахъ, Васильичъ»... Онъ велѣлъ позвать Ольгу и хоръ и «захоталъ, самъ, вѣрно, не зная чему, и началъ потирать руки, заранѣе наслаждаясь успѣхомъ своей выдумки». (IV, 15). Когда Ольга пришла, она «встрѣтила пьяные глаза, дерзко разбирающіе ея прелести». (IV, 17). Вино и бурный танецъ распаляютъ желаніе помѣщика (онъ напоминаетъ старика Карамазова); когда Ольга убѣждала, «Борисъ Петровичъ всталъ и, качаясь на ногахъ, послѣдовалъ за нею; раскаленные щеки его обнаруживали преступное желаніе, и съ дрожащихъ губъ срывались несвязныя слова, но слишкомъ ясныя для окружающихъ». (IV, 18). Онъ ворвался въ комнату Ольги, и только энергичное вмѣшательство Натальи Сергѣевны спасло дѣвушку отъ безчестія.

Печоринъ описываетъ, какъ онъ въ первый разъ танцевалъ съ княжной Мери: «Она небрежно опустила руку на мое плечо, наклонила слегка головку на-бокъ, и мы пусти-

лись. Я не знаю талии болѣе сладострастной и гибкой! Ея свѣжее дыханіе касалось моего лица; иногда локонъ, отдѣлившійся въ вихрѣ вальса отъ своихъ товарищей, скользилъ по горящей щекѣ моей... Я сбѣлалъ три тура (она вальсируетъ удивительно хорошо). Она запыхалась, глаза ея помутились, полураскрытыя губки едва могли прошептать необходимое: *mersi, monsieur*. (IV, 224).

Демонъ впервые увидѣлъ Тамару и плѣнился ею именно тогда, когда она танцевала. Но страсть, вспыхнувшая въ немъ, самая возвышенная, свободная отъ грѣха:

И вновь постигнулъ онъ святыню  
Любви, добра и красоты...  
*И долго сладостной картиной*  
*Онъ любовался..* (II, 355).

Толстому больше всего нравится въ танцахъ молодцеватость и ловкость танцующаго; поэтому у него на первомъ планѣ—мужчина.

Графъ Турбинъ во время мазурки «дѣлалъ чудеса, ловя платки, становясь на одно колѣно и прихлопывая шпорами какъ-то особенно, по-варшавски, такъ что всѣ старики вышли изъ-за бостона смотрѣть въ залу, и кавалеристъ, лучший танцоръ, созналъ себя превзойденнымъ». (III, 94). Мазурка—любимый танецъ Толстого. Онъ описываетъ ее въ «Дѣтствѣ» (I, 61, 62), въ «Войнѣ и мирѣ» (V, 40, 41), въ разсказѣ «Послѣ бала». Его герои очень любятъ танцы. Толстой подчеркиваетъ эту черту въ некрасивомъ Николенькѣ, въ его отцѣ (I, 62), въ лихомъ гусарѣ Турбинѣ, въ Андреѣ Болконскомъ («князь Андрей былъ однимъ изъ лучшихъ танцоровъ своего времени... Князь Андрей любилъ танцевать»... V, 163), въ графѣ Ростовѣ, который и въ старости «танцевалъ хорошо» (IV, 66), въ его сынѣ Николаѣ (это былъ «веселый и ловкій танцоръ», IV, 293; см. еще: V, 9; VII, 14, 15), въ Денисовѣ, который «въ Польшѣ даже славился своимъ мастерствомъ плясать польскую мазурку» (V, 40), въ Иванѣ Васильевичѣ («Послѣ

бала»: «танцевалъ я хорошо и былъ не безобразенъ»; II, 163), въ отцѣ Вареньки Б. («Послѣ бала»).

Танцы дѣйствуютъ возбуждающе. У десятилѣтняго Николенки, переживавшаго первую любовь, во время танцевъ «сердце билось, какъ голубь, кровь безпрестанно прилиwała къ нему и хотѣлось плакать». (I, 63). Князь Андрей на балу пригласилъ «Наташу потому, что на нее указалъ ему Пьеръ, и потому, что она первая изъ хорошенькихъ женщинъ попала ему на глаза; но едва онъ обнялъ этотъ тонкій, подвижной станъ и она зашевелилась такъ близко отъ него и улыбнулась такъ близко ему, вино ея прелести ударило ему въ голову: онъ почувствовалъ себя ожившимъ и помолодѣвшимъ, когда, переводя дыханіе и оставивъ ее, остановился и сталъ глядѣть на танцующихъ». (V, 163). Исключеніе представляетъ Иванъ Васильевичъ; снѣ рассказываетъ:

«Я вальсировалъ еще и еще и не чувствовалъ своего тѣла.

— Ну, какъ же не чувствовали, когда обнимали за талію; не только свое, но и ея тѣло чувствовали, я думаю,—сказалъ одинъ изъ гостей.

Иванъ Васильевичъ вдругъ покраснѣлъ и сердито закричалъ почти:

— Да, вотъ это вы, нынѣшняя молодежь. Вы, кромѣ тѣла, ничего не видите. Въ наше время было не такъ. Чѣмъ сильнѣе я былъ влюбленъ, тѣмъ безтѣлеснѣе становилась для меня она». (XII, 164).

Въ разсказѣ «Послѣ бала» авторъ прибѣгаетъ къ приему, напоминающему лермонтовскій; картина бала сразу смѣняется другой,—картиной жестокаго тѣлеснаго наказанія. Въ первой картинѣ Толстой рисуетъ отца Вареньки «очень красивымъ, статнымъ, высокимъ и свѣжимъ старикомъ»; «та же радостная улыбка, какъ и у дочери, была въ его блестящихъ глазахъ и губахъ» (XII, 165). Это нѣжный отецъ; Иванъ Васильевичъ, влюбленный въ Вареньку, такими восторженными глазами слѣдилъ за танцующимъ полковникомъ, что умилялся даже, глядя на его

сапоги. Толстой намѣренно беретъ сначала однѣ свѣтлыя краски, чтобы въ послѣдующей картинѣ рѣзче отгнѣнить грубость полковника Б. Послѣ бала этотъ полковникъ будетъ бить по лицу рукой, обтянутой замшевой перчаткой (надѣтой передъ мазуркой) «малорослаго слабосильнаго солдата» за то, что тотъ недостаточно сильно опуститъ палку на окровавленную спину татарина; послѣ балныхъ фразъ онъ закричитъ: «Подать свѣжихъ шпицрутеновъ!» и нахмуренное его лицо будетъ грозно и злобно; а въ душѣ влюбленнаго студента чувство восторженнаго умиленія, навѣянное баломъ, смѣнится чувствомъ почти физической, доходящей до тошноты, тоски...

Танцоромъ надо родиться; описывая пляску Наташи, Толстой говоритъ: «Гдѣ, какъ, когда всосала въ себя изъ того русскаго воздуха, которымъ она дышала, эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, этотъ духъ; откуда взяла она эти приемы, которые *pas de châte* давно бы должны были вытѣснить? Но духъ и приемы эти были тѣ самые, неподражаемые, неизучаемые, русскіе, которыхъ и ждалъ отъ нея дядюшка». (V, 214). Наташа отличалась граціозностью и была «гордостью и лучшей ученицей» Югеля, московскаго учителя танцевъ (V, 39, 40). Танцую съ Денисовымъ мазурку, она «угадывала то, что онъ намѣренъ былъ сдѣлать, и сама не зная какъ, слѣдила за нимъ, отдаваясь ему». (V, 41). Красавица Степанида («Дьяволъ») хорошая плясунья (XII, 145). Маланья («Тихонъ и Маланья») — «день-денской замучается, а домой идетъ,—хороводъ ведетъ»... (III, 306). Маланька Дунаиха «первая хороводница, плясунья, игрица первая на деревнѣ была» (III, 314); «въ покось ли, въ жнитво ли ухватку ссбѣ имѣла, что впереди всѣхъ, бывало, всѣхъ замучаетъ и домой идетъ—пѣсни поетъ, передъ хороводомъ пляшетъ». (III, 315).

---

## Глава XXIV.

### Еще нѣкоторые общіе мотивы творчества Лермонтова и Толстого.

У Толстого встрѣчаемъ еще многіе лермонтовскіе сюжеты и образы.

Онъ, вслѣдъ за Пушкинымъ и Лермонтовымъ, пишетъ про «кавказскаго плѣнника». Кавказъ часто вдохновлялъ Толстого; природа и люди этого края нашли яркое отраженіе въ раннихъ произведеніяхъ великаго писателя; симпатія къ Кавказу не охладѣвала въ немъ съ годами, и на закатѣ своей жизни онъ подарилъ насъ прекрасной повѣстью «Хаджи-Муратъ». Толстой, какъ и Лермонтовъ, съ любовью и уваженіемъ относится къ русскому воину и въ то же время отдаетъ должное ловкости, уму и удалству горцевъ. Боденштедтъ говоритъ: «Пусть назовутъ мнѣ хоть одно изъ множества толстыхъ географическихъ, историческихъ и другихъ сочиненій о Кавказѣ, изъ котораго можно бы живѣе и вѣрнѣе познакомиться съ характеристическою природой этихъ горъ и ихъ населенія, нежели изъ которой-нибудь поэмы Лермонтова, гдѣ мѣсто дѣйствія происходитъ на Кавказѣ»... (Боденштедтъ, 28, 29). Буквально то же самое повторяетъ Марковъ, разбирая «Казаковъ» Толстого: «Я увѣренъ, что никакой этнографическій или географическій очеркъ, никакое описаніе путешествія не могли бы меня живѣе и полнѣе познакомить съ чуждою для меня жизнью и природою, какъ этотъ романъ гр. Толстого». (Покровскій «Л. Н. Толстой». Сборникъ историко-литературныхъ статей. М. 1908 г., 119).

У Лермонтова и Толстого христіанскія воззрѣнія тонко переплетаются съ фатализмомъ. Измаиль-Бей (II, 52) и Хаджи-Абрекъ (II, 100)—«дѣти рока». Наполеонъ—жертва «рока прихоти слѣпой» (I, 268). Къ концу жизни поэтъ часто говоритъ о фатализмѣ. Онъ пишетъ разсказъ «Фаталистъ» (1839 г.), вноситъ въ «Валерикъ» (1840 г.) слѣдующіе стихи:

Мой крестъ несу я безъ роптанья:  
 То иль другое наказанье —  
 Не все-ль одно?.. Я жизнь постигъ.  
 Судьбѣ, какъ турокъ иль татаринъ,  
 За все я равно благодаренъ;  
 У Бога счастья не прошу  
 И молча зло переносу:  
 Быть-можетъ, небеса Востока  
 Меня съ ученьемъ ихъ Пророка  
 Невольно сблизили <sup>1)</sup>. (II, 299, 300).

Здѣсь и душевная усталость, и покорность безстрастному року, и готовность каждую минуту встрѣтить смерть. Фаталистическія нотки звучатъ въ стихотвореніи «Завѣщаніе» (1840 г. — II, 296, 297). Не испытывалъ ли онъ судьбу, бросаясь верхомъ на чеченскіе завалы? Въ бѣлой шапкѣ, на бѣломъ конѣ — онъ представлялъ для горцевъ хорошую мишень... Въ 1841 г., будучи въ крѣпости Георгіевской, Лермонтовъ металъ жребій, чтобы рѣшить: ѣхать ли въ Пятигорскъ или въ отрядъ? Выпалъ жребій ѣхать въ Пятигорскъ <sup>2)</sup>. (См. — Висковатый, 386). Такъ, благодаря случайности, поэтъ пошелъ навстрѣчу смерти. «Что написано

<sup>1)</sup> Во время послѣдняго пребыванія своего въ Петербургѣ Лермонтовъ говорилъ Краевскому: «Я многому научился у азіатовъ, и мнѣ бы хотѣлось проникнуть въ таинства азіатскаго міросозерцанія, зачатки котораго и для самихъ азіатовъ и для насъ еще мало понятны. Но, повѣрь мнѣ, тамъ на Востокѣ тайникъ богатыхъ откровеній». (Висковатый, 368). Еще въ 1837 г. его тянуло въ Мекку, въ Персію. (См. IV, 330).

<sup>2)</sup> Лермонтовъ бросалъ монету,— подобно Вернеру, рѣшавшему, кому стрѣлять прежде: Печорину или Грушницкому? Эта подробность романа случайно стала „роковымъ“ предзнаменованіемъ для поэта.

у челоуѣка на лбу при его рожденіи, того онъ не минуетъ». (IV, 283. — «Ашикъ - Керибъ»).

Въ «Войнѣ и мирѣ» Толстой проводитъ идею рока. Пусть Лермонтовъ видитъ въ Наполеонѣ великаго челоуѣка, а Толстой—ничтожнаго; знаменательно то, что оба, говоря о предопредѣленіи, останавливаются на одной и той же исторической личности.

Въ «Сказкѣ для дѣтей» Лермонтовъ, въ стихахъ несравненной красоты и граціи, описываетъ, какъ «маленькая Нина» мечтаетъ о балахъ, о ловкихъ танцорахъ и о разговорахъ съ ними—то веселыхъ и острыхъ, то небрежныхъ, то милыхъ и нѣжныхъ. Она

Предъ зеркаломъ, бывало, цѣлый часъ  
То волосы пригладить, то красивый  
Цвѣтокъ припилить къ нимъ; движенью глазъ,  
Головкѣ наклоненной видѣ лѣнивы  
Придавъ, стоять... и *учитъ*. (II, 275).

Такъ же очаровательна Наташа Ростова:

«Пока разстанавливались пары и строили музыканты, Пьеръ сѣлъ съ своей маленькой дамой, Наташа была совершенно счастлива: она танцевала съ *большимъ*<sup>1)</sup>, съ *приѣхавшимъ изъ-за границы*<sup>2)</sup>. Она сидѣла на виду у всѣхъ и разговаривала съ нимъ, какъ большая. У нея въ рукѣ былъ вѣеръ, который ей дала поддержать одна барышня. И, принявъ самую свѣтскую позу (*Богъ знаетъ, гдѣ и когда она этому научилась*), она, обмахиваясь вѣеромъ и улыбаясь черезъ вѣеръ, говорила съ своимъ кавалеромъ.

— Какова, какова? Смотрите, смотрите,—сказала старая графиня, проходя черезъ залу и указывая на Наташу.

Наташа покраснѣла и засмѣялась.

— Ну, что вы, мама? Ну, что вамъ за охота? *что же тутъ удивительнаго?*» (IV, 65).

Въ «Сказкѣ для дѣтей» поэтъ говоритъ о томъ, съ какими хлопотами и тревогами сопровождается первый выѣздъ дѣвушки въ свѣтъ:

1) 2) Курсивъ Л. Т.

То былъ великій день: семнадцать лѣтъ!  
 Все, что досель таилось за рѣшеткой,  
 Теперь надменно явится на свѣтъ!  
 Старикъ-отецъ послалъ за старой теткой,  
 И съѣхались родные на совѣтъ.  
 Ихъ затруднилъ удачный выборъ бала;  
 Что, будетъ дворъ иль нѣтъ? — Иныхъ пугала  
 Застѣнчивость дикарки молодой;  
 Но очень тонко замѣчалъ другой,  
 Что это видъ ей дастъ оригинальный.  
 Потомъ нарядъ осматривали бальный.

Но вотъ насталь и вечеръ роковой.  
 Она съ утра была какъ въ лихорадкѣ,  
 Поплакала немножко; золотой  
 Браслетъ сломала; въ суетахъ перчатки  
 Разорвала... Со страхомъ и тоской  
 Она въ карету сѣла, и дорогою  
 Была полна мучительной тревогою;  
 И, выходя, споткнулась на крыльцѣ,  
 И съ блѣдностью печальной на лицѣ  
 Вступила въ залу... Странный шопотъ встрѣтилъ  
 Ея явленье: свѣтъ ее замѣтилъ.

Кипѣлъ, сіялъ ужъ въ полномъ блескѣ балъ.  
 Тутъ было все, что называютъ свѣтомъ... (II, 276).

Едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что эти гениальныя строфы оказали сильное вліяніе на Толстого; его описаніе сборовъ Наташи Ростовой на балъ повторяетъ многія лермонтовскія детали:

*«Уже одна треть гостей пріѣхала на этотъ балъ, а у Ростовыхъ, долженствующихъ быть на этомъ балѣ, еще шли торопливыя приготовленія одѣванія.*

*Много было толковъ и приготовленій для этого бала въ семействѣ Ростовыхъ, много страховъ, что приглашеніе не будетъ получено, платье не будетъ готово и не устроится все такъ, какъ было нужно.*

Вмѣстѣ съ Ростовыми ѣхала на балъ Марья Игнатьевна Перонская, *пріятельница и родственница* графини, худая и желтая фрейлина стараго двора, *руководящая* провинціальныхъ Ростовыхъ въ высшемъ петербургскомъ свѣтѣ.

... Наташа ѣхала на первый большой балъ въ своей жизни. Она въ этотъ день встала въ 8 часовъ утра и цѣлый день находилась въ лихорадочной тревогѣ и дѣятельности». Помогая одѣваться другимъ, Наташа отстала и еще больше волновалась отъ напоминаній о томъ, что пора ѣхать; возникаютъ неожиданныя задержки; платье длинно, его необходимо было подшить. Наташа не сидитъ на мѣстѣ; увидѣвъ вошедшую къ ней мать, она «бросилась впередъ, а дѣвушки, подшивавшія, не успѣвшія за ней броситься, оторвали кусочекъ дымки.

— Боже мой! Что жъ это такое? Я, ей-Богу, не виновата...

— Ничего, заматаю, не видно будетъ,—говорила Дуняша».

«Въ четверть одиннадцатаго, наконецъ, сѣли въ кареты и поѣхали». Дорогой Наташа живо представляла, что ожидаетъ ее на балу: «въ освѣщенныхъ залахъ—музыка, цвѣты, танцы, государь, вся блестящая молодежь Петербурга». Ср. — Лермонтовъ:

*Сіянье, роскошь, музыку, цвѣты,*

*Толпу гостей и шумъ воображала. (II, 275).*

Идя по освѣщенной лѣстницѣ, Наташа, «ничего не видѣла ясно, пульсъ ея забилъ сто разъ въ минуту, и кровь стала стучать у ея сердца». «Наташа смотрѣла въ зеркала и въ отраженіи не могла отличить себя отъ другихъ. Все смѣшивалось въ одну блестящую процессію. При входѣ въ первую залу равномерный гулъ голосовъ, шаговъ, привѣтствій оглушилъ Наташу; *свѣтъ и блескъ еще болѣе ослѣпили ее*. Наташѣ посчастливилось, какъ Нинѣ: *ее замѣтили*. Хозяйка «посмотрѣла на нее, и ей одной особенно улыбнулась въ придачу къ своей хозяйской улыбкѣ. Глядя на нее, хозяйка вспомнила, можетъ-быть, и свое золотое, невозврат-

ное дѣвичье время и свой первый балъ. Хозяинъ тоже проводилъ глазами Наташу и спросилъ у графа, которая его дочь.

— Charmante! — сказалъ онъ, поцѣловавъ кончики своихъ пальцевъ.

Въ залѣ стояли гости, тѣснясь у входной двери, ожидая государя. Графиня помѣстилась въ первыхъ рядахъ этой толпы. *Наташа слышала и чувствовала, что нѣсколько голосовъ спросили про нее и смотрѣли на нее.* Она поняла, что она понравилась тѣмъ, которые обратили на нее вниманіе, и это наблюденіе нѣсколько успокоило ее. (V, 156—160).

По мнѣнію Авсѣенка, Анна Каренина имѣетъ ближайшее сродство съ Вѣрой изъ «Героя нашего времени». (Зелинскій. «Русская критическая литература о произведеніяхъ Л. Н. Толстого». М. 1902 г., VIII, 178; ср.—47).

Тамара своей чистой любовью хотѣла спасти Демона. Такъ Лиза Еропкина мечтала «обратить Махина или, скорѣе, какъ она говорила это себѣ, вернуть къ себѣ, къ своей доброй, прекрасной натурѣ. Она любила его, и при свѣтѣ своей любви ей открывалось божественное его души, общее всѣмъ людямъ, но она видѣла въ этомъ общемъ всѣмъ людямъ началѣ жизни его, ему одному свойственную доброту, нѣжность, высоту». («Фальшивый купонъ». XII, 210).

Лермонтовъ неоднократно писалъ о *вѣщихъ снахъ*. «Странная вещь эти сны!» говоритъ онъ М. А. Лопухиной въ письмѣ. «Другая сторона жизни, и часто лучшая, нежели дѣйствительная жизнь». (IV, 393). Въ «Испанцахъ» Эмилія рассказываетъ Фернандо:

Вчера я видѣла во снѣ, что ты  
 Меня хотѣлъ зарѣзать... (III, 18).

Сонъ этотъ сбился. Въ «Испанцахъ» же Ноэми подробно описываетъ Саррѣ свой страшный сонъ: ей снилось, что къ ней явился челоуѣкъ, обрызганный кровью, и сказалъ, что онъ ея братъ, но христіанинъ; затѣмъ онъ скрылся, оставивъ въ ея рукахъ плащъ, оказавшійся саваномъ. (III,

30—32). И этот сонъ былъ вѣщимъ. Въ другомъ письмѣ къ М. А. Лопухиной поэтъ передаетъ слѣдующее: «Нужно непременно разказать вамъ довольно странный случай: въ субботу, передъ тѣмъ какъ проснуться, я вижу во снѣ, будто я у васъ; вы сидите на большомъ диванѣ въ гостиной; я подхожу и спрашиваю, не хотите-ли вы, чтобы я окончательно, съ вами поссорился; а вы, вмѣсто отвѣта, протянули мнѣ руку.—Вечеромъ насъ распустили; прихожу къ нашимъ, и мнѣ подають ваши письма. Это меня поразило! Хотѣлось бы мнѣ знать, что съ вами было въ этотъ день?» (IV, 396). Сны, вообще, производили сильное впечатлѣніе на поэта; напр., восьмилѣтнимъ ребенкомъ онъ видѣлъ сонъ, запечатлѣвшійся въ его памяти надолго, если не навсегда; онъ упоминаетъ о немъ восемь лѣтъ спустя—въ черновыхъ замѣткахъ (IV, 350), въ стихотвореніи «Булеваръ». (I, 148). Въ вѣщемъ стихотвореніи «Сонъ» Лермонтовъ предрекъ свою трагическую гибель. Какъ мы видимъ, этотъ сонъ самого поэта, сны Эмилиі и Ноэми предвѣщаютъ *смерть*; о подобныхъ снахъ говорить и Левъ Толстой. Аксеновъ уѣзжалъ изъ дома, а жена говоритъ ему: «Иванъ Дмитріевичъ, не ѣзди ты нынче, я про тебя дурно во снѣ видѣла». Мужъ посмѣялся. (XIV, 76). Когда онъ, обвиненный въ убійствѣ, сидѣлъ въ острогѣ, жена сказала ему при свиданіи: «Не даромъ я тогда, помнишь, видѣла сонъ, что ты сѣдъ сталъ. Вотъ ужъ и вправду ты съ горя посѣдѣлъ». (XIV, 77). Въ разказѣ «Много ли человѣку земли нужно» описывается вѣщій сонъ Пахома; Пахомъ во снѣ увидѣлъ себя мертвымъ. На другой день онъ умеръ; передъ смертью онъ вспомнилъ про свой страшный сонъ. (XVI, 101, 104). Люди издавна вѣрятъ въ вѣщіе сны; объ этомъ свидѣтельствуютъ, на примѣръ, эпосы всѣхъ народовъ, Ветхій Заветъ; вѣщіе сны, обыкновенно, предвѣщаютъ несчастіе; вспомнимъ библейскіе сны фараона, сны Уты и Кримгильды въ «Пѣснѣ о Нибелунгахъ», Карла Великаго въ «Пѣснѣ о Роландѣ», Святослава въ «Словѣ о полку Игоревѣ» и др.<sup>1)</sup>; не лишнимъ будетъ остано-

<sup>1)</sup> Ср. Пушкинъ: сонъ Григорія въ „Борисъ Годуновъ“, сонъ Гатьяны Лариной.

виться на пѣснѣ терскихъ казаковъ, пѣвшея, вѣроятно, и при Лермонтовѣ; она пѣкоторыми подробностями напоминаетъ его стихотвореніе «Сонъ»; приводимъ наиболѣе характерное:

Охъ, не отстать-то тоскѣ - кручинушкѣ

Отъ сердечушка моего.

Какъ сегодняшнюю темную ноченьку

Мнѣ мало спалось,—

Мнѣ мало спалось, на бѣлой зарѣ много

Во снѣ видѣлось.

Во снѣ видѣлось: охъ, будто-бъ я, удалъ-добрый молодецъ,

Убитой на дикой степѣ лежу...

Ретивое мое сердечушко прострѣленное...

(«Терскій Сборникъ»; приложение къ «Терскому Календарю» на 1891 г. Владикавказъ. 1890 г. Отд. II, 138—139).

Андрею Болконскому передъ кончиной снилось, будто онъ одинъ находится въ комнатѣ, и «что-то нечеловѣческое—смерть—ломится въ дверь, и надо удержать ее. Онъ ухватывается за дверь, напрягаетъ послѣднія усилія — запереть уже нельзя — хоть удержать ее; но силы его слабы, пеловки, и надавливаемая ужаснымъ дверь отворяется и опять затворяется.

Еще разъ оно надавило оттуда. Послѣднія сверхъестественныя усилія тщетны, и обѣ половинки отворились беззвучно. Оно<sup>1)</sup> вошло, и оно есть *смерть*<sup>2)</sup>. И князь Андрей умеръ.

Но въ то же мгновеніе, какъ онъ умеръ, князь Андрей вспомнилъ, что онъ спитъ, и въ то же мгновеніе, какъ онъ умеръ, онъ, сдѣлавъ надъ собою усиліе, проснулся». (VII, 52 — 53).

Анна Каренина передъ смертью не разъ видѣла одинъ и тотъ же сонъ. «Утромъ страшный кошмаръ, нѣсколько разъ повторявшійся ей въ сновидѣніяхъ еще до связи съ Вронскимъ, представился ей опять и разбудилъ ее. Старичокъ съ взлохмаченною бородой что-то дѣлалъ, нагнувшись надъ

1) 2) Курсивъ Л. Г.

желѣзомъ, приговаривая безмысленныя французскія слова, и она, какъ и всегда при этомъ кошмарѣ (что и составляло его ужасъ), чувствовала, что мужичокъ этотъ не обращаетъ на нее вниманія, но дѣлаетъ это какое-то страшное дѣло въ желѣзѣ надъ нею. И она проснулась въ холодномъ поту». (IX, 269). Поѣхавъ за Вронскимъ, Анна изъ окна вагона мелькомъ видѣла, какъ «испачканный уродливый мужикъ въ фуражкѣ, изъ-подъ которой торчали спутанные волосы, прошелъ мимо этого окна, нагибаясь къ колесамъ вагона. «Что-то знакомое въ этомъ безобразномъ мужикѣ», подумала Анна. И, вспомнивъ свой сонъ, она, дрожа отъ страха, отошла къ противоположной двери. Кондукторъ отворялъ дверь, впуская мужа съ женой.

— Вамъ выйти угодно?

Анна не отвѣчала. Кондукторъ и входившіе не замѣтили подъ вуалью ужаса на ея лицѣ». (IX, 280). Тяжелыя предчувствія Карениной сбылись: въ этотъ же вечеръ она бросилась подъ поѣздъ, и когда неумолимыя колеса тащили ее по землѣ, ей чудилось, пока работало сознание, что «мужичокъ, приговаривая что-то, работалъ надъ желѣзомъ». (IX, 282).

Передъ тѣмъ, какъ умереть дядѣ Оедору (въ разсказѣ «Три смерти»), кухарка Настасья видитъ вѣщій сонъ. (III, 168).

Такъ таинственно переплетаются между собою жизнь, сонъ и смерть.

Идеи и образы стихотворенія «Выхожу одинъ я на дорогу» часто встрѣчаемъ у Толстого. Въ «Двухъ гусарахъ» описывается, какія чувства вызывала тихая весенняя ночь у молодого графа; она ему «приносила свои миротворные дары какой-то успокоительной грусти и потребности любви... *«Боже, какая ночь! какая чудная ночь!»*—думаетъ графъ, вдыхая въ себя пахучую свѣжесть сада.—Чего-то жалко. *«Какъ будто недоволенъ и собой, и другими, и всю жизнь недоволенъ»*. (III, 122). Старый дубъ навѣваетъ князю Андрею печальныя мысли о томъ, что весна, любовь, счастье—«глупый

и безсмысленный обманъ»<sup>1)</sup>, что начинать ничего «не надо, что онъ долженъ доживать свою жизнь, не дѣлая зла, не тревожась и ничего не желая»<sup>2)</sup>. (V, 124). Въ письмѣ Толстого отъ 1903 г. находимъ слѣдующія интересныя строки: «*Чувство усталости и даже желанія смерти мы всѣ испытываемъ и я испытывалъ много разъ* — не тогда, когда освободился отъ временныхъ страстей,—желаній, а напротивъ, когда поработенъ ими и не получаешь удовлетворенія. Мало того, когда просто нездоровится, болитъ животъ, зубы, ревматизмы,—*не видишь жизни и часто думается, какъ бы заснуть совсѣмъ, заснуть навсегда*». (Письма Л. Н. Толстого. II. Собранныя и редактированныя П. А. Сергѣенко. 1911 г., № 465). Лермонтовъ говоритъ:

Въ небесахъ торжественно и чудно! (II, 347).

Раненый Андрей Болконскій глядитъ въ небо и думаетъ: «Какъ тихо! спокойно и *торжественно*, совсѣмъ не такъ, какъ я бѣжалъ». (IV, 267).

Лермонтовъ:

И звѣзда съ звѣздою говоритъ. (II, 347).

Толстой: «Звѣзды, какъ будто зная, что теперь никто не увидитъ ихъ, *разыгрались* въ черномъ небѣ. То вспыхивая, то потухая, то вздрагивая, онѣ хлопотливо о чемъ-то *радостномъ*<sup>3)</sup>, но таинственномъ *перешептывались между собой*». (VII, 160).

Лермонтовъ:

Надо мной чтобъ, вѣчно зеленя,  
Темный дубъ склонялся и шумѣлъ. (II, 348).

---

<sup>1)</sup> Ср. Лермонтовъ: „И жизнь, какъ посмотришь съ холоднымъ вниманьемъ вокругъ,—

Такая пустая и глупая шутка!..“ (II, 287).

<sup>2)</sup> Ср. Лермонтовъ: „Желанья!... что пользы напрасно и вѣчно желать?...“ (II, 286).

<sup>3)</sup> Ср. Лермонтовъ: „И звѣзды слушаютъ меня,  
Лучами *радостно играя*“. (II, 347).

Или:

Корнистый дубъ...

...разстилаль...

*Шатеръ* чернѣющихъ вѣтвей. (II, 130).

Толстой: «Старый дубъ, весь преобразенный, раскинувшись *шатромъ* сочной, темной зелени, млѣлъ, чуть колыхаясь».. (V, 127).

Лермонтовскій пророкъ, гонимый за проповѣди о правдѣ, въ пустынѣ находилъ надежное и радостное убѣжище. Толстой, задолго до своего бѣгства изъ Ясной Поляны, мечталъ о жизни уединенной, далекой отъ мірскихъ золъ и суеты. Напримѣръ, еще въ 1897 г., въ письмѣ къ графинѣ С. А. Толстой, обнаруженномъ лишь послѣ смерти великаго писателя, онъ говоритъ: «Главное же то, что, какъ Индусы подь 60 лѣтъ уходятъ въ лѣса, какъ всякому старому религиозному челоуѣку хочется послѣдніе годы своей жизни посвятить Богу, а не шуткамъ, каламбурамъ, сплетнямъ, тенису, такъ и мнѣ, вступая въ свой 70-ый годъ, всѣми силами души хочется этого спокойствія, уединенія и хоть не единичнаго согласія, но не кричащаго разногласія своей жизни съ своими вѣрованіями, съ своей совѣстью». (Письма Л. Н. Т., II, № 443). Марія Болконская мечтала о страннической жизни. Царь Ассархадонъ, бросивъ тронъ, удалился въ пустыню, а потомъ «сталъ ходить въ видѣ странника по городамъ и селамъ, собирая подаянія и проповѣдуя людуямъ, что жизнь одна и что люди дѣлають зло только себѣ, когда хотять дѣлать зло другимъ». (XVI, 140).

Демонъ говоритъ:

Что люди? Что ихъ жизнь и трудъ?

Они прошли, они пройдутъ! (II, 372).

Левинъ смотритъ на молотьбу; замѣтивъ въ числѣ работающихъ старуху Матрену, онъ думаетъ: «Не нынче-завтра, черезъ десять лѣтъ ее закопають, и ничего не останется ни отъ нея, ни отъ этой щеголихи въ красной понеуѣ, которая такимъ ловкимъ, нѣжнымъ движеніемъ отбиваетъ

изъ мякины колосъ... И главное—не только ихъ, но меня закопають, и ничего не останется. Къ чему?» (IX, 303).

Толстой, вслѣдъ за Пушкинымъ и Лермонтовымъ, протестуетъ противъ дуэли. Описывая дуэль Пьера съ Долоховымъ, онъ клеймитъ ее, какъ зло, нелѣпое по существу и угрожающее человѣческой жизни. (V, 19—22). Пушкинъ, порицавшій дуэль (въ «Евгеніи Онѣгинѣ», «Капитанской дочкѣ», «Выстрѣлѣ»), погибъ на дуэли; Лермонтовъ, осуждавшій ее въ драмѣ «Menschen und Leidenschaften», въ «Героѣ нашего времени»,—дважды дрался на дуэли и былъ убитъ во второмъ поединкѣ. Эта страшная, роковая двойственность сказалась и въ Толстомъ, и въ Тургеневѣ. Толстой трижды едва не выступилъ на дуэли. Въ «Исповѣди», говоря о 55—6 гг., онъ замѣчаетъ, что убивалъ людей на войнѣ, вызывалъ на *дуэли*. Сергѣенко заинтересовался, что это за дуэль, если извѣстный эпизодъ съ Тургеневымъ относится къ болѣе позднему времени. Онъ обратился къ Толстому, и тотъ разсказалъ слѣдующее. М. Лонгиновъ въ письмѣ къ Некрасову высказалъ рѣзкое мнѣніе о недостаточномъ свободомысліи Толстого; Некрасовъ не скрылъ этого отъ Толстого, и тотъ послалъ Лонгинову письмо съ вызовомъ на дуэль. На другой день къ Толстому пріѣхалъ Некрасовъ, очень взволнованный. «Если вы не возьмете вашего вызова Лонгинову назадъ,—сказалъ Некрасовъ,—то вы и со мной должны будете стрѣляться. Я—виновникъ всей этой каши и долженъ нести за нее отвѣтственность.

«Но Толстой вызова своего назадъ не взялъ. Напротивъ, будучи въ тотъ же день на какомъ-то собраніи, гдѣ присутствовалъ и Лонгиновъ, нѣсколько разъ проходилъ мимо него à la Лермонтовъ,—съ вызывающимъ, мрачнымъ видомъ. Лонгиновъ, однако, ничего не отвѣтилъ. И все свелось на нѣтъ, нисколько не омрачивши дружелюбныхъ отношеній между Толстымъ и Некрасовымъ». (П. А. Сергѣенко. «Л. Н. Т. и его современники».—«Л. Н. Т. Біографія, характеристики, воспоминанія». Сборникъ статей. М. 1910 г., 135—136). Ссора съ Тургеневымъ произошла въ 1861 г.; писатели на-

ходились въ гостяхъ у Фета; Толстой, со свойственной ему въ ту пору горячностью и рѣзкостью въ спорахъ, высказалъ неодобрительное мнѣніе о системѣ воспитанія, принимаемой Тургеневымъ къ своей дочери. Это больно задѣло Тургенева, и онъ отвѣтилъ тоже въ очень рѣзкой формѣ. (См. Фетъ. «Мои воспоминанія». М. 1890 г., I, 370—371; Бирюковъ, «Л. Н. Т.», I, 418—419). Вслѣдъ за этимъ Толстой вызвалъ Тургенева на поединокъ (см. Фетъ, I, 373; П. В. Анненковъ, «Литературныя Воспоминанія», СПБ., 1909 г., 544; Бирюковъ, I, 419). Тургеневъ послалъ ему извиненіе (Анненковъ, 544), но отъ дуэли не отказывался (Фетъ, I, 373—374). Толстой сейчасъ же драться не пожелалъ, чтобы не поднять скандала, не стать предметомъ праздныхъ разговоровъ (Анненковъ, 544); дуэль разстроилась сама собой. Однако, ей чуть не суждено было состояться: «вѣрные люди» сообщили Тургеневу, что Толстой распространяетъ слухи о его трусости; возмущенный этимъ, Тургеневъ послалъ Толстому вызовъ (Фетъ, I, 381; Анненковъ, 543). Толстой отвѣтилъ, что это «чистая выдумка», просилъ извиненія и не принялъ вызова (Фетъ, I, 381; см. еще—Анненковъ, 544—547). Примиреніе произошло въ 1878 г.

Въ разсказѣ «Три смерти», описывая весенній солнечный день, авторъ замѣчаетъ: «Радостно, молодо было *и на небѣ, и на землѣ, и въ сердцѣ чловѣка*». (III, 168). Это напоминаетъ слова Лермонтова: «Тихо было все *на небѣ и на землѣ, какъ въ сердцѣ чловѣка* въ минуту утренней молитвы». (Л., IV, 172).

Лермонтовъ говоритъ:

*А годы проходятъ—всѣ лучшіе годы!* (II, 286).

Ср. слова Наташи Ростовской: «Такъ, даромъ, ни для кого, *проходятъ лучшіе, лучшіе годы*». (VI, 60).

У Лермонтова сосна

*снѣгомъ сыпучимъ*

Одѣта, какъ *ризой...* (II, 289).

У Толстого: «Старыя кудрявыя березы сада, обвисшія всѣми вѣтвями отъ *снѣга*, казалось, были разубраны<sup>1)</sup> въ новыя, торжественныя *ризмы*». (VIII, 28).

Лермонтовъ называетъ ковыль «*серебрянымъ*» (I, 259, 304), Толстой—«*серебристымъ*» (X, 185—186).

Измаила-Бея

Подобно *тучь*,

Встрѣчаетъ крайняя гора. (II, 30).

Печоринъ, употребляя стихъ Пушкина, говоритъ, что «пятиглавый Бѣшту снѣжетъ, какъ «последняя *туча* разсѣянной бури». (IV, 204). Бутлеру весело смотрѣть «на матовую цѣпь снѣговыхъ горъ, какъ всегда, старавшихся *притвориться облаками*». (XII, 60). Оленинъ, глядя впервые на горы, до половины застланныя облаками, «подумалъ, что *горы и облака имѣютъ совершенно одинаковый видъ*». (II, 36). Ср. еще у Лермонтова: «Золотыя *облака* громоздись на горахъ, какъ *новый рядъ воздушныхъ горъ*». (IV, 188).

Лермонтовъ сравниваетъ кавказскія горы съ гигантскими *шапками*; напримѣръ, Казбекъ—«*шапку* на брови надвинулъ» (II, 340); Машукъ—«мохнатая персидская *шапка*». (IV, 204). Толстой: «Одна снѣговая гора выше другихъ *шапкой* стоитъ». (XIV, 96).

У Лермонтова: горные хребты

*Невѣрны, странны, какъ мечты,*

*То разойдутся, то сольются...* (II, 29, 30).

*Причудливыя какъ мечты.* (II, 313).

У него—

Казбекъ, какъ *грань алмаза,*

Снѣгами вѣчными сіялъ. (II, 352).

Мцыри видѣлъ

Въ снѣгахъ, горящихъ какъ *алмазъ,*

Сѣдой, незыблемый Кавказъ. (II, 313).

---

<sup>1)</sup> Ср. Фетъ: Печальная береза  
У моего окна,  
И прихотью мороза  
Разубрана она.

У Толстого: «Вѣчно прелестныя, вѣчно измѣняющіяся, играющія свѣтомъ, какъ алмазы, снѣговыя горы». (XII, 57).

Лермонтовъ и Толстой говорятъ о «книгѣ жизни».

Лермонтовъ:

Ты молода лѣтами и душою,  
Въ огромной книгѣ жизни ты прочла  
Одинъ заглавный листъ. (III, 227).

«Я вступилъ въ эту жизнь, переживъ ее уже мысленно, и мнѣ стало скучно и гадко, какъ тому, кто читаетъ дурное подражаніе давно ему извѣстной книгѣ». (IV, 273).

Ср. еще:

Когда бы могъ весь свѣтъ узнать,  
Что жизнь, съ надеждами, мечтами,  
Не что иное, какъ тетрадь  
Съ давно извѣстными стихами! (I, 138).

Толстой объ Аннѣ Карениной: «И свѣча, при которой она читала исполненную тревогъ, обмановъ, горя и зла книгу,—вспыхнула болѣе яркимъ, чѣмъ когда-нибудь, свѣтомъ, освѣтила ей все то, что прежде было во мракѣ, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла». (IX, 282).

Ср. Плещеевъ:

И въ книгѣ прошлаго съ стыдомъ читаю я  
Погибшей безъ слѣда, бесплодной жизни повѣсть.  
(„О, еслибъ знали вы, друзья моей весны.“) <sup>1)</sup>

Два особенно интересныхъ мотива—о судѣ и Ангелѣ Смерти—требуютъ болѣе подробнаго разсмотрѣнія.

---

<sup>1)</sup> Ср. Пушкинъ. „Воспоминаніе“ („Когда для смертнаго умолкнетъ шумный день“...). Майковъ. „Куда бъ ни шелъ шумящій міръ“.

## Глава XXV.

### Судъ.

Судъ человѣческій, по мнѣнію Лермонтова и Толстого, далеко не всегда справедливъ, онъ застылъ въ мертвыхъ формахъ и не можетъ разобраться въ сложныхъ движеніяхъ живыхъ, мятежныхъ душъ.

Лермонтовъ говорилъ, что въ его душѣ было «врожденное чувство»—«защищать всякаго невинно-осужденнаго». (Л., V., стр. LXVIII).

Вотъ судятъ Арсенія:

*Грозный судъ, послѣдній судъ  
Произнесетъ отецъ святой  
Надъ бѣдной, грѣшной головой!* (II, 117).

Въ чемъ вина Арсенія? Онъ,—

найденышъ безъ креста,  
Презрѣнный рабъ и сирота (II, 122),—

осмѣлился полюбить дочь боярина и тайкомъ бывать въ ея свѣтлицѣ. Игумень находитъ, что такого грѣха

*Простить не можетъ судъ земной.* (II, 120).

Подсудимый протестуетъ и въ свою защиту произноситъ пылкія рѣчи:

*Если-бъ могъ я эту грудь  
Передъ тобою развернуть,  
Ты, вѣрно, не прочелъ бы въ ней,  
Что я безсовѣстный злодѣй!*

Пусть монастырскій вашъ законъ  
Рукою Бога утверждень,  
*Но въ этомъ сердцѣ есть другой,*  
*Ему не меньше святой:*  
Онъ оправдалъ меня—одинъ  
Онъ сердца полный властелинъ!...  
...И подъ одеждою раба,  
Но полный жизнью молодой,  
*Я человѣкъ, какъ и другой.* (II, 121).

Игуменъ съ фарисейскимъ лицемѣремъ говоритъ:

Въ небѣ есть Судья иной;  
Онъ милосердъ,—Ему теперь  
При насъ дѣла свои повѣры! (II, 120).

Арсеній отвѣчаетъ:

Напрасный труды!  
Не говори, что Божій судъ  
Опредѣляетъ мнѣ конецъ:  
*Все люди, люди, мой отецъ!* (II, 125).

Но каменное сердце судей не могутъ тронуть горячія,  
искреннія рѣчи Арсенія,

И слово „пытка“ тамъ и тамъ  
Вмигъ пробѣжало по устамъ. (II, 126).

Поэтъ намѣренно избираетъ судьями героя—лицъ духовныхъ: этимъ онъ еще рѣзче подчеркиваетъ жестокость, неумолимость человѣческаго суда, устава котораго расходятся съ принципами возвышенной, гуманной христіанской религіи и непримѣнимы къ многообразнымъ явленіямъ жизни.

Значительная часть поэмы «Бояринъ Орша» является переработкой болѣе ранней поэмы «Исповѣдь»; въ этой послѣдней встрѣчаемъ еще нѣкоторыя цѣнныя мысли, не внесенныя въ позднѣйшую редакцію. Напримѣръ:

Главу склоня, въ темницѣ той  
Сидѣль отшельникъ молодой,  
Испанецъ родомъ и душой.  
Таковъ былъ рокъ! Зачѣмъ, за что?  
Не зналъ и знать не могъ никто.  
Но въ преступленьи обвинень,  
*Онъ оправданья не искалъ;*  
*Онъ зналъ людей и зналъ законъ,—*  
*И ничего отъ нихъ не ждалъ.* (I, 219).

Заключенный говоритъ старику:

И могъ-ли я во цвѣтъ лѣтъ,  
Какъ вы, душой оставить свѣтъ  
И жить, не вѣдая страстей,  
Подъ солнцемъ родины моей?  
Ты позабылъ, что сѣдина  
Межь этихъ кудрей не видна,  
Что пламень въ сердцѣ молодомъ  
Не остудишь мольбой, постомъ. (I, 222).

Разлука съ любимой дѣвушкой, темничная жизнь—невыносимы юному узнику, и онъ проситъ:

Поди, бѣги, зови скорѣй  
Окровавленныхъ палачей...  
*Судить и медлить вамъ на что?*  
Она не тутъ,—и все ничто!  
Прощай, старикъ; вотъ казни часъ!...  
За нихъ молись. *Въ послѣдній разъ*  
*Клянусь тебѣ передъ Творцомъ,*  
*Что не виновенъ я ни въ чемъ.* (I, 223, 224).

Но какое дѣло суровымъ монахамъ до страданій или заблужденій молодой души? Они безъ колебаній произнесутъ смертный приговоръ...

Жертвой жестокаго человѣческаго суда гибнетъ и купецъ Калашниковъ. Передъ кулачнымъ боемъ народу было объявлено:

*Кто побьетъ кого, того царь наградить,  
А кто будетъ побить, тому Богъ простить!* (II, 225).

Калашниковъ вышелъ биться не ради потѣхи, не ради мести, а для восстановленія чести семьи, вышелъ отстоять «святую правду-матушку» (II, 223). Правда восторжествовала; однако... коварному царю ничего не стоило не исполнить данного слова, и пошелъ Калашниковъ на лобное мѣсто.

Но поэтъ вѣрить, что правый судъ есть,—если не на землѣ, то на небѣ:

Есть, есть Божій судъ, наперсники разврата!  
Есть грозный судъ: онъ ждетъ,  
Онъ недоступенъ звону злата,  
И мысли и дѣла онъ знаетъ напередъ. (II, 204).

Пусть тотъ судъ будетъ грозенъ; зато онъ справедливъ, нелицеприятенъ; это

правый судъ:

*Простить онъ можетъ, хоть осудить!* (II, 372).

Творецъ всеблагъ; проклявъ Демона, Онъ не лишаетъ его возможности вернуться въ эдемъ; Демонъ знаетъ это; онъ говоритъ Тамарѣ:

Меня добру и небесамъ  
Ты возвратить могла бы словомъ;  
Твоей любви святымъ покровомъ  
Одѣтый, я предсталъ бы тамъ,  
Какъ новый ангель, въ блескѣ новомъ. (II, 368, 369).

Тамара согрѣшила; Демонъ является за ея душой, но свѣтлый ангель говоритъ:

Довольно ты торжествовалъ;  
*Но часъ суда теперь насталъ,  
И благо Божіе рѣшенье!*  
*...Цѣной жестокой искупила  
Она сомнѣнія свои...*

*Она страдала, и любила,—  
И рай открылся для любви!* (II, 380, 381).

Идея о правомъ Божіемъ судѣ не разъ мелькаетъ въ «Маскарадѣ». Арбенинъ сознаетъ, преступность своей прошлой и настоящей жизни, и правоту Божьяго суда. Напр.:

*Богъ справедливъ!* и я теперь едва-ли  
Не осужденъ нести печали  
За всѣ грѣхи минувшихъ дней. (III, 225).

Онъ говоритъ умирающей Нинѣ:

И тайной для людей останется кончина  
Твоя, и насъ разсудитъ только Божій судъ. (III, 273).

Но онъ сатанински гордъ и мстителенъ и въ монологѣ произноситъ кощунственные слова:

Ты, Богъ незримый,  
Но Богъ всевидящій! возьми ее, возьми!  
Какъ свой залогъ Тебѣ ее вручаю...  
Прости ее, благослови;  
*Но я не Богъ,—и не прощаю...* (III, 265).

Къ защитѣ небеснаго суда прибѣгаетъ бѣдная Нина:

Творецъ Небесный, пошادي!  
Не слышитъ онъ, но Ты все слышишь, Ты все знаешь  
И Ты меня, Всесильный, оправдаешь!.. (III, 272).

Она говоритъ мужу о Богѣ:

Ему я предаю страдальческую душу:  
Онъ—твой судья—защитникъ будетъ мой. (III, 273).  
Помни: есть небесный судъ... (III, 274).

Ея послѣднія слова:

Я все-жь  
Невинна передъ Богомъ... (III, 274).

Самъ поэтъ, обращаясь къ любимой женщинѣ, говоритъ:

*Предъ судомъ толпы лукавой  
Скажи, что судитъ насъ Иной,  
И что прощать святое право  
Страданьемъ куплено тобой.* (II, 331).

Аналогичныя идеи положены Толстымъ въ основу его произведеній—«Богъ правду видитъ, да не скоро скажетъ»<sup>1)</sup>, «Воскресеніе», «Живой трупъ»<sup>2)</sup>; Толстой тоже указываетъ на то, что сложная жизнь человѣка—одно, а судъ—совершенно другое. Федя Протасовъ говоритъ судебному слѣдователю:

«Ахъ, господинъ слѣдователь, какъ вамъ не стыдно?! Ну что вы лѣзете въ чужую жизнь? Рады, что имѣете власть, и, чтобы показать ее, мучаете не физически, а нравственно людей, которые въ тысячу разъ лучше васъ.

*Суд. слѣд.* Прошу васъ...

*Федя.* Нечего просить. Я скажу все, что думаю. (Письмоводителю.) А вы пишите. *По крайней мѣрѣ, въ первый разъ будутъ въ протоколъ разумныя человѣческія рѣчи.* (Возвышаетъ голосъ.) Живутъ три человѣка: я, онъ, она. Между ними *сложныя отношенія*—борьба добра со зломъ, *такая духовная борьба, о которой вы понятія не имѣете.* Борьба эта кончается извѣстнымъ положеніемъ, которое все развязываетъ. Всѣ успокоены. Они счастливы,—любятъ память обо мнѣ. Я въ своемъ паденіи счастливъ тѣмъ, что я сдѣлалъ, что должно, что я, негодный, ушелъ изъ жизни, чтобы не мѣшать тѣмъ, кто полонъ жизни и хороши. И мы всѣ живемъ. Вдругъ является *негодяй, шантажистъ*, который требуетъ отъ меня участія въ шантажѣ. *Я прогоняю его. Онъ идетъ къ вамъ, къ борцу за правосудіе, къ охранителю нравственности.* И вы, получая 20-го числа по двугривенному за пакость, *надѣваете мундиръ и съ легкимъ духомъ*

<sup>1)</sup> Вариантъ этого разсказа есть въ „Войнѣ и мирѣ“ (см. VII, 127, 128).

<sup>2)</sup> См. еще—XII, 125, 178.

*куражитесь надъ ними, надъ людьми, которыхъ вы мизинца не стоите, которые васъ къ себѣ въ переднюю не пустятъ. Но вы добрались и рады»...* (XX, 172).

Толстой указываетъ на то, что судъ человѣческой пристрастенъ, неумолимо-суровъ, что приговоры нерѣдко основываются на случайности или лжи, что судьи—люди со слабостями, часто стоящіе не на высотѣ положенія, что жертвой ихъ формализма и духовной близорукости являются люди, достойные если не оправданія, то сожалѣнія.

Пьеръ Безуховъ, котораго судилъ французскій военный судъ, «испыталъ то же, что *во всѣхъ судахъ* испытываетъ подсудимый: недоумѣніе, для чего дѣлали ему всѣ эти вопросы. Ему чувствовалось, что только изъ снисходительности или какъ бы изъ учтивости употреблялась эта уловка подставляемаго желобка. Онъ зналъ, что находился во власти этихъ людей, что только власть привела его сюда, что только власть давала имъ право требовать отвѣты на вопросы, что *единственная цѣль этого собранія состояла въ томъ, чтобы обвинить его*». (VII, 29). «Иванъ Ильичъ никогда не злоупотреблялъ этою своею властью, напротивъ, старался смягчать выраженія ея; но сознаніе этой власти и возможность смягчать ее составляли для него главный интересъ и привлекательность его новой службы». (X, 11—12). Платонъ Каратаевъ говоритъ: «*Гдѣ судъ, тамъ и неправда... Не нашимъ умомъ, а Божьимъ судомъ*». (VII, 38). Онъ безъ конца рассказываетъ одну и ту же трогательную исторію о невинно-осужденномъ купцѣ. (VII, 126—128).

На героѣ поэмы «Исповѣдь» и на Калашниковѣ—*нѣтъ вины, а ихъ, полныхъ молодыхъ и благородныхъ силъ, казнятъ*. Федя Протасовъ, чтобы спасти Лизу отъ позора и несчастія, стрѣляется; умирая, онъ говоритъ ей: «Прости меня, что не могъ... *иначе распутать тебя*»... (XX, 176). См. еще—«Дѣтская мудрость»:—«О судѣ гражданскомъ», «О судѣ уголовномъ».

Толстой на дѣлѣ испыталъ, что такое судъ. Однажды (въ 1866 г.) онъ выступилъ въ качествѣ защитника; под-

судимымъ былъ рядовой Шибунинъ, ударившій по лицу ротнаго командира; его не удалось спасти; солдата разстрѣляли, и Толстой всю жизнь не могъ забыть этого эпизода. Много лѣтъ спустя, онъ говорилъ: «Да, ужасно возмутительно мнѣ было перечестъ теперь<sup>1)</sup> эту напечатанную у васъ<sup>2)</sup> мою жалкую, отвратительную защитительную рѣчь. Говоря о самомъ явномъ преступленіи всѣхъ законовъ божескихъ и человѣческихъ, которое одни люди готовились совершить надъ своимъ братомъ, я ничего не нашелъ лучшаго, какъ сослаться на *такія-то, къ-мъ-то написанныя, глупыя слова, называемыя законами*. (Бирюковъ, II, 98—99). Въ 1872 г. произошло другое событіе,—менѣе значительное, но вызвавшее цѣлую бурю въ душѣ Толстого. «Быкъ забодалъ на смерть одного изъ его работниковъ. Было возбуждено судебное слѣдствіе, и Л. Н.—чъ былъ привлеченъ къ отвѣтственности. Дѣло это, въ которомъ Л. Н.—чъ юридически былъ только весьма отдаленной причиною, доставило Л. Н.—чу много душевныхъ страданій». (Бирюковъ, 236). Молодой судебный слѣдователь взялъ съ него подписку о невыѣздѣ; въ то же время Толстой, назначенный присяжнымъ, былъ оштрафованъ за неявку. «Страшно подумать», писалъ онъ графинѣ А. А. Толстой, «страшно вспомнить о всѣхъ мерзостяхъ, которыя мнѣ дѣлали, дѣлаютъ и будутъ дѣлать. Съ сѣдой бородой, съ шестью дѣтьми и съ сознаніемъ полезной и трудовой жизни, съ твердой увѣренностью, что я не могу быть виновнымъ, съ презрѣніемъ, котораго я не могу не имѣть къ новымъ судамъ, сколько я ихъ видѣлъ, съ однимъ желаніемъ, чтобы меня оставили въ покоѣ, какъ я всѣхъ оставляю въ покоѣ. Невыносимо жить въ Россіи<sup>3)</sup>—со страхомъ, что каждый мальчикъ, которому лицо мое не понравилось, можетъ заставить меня сидѣть на лавкѣ передъ судомъ, а потомъ въ острогѣ»... (Письма Л. Н. Т., 1910 г.,

1) Въ 1908 г.

2) У Бирюкова.

3) Если бы дѣло дошло до суда, Толстой уѣхалъ бы въ Англію (см. Письма Л. Н. Т., 1910 г., М., 99).

М., 98—99). «Вся эта неприятная исторія кончилась тѣмъ, что Л. Н—чъ былъ освобожденъ по этому дѣлу отъ суда и слѣдствія, а всю отвѣтственность взвалили на его управляющаго, котораго эти «мальчики» и привлекли къ дѣлу въ качествѣ обвиняемаго... Относительно же Л. Н—ча было признано, что слѣдователь привлекъ его къ дѣлу «по ошибкѣ», что подписка о невыѣздѣ была взята тоже «ошибочно», равно какъ и самый штрафъ былъ наложенъ «по ошибкѣ» же... Впослѣдствіи оказалось, что управляющій имѣніемъ былъ привлеченъ къ дѣлу зря, и оно было въ концѣ концовъ прекращено,—подъ большой шумъ, поднятый газетами того времени». (Бирюковъ, II, 237).

Какъ Лермонтовъ, Толстой признаетъ справедливымъ только судъ Божій. Невинно-осужденный Аксеновъ, огорченный и несправедливостью суда, и подозрѣніемъ жены, сказалъ себѣ: «Видно, кромѣ Бога, никто не можетъ знать правды, и только Его надо просить и отъ Него только ждать милости». И съ тѣхъ поръ Аксеновъ пересталъ подавать прошенія, пересталъ надѣяться и только молился Богу». (XIV, 77). Въ драмѣ «Власть тьмы» урядникъ обращается къ Акиму: «Ты, старикъ, смотри, не мѣшайся. *Я долженъ составить актъ*». Но Акимъ возражаетъ: «Экій ты, тае. Погоди, говорю. *Объ актъ, тае, не толкуй, значитъ. Тутъ, тае, Божье дѣло идетъ... кается человекъ, значитъ, а ты, тае, ахту*... (X, 264). Къ «Аннѣ Карениной» эпиграфомъ взято изреченіе: «Мнѣ отмщеніе, и Азъ воздамъ».

Ср. еще—«Чѣмъ люди живы»; «О судѣ уголовномъ» («Дѣтская мудрость»).

Лермонтовъ дважды былъ подѣ судомъ—за стихотвореніе на смерть Пушкина и за дуэль съ Барантомъ; оба раза онъ подвергся ссылкѣ. Но времена мѣняются; «непозволительныя стихи», навлекшіе на поэта грозу, теперь заучиваются наизусть и изучаются въ средней школѣ.

Необходимо замѣтить, что Лермонтовъ и Толстой поразили судъ человѣческой еще до того, какъ имъ пришлось имѣть съ нимъ дѣло; слѣдовательно, ихъ протестъ созрѣлъ

не на почвѣ личной обиды, а въ глубинахъ ихъ свободолюбиваго, благороднаго духа.

О несовершенствѣ человѣческаго суда говоритъ еще «Экклезіастъ»: «Еще видѣлъ я подъ солнцемъ: *мѣсто суда, а тамъ беззаконіе; мѣсто правды, а тамъ неправда*». (III, 16) <sup>1)</sup>.

---

---

<sup>1)</sup> Книги Ветхаго Завѣта цитируемъ по изданію британскаго и иностраннаго библейскаго общества. (Вѣна. 1888 г. I и II).

## Глава XXVI.

### Ангель Смерти.

Эту главу мы посвящаемъ разбору поэмы Лермонтова «Ангель Смерти» и легенды Толстого «Чѣмъ люди живы». Напомнимъ содержаніе этихъ произведеній.

«Ангель Смерти»:

Дѣйствіе происходитъ въ Индостанѣ. Юный изгнанникъ Зораимъ и красавица Ада любятъ другъ друга и живутъ вдаль отъ людей. Однажды Ада заболѣла; она на краю могилы; Зораимъ въ отчаяніи. Ангель Смерти лишилъ Аду жизни, но, тронутый горемъ Зораима, оживляетъ трупъ своею душою; отнынѣ онъ сохраняетъ только туманное воспоминаніе о быломъ. Зораимъ вновь счастливъ, но не надолго. Онъ мечтаетъ о славѣ, идетъ на войну и получаетъ въ бою смертельную рану. Ада находитъ его, и Зораимъ умираетъ на ея рукахъ; тотчасъ умираетъ и Ада; душа ея вновь становится Ангеломъ Смерти. Познавъ земныя муки, Ангель Смерти презираетъ и ненавидитъ землю; прежде онъ облегчалъ предсмертныя страданія людей, теперь—онъ мраченъ и холоденъ; онъ внушаетъ людямъ страхъ, его поцѣлуй—проклятье.

«Чѣмъ люди живы»:

Ангель Смерти, Михаилъ, слетѣлъ на землю, чтобы взять душу женщины, недавно лишившейся мужа и имѣвшей двухъ дѣтей-малютокъ. Вдова проситъ ангела сжалиться и дать ей возможность выкормить дѣтей. Михаилъ вернулся на небо, не выполнивъ воли Бога. За ослушаніе и за сомнѣніе въ справедливости высшаго суда Творецъ изгоняетъ

Михаила изъ рая. Принявъ человѣческой обликъ, ангель шесть лѣтъ живетъ на землѣ. Онъ безропотно несетъ наказаніе Божіе, сознавъ тяжесть своего грѣха; онъ убѣждается въ справедливости и благодати Творца, получаетъ прощеніе и возвращается на небо.

Сопоставленіе этихъ произведеній представляетъ большой интересъ: они являются доказательствомъ универсальности и духовнаго сродства обоихъ геніевъ.

Сохранился набросокъ поэмы Лермонтова—въ черновыхъ прозаическихъ замѣткахъ: «Написать поэму—Ангель Смерти. Ангель Смерти, при смерти дѣвы, влетаетъ въ ее тѣло изъ сожалѣнія къ любезному, и рассказываетъ, ибо это былъ человѣкъ мрачный и кровожадный, начальникъ Грековъ. Онъ раненъ въ сраженіи и долженъ умереть; ангель уже не ангель, а только дѣва, и его поцѣлуй не облегчаетъ смерти юноши, какъ бывало прежде; ангель покидаетъ тѣло дѣвы, по съ тѣхъ поръ его поцѣлуи мучительны умирающимъ». (Л., I, 411).

Первоисточниками сюжета, послужившаго канвой для разсказа «Чѣмъ люди живы», являются, по изслѣдованіямъ Варшера, Ветхій Заветъ и Талмудъ; варианты встрѣчаются въ Коранѣ, въ греческомъ Патерикѣ, «Римскихъ Дѣяніяхъ», «1001 ночи», въ нашихъ Патерикахъ, Прологахъ и Четыхъ Минеяхъ (подъ 21 ноября—«о судьбахъ Господнихъ неисповѣдимыхъ»). Къ намъ она проникла не ранѣе XII в. «Нѣсколько забытая здѣсь въ XIII и XIV вв.—когда благодаря татарамъ литературная дѣятельность вообще ослабѣла на Руси—наша легенда вновь возникаетъ въ XV вѣкѣ, можетъ быть подъ вліяніемъ ереси живодствующихъ. Съ этого времени она неизмѣнно входитъ въ пролога поды 21 ноября, пріобрѣтаетъ широкую популярность, входитъ въ апокрифы, сближается съ народной поэзіей въ формѣ легенды и въ такомъ видѣ художественно перерабатывается перомъ графа Льва Толстого». (С. Варшеръ. «Исторія одного литературнаго сюжета».—«Подъ знаменемъ науки». Юбилейный сборникъ въ честь Н. И. Стороженка. М. 1902 г., 101, 109—11). Толстой, какъ по-

лагаетъ Варшеръ, заимствовалъ мотивъ своего разсказа изъ легенды «Ангель», вошедшей въ сборникъ Аванасьева (Варшеръ, 102). Это предположеніе ошибочно. По словамъ Бирюкова, Толстой записалъ легенду со словъ «извѣстнаго разсказчика былинъ, архангельскаго крестьянина Щеголенкова, привезеннаго Львомъ Николаевичемъ изъ Москвы отъ профессора Тихонравова». (См. Бирюковъ, II, 261, 262).

Вполнѣ допустимо, что эту легенду слышалъ и Лермонтовъ; быть можетъ, отъ своей набожной бабушки; быть можетъ, отъ гувернера Леви—«ученаго еврея». Распространенность этой легенды объясняется тѣмъ, что она затрогиваетъ вопросъ, издавна и до сихъ поръ занимающій умъ человѣка: какъ примирить представленіе о Высшемъ Существовѣ, безсмертномъ, всезнающемъ и справедливомъ, — со зломъ и страданьемъ, царящими на землѣ? «Экклезіастъ» гласитъ: «Бываетъ, что праведникъ гибнетъ при праведности своей, и бываетъ, что порочный живетъ долго въ порокахъ своихъ». (VII, 15). А черезъ тысячи лѣтъ Гейне съ тою же скорбью повторяетъ библейскія слова:

Отчего подъ ношей крестной,  
 Весь въ крови, влечится правый?  
 Отчего вездѣ безчестный  
 Встрѣченъ почестью и славой?  
 Кто виной? Иль силъ правды  
 На землѣ не все доступно?

(«Брось свои иносказанья». Перев. Михайлова).

Въ «Экклезіастѣ» же читаемъ: «И когда я разсматривалъ всѣ дѣла Божіи: то нашелъ, что человѣкъ не можетъ постигнуть дѣлъ, которыя дѣлаются подъ солнцемъ; сколько бы человѣкъ ни трудился въ изслѣдованіи, онъ все-таки не постигнетъ этого; и если даже мудрецъ утверждаетъ, что онъ знаетъ, то все-таки онъ не можетъ постигнуть этого». (VIII, 17). Гейне въ цитированномъ нами стихотвореніи повторяетъ:

Такъ мы спрашиваемъ жадно  
Цѣлый вѣкъ, пока безмолвно  
Не забудутъ намъ рта землю... <sup>1)</sup>.

Разсказъ Толстого затрогиваетъ вопросы о неисповѣдимости путей Божіихъ, о наказаніи за сомнѣнія въ непогрѣшимости Промысла; мотивы эти не затронуты Лермонтовымъ въ «Ангелѣ Смерти», но, вообще, привлекали его вниманіе. Въ повѣсти «Вадимъ» авторъ замѣчаетъ объ Ольгѣ: «*Это былъ ангелъ, изгнанный изъ рая за то, что слишкомъ сожалѣлъ о человечествѣ*». (IV, 4). Въ одной этой фразѣ заключается сюжетъ и идея разсказа «Чѣмъ люди живы» Въ справедливости Бога усумнились гордые пальмы, и ихъ за то постигла суровая кара. Развѣ и это не «толстовская» идея? Азраиль и Демонъ вышли изъ повиновенія Богу и изгнаны Имъ изъ эдема; но путь къ небесамъ не отрѣзанъ падшимъ духамъ, и они мечтаютъ о возрожденіи. Разрѣшеніе вопроса у Лермонтова и Толстого расходится; Демонъ слишкомъ мятеженъ и гордъ, чтобы смириться навсегда; онъ не только не спасъ себя, но едва не погубилъ Тамару; поэма «Азраиль» незакончена, но мы не сомнѣваемся, что она закончилась бы крушеніемъ благихъ мечтаній Азраила; Михаилъ, Ангелъ Смерти, искупаетъ грѣхъ и возвращается въ рай.

Сходство поэмы Лермонтова и легенды Толстого сводится къ слѣдующимъ пунктамъ:

- 1) геройемъ является *Ангелъ Смерти*;
- 2) Ангелъ Смерти проникается жалостью къ человѣку;
- 3) онъ рѣшается помочь человѣку;
- 4) онъ даруетъ жизнь человѣку, обреченному на неминуемую смерть;

<sup>1)</sup> Ср. — Бальмонтъ: Лишь одного постичь мой умъ не можетъ:  
Зачѣмъ Господь въ борьбѣ намъ не поможетъ,  
Не сниметъ съ насъ терноваго вѣнца?  
Зачѣмъ Онъ создалъ смерть, болѣзнь, страданье,  
Зачѣмъ Онъ далъ намъ жгучее желанье—  
Грѣшить, роптать и проклинать Творца?  
(„Вопрось“).

- 5) онъ принимаетъ человѣческой образъ;
- 6) онъ нѣкоторое время живетъ на землѣ;
- 7) онъ возвращается на небо, принявъ первоначальный образъ.

Разсмотримъ эти пункты въ ихъ послѣдовательности.

1. Легенды объ Ангелѣ Смерти сложились въ сѣдой старинѣ. 2-я Книга Царей повѣствуетъ: «И случилось въ ту ночь: пошелъ Ангелъ Господень и поразилъ въ станѣ Ассирійскомъ сто восемьдесятъ пять тысячъ. И встали по утру, и вотъ, они всѣ тѣла мертвыя». (XIX, 35) <sup>1)</sup>. Новый Завѣтъ <sup>2)</sup>: «Умеръ нищій, и отнесенъ былъ Ангелами на лоно Авраамово». (Лука, XVI, 22). Образъ ангела, несущаго душу на небо, встрѣчаемъ въ «Демонѣ» Лермонтова. У христіанъ Ангелами Смерти являются архангелы Михаилъ и Гавріилъ; у мусульманъ Ангелъ Смерти носитъ имя Азраилъ. Лермонтовскій Азраилъ—не мусульманскій ангелъ <sup>3)</sup>; о мусульманскомъ Ангелѣ Смерти поэтъ упоминаетъ въ «Бѣглецѣ»:

И ангелы ихъ души взяли. (II, 267) <sup>4)</sup>.

<sup>1)</sup> См. еще — Исаія, XXXVII, 36.

<sup>2)</sup> „Новый завѣтъ Господа нашего Иисуса Христа въ русскомъ переводѣ“. Киевъ. 1909.—Дальнѣйшія ссылки по этому изданію.

<sup>3)</sup> „Азраилъ, ангелъ смерти у мусульманъ, встрѣчается и въ средневѣковыхъ мистическихъ книгахъ среди духовъ зла, ближайшихъ сподвижниковъ сатаны“. (Висковатый.—Собр. соч. М. Ю. Л. подъ ред. Висковатова, III, 176; см. еще—129, 130).

<sup>4)</sup> Упомянутое объ Ангелѣ Смерти встрѣчаемъ въ поэзіи мусульманскихъ народовъ. Напр., въ чеченской пѣснѣ о храбрецѣ Варѣ: „Загрохотали ружья! Съ неба ангелы на землю спустились! Съ земли ангелы приняли чистую душу Вары!..“ („Сборн. свѣд. о Терской обл.“ Владикавказъ. 1878 г. Вып. I, 259). Въ монгольской поэмѣ „Мурза-Эдыге“: „И меня, отца своего, заступника своего въ день суда, когда Азраилъ вострубитъ въ трубу, сынъ мой Нурадиль, ты гонишь отъ себя!..“ (См.—Н. Семеновъ. „Чеченцы“. Владикавказъ. 1898 г., 443).

По еврейскимъ повѣрьямъ, Ангелъ Смерти вооруженъ мечемъ, съ котораго каплетъ ядъ; эта подробность—ядъ—перешла въ апокрифы и наши старинные памятники. Въ „Видѣніи понамаря Тарасія“ Ангелы Смерти стрѣляютъ огненными стрѣлами. (См.—И. Н. Ждановъ. „Къ литературной исторіи русской былевой поэзіи“.—Соч., I, СПб., 1904 г., 542, 543, 742; см. еще — 548, 564, 654, 716, 740, 741).

Висковатый говоритъ: «Азраиль поцѣлуемъ даетъ смерть. Не таковъ ли и Демонъ Лермонтова? Едва онъ касается устами Тамары, она умираетъ». (Собр. соч. М. Ю. Л. подъ ред. Висковатова. III, 130). Дѣйствительно, Демонъ, какъ Ангелъ Смерти, отнимаетъ у людей жизнь; онъ рассказываетъ Тамарѣ:

И скрылся я въ ущельяхъ горъ;  
И сталъ бродить, какъ метеоръ  
Во мракѣ полночи глубокой...  
И мчался путникъ одинокой,  
Обмануть близкимъ огонькомъ,  
И, въ бездну падая съ конемъ,  
Напрасно звалъ,—и слѣдъ кровавый  
За нимъ вился по крутизнѣ...  
Но злобы мрачныя забавы  
Не долго нравились мнѣ. (II, 371).

Онъ же является виновникомъ гибели князя Синодала. Въ первоначальныхъ очеркахъ черты, сближающія Демона съ Азраиломъ, были выставлены еще рѣзче:

Въ немъ пусто, пусто какъ въ пустынь.  
*Смертельный слѣдъ напечатлѣнъ*  
*На томъ, къ чему онъ прикоснется,*  
И говорятъ, что даже онъ  
Своимъ злодѣйствамъ не смѣется,  
Что груды гбнущихъ людей  
Не веселятъ его очей. (II, 385).  
Не зная ни добра, ни зла,  
Губя людей безъ всякой нужды...  
Ему желанья были чужды;  
*Онъ жегъ печатью роковой*  
*Того, къ кому онъ прикасался;*  
Но часто демонъ молодой  
Своимъ злодѣйствамъ не смѣялся. (II, 385, 386) <sup>1)</sup>.

---

<sup>1)</sup> См. то же — II, 388, 400.

Упомянутое об Ангелѣ Смерти встрѣчаемъ у Толстого еще въ разсказѣ «Севастополь въ маѣ 1855 года»: ...«тысячи бомбъ, ядеръ и пуль не переставали летать съ бастионовъ въ траншеи и изъ траншей на бастионы, и *ангелъ смерти не переставалъ парить надъ ними*». (II, 154). Однажды Толстому задаютъ вопросъ: «Только зачѣмъ вы, Левъ Николаевичъ, вывели ангела въ «Чѣмъ люди живы?» Безъ него еще лучше было бы... А то вѣдь это—мистицизмъ». — «Если бы я могъ безъ помощи ангела выразить свою идею, я бы сдѣлалъ это, — возражаетъ благодушно Л. Н., — но я не знаю, какъ это сдѣлать, не умѣю. Напишите мнѣ то же самое безъ ангела, и я приду къ вамъ учиться». (Тимковскій. «О Л. Н. Толстомъ». — «Л. Н. Т. Біографія, характеристики, воспоминанія». Сборн. статей. М. 1910 г., 91).

У европейскихъ поэтовъ нерѣдко встрѣчаемъ образъ Ангела Смерти, уносящаго человѣческую душу (или тѣло) на небо. Напримѣръ, въ знаменитой, плѣнительной сказкѣ Андерсена — «Ангелъ»; въ поэмѣ Словацкаго «Ангелли»: «И съ трупомъ въ крыльяхъ, поднялся ангелъ и пошелъ въ лунномъ блескѣ». (13 гл. Перев. Высоцкаго). Въ стихотвореніи Reboul'я — «L'ange et l'enfant»:

Et, secouant ses blanches ailes,  
L'ange aussitôt prend son essor  
Vers les demeures éternelles...  
Pauvre mère!.. ton fils est mort <sup>1)</sup>.

2. Ангелъ, *жалгющій* человѣка, — символъ самаго трогательнаго и глубокаго состраданія.

Евангеліе повѣствуетъ, что когда Христосъ молился въ Геосиманскомъ саду, — «явился же Ему Ангелъ съ небесъ и укрѣплялъ Его». (Лука, XXII, 43). Этотъ моментъ описывается въ поэмахъ Никитина — «Моленіе о чашѣ» и Минскаго — «Геосиманская ночь». Ср. Лермонтовъ:

*Такъ, зря Спасителя мученья,  
Невинный плакалъ херувимъ.* (I, 113).

<sup>1)</sup> Образъ Ангела Смерти есть въ стихотвореніи Пушкирева „Борьба“ („Я гасъ, я умираю... И у моей постели“...).

Въ первыхъ очеркахъ «Демона» поэтъ изображаетъ ангела-хранителя, скорбящаго надъ могилой монахини:

Надъ тѣмъ крестомъ, надъ той скалою,  
 Однажды, утренней порою,  
 Съ глубокой думою стоялъ  
 Дитя эдема, ангель мирный,  
 И слезы молча утиралъ  
 Своей одеждою сапфирной.  
 И кудри, мягкія <sup>1)</sup> какъ ленъ,  
 Съ главы вѣнчанной упали,  
 И крылья, легкія какъ сонъ,  
 За бѣлыми плечьми сіяли.  
 И былъ небесный сводъ надъ нимъ  
 Украшенъ радугой цвѣтистой,  
 И волны съ пѣной серебристой,  
 Съ какимъ-то трепетомъ живымъ,  
 Къ скаламъ тѣснились вѣковымъ.  
 Все было тихо. Взоръ унылый  
 На небо поднялъ ангель милый,  
 И съ непонятною тоской  
 За душу грѣшницы молодой  
 Творцу молился онъ, и мнилось—  
 Природа вмѣстѣ съ нимъ молилась...

(II, 397, 398; см. еще — 411).

Ср. Толстой (въ «Дѣтствѣ»): «Можетъ-быть, отлетая къ міру лучшему, ея прекрасная душа съ грустью оглянулась на тотъ, въ которомъ она оставляла насъ; она увидѣла мою печаль, сжалась надъ нею и на крыльяхъ любви съ небесною улыбкой сожалѣнія спустилась на землю, чтобъ утѣшить и благословить меня». (I, 72).

Демонъ клялся «мечами ангеловъ безстрастныхъ» (II, 373); поэтъ, очевидно, подразумѣваетъ здѣсь тѣхъ ангеловъ, которые составляютъ «небесное воинство», и о которыхъ говоритъ Библія:

<sup>1)</sup> Въ текстъ опечатка—„мягкіе“. Ср. II, 411, ст. 534.

«И поставилъ на востокъ у сада Едемскаго херувима и пламенный мечъ обращающійся, чтобы охранять путь къ дереву жизни». (Бытіе, III, 24).

«Или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Онъ представитъ Мнѣ болѣе, нежели двѣнадцать легионовъ Ангеловъ?» (Матѣ., XXVI, 53).

Эти ангелы, охраняющіе рай и сражающіеся съ духами ада, должны быть, какъ и называетъ ихъ Демонъ, «безстрастными» и «недремлющими» (II, 373); но не безстрастенъ ангелъ, несшій на землю молодую душу и пѣвшій дивную пѣсню; не безстрастенъ ангелъ, плакавшій надъ могилой монахини: это «дитя эдема, ангелъ *мирный*» (II, 397); не безстрастенъ «ангелъ, изгнанный изъ рая за то, что слишкомъ сожалѣлъ о человѣчествѣ» (IV, 4), ангелъ, плакавшій при видѣ мученій Спасителя (I, 113), ангелъ, слезами смывавшій съ Тамары «слѣдъ проступка и страданья» (II, 379). Не удивительно, что легенда о небожителѣ, пожалѣвшемъ человѣка, привлекла вниманіе нашихъ художниковъ слова. Русскому народу, вообще, свойственно окружать страданіе и состраданіе ореоломъ неземной красоты. Небу равно дороги и монахиня Тамара, и Лиза Калитина, и Лукерья—«живыя мощи», и Соня Мармеладова, и юродивый Гриша. Пріобщивъ древнюю еврейскую легенду къ русской обыденной жизни, Толстой проявилъ свою глубокую національность. Дѣйствіе лермонтовской поэмы происходитъ въ Индостанѣ, но идеи—«русскія». Встрѣтивъ «недвижный, мутный» взоръ Зораима, скорбящаго у ложа умершей подруги, Ангелъ Смерти читаетъ въ немъ укоръ; но это не вызываетъ въ небожителѣ гнѣва; нѣтъ,

Ангель Смерти сожалѣнье  
 Въ душѣ почувствовалъ святой.  
 Скажу-ли? даже въ преступленьи  
 Онъ обвинялъ себя порой.  
 Онъ отнял все у Зораима... (I, 318).

И ангель, движимый живой любовью и состраданіемъ къ смертному, желаетъ вернуть ему его счастье; онъ воскрешаетъ Аду, не страшась гнѣва Бога:

Ужель Создатель запрещаетъ  
Несчастныхъ утѣшать людей? (I, 318).

У Толстого ангель несетъ кару за ослушаніе; у Лермонтова Ангель Смерти не терпитъ наказанія; поэтъ находитъ, что въ поступкѣ Ангела Смерти вины нѣтъ; поэтъ говоритъ, что мысль ангела помочь человѣку—«*достойна небесъ*» (I, 318). Тѣмъ же высокимъ гуманизмомъ проникнута поэма «Демонъ»; въ ней особенно знаменательны слова ангела.

Цѣной жестокой искупила  
Она сомнѣнія свои...  
Она страдала и любила,—  
И рай открылся для любви! (II, 380, 381).

Аналогичныя идеи встрѣчаемъ у другихъ нашихъ поэтовъ.

Вотъ извѣстное стихотвореніе гр. А. Толстого,—слиянiе земной скорби и небесной красоты:

Горними тихо летѣла душа небесами,  
Грустныя долу она опускала рѣсницы;  
Слезы въ пространство отъ нихъ упаяя звѣздами,  
Свѣтлой и длинной вилися за ней вереницей.  
Встрѣчныя тихо ее вопрошали свѣтила:  
Что ты грустна? и о чемъ эти слезы во взорѣ?  
Имъ отвѣчала она: *Я земли не забыла,  
Много оставила тамъ я страданья и горя.*  
Здѣсь я лишь ликамъ блаженства и радости внемлю,  
Праведныхъ души не знаютъ ни скорби, ни злобы —  
О, отпусти меня снова, Создатель, на землю,  
*Было-бъ о комъ пожалѣть и утѣшить кого бы* <sup>1)</sup>.

(А. Толстой, I, 252).

<sup>1)</sup> Библия говоритъ о высокомъ самопожертвованіи Моисея, который ради любимаго имъ народа, преслѣдуемаго бѣдами, готовъ былъ отказаться отъ

Гоголь говоритъ, что праздникъ Свѣтлаго Воскресенія пужень «затѣмъ, чтобы хотя нѣкоторымъ, еще слышащимъ весеннее дыханіе этого праздника, сдѣлалось вдругъ *такъ грустно, такъ грустно, какъ грустно ангелу на небѣ*»... («Свѣтлое Воскресеніе», изъ «Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями».—Соч. Н. В. Гоголя подъ ред. Тихонравова, изд. Маркса. 1900 г., VII, 215).

Апухтинъ:

Съ невольнымъ трепетомъ я, помню, разъ стоялъ  
Передъ картиной безымянной:  
Одинъ изъ ангеловъ случайно пролеталъ  
У береговъ земли туманной.  
И что-жь? На кроткій ликъ нѣмая скорбь легла,  
Въ его очахъ недоумѣнье:  
Не думалъ онъ найти такъ много слезъ и зла  
Среди цвѣтущаго творенья!

(„Картина“. Соч., 36).

Ср. еще стихотворенія Полонскаго—«Ангель» и Надсона—«Женщина», «Мать».

Въ неоконченной поэмѣ Фофанова «Ангель» херувимъ добровольно покидаетъ эдемъ и спускается на землю, чтобы уврачевать людскія страданія, просвѣтити людскіе умы. (Фофановъ. «Стихотворенія». СПб. 1887 г., 155—158) <sup>1)</sup>.

вѣчнаго блаженства; онъ просилъ Бога: „И нынѣ прости Ты грѣхъ ихъ. А если нѣтъ, то изгладь меня изъ книги Твоей, которую Ты написалъ“. (Исходъ, XXXII, 32).

<sup>1)</sup> Ср.—Ратгаузъ: На землю яркую взирая

Съ своихъ заоблачныхъ сторонъ,  
Безгрѣшный ангель, житель рая,  
Ея сіяньемъ былъ плѣненъ.

—„Пусти меня, Господь, на землю,  
Дай мнѣ на мигъ земной удѣлъ“...  
И Богъ сказалъ: „Гибъ я внемлю,—  
Ступай!“ И ангель улетѣлъ.

Но мигъ одинъ,—взмахнувъ крылами,  
Вернулся онъ опять назадъ,  
И былъ его лучистый взглядъ

Омытъ горячими слезами. („Земной удѣлъ“).

Бальмонтъ:

Много лѣтъ тому назадъ  
Звѣзды таяли въ туманѣ.  
Ночью брата встрѣтилъ братъ,  
На лѣсной глухой полянѣ.  
Ночью брата встрѣтилъ братъ.  
Смутно дрогнулъ мракъ глубокой.  
Въ эту ночь у райскихъ вратъ  
Плакалъ ангель одинокій.

И тысячи ангеловъ, тысячи Геніевъ Свѣта,  
Въ предѣлахъ небесныхъ скорбѣли надъ сонной Землей,  
Искали у Бога тревожнымъ вопросамъ отвѣта,  
И лучшія звѣзды, блѣднѣя, подернулись мглой.

(„Забытая колокольня“).

Порою поэты говорятъ и о томъ, что на землѣ столько страданій и золь, что непонятно, какъ могутъ души праведныхъ жить на небѣ безтревожно и безпечально?

Фругъ:

Души блаженныхъ, эдема безсмертные жители!  
Вѣчнымъ обвѣяны миромъ и радостью вѣчною —  
Слышите ль вы въ тишинѣ безмятежной обители  
Стоны страдальцевъ, томимыхъ тоской безконечною?  
Слышите ль вы, подъ дыханіемъ чаръ упоительныхъ,  
Вамъ превращающихъ тысячелѣтъя въ мгновенія, —  
Тысячелѣтніе стоны скорбей искупительныхъ  
Грѣшной души, обреченной за мигъ наслажденія?...  
О, если звукъ хоть единый изъ бездны возмездія  
Въ свѣтлую райскую сѣнь донесется украдкою,  
Вмигъ не померкнуть ли яркія ваши созвѣздія,  
Не оборвутся ли гимны надъ чашею сладкою?...  
Если и въ мірѣ при встрѣчѣ со скорбью случайною  
Меркнетъ веселье, подавлено болью сердечною,  
Гдѣ жъ оно, въ чемъ — золотой осіянное тайною,  
Рая блаженство — безбрежное, полное, вѣчное?...

А. Толстой:

Въ странѣ лучей, незримой нашимъ взорамъ,  
Вокругъ міровъ вращаются міры;

Тамъ сонмы душъ возносятся стройнымъ хоромъ  
 Своихъ молитвъ немолчные дары.  
 Блаженствомъ тамъ сіяющіе лики  
 Отвращены отъ міра суеты,  
 Не слышны имъ земной печали клики,  
 Не видны имъ земныя нищеты. (А. Толстой, I, 320).

Падшій ангелъ даже предпочитаетъ свои муки прежней блаженной, безпечной радости. Лермонтовскій Демонъ говоритъ монахинѣ:

Мы станемъ жить любя, *страдаля*,  
 И адъ намъ будетъ стоять рая... (II, 407).

Бальмонтскій Дьяволъ дерзко заявляетъ:

Я ненавижу всѣхъ святыхъ,  
 Они заботятся мучительно  
 О жалкихъ помыслахъ своихъ,  
 Себя спасаютъ исключительно.  
 ...Мнѣ ненавистенъ былъ бы Рай  
 Среди тѣней съ улыбкой кроткою,  
 Гдѣ вѣчный праздникъ, вѣчный май  
 Идетъ размѣренной походкою. („Голось Дьявола“).

3 и 4. У Лермонтова и Толстого Ангелъ Смерти не только жалѣетъ человѣка, но даже рѣшается оказать ему помощь и даруетъ жизнь. У Голенищева-Кутузова Смерть проникается живымъ участіемъ къ человѣку и даетъ ему еще пожить. («Свиданіе со смертью». Г.-К., I, 206). Въ нашей былевой поэзіи есть слѣдующій характерный эпизодъ: калики зарываютъ своего атамана, подозрѣвая его въ воровствѣ. Онъ былъ невиненъ.

За его правду великую  
 Послалъ Господь съ небесъ двухъ ангеловъ,  
 И вложили душеньку въ бѣлы груди.  
 („Пѣсни Рыбникова“. М. 1909 г., I, 292)<sup>1</sup>).

<sup>1</sup>) О дарованіи жизни людямъ, уже обреченнымъ на смерть, говорить и Библия; напр., Богъ Самъ останавливаетъ карающую руку Ангела Смерти

5 и 6. Ангелъ Смерти принимаетъ образъ человѣка и живетъ на землѣ. Библия повѣствуетъ объ ангелахъ, ходившихъ по землѣ, подобно простымъ смертнымъ. Таковы ангелы, являвшіеся Лоту, таковъ ангелъ въ исторіи Товіи и Товита. Фофановъ такъ описываетъ чудесное превращеніе ангела:

И онъ въ раздумьи прослезился  
И, тихо крылья опустивъ,  
Какъ май задумчивый красивъ,  
На землю медленно спустился.  
И только трепетной ногой  
Коснулся каменной панели—  
Онъ сталъ не духъ, онъ сталъ живой  
Прекрасный отрокъ въ юномъ тѣлѣ.  
Въ его застѣнчивыхъ очахъ  
Зажглась любовь и тайный страхъ  
За эту жизнь, гдѣ такъ мятежно  
Царить всевластный геній зла, —  
И бѣлокурый локонъ нѣжно  
Рукой медлительно-небрежной  
Отвелъ онъ съ грустнаго чела.  
И въ тотъ же мигъ легко и быстро,  
Какъ брилліантовая искра,  
Блеснулъ въ эфирѣ метеоръ,  
И, полный трепетнымъ укоромъ,  
Перемигнулся съ метеоромъ  
Земныхъ лампадъ прощальный взоръ...<sup>1)</sup>

(Фофановъ „Стихотворенія“. СПб. 1887 г., 157, 158).

(II кн. Самуила, XXIV, 16; II кн. Паралипоменонъ, XXXII, 21), отсрочиваетъ смерть царя Езекии, изъ сожалѣнія къ нему, на 15 лѣтъ (Исаія, XXXVIII).

<sup>1)</sup> Въ „Сказаніи о гордомъ Аггеѣ“ Гаршина — ангелъ, по повелѣнію Бога, принявъ человѣческой видъ, три года живетъ на землѣ, и всѣ, даже жена Аггея, принимаютъ его за правителя Аггея. Въ основу этого произведенія положено сказаніе, извѣстное и у насъ, и на Западѣ (тамъ оно было очень распространено въ средніе вѣка; см. — Стороженко. „Очеркъ исторіи зап.-европ. литературы“. М. 1908 г., 30).

7. Въ легендѣ Толстого ангелъ, искупившій свой грѣхъ, подымается къ небу въ яркомъ сіяніи; эта картина величественна и высоко-поэтична: «И запѣлъ ангелъ хвалу Богу, и отъ голоса его затряслась изба. И раздвинулся потолокъ, и всталъ огненный столбъ отъ земли до неба. И попадали Семень съ женой и съ дѣтьми на землю. И распустились у ангела за спиной крылья, и поднялся онъ на небо». (XVI, 20). Такъ улетаетъ съ земли и лермонтовскій Ангелъ Смерти:

Чья тѣнь, прозрачной мглой одѣта,  
 Какъ заблудившійся лучъ свѣта,  
 Съ земли возносится туда,  
 Гдѣ блещетъ первая звѣзда?  
 Вѣнецъ играетъ серебрястый  
 Надъ тихимъ, радостнымъ челомъ,  
 И долго виденъ свѣтъ огнистый  
 За нею въ сумракѣ ночномъ...  
 То Ангелъ Смерти, смертью тлѣнной  
 Отъ узъ земныхъ освобожденный!.. (I, 326, 327).

Несмотря на значительное сходство, разбираемая нами произведенія Лермонтова и Толстого сильно разнятся между собою въ развитіи сюжета, во многихъ подробностяхъ. Вліянія Лермонтова на Толстого здѣсь нѣтъ, но сходство поэмы «Ангелъ Смерти» съ легендой «Чѣмъ люди живы», сходство и внутреннее, и внѣшнее, не случайно. Оно обусловлено, во-первыхъ, тѣмъ, что обоимъ гениямъ была извѣстна легенда о милосердіи Ангела Смерти; источникъ Толстого мы знаемъ; откуда именно почерпнулъ Лермонтовъ свой сюжетъ, — неизвѣстно, но, несомнѣнно, онъ или гдѣ-нибудь прочелъ объ Ангелѣ Смерти, или слышалъ легенду въ чьей-либо устной передачѣ; романическая же подкладка принадлежитъ, вѣроятно, самому поэту. Во-вторыхъ, совпаденіе въ нѣкоторыхъ подробностяхъ происходитъ изъ глубокаго сродства поэтическихъ гениевъ Лермонтова и Толстого.

Въ лермонтовской литературѣ до сихъ поръ говорилось

только объ автобіографическомъ значеніи поэмы «Ангель Смерти». Висковатый предполагаетъ, что Зоранъ — самъ Лермонтовъ; Ада — Варенька Лопухина; посвящена поэма А. М. Верещагиной, вѣрному другу поэта (см. Собр. соч. М. Ю. Л. подъ ред. Висковатова; II, 29, 45; VI, 151 — 155). Но поэма цѣнна и тѣмъ, что въ основу ея положены мотивы общечеловѣческіе. Мы показали, что вопросы, затронутые Лермонтовымъ въ этомъ произведеніи, донинѣ варьируются нашими поэтами и писателями. Укажемъ еще на тѣсную связь поэмы съ народными грузинскими и армянскими легендами объ Ангелѣ Смерти.

Грузинская сказка носитъ заглавіе: «Значеніе хлѣбасоли и безсердечіе архангеловъ Михаила и Гавріила». (См.—«Сборн. матеріаловъ для описанія мѣстностей и племенъ Кавказа». XXXV. Отд. II, стр. 106—111). Содержаніе ея слѣдующее: Нѣкому юношѣ случилось угостить въ дорогѣ хлѣбомъ-солью архангеловъ Михаила и Гавріила, которые, въ видѣ двухъ странниковъ, шли за душой одного человѣка; въ благодарность за хлѣбъ-соль ангелы открыли юношѣ, кто они, и предсказали ему будущее; оказалось, юноша долженъ былъ умереть въ первую брачную ночь. Желая пожить дольше, онъ уклонялся отъ женитьбы, но, наконецъ, уступая настояніямъ родителей, рѣшилъ жениться. Во время брачнаго пира архангелы пришли за его душой. Обреченный попросилъ дать ему возможность проститься съ родными. Архангелы позволили. Тотъ открылъ родителямъ и гостямъ страшную истину. Отецъ посовѣтовалъ сыну напомнить архангеламъ о хлѣбѣ-соли и умолять объ отсрочкѣ на нѣсколько лѣтъ. Архангелы, вспомнивъ радушіе купеческаго сына, дали, вопреки волѣ Бога, отсрочку на нѣсколько лѣтъ и исчезли. Богъ разгнѣвался на Михаила и Гавріила и сдѣлалъ ихъ безсердечными, а купеческій сынъ счастливо прожилъ много лѣтъ.

Общіе мотивы: легенда говоритъ объ ангелахъ смерти; ангелы принимаютъ человѣческой образъ; чувствуютъ жалость къ человѣку; даруютъ ему жизнь; становятся впо-

слѣдствіи изъ добрыхъ—безсердечными. Архангелы Михаилъ и Гавріиль, до своего проступка, выказываютъ высокую благость: за добро, оказанное имъ человѣкомъ, они сами, подвергая себя высшей карѣ, платятъ ему добромъ. Свѣтлыми чертами охарактеризованъ и лермонтовскій ангелъ, какимъ онъ былъ до встрѣчи съ Адой и Зораимомъ; людемъ встрѣчи съ нимъ

Казались — сладостный удѣлъ:  
Онъ зналъ таинственныя рѣчи,  
Онъ взоромъ утѣшать умѣлъ,  
И усмирялъ земныя страсти,  
И было у него во власти  
Больную душу какъ-нибудь  
На мигъ надеждой обмануть.  
...Его приходъ благословенный  
Дышалъ небесной тишиной;  
Лучами тихими блистая,  
Какъ полуночная звѣзда,  
Манилъ онъ смертныхъ иногда,  
И провожалъ онъ къ дверямъ рая  
Толпы освобожденныхъ душъ;  
И самъ былъ счастливъ. (I, 314).

Но потомъ онъ переродился:

Въ грозный часъ  
Послѣднихъ мукъ и разставанья  
Онъ крѣпко обнимаетъ насъ.  
Но холодны его лобзанья,  
И страшень видъ его для глазъ  
Безсильной жертвы, и невольно  
Онъ заставляетъ трепетать,  
И часто сердцу больно, больно  
Послѣдній вздохъ ему отдать.  
...Его неизбѣжимой встрѣчи  
Боится каждый съ этихъ поръ:  
Тревожатъ насъ, какъ злой укорь,  
Его привѣтственныя рѣчи,  
И мраченъ неподвижный взоръ,

И льда хладнѣй его объятъе,  
И поцѣлуй его—проклятье!... (I, 314, 328).

То же самое находимъ въ грузинской легендѣ: Михаилъ и Гавріилъ, *ангелы смерти*, стали *безсердечными*: «И, какъ только для кого настанетъ минута предопредѣленной смерти, они *невозмутимо* и *безотлагательно* берутъ отъ человѣка душу его и представляютъ ее Богу».

Въ армянскомъ народномъ преданіи «Смерть» архангелъ Гавріилъ шадитъ женщину, мать трехъ маленькихъ дѣтей, душу которой долженъ былъ взять. За это Богъ вынулъ у него сердце и сказалъ: «*Отнынѣ пусть въ тебѣ не будетъ больше жалости!*» (См. — «Сборн. матер. для опис. мѣстностей и племенъ Кавказа». XXVIII. Отд. II, 18, 19). И здѣсь сходство съ лермонтовской поэмой налицо.

Въ нашу задачу не входитъ разсмотрѣніе мотивовъ толстовской легенды, незатронутыхъ Лермонтовымъ. Замѣтимъ только, что художественныя достоинства этой легенды очень высоки; изумительно гармоничное сплетеніе реальнаго и фантастическаго; исторія ангела развивается на фонѣ сѣрой крестьянской жизни, и тѣмъ болѣе сильное впечатлѣніе производятъ послѣднія страницы, въ которыхъ элементъ чудеснаго выдвинутъ на первый планъ. Легенда написана сжато, и каждое слово пріобрѣтаетъ особую цѣнность; на примѣръ, какъ кратки и поэтичны, и содержательны слѣдующія немногія строки: «Поднялся я надъ селомъ, хотѣлъ отнести душу Богу, подхватилъ меня вѣтеръ, повисли у меня крылья, отвалились, и пошла душа одна къ Богу, а я упалъ у дороги на землю». (XVI, 18). Названныя нами кавказскія легенды близки и къ толстовской, особенно армянская.

Поэма «Ангелъ Смерти» принадлежитъ къ числу лучшихъ юношескихъ произведеній Лермонтова и по гуманнымъ мотивамъ (жалость небожителя къ человѣку, протестъ противъ войны), входящимъ въ кругъ общечеловѣческихъ цѣнностей, заслуживаетъ большаго вниманія, чѣмъ то, которое ей до сихъ поръ оказывалось.

## Глава XXVII.

### **Нѣсколько словъ о субъективности творчества Лермонтова и Толстого и о художественныхъ ихъ приемахъ.**

Поэзія Лермонтова, какъ извѣстно, носитъ глубоко субъективный характеръ. По его произведеніямъ мы, шагъ за шагомъ, можемъ прослѣдить ходъ его духовнаго развитія; передъ нами открывается необъятный міръ грезъ поэта, его сомнѣній, страданій, тревогъ и надеждъ; насъ поражаетъ и искренность поэта, и глубина и изощренность самоанализа, и мощь и размахъ этихъ молодыхъ, буйныхъ силъ.

Не менѣе субъективно и все творчество Толстого.

Произведенія Лермонтова носятъ иногда характеръ *исповѣди*; таковы, напримѣръ, «Исповѣдь», «Джюліо», «Мцыри», монологи Азраила, Арсенія (въ «Бояринѣ Оршѣ») и Демона, «Журналь Печорина» («Тамань», «Княжна Мери», «Фаталистъ»). Поэтъ любитъ вести разговоръ отъ перваго лица; въ «Героѣ нашего времени» рассказчиками являются то самъ авторъ, то Максимъ Максимычъ, то Печоринъ. Ср. еще— «Бородино», «Сказка для дѣтей», «Завѣщаніе», «Валерикъ» и др. Толстой тоже часто передаетъ разговоръ отъ перваго лица; напомнимъ слѣдующія произведенія: «Дѣтство», «Отрочество», «Юность», «Набѣгъ», «Рубка лѣса», «Встрѣча въ отрядѣ», «Записки маркера», «Люцернъ», «Холстомѣръ», «Крейцера соната», «Записки сумасшедшаго», «Записки матери», «Посмертныя записки старца Ѳедора Кузьмича» и и др. Печоринъ, Нехлюдовъ («Воскресеніе»), Пьеръ Безуховъ и др.—пишутъ дневники.

Въ основу своихъ созданий Лермонтовъ нерѣдко беретъ то, что имъ самимъ или другимъ лицомъ было пережито въ дѣйствительности. Онъ дѣлаетъ характерное примѣчаніе къ поэмѣ «Джюліо»: «Я слышалъ этотъ разсказъ отъ одного путешественника» (I, 189) <sup>1)</sup>. Многія дѣйствующія лица драматическихъ его произведеній списаны съ натуры. Въ драмѣ «Menschen und Leidenschaften», какъ предполагаютъ, Громова—бабушка поэта; Н. М. Волинъ—его отецъ; Ю. Н. Волинъ—самъ Лермонтовъ; Любовь и Элиза—двоюродныя сестры его; Дарья—нянька Лермонтова; Ивашъ—слуга, мужъ Дарьи (см. Висковатый, «М. Ю. Л.», 61; о Дарьѣ—см. еще—тамъ же, «Приложенія», стр. 6). Относительно драмы «Странный человѣкъ» поэтъ говоритъ, что изображаетъ въ ней «проншествіе истинное», что лица «все взяты съ природы» (III, 147). Въ «Маскарадѣ»—въ лицѣ «Неизвѣстнаго» изображенъ гр. Ф. И. Толстой, двоюродный дядя Л. Н. Толстого (см.—Лерперъ. «Оригиналъ одного изъ героевъ Лермонтова». «Нива», 1913 г., № 37, 732). Въ драмѣ «Два брата»: Вѣра—Варвара Лопухина, вышедшая замужъ за Бахметева; Лиговскій—Бахметевъ; Юрій—самъ поэтъ (см. Висковатый, «М. Ю. Л.», 235—237, 281—284). Дѣйствующія лица «Петергофскаго праздника», «Уланши», «Госпиталѣ»—взяты изъ круга близкихъ поэту людей (см. Собр. соч. М. Ю. Л. подъ ред. Висковатова, II, 159, 162, 164, 166; Акад. изд. соч. М. Ю. Л., II, 432, 433). Немало автобіографическихъ подробностей въ поэмѣ «Сашка»; Висковатый предполагаетъ, что въ наставникѣ Саши («marquis de Tess») поэтъ изобразилъ своего гувернера Жандро (Висковатый, «М. Ю. Л.», 36, 37); въ лицѣ героя слиты черты самаго автора и Полежаева (см., напр., Висковатый, «М.

---

<sup>1)</sup> Въ „Хаджи-Абрекѣ“ поэтъ говоритъ объ аулѣ *Джематъ*; аулъ этотъ существовалъ (и существуетъ); называется онъ, собственно, не Джематомъ, а Джемаатомъ; жители его нѣкогда отличались большой храбростью (подробн. см. въ статьѣ Дьячкова-Тарасова—„Въ горахъ Большого и Малаго Карачая“. Сборн. матер. для опис. мѣстн. и племенъ Кавказа. XXVIII, отд. первый, 66—68).

Ю. Л.», 127—130; Котляревскій, 145) <sup>1)</sup>. Въ «Монго»: Монго—А. А. Столыпинъ; Маешка—Лермонтовъ (см. Собр. соч. М. Ю. Л. подъ ред. Висковатова, II, 167; VI, 182, 183, 201, 202; Акад. изд., II, 444, 445). Въ «Княгиня Лиговской» поэтъ касается своихъ отношеній къ Варварѣ Лопухиной и Е. А. Сушковой (см.—Висковатый. «По поводу Княгини Лиговской», впервые изданнаго произведенія Лермонтова». Рус. Вѣстн., 1882 г., III, 333—349); одно изъ второстепенныхъ лицъ романа, Горшенко, — современникъ Лермонтова, «дѣлецъ и литераторъ Наркизь Ивановичъ Тарасенко-Отрѣшковъ». (Лернеръ. «Оригиналъ одного изъ героевъ Лермонтова».—«Нива», 1913 г., № 37, 731, 732) <sup>2)</sup>. Висковатый предполагаетъ, что въ «Казначейшѣ» Лермонтовъ изобразилъ происшествіе, которому былъ свидѣтелемъ или о которомъ слышалъ отъ другихъ—во время пребыванія своего въ Тамбовѣ (Висковатый, «М. Ю. Л.»).

<sup>1)</sup> Мы полагаемъ, что прототипомъ Зафира (арапа, принадлежавшаго Сашѣ) послужилъ арапъ Achille, слуга Лопухиныхъ (а не Лермонтова, какъ говоритъ Болдаковъ: см. Собр. соч. М. Ю. Л. подъ ред. Болдакова, I, 451). По словамъ Висковатова, „онъ былъ очень преданъ Лермонтову и любимъ имъ; поэтъ въ альбомѣ С. Верещагиной написалъ его акварельный портретъ“. (Собр. соч. М. Ю. Л. подъ ред. Висковатова, V, 381). Имя этого грума встрѣчаемъ въ письмѣ поэта къ С. А. Бахметевой (Л., IV, 308). Въ поэмѣ „Сашка“ Зафиръ изображенъ беззавѣтно преданнымъ своему молодому господину. Поэтъ выказываетъ теплое сочувствіе африканцу, попавшему съ береговъ знойной Гвинеи въ европейскій городъ, изъ вольнаго челоуѣка ставшаго рабомъ (см. Л., II, 185—187).

<sup>2)</sup> Въ „Маскарадѣ“ поэтъ говоритъ объ *Энгельгардтѣ*, въ домѣ котораго устраиваются шумные маскарады (см. III, 216 и далѣе). Рѣчь здѣсь идетъ о Вас. Вас. Энгельгардтѣ, расточительномъ богачѣ (1785 г.—1837 г.). Жилъ онъ въ огромномъ домѣ на Невскомъ; тамъ-то и происходитъ балъ, описываемый Лермонтовымъ (I д., сц. II „Маскарада“). В. В. Энгельгардту посвящено стихотвореніе Пушкина—„Вас. Вас. Энгельгардту“ („Я ускользнулъ отъ Эскулапа“. 1819 г.). (См.—Н. А. Энгельгардтъ. „Давніе эпизоды“. Истор. Вѣстн., 1911 г., V, 547—549). Въ „Описи перенумерованнымъ бумагамъ корнета Лермонтова“, составленной по поводу суда надъ нимъ за стихотвореніе на смерть Пушкина (см. Висковатый, „М. Ю. Л.“, приложенія, 16), упомянуто „письмо *Энгельгардта*, съ посылкой билета въ Благородное Собраніе и съ приглашеніемъ къ себѣ“. Дата „описи“—20 февраля 1837 г.; В. В. Энгельгардтъ умеръ 20 октября 1837 г.

229). Многія лица «Героя нашего времени» взяты изъ дѣйствительности (см., напр., Висковатый, 288, 289, 365, 366). Въ «Бэлѣ» и «Фаталистѣ» описаны эпизоды изъ жизни родственника поэта, Хвостова (см. Висковатый, 263, 365, 366). Въ «Тамани» изображенъ случай, бывшій съ самимъ поэтомъ (см. Висковатый, 252). А. О. Смирновой передавали, будто Лермонтовъ изобразилъ ее въ лицѣ Минской (А. О. Смирнова. «Записки». Ч. II. СПб. 1897 г., 41).

Точно такъ же многія созданія Толстого, какъ это доказываетъ Бирюковъ и др., сотканы изъ воспоминаній автора, личныхъ переживаній, событій семейной хроники (напр., «Дѣтство», «Отрочество», «Юность», «Казачи», «Война и миръ», «Анна Каренина» и др.). Въ произведеніяхъ— «Анна Каренина», «Смерть Ивана Ильича», «Воскресеніе», «Живой трупъ» и др.—художественно разработаны истинныя происшествія.

Герои Лермонтова—Демонъ, Вадимъ, Измаилъ-Бей, Печоринъ—сильно походятъ одинъ на другого; причиною служитъ то, что прототипомъ ихъ, въ большей или меньшей степени, является самъ поэтъ. Николенька Иртеневъ, Оленинъ, Пьеръ Безуховъ, Андрей Болконскій, Левинъ—имѣютъ немало общихъ чертъ; они—духовные братья самого Толстого. Но Лермонтовъ и Толстой, какъ гени, превращали субъективное и эпизодическое въ общечеловѣческое.

Лермонтовъ въ одномъ и томъ же произведеніи, въ драмѣ «Два брата», придаетъ нѣкоторыя личныя черты обоимъ героямъ; такъ и Толстой изобразилъ себя въ «Войнѣ и мирѣ»—отчасти въ Пьерѣ, отчасти въ князѣ Андрѣ.

У Лермонтова есть излюбленные имена и фамиліи. *Арбенинъ* выступаетъ въ «Странномъ человѣкѣ», «Маскарадѣ» и начатой повѣсти. *Печоринъ*—въ «Княгинѣ Лиговской» и «Героѣ нашего времени». *Вадимъ*—въ «Послѣднемъ сынѣ вольности» и «Вадимѣ». *Юрій*—въ «Вадимѣ» и въ драмахъ «Menschen und Leidenschaften» и «Два брата». *Селмъ*—въ «Аулѣ Бастунджи», «Измаилѣ-Бей» и «Бѣглецѣ». *Иванъ Ильичъ*—въ «Маскарадѣ» и «Сашкѣ». *Арсеній*—

въ «Литвинкѣ» и «Бояринѣ Оршѣ». *Амбулатъ* — въ поэмѣхъ «Каллы» и «Ауль Бастунджи». *Лиговскій, Лиговская* — въ «Двухъ братьяхъ», «Княгинѣ Лиговской» и «Героѣ нашего времени». *Штраль* — въ «Маскарадѣ» и «Княгинѣ Лиговской». *Въра* — въ драмѣ «Два брата», въ «Княгинѣ Лиговской» и «Героѣ нашего времени». *Нина* — въ «Маскарадѣ» и «Сказкѣ для дѣтей». *Зара* — въ «Ауль Бастунджи», «Измаилѣ - Беѣ» и «Вадимѣ». Число примѣровъ можно было бы увеличить, но, полагаемъ, достаточно и этихъ, чтобы убѣдиться, что поэтъ часто переносилъ имена и фамилии изъ одного произведенія въ другое.

Эта особенность присуща и Толстому. *Николай Иртеневъ*, герой трилогіи «Дѣтство», «Отрочество» и «Юность», упоминается въ «Воскресеніи» (XI, 178, 179, 247) <sup>1)</sup>. *Нехлюдовъ* встрѣчается намъ въ «Отрочествѣ», «Юности», во «Встрѣчѣ въ отрядѣ», «Утрѣ помѣщика», «Запискахъ маркера», «Люцернѣ», «Воскресеніи». *Каренинъ* — въ «Аннѣ Карениной» и «Живомъ трупѣ». *Облонскій* — въ «Аннѣ Карениной» и «Запискахъ матери».

Бархинъ въ примѣчаніяхъ къ стихамъ «Трехъ пальмъ» —

Ихъ смуглыя ручки порой подымали,  
И черныя очи оттуда сверкали —

говоритъ слѣдующее: «Даются вмѣсто подробнаго описанія двѣ частности: смуглыя ручки и черныя очи, но въ воображеніи читателя уже готовъ образъ. Подобную манеру рисовать образы двумя-тремя штрихами мы встрѣчаемъ у Л. Н. Толстого; напротивъ, Гоголь при описаніи женскихъ портретовъ пускается въ подробности, которыя не только не даютъ яснаго образа, но просто мѣшаютъ читателю самому создать его (напр., «панночки» въ «Винѣ» и «Тарасѣ Бульбѣ»). Лессингъ отмѣтилъ (въ «Лаокоонѣ»), что Гомеръ избѣгаетъ подробностей въ описаніи наружности дѣйствующихъ лицъ. О Еленѣ Прекрасной въ Илиадѣ говорится только, что у нея бѣ-

<sup>1)</sup> Въ повѣсти „Дьяволъ“ — Иртеневъ.

лыя руки и чудные волосы <sup>1)</sup>. М—въ дастъ въ «Пѣснѣ о царѣ Иванѣ Васильевичѣ» въ стереотипныхъ чертахъ народныхъ пѣсенъ «детальный» портретъ Алены Дмитревны, но онъ получился слишкомъ блѣднымъ». (Бархинъ, «Соч. М. Ю. Л.», I, 80, 81). Въ «Демонѣ» образъ жениха Тамары набросанъ немногими, но мѣткими штрихами; въ сущности, о властителѣ Синодала, если говоритъ о его наружности, мы знаемъ только, что у него *смуглое* чело, *легкій* станъ; извѣстно, что князь молодъ; уже однѣ эти черты позволяютъ намъ создать въ воображеніи красиваго, стройнаго, гибкаго, благороднаго грузина, загорѣвшаго подъ южнымъ солнцемъ. Кромѣ того, поэтъ говоритъ, что князь богато одѣтъ и вооруженъ, что онъ «истерпѣливъ», что онъ ловкій наѣздникъ, что онъ «отваженъ»; все это придаетъ образу жизненность, выпуклость, и князь Синодала не затеряется въ толпѣ лермонтовскихъ героевъ. Съ необычайнымъ совершенствомъ нарисованъ въ «Сказкѣ для дѣтей» портретъ «маленькой Нины», этого граціознаго, полувоздушнаго созданія. Необходимо остановиться на стихотвореніи «Изъ-подъ таинственной, холодной полумаски» (II, 332, 333). Поэтъ указываетъ на слѣдующіе вѣншіе признаки прелестной «маски»: «плѣнительные глазки», улыбающіяся лукаво уста, дѣвственную бѣлизну щекъ, бѣлизну шеи, «локонъ своевольный», отдѣлившійся отъ волнистыхъ кудрей <sup>2)</sup>; упоминается еще о голосѣ, «отрадномъ какъ мечта». Этого довольно поэту:

*И создалъ я тогда въ моемъ воображеньѣ  
По легкимъ признакамъ красавицу мою,  
И съ той поры безплотное видѣнье  
Ношу въ душѣ моей, ласкаю и люблю.*

Никѣмъ не превзойденная способность Лермонтова немногими словами сообщать образу яркость и пластичность была

<sup>1)</sup> Толстому нравится, что „Гомеръ, чтобы описать красоту Елены, говоритъ, что, когда она вошла, старики изумились и встали“. („Письма Л. Н. Т.“ М. 1910 г., 227).

<sup>2)</sup> Ср. Печоринъ: „Иногда *локонъ, отдѣлившійся въ вихрь вальса отъ своихъ товарищей*, скользилъ по горячей щекѣ моей“... (IV, 224).

не разъ отмѣчена критикой. Напримѣръ, по словамъ Бороздина, «стихи Лермонтова отличаются своею пластичностью, особенно тамъ, гдѣ мы встрѣчаемъ у поэта описанія природы. Эти описанія можно сравнить съ живописью, они чрезвычайно богаты красками, *часто въ нѣсколькихъ словахъ* передъ нами рисуется цѣлая яркая картинка. Припомнимъ, напр., отрывокъ изъ «Спора»:

Вотъ у ногъ Ерусалима  
 Богомъ сожжена,  
 Безглагольна, недвижима <sup>1)</sup>  
 Мертвая страна...  
 Дальше, вѣчно чуждый тѣни,  
 Моетъ желтый Ниль  
 Раскаленные ступени  
 Царственныхъ могиль.

Такъ и чувствуется въ этихъ стихахъ палящій зной аравійскихъ и сирійскихъ степей». (Бороздинъ. «Литературныя характеристики». XIX в.—I. СПБ., 1903 г., 247) <sup>2)</sup>. О послѣднихъ четырехъ стихахъ этого отрывка изъ «Спора» В. Розановъ замѣчаетъ: «Въ четырехъ строчкахъ это не образъ, но скорѣе—идея страны. Названы точки, становясь на которыя созерцаешь цѣлое». (В. Розановъ. «Литературные очерки». СПБ. 1899 г., 167). Онъ же, цитируя стихотвореніе «Это случилось въ послѣдніе годы могучаго Рима» (ст. 17—25), говоритъ: «Это—что-то *Фидіасовское* въ словахъ, *но полнотѣ* очерка, *но обилію движенія*; и, между тѣмъ, это только недоконченный отрывокъ, даже безъ заглавія». (Тамъ же, 166). «Аннунціата» Гоголя около него блѣдна. (Тамъ же). Стихотвореніе «Утесъ», по словамъ Бороздина, «по своей пластичности»—«перлъ поэзіи... Здѣсь и тучка золотая и старикъ—утесъ не только вполне пластично изображены, но они живутъ; такое мастерство доступно *лишь*

<sup>1)</sup> Въ книгѣ Бороздина—„нелюдима“, но это ошибка.

<sup>2)</sup> Ср. Истоминъ. „Главнѣйшія особенности языка и слога произведеній М. Ю. Лермонтова, А. С. Грибоѣдова и А. С. Пушкина“. Варшава, 1894 г., 50, 51,

*немногимъ художникамъ*. (Бороздинъ. «Литературныя характеристики». I, 247, 248). Аполлонъ Григорьевъ объ этомъ же стихотвореніи: «Никто не станетъ отрицать, конечно, что вся трагическая сторона отношенія испытаннаго въ буряхъ жизни человѣка къ минутно посѣтившему его призраку молодости, обозначена въ этихъ стихахъ съ удивительною энергіею». (А. Григорьевъ. Соч., I. СПб. 1876 г., 404). А вѣдь все это высказано поэтомъ въ восьми короткихъ стихахъ... Бѣлинскій о «Трехъ пальмахъ»: «Пластицизмъ и рельефность образовъ, выпуклость формъ и яркій блескъ восточныхъ красокъ сливаются въ этой пещѣ поэзію съ живописью: это картина Брюлова, смотря на которую, хочешь еще и осязать ее». (Бѣлинскій, II, 133). Отмѣчаемъ, что въ статьѣ о рисункахъ Лермонтова баронъ Н. Врангель говоритъ: «Съ точки зрѣнія «школьной», Лермонтовъ ближе всего примыкаетъ къ Брюлову»... (Соч. М. Ю. Л., V, 211). Владиміровъ также указываетъ на картинность поэзіи Лермонтова: одно выраженіе—«на пушки конница бросалась»—изъ стихотворенія «Поле Бородинна» въ «Бородинѣ» «превратилось въ цѣлую военную картину, какъ будто нарисованную кистью баталиста Ораса Верне:

Уланы съ пестрыми значками,  
 Драгуны съ конскими хвостами—  
 Всѣ промелькнули передъ нами...  
 Носились знамена, какъ тѣни...  
 Сквозь дымъ летучій  
 Французы двинулись, какъ тучи.

(Владиміровъ, 27).

И Толстой обладаетъ рѣдкой, гениальною способностью—нѣсколькими словами создавать живые образы и настроенія; этотъ вопросъ широко разработанъ Мережковскимъ въ его замѣчательномъ изслѣдованіи творчества Толстого—«Л. Толстой и Достоевскій». I. СПб. 1903 г.

Приведемъ еще интересный отрывокъ изъ воспоминаній П. П. Гибѣдича:

«Первые литературные шаги. Я сижу не безъ благоговѣнія передъ редакторомъ, который съ добродушной улыбкой, но поучительно говоритъ:

— *Краткость и сжатость*, почтенный другъ мой,— первое дѣло — *сжатость*. Смотрите «Тамань», перечитайте «Старосвѣтскихъ помѣщиковъ» — страницу похоронъ Пульхеріи Ивановны... Прочтите сцену Михалевица съ Лаврецкимъ въ «Дворянскомъ гнѣздѣ» — вся длинная ночь на одной страницѣ. Да, наконецъ, *возьмите Толстого, Льва Толстого...* *Возьмите «Три смерти», возьмите Стиву Облонскаго: одинъ штрихъ, другой — и ясный, огромный образъ...* Не подражайте — сохрани Богъ — но изучайте, изучайте... (П. П. Гнѣдичъ. «Изъ записной книжки». «Международный альманахъ о Толстомъ». 2-е изд., 28).

Такимъ рѣдкимъ даромъ Чеховъ надѣляетъ писателя Тригорина (въ «Чайкѣ»). Аркадина говоритъ Тригорину: «Ты такой талантливый, умный, лучший изъ всѣхъ теперешнихъ писателей, ты единственная надежда Россіи... У тебя столько искренности, простоты, свѣжести, здороваго юмора... Ты можешь однимъ штрихомъ передать главное, что характерно для лица или пейзажа, люди у тебя, какъ живые». Треплевъ о немъ же: «Тригоринъ выработалъ себѣ приемы, ему легко... У него на плотинѣ блеститъ горлышко разбитой бутылки и чернѣетъ тѣнь отъ мельничнаго колеса — вотъ и лунная ночь готова, а у меня и трепещущій свѣтъ, и тихое мерцаніе звѣздъ, и далекіе звуки рояля, замирающіе въ тихомъ ароматномъ воздухѣ... Это мушкетельно». (Чеховъ. «Полн. собр. соч.» XIII. СПБ. 1903 г., 151, 163). Даромъ Тригорина обладалъ и самъ Чеховъ.

---

## Глава XXVIII.

### Заключеніе.

По какому пути пошелъ бы Лермонтовъ, если бы не погибъ такъ рано,—было и будетъ загадкой неразрѣшимой. Мы полагаемъ, что онъ болѣе всего походилъ бы на Льва Толстого. Насъ убѣждаетъ въ этомъ глубокое сходство ихъ личностей и творчества. У Лермонтова и Толстого (въ молодости)—одинъ и тотъ же страстный темпераментъ; дѣтьми испытываютъ они первую любовь; ищутъ, мужая, сильныхъ переживаній, смѣлы впечатлѣній,—въ любви, въ товарищескихъ пирушкахъ, въ войнѣ; имъ по душѣ все, что ускоряетъ темпъ жизни и придаетъ ей яркость,—музыка, цыганское пѣніе, быстрыя движенія, танцы, верховая ѣзда, физическія упражненія. Оба проявляютъ странную двойственность: гонятся за успѣхами въ свѣтскихъ гостинныхъ, хотя въ душѣ презираютъ свѣтъ, его блестящую и падменную пустоту; оба сознаютъ въ душѣ, что призваны совершить нѣчто великое, и въ то же время растрачиваютъ со всѣмъ пыломъ молодости «жаръ души». Стихійной любовью любятъ природу, понимаютъ всѣ ея тайны, отдыхаютъ на ея лонѣ, приходятъ въ умиленіе отъ простоты и добродушія русскаго мужика, отъ тишины и прелести русскихъ деревень; потомъ вдругъ изъ этой среды, гдѣ чувствовали себя такъ свободно и легко, опять идутъ на сцену свѣта. Та же двойственность въ отношеніи къ войнѣ, дуэли. Но всѣ эти увлеченія, ошибки, заблужденія—искренни, и внутренне оба они терзаются отъ такой двойственности и не прощаютъ себѣ ни одного

ложнаго шага, и никогда не забудутъ своихъ проступковъ. Оба, не кончивъ университета, идутъ на войну, скитаются, много читають, много думаютъ и пишутъ, и беспощадно анализируютъ себя—и втайнѣ, и въ своихъ произведеніяхъ; оба, путемъ самоанализа, пытаются познать себя, переносятъ на своихъ героевъ личныя черты, не расстаются съ однимъ и тѣмъ же типомъ—типомъ человѣка рефлексіи. Всѣ ихъ произведенія—исповѣдь, попытки разгадать свое «я», цѣль своего назначенія. Скептически относятся къ культурѣ и противопоставляютъ Печоринымъ, Оленинымъ, Пьерамъ Безуховымъ, переходящимъ отъ разочарованія къ разочарованію, страдающимъ отъ своей двойственности,—русскія цѣльныя натуры: Максима Максимыча, Ерошку, Каратаева.

Въ походѣ Лермонтовъ мирился со всѣми лишеніями, привыкъ къ неприхотливой ѣдѣ и одеждѣ. По замѣчанію Мережковскаго, «опрощеніемъ Лермонтова предсказано опрощеніе Л. Толстого, солдатскою рубахою Лермонтова—мужичій полушубокъ Л. Толстого». (Мережковскій. «Лермонтовъ», 70). Оба любятъ споры, вѣчно противъ чего-нибудь протестуютъ; подвергаются при жизни нападкамъ и гоненіямъ. Лермонтовъ сравнивалъ себя съ пророкомъ, презираемымъ и гонимымъ толпой, и отдыхающимъ предъ лицомъ природы; Толстой всю жизнь мечталъ о бѣгствѣ изъ города, отъ шума и блеска—въ глушь Россіи или Кавказа, мечталъ поселиться среди людей безхитростныхъ, ближе къ природѣ. Оба старались казаться людямъ хуже, чѣмъ были на самомъ дѣлѣ. Лермонтовъ говорилъ въ стихотвореніи, написанномъ еще въ 16-лѣтнемъ возрастѣ:

*Но лучше я, чѣмъ для людей кажусь.* (I, 146).

Николай Иртеневъ (въ томъ же возрастѣ): *«Могу смѣло сказать, что я былъ гораздо лучше въ дѣйствительности, чѣмъ то странное существо, которое я пытался представлять изъ себя».* (Л. Т., I, 232).

Нельзя, конечно, дать полной сравнительной характеристики этихъ геніевъ; одинъ изъ нихъ умеръ, когда ему не было еще и 27 лѣтъ, другой прожилъ болѣе 80 лѣтъ и

завершилъ весь кругъ человѣческаго бытія. Но, несомнѣнно, натуры ихъ сильно сходны; несомнѣнно и то, что въ будущемъ сходство удержалось бы.

Если извѣстныя намъ произведенія Лермонтова весьма близки къ духу произведеній Толстого, не будетъ смѣлымъ предположеніе, что и въ дальнѣйшихъ (не послѣдовавшихъ, къ сожалѣнію) стадіяхъ развитія творчество поэта имѣло бы еще болѣе общихъ чертъ съ творчествомъ автора «Войны и мира», потому что продолжалось бы вліяніе старшаго современника на младшаго. Однако, мы не желаемъ углубляться болѣе въ область предположеній. Передъ нами стоитъ другой, весьма важный и до сихъ поръ не выдвинутой вопросъ: кто изъ русскихъ художниковъ слова, испытавшихъ на себѣ вліяніе Лермонтова, по силѣ и особенностямъ дарованія ближе всѣхъ стоитъ къ своему учителю? По нашему мнѣнію,—*Левъ Толстой*. Онъ и Лермонтовъ,—какъ близнецы, походятъ другъ на друга характерами, тяготеютъ къ однѣмъ и тѣмъ же проблемамъ; въ выборѣ и развитіи сюжетовъ сходство доходитъ до мелочей. Странно схожа и ихъ судьба. Но, подчеркивая въ творчествѣ Толстого «лермонтовскія» черты, мы не склонны преувеличивать вліяніе Лермонтова на великаго писателя русской земли, умалять самобытность послѣдняго. Высоко цѣня достоинства произведеній Лермонтова, Толстой, при своемъ полу-отрицательномъ отношеніи къ поэзіи, могъ не во всѣхъ тонкостяхъ знать произведенія Лермонтова, особенно его лирику. Каждый изъ нихъ, какъ человѣкъ и художникъ, обладаетъ высокими индивидуальными чертами. Какъ истинный гений, Толстой самъ могъ найти многіе изъ тѣхъ образовъ, тѣхъ идей, которые мы встрѣчаемъ у Лермонтова; но надо признать, что вліяніе второго на первого было велико и благотворно. Ростъ и развитіе каждаго поэта и писателя обусловленъ литературными вліяніями. На Лермонтова наибольшее вліяніе оказали Байронъ и Пушкинъ, на Толстого—Руссо и Лермонтовъ.

Рано умеръ Лермонтовъ; нельзя не поражаться тому, какъ много успѣлъ онъ сдѣлать, несмотря на самыя не-

благопріятныя условія. Какіе обширныя творческіе замыслы, уже намѣченные, погибли съ нимъ! Съ равной силой, ни въ комъ у насъ болѣе не проявившейся, Лермонтовъ владелъ стихомъ и прозою... Сама Судьба какъ будто ужаснулась его трагической гибели—и пожалѣла насъ, и послала Льва Толстого; онъ не только принесъ міру свое слово, но и досказалъ многія недоконченныя лермонтовскія рѣчи, которымъ донинѣ «безъ волненія внимать невозможно».

---

## Лермонтовъ и Библия.

### 1.

Книги Ветхаго и Новаго Завѣта дороги человѣчеству не только тѣмъ, что онѣ «священныя», что онѣ говорятъ о Богѣ; онѣ давно оцѣнены и какъ художественныя произведенія. Съ древнихъ временъ поэты, живописцы, скульптора, музыканты берутъ сюжеты изъ Библии; многія страницы ея вѣчно будутъ плѣнять людей силой вдохновенія, яркостью образовъ, глубиной мыслей. Напримѣръ, Книга Іова, по общему мнѣнію, «одна изъ величайшихъ и великолѣпнѣйшихъ поэмъ міра». (І. Сендерлендъ. «Библия или Священныя книги Ветхаго и Новаго Завѣта». М. 1907 г., 88). «Я считаю эту книгу», говоритъ Карлейль, «величайшимъ изъ произведеній, когда-либо написанныхъ... Возвышенная скорбь, возвышенное примиреніе; древнѣйшая хоровая мелодія, исходящая изъ самаго сердца человѣчества, столь преисполненная нѣги и величія, какъ лѣтняя полночь, какъ міръ съ его морями и звѣздами». (Карлейль. «Герои и героическое въ исторіи». СПб. 1891 г., 68). «Пѣсни пѣсней», какъ поэма, превосходна; «ея описанія природы и жизни среди нея принадлежатъ къ самымъ поэтическимъ въ литературѣ». (Сендерлендъ, тамъ же, 95 96). «Капля ея, растворенная въ озерѣ другихъ словъ, уже превращаетъ ихъ въ лазурныя пѣсни, сказки, поэмы». (В. Розановъ. «Библейская поэзія». СПб. 1912 г., 28). Въ псалмахъ «лиризмъ Израіля достигъ наивысшей степени». (Летурно. «Литературное развитіе различныхъ племенъ и народовъ». СПб. 1895 г., 208). Извѣстные ученые относятъ нѣкоторыя

книги Ветхаго и Новаго Завѣта къ числу лучшихъ литературныхъ произведеній всѣхъ народовъ и вѣковъ; напр., ставятъ псалмы Давида такъ же высоко, какъ лирическія произведенія Пиндара и Вордсворта, сравниваютъ книгу Іова съ трагедіями Софокла и Шекспира. (Сендерлендъ, тамъ же, 198) <sup>1)</sup>.

Русскіе поэты часто приходили къ берегамъ этого чистаго, неизсякаемаго источника вдохновенія; то были и великіе, и малые: Ломоносовъ, Державинъ, Пушкинъ, Языковъ, Лермонтовъ, Хомяковъ, Мей, Никитинъ, Надсонъ, Минскій, Фругъ, Лохвицкая, Бальмонтъ и др. Изъ чихъ глубже всѣхъ духомъ Библии проникся Лермонтовъ. Пусть онъ не написалъ ни одного большого произведенія на чисто-библейскій сюжетъ, въ родѣ «Потеряннаго и возвращеннаго рая» Мильтона или «Мессіады» Клопштока, но многія его страницы обвѣяны поэзіей Библии, мы часто встрѣчаемъ у него то собственное имя, то образъ, то идею, извѣстные изъ Ветхаго и Новаго Завѣта. Далекое не всегда можно установить, что было создано Лермонтовымъ подъ вліяніемъ Библии или независимо отъ нея; онъ хорошо зналъ ее, но вѣдь многое могъ ему подсказать его богатый, проникновенный поэтический геній.

## 2.

Слѣды вліянія Библии встрѣчаются въ самыхъ раннихъ произведеніяхъ Лермонтова. Тяготѣніе его къ Библии объясняется нѣсколькими причинами: религіозностью поэта, развившейся, отчасти, подъ вліяніемъ набожной бабушки; направленіемъ его творчества; вліяніемъ Байрона. Человѣкъ вѣрующій, онъ «въ минуту жизни трудную» не разъ, вѣроятно, раскрывалъ священную книгу; онъ зналъ цѣлительную силу молитвы, вѣрилъ въ теплое заступничество небесныхъ силъ. Въ записной книжкѣ Лермонтова рукою кн. В. Ѳ. Одоевскаго занесены выписки изъ

<sup>1)</sup> См. еще—І. Шерръ. «Иллюстрированная всеобщая исторія литературы». І. М. 1896 г., 64—67.

посланий апостоловъ Иоанна и Павла; выписки эти имѣли отношеніе къ религіознымъ спорамъ, которые поэтъ *часто* велъ съ Одоевскимъ (Л., V, 36, 37). Лермонтовъ негодуетъ въ «Вадимѣ» на «нѣмое бездѣйствіе» толпы, равнодушно слушавшей чтеніе посланія апостола Павла (IV, 44). Читалъ онъ Библию и какъ поэтъ, ищущій новыхъ мотивовъ. Извѣстное вліяніе долженъ былъ оказать и Байронъ, авторъ «Еврейскихъ мелодій»; одна изъ нихъ великолѣпно переведена Лермонтовымъ («Душа моя мрачна...»). Восторженное, благоговѣнное отношеніе Байрона къ Библии выражено имъ въ стихотвореніи, извѣстномъ подъ заглавіемъ— «Стихи, найденные въ Библии лорда Байрона» (см. «Полн. собр. соч.» Байрона подъ ред. Михаловскаго. СПб. 1894 г., I, 135, 136).

Укажемъ сначала на цитаты и прямыя заимствованія изъ Ветхаго и Новаго Заветъа, свидѣтельствующія о близкомъ знакомствѣ поэта съ этими книгами.

Среди черновыхъ замѣтокъ, сдѣланныхъ на зарѣ поэтической дѣятельности, находимъ слѣдующую: «*Демонъ*». Сюжетъ <sup>1)</sup>. Во время плѣненія евреевъ въ Вавилонѣ (изъ Библии) <sup>2)</sup>. Еврейка. Отецъ слѣпой. Онъ въ первый разъ видитъ ее спящую. Потомъ она поетъ отцу про старину и про близость ангела—какъ прежде. Еврей возвращается на родину. Ея могила остается на чужбинѣ». (IV, 356).

Поэтъ упоминаетъ о жертвоприношеніи Авраама:

О, Боже! Боже!

Нѣтъ! Аврааму было легче—самому

На Исаака ножъ поднять, чѣмъ мнѣ!... (III, 86).

О переходѣ евреевъ черезъ Черное море: «Вдругъ толпа раздалась, расхлынулась, какъ нѣкогда море, тронутое железомъ Моисея»... (IV, 83); о преступленіи Каина:

<sup>1)</sup> Курсивъ М. Ю. Л.

<sup>2)</sup> Нашъ курсивъ.

Война! знакомый людямъ звукъ  
 Съ тѣхъ поръ, какъ братъ отъ братнихъ рукъ  
 Предъ алтаремъ погибъ невинно... (II, 48) <sup>1)</sup>.

Эпиграфъ къ «Мцыри» взятъ изъ 1-й книги Царствъ <sup>2)</sup>, (II, 308). Въ драмѣ «Menschen und Leidenschaften» Лермонтовъ цитируетъ евангелистовъ: Луку—XXIII, 32—34; Матѳея—XXIII, 27, 28, 32, 33; Марка—XI, 24, 25, (Л., III, 104, 105). Въ «Вадимѣ» поэтъ говоритъ о душахъ, которыя «подобны выкрашеннымъ гробамъ притчи. Наружность ихъ—блескъ очаровательный, внутри—смерть и прахъ». (IV, 124). Это изъ Евангелія; см. Матѳей, XXIII, 27; тотъ же стихъ въ драмѣ «M. und L.» (III, 104, 105). Въ «Вадимѣ»—дважды встрѣчаемъ стихъ: «*Приидите ко Мнѣ вси труждающіеся, и Азъ упокою вы*» <sup>3)</sup>. (IV, 43, 44). Это стихъ изъ ап. Матѳея (XII, 28), съ пропускомъ словъ—«и обремененные» (это можно объяснить тѣмъ, что поэтъ, вѣроятно, приводилъ стихъ по памяти). Поэтъ упоминаетъ еще о притчѣ о сѣятелѣ (IV, 66), о преданіи Іудой Христа (III, 141, 191), объ апокалипсическомъ числѣ 666 (IV, 137). Въ «Героѣ нашего времени»: «Въ тотъ день нѣмые возопіють, и слѣпые прозрятъ». (IV, 196). Быть можетъ, это изъ Исаи? Ср.: «*Тогда откроются глаза слѣпыхъ, и уши глухихъ услышатъ; Тогда хромоу будетъ прыгать, какъ олень, и языкъ нѣмаго будетъ пѣть*». (Исаія, XXXV, 6). Перестановка словъ объясняется, вѣроятно, тѣмъ, что слова пророка поэтъ тоже приводилъ по памяти. Онъ нерѣдко употребляетъ библейскія собственныя имена:

*Ааронъ*: «служитель Аарона» (I, 43); «премудрый пастырь Ааронъ» (II, 212); «великій пастырь Ааронъ» (II, 450).

*Авраамъ*: «будь Авраамъ свидѣтель» (III, 34); см. еще—III, 86.

*Адамъ*: «внукъ Евы иль Адама» (II, 144); «она не одному Адамову внуку вскружила голову» (III, 204).

<sup>1)</sup> См. еще—II, 398, третій очеркъ „Демона“, ст. 9,10—о сотвореніи міра; III, 49, ст. 1545—о явленіи Іеговы Моисею («въ неопалимой купинѣ»).

<sup>2)</sup> Т.-с. — изъ I кн. Самуила (XIV, 43).

<sup>3)</sup> Курсивъ поэта.

*Ева*: II, 144; «Евы дочь» (II, 173).

*Израиль*: «плачь, плачь, Израиля народъ!» (I, 154).  
«Плачь, Израиль! о, плачь!» (III, 49). «Ты—Богъ Израиля!»  
(III, 56).

О, Израиль,

Израиль!... ты скитаться долженъ въ мирѣ,  
Тебя преслѣдуютъ стихіи даже. (III, 57).

*Исаакъ*: III, 86.

*Иуда*:

отовсюду

Гоняли наглаго Іуду. (I, 44).

Пришло Іудѣ наказанье. (I, 45).

Іуда! мыслить мой улань. (II, 247).

«За тридцать сребренниковъ продалъ Іуда Іисуса Христа»... (III, 141); вариантъ—см. III, 191. «Поцѣлуй Іуды»  
(IV, 45). См. еще—II, 15.

*Каинъ*: «одинъ, всегда одинъ, отверженный, какъ Каинъ,  
Богъ знаетъ, за чье преступленіе». (III, 344).

*Маркъ*: III, 105.

*Моисей*: «законъ Моисея не существовалъ прежде земли» (I, 310).

Отецъ мой сказалъ, что законъ Моисея  
Любить запрещаетъ тебя. (II, 4).

...«Какъ нѣкогда море, тронутое жезломъ Моисея» (IV, 83).  
См. еще—IV, 313, 392.

*Павелъ*: «посланіе апостола Павла» (IV, 44).

*Саулъ*:

И жадный червь грызеть, грызеть,—  
Я думаю, тотъ самый, что когда-то  
Терзалъ Саула... (II, 158).

*Соломонъ*:

Когда бы Тирзу видѣлъ Соломонъ,  
То вѣрно-бъ свой престоль украсилъ ею,  
У ногъ ея и царство, и законъ,  
И славу позабылъ бы... (II, 155).

«Я говорилъ о царѣ Соломонѣ, который воспѣвалъ умеренность и совѣтовалъ поститься, а самъ былъ не изъ послѣднихъ скоромниковъ». (III, 150).

Характерно также употребленіе географическихъ названій:

*Ерусалимъ* (*Іерусалимъ*, *Солимъ*):

Солима бѣдные сыны. (II, 141).

«Вѣтвь Ерусалима» (II, 142); «у ногъ Ерусалима» (II, 338); см. еще—II, 480. «Клянусь Ерусалимомъ» (III, 21).

Пророкъ рожденъ въ Ерусалимѣ. (III, 30).

Плачь, Израиль! о, плачь!—твой Солимъ опустѣлъ!.. (III, 49).

«Богъ Ерусалима» (III, 56, 86); «ходилъ въ Ерусалимъ» (III, 67); «онъ рассказываетъ про Іерусалимъ» (IV, 352).

*Иорданъ*:

У водъ-ли чистыхъ Іордана. (II, 141)<sup>1)</sup>.

*Ливанъ*:

На гордыхъ высотахъ Ливана. (I, 316).

Еще у ногъ Ливана тишина. (I, 379).

Ночной-ли вѣтръ въ горахъ Ливана

Тебя сердито колыхалъ? (II, 141).

---

<sup>1)</sup> Мордовцевъ, описывая свое путешествіе въ Палестину, говоритъ, что воды Іордана *чисты* „только духовно, поэтически, а въ сущности, по природѣ—мутны“. (Мордовцевъ. „Поѣздка въ Іерусалимъ“. СПб. 1895 г., 157). То же, въ настоящее время, говоритъ корреспондентъ „Русскаго Слова“, А. Карташевъ: „Между Іорданомъ религиозной поэзіи и Іорданомъ дѣйствительнымъ такое же различіе, какъ между неистойвой, сомнамбулической выдумкой Гоголя и лысымъ, обмелѣвшимъ Днѣпромъ. Величіе, кристалльная чистота, райская красота—и малость, муть, невзрачность!.. Если бы Лермонтовъ былъ тутъ, у него дрогнула бы рука написать: „У водъ ли чистыхъ Іордана“. У водъ ли „мутныхъ“, у водъ ли „быстрыхъ“ было бы вѣрнѣе. Впрочемъ, онъ правъ символически. Что толку въ мертвомъ реализмѣ, когда „тмы низкихъ истинъ намъ дороже“... (А. Карташевъ. „На Іорданѣ“.—„Русское Слово“, 5 янв. 1913 г., № 4) Ср.—В. Дорошевичъ: „Іорданъ производитъ впечатлѣніе глухой, маленькой рѣчки, какихъ много въ средней полосѣ Россіи“. („Въ землѣ обѣтованной“. М. 1900 г., 219). „Онъ весь мутный и молочно-бѣлый, состоитъ изъ маленькихъ омутовъ“. (Тамъ же, 221).

*Мертвое море*: «воспоминанія? да, но какія? горькія, обманчивыя, подобно плодамъ, растущимъ на берегахъ Мертваго моря, которые, блистая румяной корою, таятъ подъ нею пепель, сухой, горячій пепель!» (IV, 69).

*Палестина*: «на холмахъ Палестины» (II, 86); «вѣтка Палестины» (II, 141).

*Сіонъ*:

Не разъ они въ Сіонъ ходили. (I, 119).

Тому только можно Сіонъ вамъ отдать... (III, 49).

Ср. II, 390, ст. 110.

Библией внушено поэту то гуманное отношеніе къ евреямъ, которому онъ былъ вѣренъ всю жизнь и которое нашло отраженіе въ его произведеніяхъ; см., напр., стихотвореніе «Плачь, плачь, Израиля народъ!» (I, 154), трагедію «Испанцы» (III), стихотворенія «Баллада» (II, 4, 5), «Вѣтка Палестины» (II, 141, 142). Одинъ изъ губернеровъ Лермонтова былъ «ученый еврей Леви» (Висковатый, 36); быть можетъ, и онъ оказалъ нѣкоторое влияніе на поэта выражавшаго сочувствіе горькой участи «бѣдныхъ сыновъ Солима».

### 3.

Какъ религіозный человѣкъ, Лермонтовъ часто говоритъ о Богѣ, объ ангелахъ. Могучій, какъ Іаковъ (и хромъ, какъ онъ), поэтъ не разъ дерзалъ вступать въ богоборчество и онъ же, въ свѣтлыя минуты, слагалъ дивныя гимны Создателю прекрасной, величественной вселенной. Въ стихотвореніи «Кладбище» поэтъ говоритъ:

Надъ головой

Жужжа, со днемъ прощаются игрой

Толпящіяся мошки,—какъ народъ

Существовъ, уставшихъ отъ работъ!...

*Стократъ великъ, Кто создалъ міръ. великъ!...*

*Сихъ мелкихъ тварей надмогильный крикъ*

*Творца не больше-ль славитъ иногда,*

Чѣмъ въ пепель обращенныя стада,

Чѣмъ челоуѣкъ, сей царь надъ общимъ зломъ,  
Съ коварнымъ сердцемъ, съ ложнымъ языкомъ?... (I, 139).

Развѣ это не то же, что пѣкогда сказалъ Давидъ: «*Все движущее да хвалитъ Господа*»? (Псаломъ СL, 6).

Мцыри чудилось, будто какіе-то голоса шептались по кустамъ

О тайнахъ неба и земли;  
И вѣсь природы голоса  
Сливались тутъ; не раздался  
Въ торжественный хваленья часъ  
Лишь челоуѣка гордый гласъ. (II, 317).

Вся природа славословитъ Бога: «*Да восхвалятъ Его небеса и земля, моря и все, движущееся въ нихъ*». (Псаломъ LXIX, 35) <sup>1)</sup>.

Ангелы немолчно славятъ Бога; Азраэль говорить:

Я часто ангеловъ видаль  
И громкимъ пѣснямъ ихъ внималь,  
Когда въ багряныхъ облакахъ  
Они, качаясь на крылахъ,  
Всѣ вмѣстѣ славили Творца,  
И не было хваламъ конца. (I, 308).

Вспомнимъ первые стихи знаменитаго «Ангела»:

По небу полуночи ангель летѣль,  
И тихую пѣсню онъ пѣль;  
И мѣсяцъ, и звѣзды, и тучи толпой  
Внимали той пѣснѣ святой.  
Онъ пѣль о блаженствѣ безгрѣшныхъ духовъ  
Подъ кущами райскихъ садовъ,  
О Богъ великомъ онъ пѣль, и хвала  
Его непритворна была. (I, 284).

Эти стихи напоминаютъ древній псаломъ: «Хвалите Господа съ небесъ; хвалите Его въ вышнихъ. Хвалите Его,

всѣ Ангелы Его; хвалите Его, всѣ воинства Его; Хвалите Его, солнце и луна; хвалите Его всѣ звѣзды свѣта»... (Пс. CXLVIII, 1—4). Весьма возможно, что Лермонтову былъ извѣстенъ этотъ псаломъ.

Въ ясный день, когда всюду царитъ тишина, поэтъ созерцаетъ въ небесахъ Бога («Когда волнуется желтѣющая шива»...). Не напоминаетъ ли намъ это пророка Илію, которому Богъ явился не при вихрѣ, не при землетрясеніи или въ огнѣ, а въ таинственной *тишинѣ*? Лермонтовъ говоритъ о *вѣтеркѣ* (II, 208), Библия—о «вѣяніи *тихаго вѣтра*» (см. I кн. Царей, XIX, 11—13). Подъ влияніемъ Библии Лермонтовъ создаетъ дивные образы ангеловъ свѣта и тьмы. Книги Ветхаго и Новаго Завѣта многократно псѣвствуютъ объ ангелахъ, вѣрныхъ исполнителяхъ высшей воли; такими изображаетъ ихъ и поэтъ—въ «Ангелѣ», въ «Демонѣ». Небожители охраняютъ человека отъ зла, бесѣдуютъ съ дѣтьми во снѣ; эти «недремлющіе» стражи добра всюду—и на землѣ, и на небѣ. Демонъ клянется «мечами ангеловъ безстрастныхъ» (II, 373); ср. Библия: «И поставилъ на востокѣ у сада Едемскаго херувима и пламенный мечъ обращающійся, чтобы охранять путь къ дереву жизни». (Бытіе, III, 24). У Лермонтова есть поэма объ Ангелѣ Смерти; объ ангелахъ смерти говоритъ Библия (см., напр., Кн. пророка Исаи, XXXVII, 36; II кн. Царей, XIX, 35; II кн. Паралипоменонъ, XXXII, 21; II кн. Самуила, XXIV, 16). Вліяніе Библии сказалось и въ созданіи образа могучаго, дерзкаго Демона. Пророкъ Захарія видѣлъ «Исуса, великаго іерея, стоящаго предъ вѣчносущимъ Ангеломъ, и *сатану, стоящаго по правую руку его, чтобы противодѣйствовать ему*». (Захарія, III, 1). О сатанѣ, бросающемъ вызовъ Богу, говоритъ Книга Іова. Всѣ книги Ветхаго и Новаго Завѣта—исторія борьбы двухъ началъ—добра и зла, Бога и діавола; этотъ же мотивъ проходитъ черезъ все творчество Лермонтова.

4.

Лермонтовъ чаще говорилъ о мукахъ, объ огорченіяхъ, доставляемыхъ жизнью, нежели о ея радостяхъ; да и могло ли быть иначе? Гошимый судьбою и людьми, много ли свѣтлыхъ дней видѣлъ поэтъ? Не былъ онъ созданъ для мирнаго счастья и даже не искалъ его; вѣчно горѣлъ душой, вѣчно были напряжены его душевныя силы; одинокимъ парусомъ, «ознакомленнымъ съ грозой», носился онъ по житейскому морю и если кому завидовалъ, то не людямъ, а вольнымъ дѣтямъ природы—птицамъ, волнамъ, тучамъ... «Всѣ дни его—страданія, и его занятія—безпокойство»... (Экклезіастъ, II, 23).

Поэтъ не разъ говорилъ о жизни, какъ о чашѣ страданій:

Намъ горька остылой жизни чаша. (I, 74).

Мы пьемъ изъ чаши бытія

Съ закрытыми очами,

Златые омочивъ края

Своими же слезами.

Когда же передъ смертью съ глазъ

Завязка упадаетъ,

И все, что обольщало насъ,

Съ завязкой исчезаетъ,

Тогда мы видимъ, что пуста

Была златая чаша,

Что въ ней напитокъ былъ — мечта,

И что она — не наша! (I, 273).

«Я еще не осушилъ чаши страданій и теперь чувствую, что мнѣ еще долго жить». (IV, 255). Грудь полна страданій,

Какъ кубокъ смерти, яда полный. (II, 140).

Въ примѣчаніяхъ къ стихотворенію «Еврейская мелодія» Бархинъ (40, 41) приводитъ въ параллель слѣдующія мѣста изъ Библии о «чашѣ горя»: Пс. LXXV, 9<sup>1)</sup>; Иеремія,

1) У Бархина опечатка: LXXIV (вм. LXXV)

XXV, 15; Иезекииль, XXIII, 31—34; Матѳеѳей, XXVI, 39; Маркъ, XIV, 36.—О «чашѣ горя» въ нашей древней письменности—см. И. Н. Ждановъ, «Соч.», I, СПБ., 1904 г., 716, 717.

5.

Люди, обыкновенно, старятся до срока, хотя жизнь и безъ того кратковременна. Поэтъ говоритъ:

Взгляните на мое чело,  
Всмотритесь въ очи, въ блѣдный цвѣтъ:  
Лицо мое вамъ не могло  
Сказать, что мнѣ пятнадцать лѣтъ.  
И скоро старость приведетъ  
Меня къ могилѣ. (I, 132).

Средь бурь пустыхъ томится юность наша. (I, 74).

И жизнь имъ въ тягость съ юныхъ лѣтъ. (I, 327).

И жизнь ужъ насъ томить, какъ ровный путь безъ цѣли,  
Какъ пиръ на праздникъ чужомъ...

Едва касались мы до чаши наслажденья,

Но юныхъ силъ мы тѣмъ не сберегли... (II, 252).

Какъ же не пройти быстро юности, если первая любовь испытывается 10-лѣтнимъ ребенкомъ и не забывается до могилы <sup>1)</sup>, если уже «въ ребячествѣ» познается тоска «любви знойной» <sup>2)</sup>? Поэтъ могъ бы сказать словами Соломона: «Дѣтство и юность скоро проходятъ». (Экклесіастъ, XI, 10).

Люди, какъ растенія, цвѣтутъ недолго, быстро увядаютъ (I, 74).

Такъ тощій плодъ, до времени созрѣлый,  
Ни вкуса нашего не радуя, ни глазъ,  
Виситъ между цвѣтовъ, пришлецъ осиротѣлый,  
И часъ ихъ красоты—его паденья часъ! <sup>3)</sup> (II, 252).

<sup>1)</sup> См. IV, 349; II, 277, 278.

<sup>2)</sup> См. I, 177, 178.

<sup>3)</sup> Ср. II, 16—17.

Есть всему конецъ.

Немного долголѣтнѣй человѣкъ

Цвѣтка; въ сравненіи съ вѣчностью ихъ вѣкъ

Равно ничтоженъ. (I, 255).

Лермонтовъ любитъ прибѣгать къ сравненію человѣка съ цвѣткомъ, погибающимъ до срока (см. еще—I, 223; II, 325); чаще всего онъ обращается къ нему, говоря о недолговѣчности красоты женщины. Красота дѣвушки нерѣдко вызываетъ въ немъ не восхищеніе, а думы о старости и смерти. Онъ, напр., говоритъ молодой красавицѣ:

Скажи, для чего передъ нами

Ты въ кудри вплетаешь цвѣты?

Себя ли украсишь ты розой

Прелестной, минутной, какъ ты?

Зачѣмъ приводить намъ на память,

Что могутъ ланиты твои

Увянуть, что взоръ твой забудеть

Восторги надеждъ и любви? (I, 88).

Варианты поэта весьма разнообразны. Азраилъ говоритъ любимой дѣвушкѣ: «Пускай эти гвоздики и фіалки унесетъ ближній потокъ, какъ нѣкогда время унесетъ твою собственную красоту». (I, 307). Вадимъ Ольгѣ: «Узнавъ мою тайну, ты отдашь судьбу свою въ руки опаснаго человѣка: онъ не сумѣетъ лелѣять цвѣтокъ этотъ, онъ изомпечетъ его»... (IV, 6). О дѣвушкѣ, убитой казаками, поэтъ говоритъ: «Божественная, милая дѣвушка! и ты погибла, погибла безъ возврата... одинъ ударъ,—и свѣжій цвѣтокъ склонилъ голову!» (IV, 90). Печоринъ: «А вѣдь есть необъятное наслажденіе въ обладаніи молодой, едва распустившейся души! Она, какъ цвѣтокъ, котораго лучший аромат испаряется навстрѣчу первому лучу солнца; его надо сорвать въ эту минуту и, подышавъ имъ до-сыта, бросить на дорогѣ: авось кто-нибудь подниметь!» (IV, 231). Демонъ говоритъ, что на землѣ нѣтъ «долговѣчной красоты». (II, 374) <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Сравненіе дѣвушки съ цвѣткомъ часто встрѣчается въ великорусскихъ

Зарожденію и развитію этихъ мыслей способствовала, въ извѣстной степени, Библия, на страницахъ которой находимъ аналогичное:

«Всякая плоть трава, и всякая слава ея полевой цвѣтокъ: Трава засыхаетъ, цвѣтокъ увядаетъ, когда вѣтеръ отъ Господа дунетъ на него; точно такъ и народъ, какъ трава». (Исаія, XL, 6, 7). То же—см. I посл. ап. Петра, I, 24, 25.

«По утру они, какъ трава, которая зеленѣетъ: По утру она цвѣтетъ и зеленѣетъ, а вечеромъ подсыхаетъ и изсыхаетъ». (Пс. XC, 5, 6). «Человѣкъ,—какъ трава, дни его; какъ цвѣтъ на полѣ, такъ онъ цвѣтетъ. Пройдетъ надъ нимъ вѣтеръ, и нѣтъ его, и уже не узнаетъ его мѣсто его». (Пс. CIII, 15, 16) <sup>1)</sup>. «Какъ цвѣтокъ, онъ выходитъ и вянетъ». (Иовъ, XIV, 2). «И увядшій цвѣтокъ ихъ славной красоты, на вершинѣ тучной нивы, будетъ какъ *смоква, поспѣвшая прежде лѣта* <sup>2)</sup>, которая, какъ только будетъ въ рукѣ увидѣвшаго ее, тотчасъ проглатывается». (Исаія, XXVIII, 4). «Разсыпается, какъ моль, красота его. Да, суета всякой человѣкъ». (Пс. XXXIX, 12; ср. Посл. ап. Іакова, I, 10, 11).

Красота кратковременна; но любовь? И она недолга, непостоянна:

Любить... но кого же?... На время — не стоитъ труда,

А вѣчно любить невозможно. (II, 286).

Иль ты не знаешь, что такое

Людей минутная любовь?—

Волненье крови молодое!

Но дни бѣгутъ, — и стынетъ кровь.

Кто устоитъ противъ разлуки,

Соблазна новой красоты,

народныхъ пѣсняхъ; см. объ этомъ — Автамоновъ. „Символика растений“. („Ж. Мин. Нар. Пр.“, 1902 г., XI, XII).

<sup>1)</sup> Ср. Пушкинъ о Ленскомъ:

Дохла буря, цвѣтъ прекрасный

Увяль на утренней зарѣ. („Евг. Он.“, VI гл., XXXI).

<sup>2)</sup> Ср.—Лермонтовъ о плодахъ, созрѣвшихъ до срока — II, 16, 17, 252.

Противъ усталости и скуки  
И своенравія мечты? (II, 374).

Поэтъ устами Арбенина говорить:

Я все видѣлъ,  
Все почувствовалъ, все понялъ, все узналъ;  
Любилъ я часто, чаще ненавидѣлъ  
И болѣе всего страдалъ. (III, 228).

Передъ нами словно не юноша, а умудренный опытомъ, посѣдѣлый старецъ, подобный Соломону, который на закатѣ жизни говорилъ: «Чего бы глаза мои ни потребовали, я не отказывалъ имъ; не удерживалъ сердце моего ни отъ какой радости... И возненавидѣлъ я жизнь; потому что противны мнѣ дѣла, совершающіяся подъ солнцемъ, такъ какъ все суета и затѣи вѣтряныя». (Экклезіастъ, II, 10, 17).

Но человѣку остается еще многое; напр.,—знаніе; быть можетъ, оно наполнитъ жизнь? Нѣтъ,—

Мы изсушили умъ наукою безплодной,  
Тая завистливо отъ ближнихъ и друзей  
Надежды лучшія и голосъ благородный  
Невѣріемъ осмѣянныхъ страстей. (II, 252).

Печоринъ говорилъ: «Я сталъ читать, учиться—науки также надоѣли». (IV, 179).

Все это «затѣи вѣтряныя, ибо «при mnogой мудрости много раздражительности, и кто умножаетъ познанія, умножаетъ огорченіе». (Экклезіастъ, I, 17, 18).

А слава? Нѣтъ; «слава, купленная кровью», не прельщаетъ поэта (II, 330). Все суета, все преходяще:

Къ чему глубокія познанья, жажда славы,  
Талантъ и пылкая любовь свободы,  
Когда мы ихъ употребить не можемъ? (I, 74).

«Всякая плоть трава, и всякая слава ея полевой цвѣтокъ: трава засыхаетъ, цвѣтокъ увядаетъ, когда вѣтеръ отъ Господа дунетъ на него; точно такъ и народъ, какъ трава». (Исаія, XL, 6, 7).

Лермонтову часто бывало «и скучно и грустно», часто жизнь казалась ему «пустой и глупой шуткой». Онъ, напр., говорилъ: «Голова кружится отъ глупостей. Мнѣ кажется, что по той же причинѣ и земля вертится вотъ ужъ 7000 лѣтъ». (IV, 392).

Что толку жить!... Безъ приключеній  
И съ приключеньями — тоска  
Вездѣ, какъ безпокойный геній,  
Какъ вѣрная жена, близка!...  
\* \* \* \* \*  
А потрудитесь разсмотрѣть, —  
Все веселѣе умереть. (II, 15).

О той же усталости, о той же неохотѣ къ жизни говоритъ Соломонъ: «И возненавидѣлъ я жизнь; потому что противны мнѣ дѣла, совершающіяся подъ солнцемъ, такъ какъ все суета и затѣи вѣтряныя». (Экклезіастъ, II, 17).

Ужъ не жду отъ жизни ничего я,

признается поэтъ (II, 348). Ту же мысль встрѣчаемъ у Соломона: «И такъ я рѣшилъ, чтобы сердце мое не ожидало ничего отъ всего труда, что я трудился подъ солнцемъ». (Экклезіастъ, II, 20).

6.

Человѣкъ—вѣчный, одинокій странникъ. Этотъ мотивъ безъ конца варьируется Лермонтовымъ всю жизнь.

Брожу одинъ, какъ отчужденной! (I, 59).  
Я межъ людей безпечный странникъ,  
Для міра и небесъ чужой. (I, 86).  
Какъ путешественникъ забвенный,  
Я чуждымъ сталъ между родныхъ. (I, 107).  
Гонимый міромъ странникъ. (I, 300) <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> См. еще I, 168, № 187.

Зораимъ—

На землѣ былъ только странникъ,—  
Людьми и небомъ былъ гонимъ. (I, 315).

Селимъ—

Странствовалъ въ пустынѣ одинокъ. (I, 345).

Поэтъ о себѣ:

Я въ мысляхъ вѣчный странникъ... (II, 188).  
Не за свою молю душу пустынную,  
За душу странника въ свѣтѣ безроднаго... (II, 208)<sup>1</sup>.  
Тебѣ, Казбекъ, о, стражъ Востока,  
Привезъ я — странникъ — свой поклонъ. (II, 213).

«Право, мнѣ необходимо путешествовать: я—цыганъ». (IV, 308). «Я сдѣлался ужаснымъ бродягой; а, право, я расположенъ къ этому роду жизни». (IV, 330).

Арсеній (въ «Бояринѣ Оршѣ»), Печоринъ, Демонъ—скитальцы.

Къ поэту примѣнимы слова Библии: «Странникъ я у Тебя, пришлецъ, какъ и всѣ отцы мои». (Пс. XXXIX, 13). «Странникъ я на землѣ». (Пс. CXIX, 19).

Поэтъ часто прибѣгаетъ къ сравненію человѣка-скитальца съ оторваннымъ древеснымъ листкомъ.

Вездѣ одинъ, природы сынъ,  
Не зналъ онъ друга межъ людей:  
Такъ бури токъ сухой листокъ  
Мчитъ жертвой посреди степей!... (I, 51).  
Угрюмъ и одинокъ,  
Грозой оторванный листокъ. (II, 311).

«Нашъ судьба разноситъ въ разныя стороны, какъ вѣтеръ листы осеши». (IV, 305)<sup>2</sup>.

Аналогичное находимъ въ Ветхомъ Заветѣ:

<sup>1</sup>) „Молитва“ сначала носила заглавіе „Молитва странника“ (см. II, 447; IV, 332).

<sup>2</sup>) Подробн. см. ниже статью „Дубовый листокъ“.

«Мы увяли, какъ листь, и грѣхи наши, какъ вѣтеръ, уносятъ насъ». (Исаія, LXIV, 5). «Не сорванный ли листь Ты сокрушаешь и не сухую ли соломинку преслѣдуешь?» (Кн. Іова, XIII, 25).

Предъ лицомъ вѣчности кратковременно бытіе не только человѣка, но и цѣлыхъ поколѣній. Азраиль говоритъ:

Все умираетъ, все проходитъ.  
Гляжу, за вѣкомъ вѣкъ уводитъ  
Толпы народовъ и міровъ,  
И съ ними вмѣстѣ исчезаетъ. (I, 304, 305).

Демонъ:

Что люди? Что ихъ жизнь и трудъ?  
Они прошли, они пройдутъ! (II, 372).

Это навѣяно словами Экклезіаста: «Одно поколѣніе отходитъ, другое поколѣніе приходитъ, а земля во вѣки пребываетъ». (I, 4). Ср. Пс. CXLIV, 4.

## 7.

Непрочны, недолговѣчны плоды рукъ человѣка... Поэтъ любить рисовать картины медленнаго, но неумолимаго разрушенія барскихъ домовъ, храмовъ, замковъ, картины величаваго запустѣнія.

Замокъ Арсенія:

И опустѣлъ его высокій домъ:  
И странниковъ не угощаютъ въ немъ,  
И дворъ заросъ зеленою травой,  
И пыль покрыла сѣрой пеленой  
Святыя образа, дубовый столъ  
И пестрые ковры! И гладкій полъ  
Не скрипнетъ ужъ подъ легкою ногой  
Красавицы лукавой и молодой!  
Ни острый мечъ въ серебряныхъ ножнахъ,

Ни шлемъ стальной не блещутъ на стѣнахъ,—  
Они забыты въ полѣ роковомъ,  
Гдѣ онъ погибъ. Въ покоѣ лишь одномъ  
Все, все какъ прежде: лютня у окна,  
И вкругъ нея обвитая струна,  
И двѣ одежды женскія лежатъ  
На мягкомъ ложѣ, будто бы назадъ  
Тому лишь день, какъ дѣва странъ чужихъ  
Сюда небрежно положила ихъ.  
И, раздувая пологъ парчевой,  
Скользить по нимъ прохладный вѣтръ ночной,  
Когда сквозь тонкій занавѣсъ окна  
Глядитъ луна, нескромная луна! (I, 217).

Замокъ Эрсильдаунъ:

На западъ, на западъ помчался бы я,  
Гдѣ цвѣтутъ моихъ предковъ поля,  
Гдѣ въ замкѣ пустомъ, на туманныхъ горахъ,  
Ихъ забвенный покоится прахъ.  
На древней стѣнѣ ихъ наслѣдственный щитъ  
И заржавленный мечъ ихъ висить.  
Я сталъ бы летать надъ мечемъ и щитомъ  
И смахнулъ бы я пыль съ нихъ крыломъ.  
Арфы шотландской струну бы задѣлъ  
И по сводамъ бы звукъ пролетѣлъ;  
Внимаемъ однимъ и однимъ пробужденъ,  
Какъ раздался, такъ смолкнулъ бы онъ. (I, 266)<sup>1)</sup>.

Теремъ боярина Орши:

Въ покояхъ ночь,  
Закрты ставни, полъ скрипитъ,  
Пустая утварь дребезжить  
На старыхъ полкахъ; лишь порой

---

1) Развалины этого замка, по словамъ Висковатова, „и теперь еще живописно расположены на берегахъ Твида, въ нѣсколькихъ миляхъ отъ слиянія его съ Лидеромъ. Развалины эти носятъ еще названіе башни Лермонта (Learmonth Tower)\*. (Висковатый, 76).

Широкой, бѣлой полосой,  
Рисуясь на печи большой,  
Проходить въ трещину ставней  
Холодный свѣтъ дневныхъ лучей. (II, 135).

Смято ложе сна,  
Какъ будто-бы на немъ она <sup>1)</sup>,  
Тому назадъ лишь день, лишь часъ,  
Главу покоила не разъ,  
Младенческій вкушая сонъ.  
Но, *приближаясь*, видитъ онъ <sup>2)</sup>  
На тонкихъ бѣлыхъ кружевахъ  
Чернѣющей слоями прахъ,  
И ткани паутины сѣдыхъ  
Вкругъ занавѣсокъ парчевыхъ. (II, 136).

Заброшенный графскій домъ въ Москвѣ:

Онъ теперь пустой.  
...Пылью, паутиной  
Обвѣшены, какъ инеемъ, кругомъ  
Карнизы стѣнъ, расписанныхъ огнемъ  
И временемъ; и окна краской бѣлой  
Замазаны повсюду кистью смѣлой.  
Въ гостиной есть диванъ и круглый столъ  
На витыхъ ножкахъ, вражеской рукою  
Исчерченный; но часъ ихъ не пришелъ,—  
Они гниютъ незримо, лишь порою  
Скользятъ по нимъ играющей Эоль  
Или еще крыло жильца развалинъ —  
Летучей мыши.  
.....  
На изразцахъ кой-гдѣ встрѣчаетъ глазъ  
Черты карандаша, стихи...  
.....  
И образы языческихъ боговъ —  
Безъ рукъ, безъ ногъ, съ отбитыми носами —

<sup>1)</sup> Дочь Орши.

<sup>2)</sup> Арсеній.

Лежать въ углахъ низвергнуты съ столбовъ,  
 Раскрашенныхъ подъ мраморъ. Надъ дверями  
 Висятъ портреты дѣдовскихъ вѣковъ  
 Въ померкшихъ рамахъ и глядятъ сурово... (II, 192—194).

См. еще—«Сказка для дѣтей» (II, 272, 273).

Въ отрывкѣ изъ начатой повѣсти: «Квартира состояла изъ четырехъ комнатъ и кухни. Старая, пыльная мебель, нѣкогда позолоченная, была правильно разставлена кругомъ стѣнъ, обтянутыхъ обоями, на которыхъ изображены были, на зеленомъ грунтѣ, красные попугаи и золотыя лиры; изразцовыя печи кое-гдѣ порастрескались; сосновый полъ, выкрашенный подъ паркетъ, въ иныхъ мѣстахъ скрипѣлъ довольно подозрительно, въ простѣнкахъ висѣли овальныя зеркала съ рамками рококо; вообще, комнаты имѣли какую-то странную, несовременную наружность». (IV, 290).

Древнѣйшій испанскій монастырь:

Храмъ священный

Сталь жертва бури и дождей.  
 Изъ двери въ дверь во мглѣ ночей  
 Блуждаетъ вѣтръ освобожденный;  
 Внутри на ликахъ расписныхъ  
 И средь разсѣлинъ стѣнъ сѣдыхъ  
 Большой паукъ, пустынный новый,  
 Кладетъ сѣтей своихъ основы.  
 Сбѣгаючи со скаль крутыхъ,  
 Случалось, лань, дитя свободы,  
 Приютъ отъ зимней непогоды  
 Искала въ кельѣ,— и порой  
 Забытой утвари паденье,  
 Среди развалины глухой,  
 Вдругъ приводило въ удивленье  
 Ее... Но нынче ничему  
 Нельзя встревожить тишину:  
 Что можетъ падать, то упало,  
 Что мреть, то умерло давно... (II, 396, 397) <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> См. еще „Мцыри“, II, 308, 309.

Замокъ Гудала:

Грустенъ замокъ, отслужившій  
 Когда-то очередь свою,  
 Какъ бѣдный старецъ, пережившій  
 Друзей и милую семью.  
 И только ждуть луны восхода  
 Его незримые жильцы:  
 Тогда имъ праздникъ и свобода!  
 Жужжать, бѣгутъ во всѣ концы.  
 Съдой паукъ, отшельникъ новый,  
 Прядеть сътей своихъ основы;  
 Зеленыхъ ящерицъ семья  
 На кровлѣ весело играетъ,  
 И осторожная змѣя  
 Изъ темной щели выползаетъ  
 На плиту стараго крыльца:  
 То вдругъ совьется въ три кольца,  
 То ляжетъ длинной половою,  
 И блещетъ, какъ булатный мечъ...  
 ...Все дико. Нѣтъ нигдѣ слѣдовъ  
 Минувшихъ лѣтъ: рука вѣковъ  
 Прилежно, долго ихъ сметала... (II, 381, 382).

А когда-то въ этомъ замкѣ кипѣла жизнь; «звучала зурна, и лились вѣны»; кровля, на которой теперь рѣзвятся ящерицы, была устлана коврами, и прелестная Тамара, подъ пѣніе подругъ, порхая легче птицы, обворожала гостей волшебной пляской... Чтобы еще больше оттѣнить мрачную красоту разрушенія, поэтъ говоритъ (въ этомъ же эпилогѣ), что кругомъ все цвѣтетъ, зеленѣетъ, и природа тѣшится, «какъ беззаботное дитя». Какъ мы видимъ, у поэта повторяются нѣкоторые штрихи, но картины очень разнообразны; онѣ превосходны и по замыслу, и по исполненію; детали тонки и чрезвычайно отчетливы. Здѣсь есть и личныя наблюденія, и литературныя вліянія. Въ «Мцыри», напримѣръ, описанъ поэтомъ древній грузинскій монастырь «Джварисъ-сакдари» (церковь креста), находящійся на бе-

регу Арагвы, противъ Мцхета (см. Энцикл. словарь Бр. и Ефр.—о «Джварисъ-сакдари»). Въ «Демонѣ» домъ Гудала описанъ по развалинамъ замка въ Гудъ-аулѣ, расположенномъ надъ Арагвой. (См. собр. соч. М. Ю. Л. подъ ред. Висковатова, III, 119). Литературное воздѣйствіе могъ оказать Байронъ. Описаніе заброшенныхъ покоевъ боярина Орши не возникло ли подъ вліяніемъ «Гяура»? Въ этой поэмѣ есть аналогичный мотивъ:

И пышный домъ могилой сталъ.

.....  
Не видно въ стойлахъ бѣгуновъ;  
Умолкла въ замкѣ рѣчь рабовъ;  
Паукъ развѣшиваеъ тамъ  
Сѣдя ткани по стѣнамъ <sup>1)</sup>;  
Ковры гарема мышь грызетъ;  
На башнѣ — тамъ сова живетъ,  
Да у бассейна песь дворной  
Уныло воетъ, жаждой злой  
И страшнымъ голодомъ томимъ.  
Фонтанъ изсякъ уже давно,  
Заглохло мраморное дно  
Съ тѣхъ поръ, какъ прошумѣлъ надъ нимъ  
Духъ пустоты крыломъ своимъ.

.....  
Все молчитъ,  
Лишь вѣтеръ ставнями стучить,  
Да крупный ливень въ окна бьетъ:  
Ничья рука ихъ не запретъ <sup>2)</sup>.

(Поли. собр. соч. Байрона подъ ред. Михаловскаго. СПБ. 1894 г., I, 200). Замѣтимъ, кстати, что именно изъ «Гяура» <sup>3)</sup>

---

<sup>1)</sup> О паукъ говорить и Лермонтовъ—въ приведенныхъ нами отрывкахъ изъ „Демона“.

<sup>2)</sup> Ср. Пушкинъ — описаніе дворца въ Бахчисараѣ („Бахчисарайскій фонтанъ“); оно было извѣстно Лермонтову. Вліяніе „Бахчисарайскаго фонтана“ замѣтно въ поэмѣ Лермонтова „Двѣ невольницы“.

<sup>3)</sup> О близкомъ знакомствѣ съ этой поэмой Байрона свидѣлствуютъ

Лермонтовымъ взяты для «Боярина Орши» эпитафьи къ главамъ II и III (въ которой находится описаніе заброшеннаго терема). Въ «Чайльдъ-Гарольдъ» (въ знаменитой прощальной пѣснѣ Чайльдъ-Гарольда) упоминается о домѣ, преданномъ запустѣнію.

Въ Библии встрѣчаемъ слѣдующія описанія:

«И Вавилонъ, краса царствъ, слава величія Халдеевъ, будетъ какъ Содомъ и Гоморра, разрушенные Богомъ;

«Онъ никогда не будетъ населенъ и не будетъ обитаемъ во вѣки...

Но стѣнные звѣри будутъ обитать тамъ, и дома ихъ будутъ наполнены филинами, и страусы будутъ жить тамъ, и демоны будутъ скакать тамъ,

«И шакалы будутъ выть въ опустошенныхъ чертогахъ его, и змѣи въ увеселительныхъ дворцахъ»<sup>1)</sup>. (Исаія, XIII, 19—22).

«И будутъ расти въ дворцахъ ея колючіи кустарникъ и репейникъ и на укрѣпленіяхъ ея терновникъ, и она будетъ жилищемъ шакаловъ, пристанищемъ страусовъ. Волки будутъ встрѣчаться съ дикими кошками, и демонъ будетъ перекликаться съ другимъ; только печистая сила ночная будетъ покоиться тамъ и найдетъ себѣ приволье. Тамъ будетъ гнѣздиться прыгающій змѣй»<sup>2)</sup> и будетъ класть яйца, выводить дѣтей и собирать ихъ подъ тѣнь свою». (Исаія, XXXIV, 13—15).

«Видишь сіи великія зданія? Все это будетъ разрушено, такъ—что не останется здѣсь камня на камнѣ». (Маркъ, XIII, 2).

Эти картины чрезвычайно сходны съ лермонтовскими; тѣ же подробности; та же идея: «sic transit gloria mundi» (это латинское изреченіе было извѣстно Лермонтову; см. II, 3).

---

прозаическіе отрывки перевода Лермонтова и эпитафьи, изъ „Гяура“ же, къ „Послѣднему сыну вольности“ и „Измаилу-Бею“. — Вліяніе „Гяура“, по замѣчанію проф. Абрамовича, видно въ „Исповѣди“ Лермонтова. (Л., I, 395).

1) О змѣѣ упоминаетъ и Лермонтовъ (эпиграфъ „Демона“).

2) Этотъ образъ особенно близокъ къ лермонтовскому.

Размышляя надъ тѣмъ, что все въ мірѣ преходяще, Лермонтовъ, конечно, останавливался и на мысли о концѣ міра. Азраилъ говоритъ, что когда-нибудь

Родъ людей пройдетъ  
И землю вѣчность разобьетъ,—  
Услышавъ грозную трубу,  
Я въ новый удалюся міръ,  
И стану тамъ, какъ прежде сирь,  
Свою оплакивать судьбу. (I, 310).

Ср.---

Когда послѣдняя труба  
Разрѣжетъ звукомъ синій сводъ<sup>1)</sup>,  
Когда откроются гроба,  
И прахъ свой прежній видъ возьметъ,  
Когда появятся вѣсы,  
И ихъ подыметъ Судія... (I, 150)<sup>2)</sup>.

Эте библейскіе мотивы; ср., напр.: «И пошлетъ Ангеловъ Своихъ съ трубою громогласною»... (Матѣ., XXIV, 31). См. еще—Откровеніе св. Іоанна, VIII.

## 8.

Вліяніе Библии на лермонтовскую поэзію ярко выражено въ стихотвореніи «Пророкъ». Поэтъ съ поразительнымъ мастерствомъ слитъ въ одно цѣлое идеи и образы, разбросанные въ разныхъ книгахъ Ветхаго и Новаго Завета.

У всѣхъ народовъ, во всѣ времена пророки (въ широкомъ смыслѣ,—бойцы за идеалы) претерпѣвали гоненія. Та-

1) Ср. Апухтинъ: О, что за день тогда ужасный встанетъ,  
Когда архангела труба

Надъ изумленнымъ міромъ грянетъ

И воскреситъ владыку и раба! („Реквиемъ“—Соч., 100).

2) Ср. II, 158.

кова неизбежная участь всѣхъ лучшихъ людей, одаренныхъ душой благородной и мятежной. Самъ Лермонтовъ былъ гонимъ постоянно и неумолимо; ему понятенъ былъ скорбный образъ библейскаго пророка, и не могли быть неизвестны слова Христа: «Если Меня знали, будутъ знать и васъ» (Іоаннъ, XV, 20), или: «Истинно говорю вамъ: никакой пророкъ не принимается въ своею отечествомъ» (Лука, IV, 24). Ср. Матѣ., XIII, 57; Маркъ, VI, 4.

Даемъ примѣчанія къ нѣкоторымъ стихамъ «Пророка».

*Въ меня всѣ ближніе мои  
Бросали бѣшено каменья.* (II. 347).

Обычай избіенія камнями грѣшника или грѣшницы упоминается и въ Ветхомъ Заветѣ (Второзаконіе, XIII, 11; XVII, 5) и въ Новомъ (Іоаннъ, VIII, 3—11; Дѣянія св. апостоловъ, VII, 58—60).

*Посыпалъ пепломъ я главу.*

Ср.:

Изгнанники, пепломъ посыпьте чело. (III, 49).

Въ знакъ сильной скорби евреи, по древнему обычаю, посыпалъ голову пепломъ:

«Тогда взяла Тамаръ пеплу на голову свою, и разодрала длинную одежду, бывшую на ней, положила руку свою на голову свою, и пошла, и подняла вопль». (II кн. Самуила, XIII, 19).

«Безмолвно сидятъ на землѣ старцы дщери Сионовой, пепелъ возложили на голову свою». (Плачь Іереміи, II, 10).

«И разодралъ Мардохей одежды свои, и возложилъ на себя вретиче и пепелъ; и вышелъ на середину города, и рыдалъ воплемъ великимъ и горькимъ». (Кн. Эсфирь, IV, 1).

«И посыпали пепломъ головы свои, и вопли, плача и рыдая»... (Откровеніе св. Іоанна, XVIII, 19) <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Ср.—„Илиада“: объ Ахиллесѣ, оплакивавшемъ Патрокла:  
„Быстро въ обѣ онъ руки схвативши нечистаго пепла,

*Изъ городовъ бѣжалъ я нищій...  
...Смотрите, какъ онъ нагъ и бѣденъ.*

Еврейскіе пророки добровольно обрекали себя на жизнь, полную лишеній; о нищетѣ—ср.:

...«Скорблю я и рыдаю, хожу босъ и нагъ». (Михей, I, 8).

«Нагъ я вышелъ изъ чрева матери моей, и нагъ возвращусь туда. Господь далъ, и Господь взялъ; да будетъ имя Господне благословенно». (Іовъ, I, 21).

*И вотъ, въ пустынь я живу.*

Ср.: «Онъ уходилъ въ пустынные мѣста и молился». (Лука, V, 16; ср. Маркъ, I, 12, 13).

*Какъ птицы, даромъ Божьей пищи.*

Ср.: «Посмотрите на вороновъ: они не сѣютъ, ни жнутъ; нѣтъ у нихъ ни хранилицъ, ни житницъ, и Богъ питаетъ ихъ, сколько же вы лучше птицъ?» (Лука, XII, 24; ср. Матѣ., VI, 26).

*Завѣтъ Предвѣчнаго храня,  
Мнѣ тварь покорна тамъ земная.*

Ср.: «Владычествуйте надъ рыбами морскими, и надъ птицами небесными, и надъ всякимъ животнымъ, пресмыкающимся по землѣ». (Бытіе, I, 28).

«И былъ Онъ тамъ въ пустынь сорокъ дней, искушаемый сатанюю; и былъ со звѣрями»... (Маркъ, I, 13).

## 9.

Въ произведеніяхъ Лермонтова можно разыскать еще немало мыслей, образовъ, сюжетовъ, навѣянныхъ Библией, близкихъ къ ея духу.

Лермонтовъ говорилъ, что судъ человѣческій нерѣдко

---

Голову всю имъ осыпалъ и ликъ осквернилъ свой прекрасный;  
Риза его благовонная вся почернѣла подъ пепломъ“.

(XVIII, 23—25. Пер. Гнѣдича. Спб. 1892 г.)

бываетъ пристрастенъ, ошибоченъ, жестокъ, что правъ только Божій судъ<sup>1)</sup>. Въ Экклезіастѣ читаемъ: «Еще видѣлъ я подъ солнцемъ: мѣсто суда, а тамъ беззаконіе; мѣсто правды, а тамъ неправда». (Экклезіастъ, III, 16). Это изреченіе какъ нельзя болѣе приложимо къ суду, приговорившему къ смерти Христа...

Демонъ, охваченный огненной любовной страстью, клянется Тamarъ:

„Клянуся небомъ я и адомъ,  
Земной святыней и тобой“... и т. д. (II, 373—375).

Въ этой клятвѣ правда перемѣшана съ ложью; въ ней и свѣтлыя ангельскія грезы, и багровыя вспышки дьявольской злобы, слезы умиленія и глухіе стоны нестерпимой душевной боли, смиреніе и едва скрываемое, торжествующее высокомеріе...

Что говорятъ о клятвѣ книги Ветхаго и Новаго Заветъа?

«И не клянитесь именемъ Моимъ во лжи; иначе посрамишь ты имя Бога твоего: Я Господь». (Левитъ, XIX, 12).

«Если дашь обѣтъ Господу, Богу твоему, не замедли исполнить его; потому что Господь, Богъ твой, взыщетъ его съ тебя, и на тебѣ будетъ грѣхъ». (Второзаконіе, XXIII, 22).

«А Я говорю вамъ: не клянись вовсе: ни небомъ, потому что оно Престоль Божій;

*Ни землею*, потому что она подножіе ногъ Его...

«Но да будетъ слово ваше: «да, да»; «нѣтъ, нѣтъ»; *а что сверхъ этого, то отъ лукаваго*». (Матѣ., V, 34, 35, 37).

«Прежде же всего, братія мои, *не клянитесь ни небомъ, ни землею, и никакою другою клятвою*, но да будетъ у васъ: да, да, и: нѣтъ, нѣтъ, *дабы вамъ не подпасть осужденію*». (Посл. ап. Іакова, V, 12).

Лермонтовскій Демонъ нарушилъ этотъ запретъ; онъ клялся и небомъ, и землей,—и былъ наказанъ Богомъ. Согрѣшила и Тамара,—не только, какъ человѣкъ, но и какъ

<sup>1)</sup> См. подробн. выше — „Лермонтовъ и Л. Толстой“, гл. XXV.

монахиня: зная, что Священное Писаніе запрещаетъ клясться, она сама просила Демона дать клятву; но ею руководило желаніе добра, и Небо простило ей и этотъ грѣхъ.

Подобно многимъ русскимъ поэтамъ, Лермонтовъ говорилъ о «мукахъ слова»:

Холодной буквой трудно объяснить  
Боренье думъ. Нѣтъ звуковъ у людей  
Довольно сильныхъ, чтобъ изобразить  
Желаніе блаженства. Пыль страстей  
Возвышенныхъ я чувствую, но словъ  
Не нахожу; и въ этотъ мигъ готовъ  
Пожертвовать собой, чтобъ какъ-нибудь  
Хоть тѣнь ихъ перелить въ другую грудь.

. . . . .

Мысль сильна,

Когда размѣромъ словъ не стѣснена. (I, 254, 255, 261).

Лермонтовъ говорилъ это, никому не подражая, потому что, какъ истинный поэтъ, переживалъ муки творчества; интересно, однако, привести въ параллель стихъ Экклезиаста: «Всѣ слова слабы; не можетъ человекъ переговорить всего»... (I, 8). (Подробн. см. ниже: «Замѣтки»—«Муки слова», стр. 438, 439).

Въ «Испанцахъ» (III, 36, 37) еврей принимаетъ участіе въ судьбѣ Фернандо, раненаго насмными убійцами; это напоминаетъ притчу о милосердномъ самарянинѣ (Лука, X, 30—37). Въ притчѣ мимо раненаго равнодушно проходятъ—священникъ, левитъ; у Лермонтова краски сгущены: виновникомъ несчастія является *патерь*, подговорившій бродягъ напасть на молодого испанца.

Въ стихотвореніи «Расписку просишь ты, гусарь» поэтъ говорить:

Такъ нѣкогда въ степи безводной  
Премудрый пастырь Ааронъ  
Услышалъ плачь и вопль народной,  
И жезлъ священный поднялъ онъ;  
И на челѣ его угрюмомъ

Надежды лучъ блеснулъ живой,  
И тронулъ камень онъ нѣмой,  
И брызнулъ ключъ съ привѣтнымъ шумомъ  
Новорожденною струей. (II, 212, 213).

Стихи эти прекрасны; сюжетъ взятъ изъ Библии, но у поэта вкралась ошибка: чудо совершилъ не Ааронъ, а Моисей. Библия повѣствуетъ слѣдующее:

1) «И жаждаль тамъ народъ воды, и ропталъ народъ на *Моисея*, говоря: зачѣмъ это вывелъ ты насъ изъ Египта, уморить жаждою насъ, и дѣтей нашихъ, и стада наши?»

«И возопилъ *Моисей* къ Господу и сказалъ: что мнѣ дѣлать съ этимъ народомъ? еще не много, и побьютъ меня камнями.

«И сказалъ Господь *Моисею*: пройди предъ народомъ, и возьми съ собою нѣкоторыхъ изъ старѣйшинъ Израильскихъ, и жезлъ твой, которымъ ты ударилъ по рѣкѣ, возьми въ руку твою и поди.

«Вотъ, Я стану предъ тобою тамъ на скалѣ въ Хоривѣ; и ударишь ты въ скалу, и пойдетъ изъ ней вода, и будетъ пить народъ. И сдѣлалъ такъ *Моисей* въ глазахъ старѣйшинъ Израильскихъ». (Исходъ, XVII, 3—6).

2) «И не было воды для общества, и собрались они противъ *Моисея* и Аарона.

«И ропталъ народъ на *Моисея*, и сказалъ такъ: о, если-бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши предъ Господомъ!

«Зачѣмъ же вы привели общество Господне въ эту пустыню, чтобы умереть здѣсь намъ и скоту нашему?»

«И для чего вывели вы насъ изъ Египта, чтобы привести насъ на это дурное мѣсто, гдѣ нельзя сѣять, нѣтъ ни смоковницъ, ни винограда, ни гранатовыхъ яблоковъ, ни воды для питья?»

«И отошелъ *Моисей* и Ааронъ отъ народа ко входу скинии собранія, и пали на лица свои, и явилась имъ слава Господня.

«И сказалъ Господь *Моисею*, говоря:

«Возьми жезлъ и собери общество, ты и Ааронъ, братъ твой, и скажите въ глазахъ ихъ скалѣ, и она дастъ изъ себя воду: и такъ ты источишь имъ воду изъ скалы, и напоишь общество и скоть его.

«И взялъ *Моисей* жезлъ отъ лица Господня, какъ Онъ повелѣлъ ему.

«И собрали *Моисей* и Ааронъ народъ къ скалѣ; и сказалъ онъ имъ: послушайте, непокорные, развѣ намъ изъ этой скалы источить для васъ воду?

«И поднялъ *Моисей* руку свою, и ударилъ въ скалу жезломъ своимъ дважды, и потекло много воды, и пило общество и скоть его.

«И сказалъ Господь *Моисею* и Аарону: за то, что вы не повѣрили Мнѣ, чтобы явить святость Мою предъ очами сыновъ Израилевыхъ, не введете вы этого народа въ землю, которую Я даю ему». (Числа, XX, 2—12).

Такимъ образомъ, чудо совершено *Моисеемъ*; при этомъ присутствовалъ и Ааронъ; поэтъ запомнилъ и приписалъ чудо ему.

Библией навѣяна и слѣдующая «Еврейская мелодія» въ «Испанцахъ»:

I.

Плачь, Израиль! о, плачь! — твой Солимъ опустѣлъ!...  
Начужѣ въ роздольи печально житье;  
Но сыны твои взяты не въ пышный предѣлъ:  
Въ пустыняхъ разсѣяно племя твое.

II.

О родинѣ можно-ль не помнить своей?  
Но когда ужъ нельзя воротиться назадъ,  
Не пойте! досадные звуки цѣпей  
Свободы веселую пѣснь заглушать.

III.

Изгнанники, пепломъ посыпьте чело,  
И молитесь вы ночью при хладной лунѣ,

Чтобъ стenanье израильтянъ тронуть могло  
Того, кто явился къ пророку въ огнь.

IV.

Тому только можно Сіонъ вамъ отдать,  
Привести васъ на землю ливанскихъ холмовъ,  
Кто можетъ утѣшить скорбящую мать,  
Когда сынъ ея палъ подъ мечами враговъ. (III, 49).

Ср. еще:

Плачь, плачь, Израиля народъ!  
Ты потерялъ звѣзду свою:  
Она вторично не взойдетъ,  
И будетъ мракъ въ земномъ краю. (I, 154).

Это напоминаетъ знаменитый псаломъ: «При рѣкахъ Вавилонскихъ, тамъ сидѣли мы и плакали, вспоминая о Сіонѣ. На ивахъ среди его повѣсили наши арфы; Потому что тамъ плѣнившіе насъ требовали отъ насъ пѣсней и насмѣхавшіеся надъ нами—веселія: «Спойте намъ изъ пѣсней Сіонскихъ». Какъ намъ пѣть пѣснь Господню на землѣ чужой? Если я забуду тебя, Іерусалимъ, пусть забудется правая рука моя; Пусть прильнетъ языкъ мой къ гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Іерусалима выше веселія моего»... (Пс. СXXXVII, 1—6) <sup>1)</sup>. Могла оказать вліяніе и одна изъ «еврейскихъ мелодій» Байрона — «О, плачьте»... (Байронъ, I, 99).

Въ стихотвореніи «Выхожу одинъ я на дорогу» поэтъ высказываетъ желаніе уснуть вѣчнымъ сномъ. О смерти-снѣ говоритъ и Библия:

«Когда они разгорячатся, предложу имъ пиршество, и упою ихъ, чтобы повеселились, и уснули сномъ вѣчнымъ, и не пробуждались, изрекъ Господь». (Кн. пророка Іереміи, LI, 39).

«Воззри, услышь меня, Господи, Боже мой! просвѣти очи мои, чтобы не уснулъ я сномъ смертнымъ». (Пс. XIII, 4).

Томясь на землѣ, какъ въ плѣну, поэтъ вѣчно мечталъ

<sup>1)</sup> Ср. Плачь Іереміи, II.

о безграничной волѣ, завидоваль свободнымъ тучамъ, волнамъ, птицамъ. Въ стихотвореніи «Желаніе» (1831 г.) онъ съ тоской восклицаетъ:

Зачѣмъ я не птица, не воронъ степной,  
Пролетѣвшій сейчасъ надо мной?  
Зачѣмъ не могу въ небесахъ я парить  
И одну лишь свободу любить? (I, 266).

Черезъ девять лѣтъ:

Молча сажу подъ окошкомъ темницы.  
Синее небо отсюда мнѣ видно:  
Въ небѣ играютъ все вольныя птицы...  
Глядя на нихъ, мнѣ и больно и стыдно. (II, 291).

Или:

Не грусти, дорогая сосѣдка...  
Захоти лишь,— отворится клѣтка,  
И, какъ Божіи птички, вдвоемъ  
Мы въ широкое поле порхнемъ. (II, 292)<sup>1)</sup>.

Эта жажда свободы, эти грезы о крыльяхъ, любовь къ быстрымъ движеніямъ — объясняютъ намъ, отчасти, почему Лермонтову такъ дорогъ былъ образъ Демона,—духа одинокаго, отверженнаго, но вольнаго, переносящагося молніеноснымъ, могучимъ полетомъ черезъ междупланетныя бездны... О крыльяхъ мечталъ и псалмопѣвецъ:

«И я сказалъ: кто далъ бы мнѣ голубиныя крылья? Я улетѣлъ бы и поселился бы гдѣ-нибудь; Далеко удалился бы я, и сталъ бы жить въ пустынь». (Пс. LV, 7, 8).

Лермонтовъ любилъ изображать пляшущихъ красавицъ; напримѣръ, онъ даетъ яркія описанія пляски въ «Вадимѣ», «Хаджи-Абрекѣ», «Демонѣ» и др. произведеніяхъ. Танцы, какъ онъ показываетъ, пробуждаютъ въ зрителѣ страсть (исключеніе представляетъ суровый Хаджи-Абрекъ). Библия повѣствуетъ, что дочь Иродіады такъ угодила пляской Ироду и его гостямъ, что царь сказалъ:

<sup>1)</sup> Ср. вариантъ: „Кабы крылья имѣлъ я какъ птица“. (II, 462).

«Проси у меня чего хочешь, и дамъ тебѣ;  
И клялся ей: чего ни попросишь у меня, дамъ тебѣ, даже  
до половины моего царства». (Маркъ, VI, 22, 23).

Демонъ полюбилъ Тамару, увидѣвъ ее пляшущей; по-  
томъ онъ говорилъ ей:

*Лишь только я тебя увидѣлъ,  
И тайно вдругъ возненавидѣлъ  
Безсмертіе и власть мою,—  
Я позавидовалъ невольно  
Неполной радости земной:  
Не жить, какъ ты, мнѣ стало больно,  
И страшно — розно жить съ тобой.*  
.....  
Что безъ тебя мнѣ эта вѣчность?  
Моихъ владѣній безконечность? (II, 369).

Какъ Иродъ, онъ клялся дать Тамарѣ, пляски которой  
не могъ забыть, все, чего бы она ни пожелала, обѣщаль  
сдѣлать ее «царицей міра».

Въ «Трехъ пальмахъ» — конь араба прыгаетъ, «какъ  
*барезъ*, пораженный стрѣлой». (II, 258).

Ср. библейское: «*Быстрѣе барсовъ кони его*». (Кн. про-  
рока Аввакума, I, 8).

Вліяніемъ Библии объясняется обиліе у Лермонтова цер-  
ковно-славянскихъ словъ и оборотовъ.

## 10.

Библия притягивала вниманіе Лермонтова и своей не-  
увядаемой поэзіей, и высотой религіознаго и нравственнаго  
ученія. Онъ нерѣдко вдохновлялся ею; замѣтно, что онъ  
больше тяготѣлъ къ Ветхому Завету; ему по душѣ была  
и знойная «Пѣснь пѣсней», и мрачный «Экклезіастъ», и  
скорбно-гнѣвный «Плачь Іереміи», и восторженные, славя-  
щіе благость и мудрость Творца, «Псалмы».

О томъ, какъ глубоко, какъ тонко понималъ Лермонтовъ поэзію Библии, проникался этой поэзіей, съ какимъ совершенствомъ претворялъ библейское въ современное, можетъ свидѣтельствовать поэма «Демонъ». Все, что лежитъ въ ея основѣ, — борьба злого духа съ Небомъ, печальныя думы о томъ, что человѣческая жизнь кратка, что земное счастье непрочно, что юность быстролетна, что самая пылкая любовь непостоянна, что преходящи и богатства, и слава, что плоды трудовъ человѣческихъ недолговѣчны, — все это библейское, влившееся въ поэму или непосредственно изъ Библии, или изъ произведеній чужеземныхъ, болѣе или менѣе широко захватывавшихъ библейскіе мотивы (таковы, напримѣръ, «Потерянный рай» Мильтона, «Мессіада» Клопштока, «Фаустъ» Гете, «Кайнъ» и «Небо и Земля» Байрона, «Элоа» А. де-Виньи и др.). Нельзя не поражаться мощи и гибкости молодого гения, съ честью для себя выдержавшаго соревнованіе съ колоссами міровой литературы. Поэма Лермонтова — не подражаніе; много лѣтъ было потрачено на ея созданіе; эти идеи, эти пышные образы найдены въ мучительныхъ поискахъ идеала, пронесены сквозь огонь душевныхъ страданій поэта, имъ придана новая, ослѣпительная красота.

Тяготѣя болѣе къ сумрачной ветхозавѣтной поэзіи, Лермонтовъ создалъ такіе шедевры, какъ «Пророкъ» и «Демонъ». Однако, сердце его лежало не только къ печали, но и къ радости; изъ книгъ Ветхаго же Завѣта онъ взялъ мотивъ восторженной хвалы Творцу неба и земли, всего видимаго и невидимаго. Имъ же написаны — «Вѣтка Палестины» и «Молитвы» — «Я, Матерь Божія» и «Въ минуту жизни трудную»; эти трогательныя молитвы озарены немеркнушимъ сіяніемъ новозавѣтной поэзіи; въ нихъ и безграничная, свѣтлая вѣра въ Бога, въ Божію Матерь, и тихая грусть, и надежда, и нѣжность; въ русской литературѣ нѣтъ религіозныхъ мелодій, плѣнительнѣе лермонтовскихъ. Поэтъ равно постигалъ духъ Ветхаго и Новаго Завѣта.

Мы далеки отъ мысли утверждать, что всѣ точки со-

прикосновенія поэзіи Лермонтова съ Библіей являются доказательствомъ вліянія послѣдней, что онъ въ совершенствѣ зналъ ее; многія совпаденія, вѣроятно, случайны; но Библію онъ читалъ, цитировалъ ее, вдохновлялся ею; словомъ, она была однимъ изъ тѣхъ источниковъ, которые питали поэтическій геній Лермонтова.

---

## Дубовый листокъ.

### 1.

Стихотвореніе Лермонтова «Дубовый листокъ оторвался отъ вѣтки родимой» написано въ 1841 г. Это одно изъ тѣхъ стихотвореній, которыя были занесены поэтомъ въ записную книжку, подаренную ему княземъ В. Ѳ. Одоевскимъ <sup>1)</sup>. Впервые оно напечатано было въ 1843 г., въ «Отечественныхъ запискахъ». Одно изъ прекраснѣйшихъ созданій Лермонтова, — по глубинѣ и универсальности идей, по изысканности поэтическихъ образовъ и стиха, — оно до сихъ поръ мало привлекаетъ вниманіе изслѣдователей русской литературы <sup>2)</sup>; мнѣнія же, высказанныя о немъ до сихъ поръ, весьма несходны между собой.

Напримѣръ, Орловъ полагаетъ, что поэтъ въ этомъ стихотвореніи выражаетъ готовность «возвратиться къ обществу, примириться съ нимъ, но самъ сознаетъ, «что примиреніе невозможно, т. к. онъ увялъ въ буряхъ, а его «разказы мудреные и чудные» («пріобрѣтенный имъ запасъ опытности и знаній») покажутся другимъ «небылицами». (Орловъ. «М. Ю. Л.» СПБ. 1883 г., 42, 43). Этого же взгляда держится Бураковскій («М. Ю. Л.» СПБ. 1903 г., 20), буквально то же повторяетъ Ал. Соловьевъ («М. Ю. Л.» СПБ. 1908 г., 26).

Съ этимъ взглядомъ нельзя согласиться. Могъ ли по-

---

<sup>1)</sup> Объ этой записной книжкѣ см., напр., собр. соч. М. Ю. Л. подъ ред. Висковатова, I, 346, 347; подъ ред. Болдакова, II, 396—398; Акад. изд., V, 36, 37.

<sup>2)</sup> Отмѣтимъ, напр., что въ Акад. изданіи, въ примѣчаніяхъ къ этому стихотворенію, находимъ, кромѣ черновыхъ варіантовъ, указанія лишь на то, по какому автографу печатается стихотвореніе и гдѣ впервые было напечатано.

этѣ уподобить молодой, роскошной чипарѣ русское общество, духовную немощь и уродство котораго такъ горько, такъ зло и безпощадно осмѣиваль? Нѣтъ, онъ не могъ пойти на уступки и искать примиренія съ обществомъ, «завистливымъ и душнымъ для сердца вольнаго и пламенныхъ страстей» (Л., II, 203); онъ не могъ умолять о примиреніи «бездушныхъ людей» (II, 277). Вспомнимъ, что въ тому году (и въ той же тетради кн. Одоевскаго) имъ написанъ знаменитый «Пророкъ»: подъ пророкомъ поэтъ подразумѣваль себя, а подъ ближними, метавшими камень въ глашатая правды, — русское общество.

Н. Котляревскій, сопоставляя стихотворенія Лермонтова «Три пальмы» и «Дубовый листокъ оторвался отъ вѣтки родимой», приходитъ къ слѣдующему выводу: «Если въ первомъ стихотвореніи человѣкъ является какъ представитель разрушающей эгоистической силы, то здѣсь, наоборотъ, онъ ищетъ въ природѣ успокоенія и отдыха отъ той тревожной и пустой жизни, которая его истомила. Природа, наученная горькимъ опытомъ, принимаетъ человѣка очень недружелюбно». (Котляревскій. «М. Ю. Л.», 195) <sup>1)</sup>.

Трудно *вполнѣ* согласиться съ этимъ взглядомъ. Лермонтовъ и его герои—Селимъ, Измаилъ-Бей, Вадимъ, Арсеній (въ «Бояринѣ Оршѣ»), Мцыри, Печоринъ—стихійной любовью любили природу, и она принимала ихъ ласково, какъ мать; на ея лонѣ они отдыхали душою, наслаждались созерцаніемъ ея красотъ, понимали тайные голоса природы и просвѣтленнымъ, восторженнымъ взоромъ могли лицезрѣть въ небесахъ Божество. Лермонтовъ скорбѣль о томъ, что люди не только недостаточно любятъ природу, но уходятъ отъ нея или губятъ ея прекрасныя созданія («Ангель Смерти», «Три пальмы», «Валерикъ»). Въ стихотвореніи «Выхожу одинъ я на дорогу» (1841 г.) поэтъ, дѣйствительно, говоритъ о диссонансѣ между торжественно-спокойной природой и своей мятежной душой; но и въ этой элегіи чувствуется его глубокая, неизмѣнная любовь

<sup>1)</sup> Ср.—Саводникъ. „Чувство природы въ поэзіи Пушкина, Лермонтова и Тютчева“. М. 1911 г., 135, 136.—Ак. изд. соч. Л-ва, V, стр. СХ.

къ матери-природѣ, вѣра въ ея живое участіе: онъ выражаетъ желаніе погрузиться въ вѣчную полудрему и слушать ласковый шумъ дуба. Объ этой вѣрѣ свидѣтельствуеетъ стихотвореніе «Пророкъ», написанное въ томъ же 1841 году; въ немъ безсердечнымъ людямъ противопоставляется благая природа; поэтъ-пророкъ, гонимый ближними, бѣжитъ въ пустыню; тамъ онъ свободенъ и не одинокъ: ему покорна вся тварь земная, и звѣзды слушаютъ его проповѣди, «лучами радостно играя». (II, 347).

Бархинъ высказываетъ слѣдующее предположеніе: «Стихотвореніе является отголоскомъ юношескихъ стремленій Л—ва изъ «отчизны суровой» на «западъ». Но съ годами Л—ва стало посѣщать тяжелое раздумье: найдетъ ли онъ, странникъ, добровольно покинувшій свой домъ, пріютъ въ чужой странѣ, среди чужихъ людей? На это поэтъ даетъ «рѣзко-отрицательный отвѣтъ». (Бархинъ, I, 164, 165; см. еще стр. 14—16).

И это толкованіе лермонтовской элегіи насъ не удовлетворяетъ. Лермонтовъ, скептически относившійся къ западной культурѣ<sup>1)</sup>, едва ли и прежде собирался бѣжать на Западъ, чтобы тамъ «посвятить себя бодрому жизненному строительству» (выраженіе Бархина, тамъ же). Правда, въ «Монологѣ» (1829 г.) поэтъ говорилъ:

И душно кажется на родинѣ,  
И сердцу тяжело, и душа тоскуетъ... (I, 74).

Но и Западъ не казался ему обѣтованной страной; въ «Измаилѣ-Беѣ» (1832 г.) находимъ слѣдующіе энергичскіе стихи:

Но горе, горе, если онъ,  
Храня людей суровыхъ мнѣнья,  
Развратомъ, ядомъ просвѣщенья  
Въ Европѣ душею заражонъ!  
Старикъ для чувствъ и наслажденья,  
Безъ сѣдины между волосъ,

<sup>1)</sup> Напр., въ „Умирающемъ гладиаторѣ“, „Послѣднемъ новосельѣ“ и др.

Зачѣмъ въ страну, гдѣ все такъ живо,  
Такъ непокойно, такъ игриво,  
Онъ сердце мертвое принесъ? (II, 26).

Въ ранней юности, дѣйствительно, поэтъ рвался «на западъ, на западъ» (I, 266), но подъ «западомъ» подразумѣвались Шотландію, родину предковъ (см., напримѣръ, стихотвореніе «Гробъ Оссіана», I, 138). Если Лермонтовъ и мечталъ бѣжать изъ Россіи, то не на Западъ, а въ Мекку, въ Персію или Хиву, какъ признавался Раевскому (IV, 330). Печоринъ говорилъ Максиму Максимычу: «Какъ только будетъ можно, отправлюсь, — *только не въ Европу, избави Боже!* — поѣду въ Америку, въ Аравію, въ Индію»... (IV, 179). Ср. еще: «Бду въ Персію — и дальше»... (IV, 190). Онъ умеръ, возвращаясь изъ Персіи (IV, 193).

Быть можетъ, въ этомъ стихотвореніи поэтъ выражаетъ жажду любви и подъ чинарой подразумѣваетъ женщину, — прекрасную, но надменную и безучастную къ чужой печали, къ чужому страданію?.. Нѣтъ, листокъ-поэтъ не проситъ любви, страсти; онъ ищетъ только покоя; если онъ и хочетъ женской ласки, то лишь ласки *материнской*; въ вариантахъ есть слѣдующій характерный стихъ:

Прими же пришельца, *какъ сына*, межъ листьевъ широкихъ.  
(II, 483).

На нашъ взглядъ, основной мотивъ стихотворенія «Дубовый листокъ оторвался отъ вѣтки родимой» — жалоба на душевную усталость, на невыносимо гнетущее одиночество и равнодушіе счастливыхъ къ несчастливому. Написано оно въ минуту глубочайшей тоски и по идеѣ приближается къ другимъ извѣстнымъ стихотвореніямъ — «И скучно и грустно», «Благодарность», «Выхожу одинъ я на дорогу». Съ юныхъ лѣтъ страдалъ поэтъ отъ одиночества. Онъ рано потерялъ мать и отца.

Онъ не имѣлъ ни брата, ни сестры,  
И тайныхъ мукъ его никто не вѣдалъ. (II, 166).

Онъ такъ и не встрѣтилъ женщины, готовой полюбить его и раздѣлить съ нимъ его горести и радости. Бабушка? Она любила его, но не могла понять его запросовъ, трагедіи его души. Поэтъ имѣлъ небольшой кругъ людей, любившихъ и понимавшихъ его, но и отъ тѣхъ онъ нерѣдко бывалъ оторванъ и скитался по глухой окраинѣ Россіи. И всю жизнь онъ страдалъ оттого, что «некому было руку подать въ минуту душевной невзгоды», что «годы проходили—всѣ лучшіе годы»... (II, 286)... Печали и неудачи терзаютъ насъ еще сильнѣе, когда мы видимъ, что другіе веселы и беззаботны. Жизнь на блестящемъ пиру всегда обноситъ чашей запяленного, непрощеннаго гостя-странника. Вѣроятно, *лермонтовская чинара символизируетъ все, что молодо и эгоистично-счастливо*. Поэтъ, вообще, любилъ противопоставлять общему ликованію чье-нибудь за-таенное страданіе. Напримѣръ:

..Нерѣдко, средь веселья  
 Духъ мой страждетъ и груститъ,  
 Въ шумѣ буйнаго похмелья  
 Дума на сердцѣ лежитъ. (I, 46).  
 Пиръ брачный весело шумитъ,  
 Лишь молча гость одинъ сидитъ. (I, 263).

На царскомъ пиру—

Лишь одинъ изъ нихъ, изъ опричниковъ,  
 Удалой боецъ, буйный молодецъ,  
 Въ золотомъ ковшѣ не мочилъ усовъ;  
 Опустилъ онъ въ землю очи темныя,  
 Опустилъ головушку на широку грудь,  
 А въ груди его была дума крѣпкая. (II, 216).

Такимъ же изображенъ Казотъ:

На буйномъ пиршествѣ задумчивъ онъ сидѣлъ,  
 Одинъ, покинутый безумными друзьями. (II, 263).

На пышномъ пиру юныя красавицы ведутъ веселый разговоръ.

Но, въ разговоръ веселый не вступая,  
Сидѣла тамъ задумчиво одна,  
И въ грустный сонъ душа ея младая,  
Богъ знаетъ чѣмъ, была погружена. (II, 340).

Даже у пляшущей Тамары на пиру

Часто тайныя сомнѣнья  
Темнили свѣтлыя черты,

потому что бѣдная дѣвушка знала, что ее завтра ждетъ:

Судьба печальная рабыни,  
Отчизна чуждая донинѣ  
И незнакомая семья. (II, 355).

Жизнь томила поэта, *«какъ пиръ на праздникъ чужомъ»*.  
(II, 252).

Засохшій листокъ «не пара» «свѣжимъ сынамъ» чинары.  
Не то же ли поэтъ говорить о своемъ поколѣніи?

Такъ тощій плодъ, до времени созрѣлый,  
Ни вкуса нашего не радуя, ни глазъ,  
Виситъ между цвѣтовъ, *пришлецъ осиротѣлый*,  
И часъ ихъ красоты — его паденья часъ! (II, 252).

Ср. — *«до срока созрѣлъ я»*, *«прими же пришельца»*. (II, 345).

Въ эпилогѣ «Демона» шумной, «вѣчной-молодой», ли-  
кующей природѣ противопоставляется грустный, одинокій,  
старый замокъ Гудала (II, 381 — 382). Арбенинъ говорить:

Напрасно я ищу повсюду развлечения.  
Пестрѣетъ и жужжитъ толпа передо мной,  
Но сердце холодно, и спитъ воображенье:  
Они всѣ чужды мнѣ, и я имъ всѣмъ чужой! (III, 217).

Ту же мысль встрѣчаемъ въ стихотвореніяхъ «Первое  
января» (II, 277, 278), «Не вѣрь себѣ»:

Закрадется-ль печаль въ тайникъ души твоей,  
Зайдетъ-ли страсть съ грозой и вьюгой,—

Не выходи тогда на шумный пирь людей  
Съ своею бѣшеной подругой...

.....  
Какое дѣло намъ, страдалъ ты или нѣтъ? (II, 256).

Глубоко сочувствуетъ поэтъ и байроновскому гладиатору, одиноко умирающему на глазахъ ликующей, праздно толпы.

Но Лермонтовъ не даромъ сравнивалъ себя съ парусомъ, просящимъ бури; онъ одаренъ былъ душой мятежной, дерзновенной. Порою онъ испытывалъ утомленіе, потому что судьба обрекла его на борьбу беспощадную и непрекращавшуюся; но вновь, въ самомъ же себѣ, онъ находилъ новыя силы. Поэтому и «бѣдный листочекъ дубовый» молилъ пріюта только «на время».

## 2.

Обратимся къ детальному разбору элегіи; онъ покажетъ, какъ глубоко и сложно ея содержаніе, какъ долго и бережно лелѣялъ поэтъ излюбленные образы, идеи, какъ строго взвѣшено, какъ искренно прочувствованно, выстрадано каждое его слово.

Стихи 1—3:

*Дубовый листокъ оторвался отъ вѣтки родимой  
И въ степь укатился, жестокою бурей гонимый;  
Засохъ и увялъ онъ отъ холода, зноя и горя... (II, 345).*

Варианты 1-го и 2-го стиха:

Зеленый листокъ (Листокъ молодой) оторвался отъ вѣтки  
родимой

И въ даль укатился, холодною бурей гонимый. (II, 483).

Лермонтовъ говоритъ о *дубовомъ* листкѣ. Дубъ былъ однимъ изъ любимыхъ деревьевъ поэта. Въ своемъ предсмертномъ стихотвореніи «Выхожу одинъ я на дорогу» онъ высказываетъ завѣтное желаніе: заснуть и сквозь сонъ

слушать шумъ вѣчно-зеленаго дуба. Въ «Бояринъ Оршъ» онъ даетъ описаніе мощнаго дуба:

Среди долины былъ курганъ.  
Корнистый дубъ, какъ великанъ,  
Его пятою попиралъ  
И горделиво разстилалъ  
Надъ нимъ, по прихоти своей,  
Шатерь чернѣющихъ вѣтвей. (II, 130).

Ср. еще — I, 78—79, ст. 5—9; 242, ст. 544—556.

Поэтъ очень часто говорилъ объ одинокомъ оторванномъ древесномъ листкѣ.

Вездѣ одинъ, природы сынъ,  
Не зналъ онъ друга межъ людей:  
Такъ бури токъ сухой листокъ  
Мчитъ жертвой посреди степей!... (I, 51).  
Желтый листъ о стебель бьется  
Передъ бурей;  
Сердце бѣдное трепещетъ  
Предъ несчастьемъ.  
Что за важность, если вѣтеръ  
Мой листокъ одинокой  
Унесетъ далеко, далеко...  
Пожалѣть ли объ немъ  
Вѣтка сирая? (I, 88).

Листъ отпавшій вновь не зацвѣтетъ. (I, 214).

Селимъ —

полетѣлъ знакомою дорогой,  
Какъ пыльный листъ, оторванный грозой,  
Летитъ крутясь по степи голубой!... (I, 343).

Демонъ —

жилъ забытъ и одинокъ —  
Грозой оторванный листокъ —  
Угрюмъ и воленъ... (II, 400).

Мцыри —

угрюмъ и одинокъ,

Грозой оторванный листокъ. (II, 311).

Въ письмѣ къ товарищу (1831 г.) поэтъ говоритъ: «Нашъ судьба разноситъ въ разныя стороны, какъ вѣтеръ листы осени». (IV, 305) <sup>1)</sup>.

Слѣдовательно, сравненіе человѣка съ одинокимъ, сухимъ листкомъ, оторваннымъ бурей отъ родной вѣтки, давно было готово у Лермонтова; самое раннее изъ нихъ (I, 51) относится къ 1829 г., а разбираемое нами стихотвореніе — къ 1841 г.

Быть можетъ, этотъ поэтический образъ былъ навѣянъ чтеніемъ или народной поэзіей. Уподобленіе человѣка, гонимаго судьбой, оторванному листку—мотивъ общечеловѣческой. Мы встрѣчаемъ его въ Библии:

«Мы увяли, какъ листъ, и грѣхи наши, какъ вѣтеръ, уносятъ насъ». (Исаія, LXIV, 5).

«Не сорванный ли листокъ Ты сокрушаешь и не сухую ли соломинку преслѣдуешь?» (Иовъ, XIII, 25).

Встрѣчаемъ у древнихъ классиковъ; у Гомера:

Листьямъ въ дубравахъ подобны сыны человѣковъ:  
Вѣтеръ одни по землѣ развѣваетъ, другіе дубрава,  
Вновь расцвѣтая, рождаетъ, и съ новой весной возрастаютъ;  
Такъ человѣки: сн̄и нарождаются, тѣ погибаютъ.

(«Иліада». Пер. Гнѣдича. СПБ. 1892 г., VI, 146 — 149) <sup>2)</sup>.

У Овидія:

Ты-жъ ненадежной листа, что, оставленный сокомъ зеленымъ,  
Тканью сухой шелестя, въ вихрь осеннемъ летить.

(«Героини». Пер. проф. Зѣлинскаго. СПБ. 1913 г., 85).

<sup>1)</sup> Ср. еще: „Всѣ шумные друзья какъ листья отпадутъ  
Отъ сгнившей вѣтви“. (III, 262).

<sup>2)</sup> По мусульманскимъ повѣрьямъ, есть дерево Сидратъ-Альмунтага; на немъ столько листьевъ, сколько людей на землѣ; рождается человѣкъ,— появляется новый листъ; жизнь человѣка подходитъ къ концу,— его листъ сохнетъ и отпадаетъ (см.—И. Н. Ждановъ. „Соч.“, I, СПБ., 1904 г., 434).

Гудруна, героиня скандинавскаго эпоса, говоритъ: «Теперь, со смертью моего государя, чувствую себя какъ бы пришибленную, подобно листку, гонимому въ лѣсу по волѣ вѣтра». («Старшая Эдда». СПб. 1897 г., 71).

«Опаданье листьевъ», какъ говоритъ Потебня, въ малорусскихъ народныхъ пѣсняхъ является «символомъ разлуки»; въ болгарской пѣснѣ поется: «Чернѣй, лѣсъ, чернѣй, милый, вдвоемъ станемъ чернѣть: ты потерявши зеленый листъ, а я потерявши первую любовь (первую милую)». Малорусская пѣсня:

Та кленовий листоньку!  
Куди тебе вітер несе?  
Чи з гори да в долину?  
Чи в чужу країну?..

Такъ и русскій князь Игорь, какъ «дубовый листокъ оторвался отъ вѣтки родимой». (Потебня. «Слово о полку Игоревѣ». Воронежъ. 1878 г., 114, 115) <sup>1)</sup>.

Этотъ образъ любимъ поэтами новаго времени.

Байронъ:

Подобны блѣклымъ мы листамъ,  
Далеко бурей унесеннымъ.

(«Газель», изъ «Еврейскихъ мелодій», пер. Плещеева. Соч. Байрона, I, 99).

A. Arnault:

*De ta tige détachée  
Pauvre feuille desséchée,  
Qu' vas-tu?—Je n'en sais rien;  
L'orage a brisé le chêne  
Qui seul était mon soutien.  
De son inconstante haleine,  
Le zéphyr ou l'aquilon,  
Depuis ce jour me promène*

---

<sup>1)</sup> Лермонтовъ хорошо владѣлъ малорусскимъ языкомъ (см. „Р. Арх.“, 1900 г., IX, 81). Въ великорусскихъ народныхъ пѣсняхъ паденіе листьевъ и наклоненіе вѣтвей какого бы то ни было дерева сопоставляются со слезами и горемъ; см. Автамоновъ. „Символика растений“. („Ж. Мин. Нар. Пр.“, 1902 г. XI, 98,99; см. еще — 80,96).

De la forêt à la plaine,  
De la montagne au vallon.  
Je vais où le vent me mène,  
Sans me plaindre ou m'effrayer;  
Je vais où va toute chose,  
Qu'il va la feuille de rose  
Et la feuille de laurier <sup>1)</sup>.

Это стихотвореніе чрезвычайно близко къ лермонтовской элегіи и къ украинской пѣснѣ, цитируемой Потебней.

Ср.—Верлэнъ:

Подъ бурей злой  
Мчусь въ міръ былой,  
Невозвратимый,  
Въ путь безъ слѣда,  
Туда, сюда,  
Какъ листь гонимый.

(«Осенняя пѣсня». Пер. Минскаго).

Пушкинъ сравнивалъ себя съ «запоздалымъ листомъ», трепещущимъ «на вѣткѣ обнаженной» <sup>2)</sup>. Ср. еще — Лермонтовъ:

Она прижалась къ юношѣ. Листокъ  
Такъ жметя къ вѣткѣ, бурю ожидая. (II, 156).

Или:

Затряслась, какъ листочекъ осиновый. (II, 221).

Лермонтову доступны были нѣкоторые изъ названныхъ литературныхъ источниковъ, возможно чье-нибудь вліяніе, но, какъ «поэтъ Божіей милостью», онъ самъ могъ создать этотъ художественный образъ—сравненіе человѣка съ листкомъ <sup>3)</sup>.

Стихъ 4 —

*И вотъ, наконецъ, докатился до Чернаго моря.*

<sup>1)</sup> Антуанъ Арно, 1766—1834 г. г.

<sup>2)</sup> „Элегія“. („Я пережилъ свои желанья“).

<sup>3)</sup> Ср. — Плещеевъ: Да! какъ листокъ весною пожелтѣлый,  
На утрѣ дней и ты увяла, ангелъ мой. („Баль“).

Подобно дубовому листку, поэтъ, оторванный отъ родныхъ мѣстъ, съ далекаго сѣвера попалъ на берега Чернаго моря. Черное море упоминается еще въ 5-мъ стихѣ этого стихотворенія, въ стихотвореніи «Памяти А. И. Одоевскаго» (II, 263), въ двухъ письмахъ (IV, 329, 340). Въ послѣднемъ стихѣ разбираемой нами элегіи поэтъ даетъ Черному морю эпитетъ—«холодное».

Стихъ 5—

*У Чернаго моря чинара стоитъ молодая.*

Поэтъ нерѣдко говоритъ о чинарѣ и въ другихъ произведеніяхъ. Напр., въ «Валерикѣ»:

Дремлешь подь широкой тѣнью <sup>1)</sup>

Чинарь... (II, 300).

Въ «Спорѣ»:

Въ тѣни чинары. (II, 338).

Въ «Свиданіи»:

Подь свѣжею чинарою. (II, 343) <sup>2)</sup>.

Въ «Демонѣ»:

Чинарь развѣсистыя сѣни,  
Густымъ вѣнчанныя плющомъ.

(II, 353, см. еще — 363, ст. 442).

Ср.—«Герой нашего времени»: «Со всѣхъ сторонъ горы неприступныя, красноватыя скалы, обвѣшанныя зеленымъ плющомъ и увѣнчанныя купами чинарь». (IV, 155).

Стихъ 6—

*Съ ней шепчется вѣтеръ, зеленыя вѣтви лаская.*

Ср. Пушкинъ:

*И вѣтеръ, лаская листочки древесъ... („Туча“).*

<sup>1)</sup> Варіантъ: „подь густою тѣнью“. (II, 467).

<sup>2)</sup> Варіантъ: „подь молодой чинарою“. (II, 482).

Стихи 7 и 8 —

*На вѣтвяхъ зеленыхъ качаются райскія птицы,  
Поютъ онѣ пѣсни про славу морской царь-дѣвицы.*

О райскихъ птицахъ поэтъ говоритъ и въ 20-мъ стихѣ. Ср. русскую народную пѣсню: «Прилетала *птичка райская*, садилась на тотъ на сырой дубъ, пѣла она пѣсни царскія». (Пѣсни Рыбникова. М. 1909 г., I, 325). Царь-дѣвица—героиня сказокъ, многихъ европейскихъ народовъ (см. Энциклопедическій словарь Бр. и Ефр., XXXVII). Въ нашей художественной литературѣ о царь-дѣвицѣ говорится, напр., въ сказкѣ Ершова «Конекъ-горбунокъ»; царь-дѣвицу воспѣвали: Державинъ («Царь-дѣвица»), Полонскій («Царь-дѣвица»).

Стихъ 9 —

*И странникъ прижался у корня чинары высокой.*

Поэтъ часто называетъ себя «странникомъ»; подробности см. въ нашей статьѣ «Лермонтовъ и Библия». Слово «*прижался*»—указываетъ, какъ жадно утомленный скиталецъ ищетъ отдыха, участія.

Стихъ 10 —

*Пріюта на время онѣ молитъ съ тоскою глубокой.*

Вариантъ:

Прижался—и проситъ, и молитъ съ тоскою глубокой. (II, 483).

Ср.:

Давно отверженный блуждалъ  
Въ пустынь міра безъ пріюта. (II, 351).

Стихъ 11 —

*И такъ говоритъ онѣ: Я бѣдный листочекъ дубовый.*

Выраженіе «*бѣдный листочекъ*» (какъ и предыдущее—«*на время*») указываетъ, какъ несчастенъ листокъ, какъ мало онѣ проситъ для себя, какъ нуждается онѣ въ отдыхѣ и

ласкѣ; холодныя слова чинары подчеркивають все ея бездушіе.

Стихъ 12 —

*До срока созрѣлъ я и выросъ въ отчизнѣ суровой.*

Поэтъ часто говоритъ о преждевременной, и поэтому губительной, зрѣлости. Напр.:

Мы, дѣти сѣвера, какъ здѣшнія растенья,  
Цвѣтемъ недолго, быстро увядаемъ... (I, 74).

Лицо мое вамъ не могло  
Сказать, что мнѣ пятнадцать лѣтъ.  
И скоро старость приведетъ  
Меня къ могилѣ. (I, 132).

Такъ тощій плодъ, до времени созрѣлый,  
Ни вкуса нашего не радуя, ни глазъ,  
Виситъ между цвѣтовъ, пришлецъ осиротѣлый,  
И часъ ихъ красоты—его паденья часъ! (II, 252; ср. 16—17).

И тьмой и холодомъ объята  
Душа усталая моя:  
Какъ ранній плодъ, лишенный сока,  
Она увяла въ буряхъ рока  
Подъ знойнымъ солнцемъ бытія. (II, 210).

Любя родину, поэтъ называетъ ее суровой; еще въ юности онъ высказывалъ аналогичныя мысли; ср.:

Тамъ рано жизнь тяжка бываетъ для людей,  
Тамъ за утѣхами несется укоризна,  
Тамъ стонетъ человѣкъ отъ рабства и цѣпей!...  
Другъ! этотъ край... моя отчизна! (I, 66).

Стихъ 13 —

*Одинъ и безъ цѣли по свѣту ношуся давно я.*

Лермонтовъ часто жалуется на одиночество:

акъ страшно жизни сей оковы  
Намъ въ одиночествѣ влачить:

Дѣлать веселье всѣ готовы, —  
Никто не хочетъ грусть дѣлать. (I, 122)  
Я къ одиночеству привыкъ. (I, 129).

Одинъ, одинъ,  
Съ моей тоской. (I, 174).

Я влачу мучительные дни,  
Безъ цѣли, оклеветанъ, одинокъ... (I, 255).

Другой заставить позабыть  
Своею пѣснью высокой  
Пѣвца, который кончилъ жить,  
Который жилъ такъ одинокой. (I, 292) <sup>1)</sup>.

И все, что чувствуетъ,—онъ чувствуетъ одинъ! (II, 17).  
Мнѣ одинокій путь назначенъ. (III, 165).

О *безцѣльности* бытія—ср. еще:

И жизнь ужъ насъ томить, какъ ровный путь безъ цѣли.  
(II, 252).

Демонъ блуждалъ

Давно безъ цѣли и пріюта. (II, 486).

Ср. Пушкинъ:

Цѣли нѣтъ передо мною...  
(«Даръ напрасный, даръ случайный»).

Стихъ 14 —

*Засохъ я безъ тѣни, увялъ я безъ сна и покоя.*

Ср. стихъ 3:

Засохъ и увялъ онъ отъ холода, зноя и горя.

Поэтъ не разъ говоритъ о своей усталости и о жадѣ покоя. Напр.:

Усталъ я отъ земныхъ заботъ. (I, 175).

Душа усталая моя. (II, 210).

Сковала душу мнѣ усталость. (II, 246).

---

<sup>1)</sup> Въ изд. Висковатова (I, 209)—„одиноко“; въ изд. Введенскаго (т-ва „Просвѣщеніе“) — „одинокой“ (III, 214).

Мы пляской круговой  
Развеселимъ туманный взоръ  
И духъ усталый твой. (II, 327).

Жизнь какъ балъ:

Кружишься — весело, кругомъ все свѣтло, ясно...  
Вернулся лишь домой, нарядъ измятый снялъ —  
И все забылъ, и только что усталъ. (III, 270).  
Я ищу свободы и покоя;  
Я-бъ хотѣлъ забыться и заснуть... (II, 348) <sup>1)</sup>.

Стихъ 15 —

*Прими же пришельца межъ листьевъ твоихъ изумрудныхъ.*

Ср.:

И плющъ, разросшійся весною,  
Его, ласкаясь, обовьетъ  
Своею сѣткой *изумрудной*. (II, 358).

Вариантъ:

Прими же пришельца, какъ сына, межъ листьевъ широкихъ.  
(II, 483).

Стихъ 16 —

*Немало я знаю разказовъ мудреныхъ и чудныхъ.*

Поэзія Лермонтова, дѣйствительно, отличается глубиной идей, замысловатостью и фантастичностью сюжетовъ.

Вариантъ:

Тебѣ расскажу я, что видѣлъ въ пустыняхъ далекихъ.  
(II, 483).

Стихъ 17 —

*На что мнѣ тебя! отвѣчаетъ младая чинара.*

Здѣсь—«младая»; въ 5-мъ стихѣ—«молодая». Ср. въ «Ангелѣ»: «душу *младую*», «въ душѣ *молодой*». (I, 284).

Стихъ 18 —

*Ты пыленъ и желтъ, и сынамъ моимъ свѣжимъ не пара.*

---

<sup>1)</sup> См. еще — II, 374, ст. 834 — 836; IV, 287: на лицѣ Лугина — „слѣды душевной усталости“.

Ср.:

Подъ *свъжею* чинароу. (II, 343).

Ср. еще:

Листьевъ *свъжею* толпой. (I, 242).

Какъ тополь дикъ и *свъжъ*... (II, 190).

*Свъжій* лѣсъ шумить при звукѣ вѣтерка. (II, 208).

Холмы, покрытые вѣнцомъ

Деревъ, разросшихся кругомъ,

Шумящихъ *свъжею* толпой. (II, 313).

Подъ *свъжимъ* пологомъ лѣсовъ. (II, 323).

Стихъ 19 —

*Ты много видалъ, да къ чему мнѣ твои небылицы?*

Вариантъ:

И слушать я также не стану твои небылицы. (II, 483).

Стихъ 22 —

*Я солнцемъ любима, цвѣту для него и блистаю.*

Вариантъ:

Я солнцева дочь, для него лишь цвѣту и блистаю. (II, 483).

Стихъ 23 —

*По небу я вѣтви раскинула здѣсь на просторъ.*

Ср.:

Чинаръ *развѣсистыя* сѣни. (II, 353).

Стихъ 24 —

*И корни мои умываетъ холодное море.*

Вариантъ:

И корни мои омываетъ покорное (послушное) море.

(II, 483).

3.

Въ произведеніяхъ позднѣйшихъ русскихъ поэтовъ нерѣдко можно услышать отзвуки лермонтовской элегіи.

Голенищевъ - Кутузовъ говорить:

Какъ странникъ подъ гнѣвомъ палящихъ лучей,  
Средь Богомъ сожженныхъ, безводныхъ степей,  
Бреду я житейскимъ путемъ, — и давно  
Усталое сердце тоской сожжено. (Г.-К., I, 184).

Лермонтовскимъ духомъ проникнуто стихотвореніе Надсона—«Я пришелъ къ тебѣ съ открытою душою». (Надсонъ, 77). Поэтъ говоритъ:

Я пришелъ къ тебѣ съ открытою душою,  
Истомленный скорбью, злобой и недугомъ,  
И сказалъ тебѣ я — будь моей сестрою,  
Будь моей заботой, радостью и другомъ...

Но дѣвушка не отвѣтила ему любовью и довѣріемъ.

И, сокрывъ въ груди отчаянье и муку  
И сдержавъ въ устахъ невольныя проклятья,  
Со стыдомъ мою протянутую руку  
Опускаю я, не встрѣтивши пожатя.  
И какъ путникъ, долго бывший на чужбинѣ  
И въ родномъ краю не признанный семьею,  
Снова въ людномъ мірѣ, какъ въ глухой пустынѣ,  
Я бреду одинъ съ поникшей головою <sup>1)</sup>...

Подъ вліяніемъ Лермонтова написана Фофановымъ его «фантазія»—«Местъ любви». (Фофановъ. «Стихотворенія». СПб. 1887 г., 167—173). Укажемъ наиболѣе характерныя мѣста.

Въ нѣкоторомъ обширномъ городѣ, лежавшемъ на берегу моря, жила королева съ красавицей-дочкой.

<sup>1)</sup> Ср. еще—Лермонтовъ: „Какъ путешественникъ забвенный,  
Я чуждымъ сталъ между родныхъ“. (I, 107).

И въ городѣ томъ-же жилъ *бѣдный пѣвецъ* одиноко,  
*Гонимый судьбою и міромъ гонимый жестоко.*

Онъ полюбилъ королевну и признался ей въ любви:

Онъ шепчетъ: тебя я люблю всей душою своею,  
Тебя я одну въ безконечныхъ мечтаньяхъ лелѣю,  
Тебѣ я одной посвящалъ свои пѣсни и думы.  
И въ степи *мірской* безъ тебя я влачуся *угрюмый*.  
О, *сжался*, царевна! И нашу завѣтную встрѣчу  
Я праздникомъ вѣчнымъ въ судьбѣ своей *грустной* отмѣчу.  
Я *бѣдный пѣвецъ*. Много пѣсенъ я *чудныхъ* слагаю;  
Открой же мнѣ доступъ, царевна, къ желанному раю,  
Будь вѣчной подругой; тебя усыплять буду сказкой,  
Тебя пробуждать стану я поцѣлуемъ и лаской.

Въ двухъ послѣднихъ стихахъ—вліяніе «Демона»; ср.:

*Подруга вѣчная моя.* (Л., II, 498).

Къ тебѣ я стану прилетать,  
Гостить я буду до денницы,  
И на шелковыя рѣсницы  
Сны золотые *навѣвать*... (II. 361).

Царевна, прекрасная и безучастная, какъ молодая чинара, надменно отвергаетъ признанія поэта.

*Взглянула царевна на юношу съ гордой улыбкой,*  
Алѣетъ, какъ роза, и станъ изгибаетъ свой гибкій  
Небрежно, и молвить: *тебя полюбить не могу я;*  
*Не надо мнѣ пѣсенъ* съ огнемъ твоего поцѣлуя:  
*Ты—бѣдный пѣвецъ, я—царевна!* Женихъ мой давнишній —  
Царевичъ заморскій; въ странѣ обитаетъ онъ пышной;  
Блистають дворцы его жемчугомъ чистымъ и златомъ;  
Онъ носить порфиру, сидитъ онъ на тронѣ богатомъ;  
Трепещуть рабы предъ его безпредѣльною властью.  
*Ты, бѣдный пѣвецъ, ты смѣшонъ мнѣ съ безумною страстью!*

Стихотворный размѣръ «фантазіи» Фофанова—*лермонтовскій*.

Весьма близка къ элегіи Лермонтова слѣдующая «Пѣсня»  
Дрожжина:

*Какъ листокъ оторванъ  
Съ вѣточки родимой  
Безъ пути безъ воли  
Бурею гонимый,  
Такъ и я по свѣту  
Бѣлому скитаюсь,  
Не живу, а только,  
Горемычный, маюсь.  
Дни идутъ за днями,  
Годы за годами,  
Молодость проходитъ  
Съ свѣтлыми мечтами.  
Надо мною выются  
Тучи да мятели,  
Огъ тоски-кручины  
Кудри посѣдѣли.  
Гибнетъ незамѣтно  
Сила и здоровье,  
Сердце не согрѣто  
Теплою любовью.  
Грустный, одинокій,  
Вѣкъ свой доживаю,  
Да про злое горе  
Пѣсни напѣваю.*

(Дрожжинъ. «Стихотворенія». СПБ. 1894 г., 107, 108).  
О «дубовомъ листкѣ» Лермонтова можно сказать слова-  
ми Фета:

*Этотъ листокъ, что изсохъ и свалился, —  
Золотомъ вѣчнымъ горитъ въ пѣснопѣньи.*

(„Поэтамъ“).

---

## Портретъ.

(Свѣтлой памяти проф. С. В. Соловьева).

### 1.

Среди прозаическихъ произведеній Лермонтова начатая повѣсть о Лугинѣ занимаетъ такое же мѣсто, какое занимаетъ среди поэтическихъ произведеній «Сказка для дѣтей» или «Это случилось въ послѣдніе годы могучаго Рима»; это нѣчто недосказанное, недовершенное, но въ отрывкахъ этихъ видна рука генія; даже въ дошедшемъ до насъ видѣ они чрезвычайно цѣнны для болѣе глубокаго пониманія сложнаго творчества великаго поэта.

Въ недоконченной повѣсти о Лугинѣ особенно интересны слѣдующіе мотивы:

- 1) исторія волшебнаго портрета, изображеніе котораго можетъ оживать;
- 2) чудесное, благотворное воздѣйствіе музыки на душу человѣка;
- 3) власть азартной картежной игры надъ душой и умомъ человѣка;
- 4) изображеніе постепеннаго развитія душевной болѣзни.

Главнымъ предметомъ этой статьи мы беремъ первый мотивъ.

### 2.

Исторія о чудодѣйственномъ портретѣ, нарисованномъ чрезвычайно живо и способномъ оживать,—мотивъ, не разъ привлекавшій поэтовъ и писателей до и послѣ Лермонтова.

Принимаясь за свою повѣсть, нашъ поэтъ, безъ сомнѣнія, находился подъ вліяніемъ какого-нибудь иностраннаго или русскаго автора (быть можетъ, даже нѣсколькихъ авторовъ).

По мнѣнію Мосолова, на Лермонтовѣ сказалось прямое вліяніе Гофмана (Л., V, 223). Какое именно произведеніе Гофмана могло оказать воздѣйствіе, г. Мосоловъ не говоритъ. Проф. Абрамовичъ такъ же кратко: «Чтеніемъ Гофмана навѣялъ отрывокъ изъ начатой повѣсти». (Л., V, XLIII). Вообще, до сихъ поръ не останавливались на вопросѣ: былъ ли знакомъ Гофманъ Лермонтову? Почти безъ ошибки можно предположить, что Лермонтовъ читалъ его. Въ первой половинѣ прошлаго вѣка интересъ къ произведеніямъ автора «Серапіоновыхъ братьевъ» былъ великъ. Какъ извѣстно, Гофманъ оказалъ у насъ вліяніе на Пушкина, Гоголя, Достоевскаго и др. Весьма вѣроятно, что Лермонтовъ, тяготѣвшій ко всему фантастическому, не прошелъ мимо книгъ талантливаго нѣмецкаго писателя, плѣняющаго читателей игрой огненнаго воображенія; въ нихъ многія страницы могли остановить на себѣ его вниманіе.

Напримѣръ, о загадочномъ, оживающемъ портретѣ Гофманъ говоритъ нѣсколько разъ.

Въ «Эпизодѣ изъ жизни трехъ друзей»<sup>1)</sup> нѣкто Александръ (хотя онъ и смѣялся надъ вѣрой въ привидѣнія) рассказалъ друзьямъ слѣдующее. Однажды ночью почувдилось ему, что кто-то ходилъ по комнатѣ тихими шагами, стоналъ, вздыхалъ, кашлялъ, скрипѣлъ дверцей шкапа, принималъ какую-то жидкость, стуча серебряной ложкой и бутылкой, и скрылся. Онъ даже видѣлъ, какъ «бѣлая фигура, пошатнувшись, отдѣлилась отъ стѣны». «Вставая съ постели», говорилъ онъ, «я невольно бросилъ взглядъ на тетушкинъ портретъ; это была большая, написанная въ натуральную величину до колѣнъ, картина. Морозъ подралъ меня по кожѣ при мысли о замѣчательномъ сходствѣ портрета съ почувдившейся мнѣ ночью бѣлой фигурой».

<sup>1)</sup> Гофманъ. „Серапіоновы братья“, т. II., 97, 98. (Собр. соч. СПб. 1896 — 1899 г., I — VIII тт.; дальнѣйшія ссылки по этому изд.).

Въ разсказѣ «Зловѣщій гость» упоминается о портретѣ съ «черными, *точно живыми глазами*». Одно изъ дѣйствующихъ лицъ говоритъ: «едва начиналъ я, во снѣ или на яву, думать объ Анжеликѣ, роковая картина, какъ тѣнь, становилась передо мною, лишая меня всякой способности чувствовать, самостоятельно и самовластно распоряжаясь всѣмъ моимъ существомъ. Трудно выразить то чувство ужаса, которое испытывалъ я, сознавая свое безсиліе бороться съ этой чуждой, злобной властью, и никогда въ жизни не забуду я перенесенныхъ мною тогда мукъ»<sup>1)</sup>.

Въ романѣ «Элексиръ сатаны» описывается портретъ красиваго мужчины съ «лучезарными, *словно живыми глазами*»; на Аврелію, когда она еще была ребенкомъ, портретъ произвелъ «величайшее впечатлѣніе». Когда Аврелія была уже дѣвушкой, передъ нею однажды предсталъ образъ незнакомца, изображеннаго на портретѣ. Она даже говорила съ видѣніемъ, но потомъ была твердо убѣждена, что оно было призракомъ, созданнымъ ея воображеніемъ (Г., V, 201 — 203). Въ томъ же романѣ говорится о художникѣ Франческо, писавшемъ образъ св. Розаліи. Искушаемый сатаною, онъ вмѣсто Розаліи захотѣлъ изобразить Венеру. Онъ выполнилъ свое грѣховное намѣреніе и вотъ увидѣлъ, что съ полотна на него глядитъ «возлюбленная богиня Венера взоромъ, полнымъ самой жгучей пламенной страсти. Въ то же мгновеніе Франческо почувствовалъ, какъ въ немъ возгорѣлось грѣховное преступное сладострастіе. Онъ ревѣлъ и стоналъ отъ безумной похоти. Онъ вспоминалъ про языческаго ваятеля Пигмаліона, басня о которомъ была сюжетомъ одной изъ его картинъ и, подобно Пигмаліону, обратился къ Венерѣ съ мольбою вдохнуть жизнь въ его произведеніе. Вскорѣ стало ему казаться, будто написанная на картинѣ св. Розалія начинаетъ шевелиться, но, протянувъ руки, чтобы принять ее въ свои объятія, онъ убѣдился, что передъ нимъ лишь безжизненное полотно. (Г., V, 241).

Въ разсказѣ «Ошибка» вставлена исторія о необычно-

<sup>1)</sup> Гофманъ. „Серрапіоновы братья“. Собр. соч., III, 208.

венномъ портретѣ греческой княгини. Прекрасная, величественная женщина вышла изъ рамы, чтобы заботиться о своей дочери-малюткѣ; люди ожившій портретъ принимали за гувернантку. Когда дочь выросла и вышла замужъ, портретъ вошелъ въ свою раму, но и послѣ того ожилъ однажды, чтобы сообщить важную тайну. (Г., VI, 266—267).

О портретѣ съ поразительно выразительными чертами лица Лермонтовъ говоритъ еще въ «Княгинѣ Лиговской». Въ кабинетѣ Печорина висѣла картина; «она изображала неизвѣстное мужское лицо, писанное неизвѣстнымъ русскимъ художникомъ, человѣкомъ, не знавшимъ своего генія, и которому никто объ немъ не позаботился намекнуть. Картина эта была фантазія глубокая, мрачная. Лицо это было написано прямо безо всякаго искусственнаго наклоненія или оборота; свѣтъ падалъ сверху, платье было набросано грубо, темно и безотчетливо; казалось, вся мысль художника *сосредоточилась въ глазахъ и улыбкѣ*. Голова была больше натуральной величины, волосы гладко упали по обѣимъ сторонамъ лба, который кругло и сильно выдавался и, казалось, имѣлъ въ устройствѣ своемъ *что-то необыкновенное*. Глаза, устремленные впередъ, блистали *тѣмъ страшнымъ блескомъ, которымъ иногда блещутъ живые глаза сквозь прорѣзи черной маски*. *Испытующій и укоризненный лучъ ихъ, казалось, слѣдовалъ за вами во все углы комнаты*, и улыбка, растягивая узкія и старыя губы, была болѣе презрительная, чѣмъ насмѣшливая. Всякій разъ, когда Жоржъ смотрѣлъ на эту голову, онъ видѣлъ въ ней новое выраженіе; она сдѣлалась его собесѣдникомъ въ минуты одиночества и мечтанія, и онъ, какъ партизанъ Байрона, назвалъ ее портретомъ Мары». (IV, 101—102). Въ квартирѣ Лугина былъ «поясной портретъ, изображавшій человека лѣтъ сорока въ бухарскомъ халатѣ, съ правильными чертами и *большими стрыми глазами*; въ правой рукѣ онъ держалъ золотую табакерку необыкновенной величины; на пальцахъ красовалось множество разныхъ перстней. Казалось, этотъ портретъ писанъ несмѣлой, ученической кистью; платье, волосы, рука, перстни — все было *очень*

плохо сдѣлано; зато въ выраженіи лица, особенно губъ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глазъ оторвать; въ линіи рта былъ какой-то неуловимый изгибъ, недоступный искусству и, конечно, начертанный бессознательно, придававшій лицу выраженіе насмѣшливое, грустное, злое и ласковое, попеременно». (IV, 290). Эта картина произвела страшное, неотразимое впечатлѣніе на Лугина, который самъ занимался живописью. Разъ, около полуночи, взялъ онъ листъ бумаги и началъ что-то чертить. «Онъ рисовалъ голову старика, и когда кончилъ, то его поразило сходство этой головы съ кѣмъ-то знакомымъ. Онъ поднялъ глаза на портретъ, висѣвшій противъ него,—сходство было разительное; онъ невольно вздрогнулъ и обернулся: ему показалось, что дверь, ведущая въ пустую гостиную, заскрипѣла». (IV, 293). Потомъ послышался шорохъ,—то были шаги привидѣнія, шаги незнакомца, изображеннаго на портретѣ. Лугинъ сыгралъ съ нимъ въ штоессъ; глаза старика «пронзительно» сверкали. Разговаривая съ нимъ, Лугинъ подумалъ: «А какъ похожъ на этотъ портретъ!... ужасно, ужасно похожъ!... А! Теперь я понимаю!...» (IV, 294). Послѣ того Лугинъ игралъ съ загадочнымъ старикомъ много разъ и чувствовалъ, что столбенѣетъ «подъ магнетическимъ вліяніемъ его сѣрыхъ глазъ». (IV, 295).

Вліяніе Гофмана въ данномъ случаѣ весьма возможно. Оба писателя говорятъ о портретѣ, черты лица котораго необычайно живы; особенно сильно выраженіе глазъ. Человѣкъ, изображенный на портретѣ, является въ видѣ привидѣнія; привидѣнія эти, какъ описываютъ ихъ оба писателя, очень реальны: они ходятъ, говорятъ; они могутъ пить, ѣсть, уносить, неизвѣстно куда, выигранное золото; они, какъ и ихъ портреты, производятъ на людей страшное, жуткое впечатлѣніе.

Остановимся на нѣкоторыхъ другихъ характерныхъ, общихъ чертахъ творчества Гофмана и Лермонтова.

Излюбленный мотивъ нѣмецкаго писателя—музыка. Онъ посвящаетъ ей многія страницы своихъ рассказовъ и крупныхъ произведеній. Если Лермонтовъ читалъ Гофмана, эти

страницы особенно должны были заинтересовать его. Взгляды Гофмана на музыку тождественны съ лермонтовскими. По словамъ Гофмана, музыка или пѣніе—нѣчто *чудесное*. Они возвѣщаютъ «дивное чудо вѣчнаго и совершеннѣйшаго свѣта»<sup>1)</sup>.

«Есть въ музыкѣ что-то неизъяяснимо чудесное! Какъ мало проникъ человѣкъ въ ея глубокія тайны!»<sup>2)</sup>.

Она — нѣчто *небесное*: это «благодатное чудо», совершаемое «небесными силами». (VII, 254).

Музыка *просвѣтляетъ*, очищаетъ душу человѣка: «Не живетъ ли она въ груди самого человѣка, наполняя его душу своими благодатными образами, такъ что весь духъ его обращается къ нимъ и новая просвѣтленная жизнь уже здѣсь отрываетъ его отъ водоворота и угнетающей муки земного существованія? Да, какая-то божественная сила проникаетъ въ нее». (I, 23).

Музыка и пѣніе до слезъ волнуютъ человѣка. «Чистый звучный контральтъ Терезины пронзилъ мнѣ душу. Я не могъ преодолѣть волненія, и слезы ручьемъ хлынули изъ моихъ глазъ»<sup>3)</sup>. «Когда же молодые рабочіе затянули, стройными голосами, старую, хоровую пѣсню, въ которой призывалось благословеніе Божье на ихъ тяжелый трудъ, онъ не могъ удержать невольныхъ слезъ». (II, 161).

Или: „Я весь точно растаялъ въ чувствѣ неизъяяснимаго, небеснаго блаженства, забывъ все, и превратившись въ слухъ и вниманіе. Долго, даже послѣ того, какъ звуки умолкли, продолжалось во мнѣ это чувство, пока горячій потокъ хлынувшихъ изъ глазъ слезъ не разрѣшилъ, наконецъ, этого неестественнаго состоянія». (II, 290).

Пѣніе и музыка пробуждаютъ или разжигаютъ *страсть*: въ голосѣ пѣвицы «былъ какой-то таинственный пламень, овладѣвшій всѣми. Крѣпче обнимали юноши своихъ дѣвъ, и ярче сверкали глаза, устремленные другъ на друга»<sup>4)</sup>.

<sup>1)</sup> Гофманъ. „Житейская философія Кота Мура съ отрывками изъ біографіи Іоанна Крейслера“. VII, 254.

<sup>2)</sup> „Фантастическіе рассказы въ манерѣ Калло“. I, 23.

<sup>3)</sup> II, „Серапіоновы братья“, 53,54.

<sup>4)</sup> „Исторія о пропавшемъ отраженіи“. I, 148.

Подъ вліяніемъ музыки «страсти встають въ нашей груди, и мечутся въ какомъ-то непонятномъ стремленіи, овладѣвающимъ всѣмъ нашимъ существомъ»<sup>1)</sup>. Или: «Я лежалъ какъ очарованный. Восторгъ охватилъ всѣ мои чувства; цѣлый рой пылкихъ желаній зажегся въ груди». (II, 290).

О томъ же воздѣйствіи музыки и пѣнія на человѣка говоритъ Лермонтовъ въ своихъ многочисленныхъ произведеніяхъ; напр., въ стихотвореніяхъ—«Ангель», «Звуки», «Сосѣдъ», «Тамара» и др.; въ поэмахъ «Литвинка», «Измаиль-Бей», «Демонъ» и др., въ неоконченной повѣсти про Лугина. Нѣкоторыя строки Гофмана очень близки къ лермонтовскому «Ангелу». Напримѣръ: «Въ удивительно свѣтлыхъ и ясныхъ украшеніяхъ мелодіи душа несется на быстрыхъ крыльяхъ чрезъ сіяющія облака,—это громкое ликование просвѣтленныхъ духовъ». (I, 25). Или: «Это вѣрно ангель, принесшій на землю звуки изъ небеснаго хора херувимовъ и серафимовъ»<sup>2)</sup>. О чудесномъ вліяніи пѣнія на неодушевленную природу: когда Генрихъ Офтердингенъ пѣлъ, «вѣтеръ утихъ, кусты и деревья остановились». (II, 246). Лермонтовъ, какъ извѣстно, смутно помнилъ игру своей матери на роялѣ и ея пѣніе, слышанное имъ, когда ему еще не было трехъ лѣтъ; съ этими воспоминаніями, какъ полагають, и было связано созданіе «Ангела». Въ «Странномъ человѣкѣ» няня Арбеніна говоритъ: «А бывало, помню, ему еще было три года—бывало, барыня посадить его на колѣна къ себѣ и начнетъ играть на фортепьянахъ что-нибудь жалкое,—глядь, а у дитяти слезы по щекамъ такъ и катятся!...» (III, 159). У Гофмана Крейслеръ рассказываетъ: «Я говорю... что еще до трехъ лѣтъ помню себя на колѣняхъ у дѣвушки, кроткіе глаза которой сіяли мнѣ прямо въ душу; что я и теперь еще слышу нѣжный голосъ, которымъ она со мной говорила и пѣла, и отлично знаю, что я отдавалъ всю мою нѣжность и любовь этой милой особѣ. Эта была тетя Софи». (VII, 64—65). Лермонтовъ часто прибѣгаетъ къ сравне-

1) „Серап. бр.“ II, 73.

2) „Аттестатъ Іоанна Крейслера“. I, 196.

пю женщины съ красивымъ, но недолговѣчнымъ цвѣткомъ. То же встрѣчаемъ у Гофмана: на примѣръ, въ сказкѣ «Повелитель блохъ» принцесса говоритъ: «Я, подобно цвѣтку, опустившему головку, снова расцвѣту, если на меня, какъ на него, упадетъ свѣжая утренняя роса». (VI, 201). Въ романѣ «Эликсиръ сатаны» мачеха говоритъ о прелестной Аврелии: «Пусть же цвѣтокъ, который такъ тщеславится своею непорочною и блестящею свѣжестью своихъ лепестковъ, будетъ сорванъ и увянетъ безвременно». (V, 69).

Лермонтову ручей лепеталъ «таинственную сагу про мирный край, откуда мчится онъ». У Гофмана ручей говоритъ: «Далеко, въ невѣдомыхъ тайникахъ, родился я на свѣтъ Божій; много я знаю сказочекъ, и все новыхъ, все новыхъ! Слушайте только мое журчанье». («Серапионовы бр.», III, 81).

Лермонтову жизнь казалась порой «пустой и глупой шуткой». Гофмановскій Лотаръ также бывалъ «въ томъ настроеніи духа, при которомъ жизнь казалась ему пустой, безпольною шуткой». (III, 99). Въ разсказѣ «Счастье игрока» встрѣчаемъ слѣдующій эпизодъ, напоминающій «Казначейшу» Лермонтова: игрокъ, проигравъ въ карты все, *ставитъ на жену* и проигрываетъ ее *полковнику, который любилъ ее, и котораго любила она* до замужества. Разсказъ заканчивается трагически: молодая женщина умираетъ внезапно, въ ту ночь, когда мужъ проигралъ ее. (III). Висковатый полагаетъ, что въ основу «Казначейши» положено поэтомъ истинное происшествіе<sup>1)</sup>; по мнѣнію Владимірова, поэма Лермонтова написана подъ вліяніемъ повѣсти Шидловскаго—«Пригожая казначейша»<sup>2)</sup>. Проф. Абрамовичъ по этому поводу замѣчаетъ, что «непосредственнаго отношенія» къ поэмѣ Лермонтова повѣсть Шидловскаго не имѣетъ (Л., V, стр. LXI). Быть можетъ, здѣсь имѣло мѣсто и воздѣйствіе названнаго нами разсказа Гофмана.

Такимъ образомъ, произведенія Гофмана и Лермонтова имѣютъ много характерныхъ общихъ чертъ, и нельзя отрицать вѣроятности вліянія нѣмецкаго писателя въ описаніяхъ

<sup>1)</sup> Висковатый, VI, 229.

<sup>2)</sup> Владиміровъ, 9.

загадочныхъ портретовъ въ «Княгинѣ Лиговской» и начатой повѣсти о Лугинѣ.

3.

По замѣчанію проф. Котляревскаго, повѣсть о Лугинѣ слегка напоминаетъ «Портретъ» Гоголя. (Котляревскій, 215). Duchesne высказываетъ предположеніе, что о таинственномъ портретѣ Лермонтовъ могъ писать подъ вліяніемъ «Портрета» Гоголя<sup>1)</sup>. «Княгиня Лиговская» написана въ 1836 г., неоконченная повѣсть—въ 1841 г. Первая редакція «Портрета» Гоголя написана была въ 1834 г. и вышла въ свѣтъ въ январѣ 1835 г. Картина, купленная Чертковымъ, изображала старика «съ какимъ-то безпокойнымъ и даже злобнымъ выраженіемъ лица; въ устахъ его была улыбка, рѣзкая, язвительная и вмѣстѣ какой-то страхъ; румянецъ болѣзни былъ тонко разлитъ по лицу, исковерканному морщинами; глаза его были велики, черны, тусклы, но вмѣстѣ съ этимъ въ нихъ была замѣтна какая-то страшная живость... Во всемъ портретѣ была видна какая-то неокончателность»<sup>2)</sup>. Почти всѣ подробности этого описанія мы встрѣчаемъ у Лермонтова, которому не могла не быть извѣстна повѣсть Гоголя. Въ ту пору, когда писалась «Княгиня Лиговская», Лермонтовъ находился подъ нѣкоторымъ вліяніемъ Гоголя. Duchesne видитъ гоголевскую манеру въ описаніи поисковъ Печоринымъ квартиры Красинскаго<sup>3)</sup>. Быть можетъ, подъ вліяніемъ Гоголя Лермонтовъ въ своемъ романѣ выражаетъ явную симпатію бѣдному чиновнику, оскорбленному Печоринымъ. Характерно, напримѣръ, и слѣдующее мѣсто: «По Вознесенской шелъ одинъ молодой чиновникъ, и шелъ онъ изъ департамента, утомленный однообразною работою и мечтавъ о наградѣ и вкусномъ обѣдѣ, ибо всѣ чиновники мечтаютъ. На немъ былъ картузь неопредѣленной формы и синяя ваточная шинель со старымъ бобровымъ воротникомъ». (IV,

<sup>1)</sup> Duchesne. „M. I. Lermontov“. Paris. 1910, pp. 223—224.

<sup>2)</sup> Гоголь. Сочиненія. СПб. 1900. IX, 177.

<sup>3)</sup> Duchesne, 225.

97). Необходимо напомнить, что «Портретъ» Гоголя написанъ подъ вліяніемъ Гофмана (см. Веселовскій «Зап. вліяніе въ новой русской литературѣ», 185, 204). Замѣтимъ еще, что Чертковъ и Лугинъ— *художники*.

4.

По нашему мнѣнію, мысль о загадочномъ портретѣ могла быть навѣяна и «Мельмотомъ-Скитальцемъ» Матюрена. Лермонтовъ читаль этотъ романъ. Въ вариантахъ предисловія къ «Герою нашего времени» находимъ слѣдующіе строки: «Если вы вѣрили существованію *Мельмота*, Вампира и др.—отчего же вы не вѣрите въ дѣйствительность Печорина?» (IV, 371).

Въ 20-хъ и 30-хъ гг. въ Россіи зачитывались «Мельмотомъ-Скитальцемъ». Однимъ изъ кумировъ пушкинской Татьяны былъ «Мельмотъ, бродяга мрачный» («Евгеній Онѣгинъ», III гл., XII); въ примѣчаніяхъ къ «Евгенію Онѣгину» Пушкинъ называетъ романъ Матюрена «геніальнымъ произведеніемъ». Большую роль въ этомъ романѣ играетъ таинственный портретъ Мельмота. Когда Джонъ, потомокъ Мельмота, впервые увидѣлъ портретъ, его глаза «въ одинъ мигъ, какъ бы волшебной силой, оказались прикованными къ портрету, висѣвшему на стѣнѣ и, даже на его неопытный взглядъ, значительно превосходившему искусствомъ выполненія обычные фамильные портреты, которымъ предоставляется ислѣдовать на стѣнахъ фамильныхъ замковъ. Онъ изображалъ человѣка среднихъ лѣтъ. Ни въ костюмѣ, ни въ наружности его не было ничего замѣчательнаго, но глаза, какъ чувствовалъ Джонъ, были таковы, что каждый лучше желалъ бы никогда ихъ не видѣть, а разъ ему пришлось ихъ увидать, онъ чувствовалъ, что ему никогда ихъ не забыть»<sup>1)</sup>. Особенно живо изображены были глаза Мельмота. Они свѣтились «демоническимъ свѣтомъ». (Тамъ же). Они какъ будто двигались (15 стр.). Глаза самого Мельмота

<sup>1)</sup> Матюренъ. „Мельмотъ-Скиталець“. Спб. 1894 г., 13 стр.

«испускали страшный неестественный блескъ» (28 стр.). «Глаза его нельзя было смѣшать съ другими или забыть» (35 стр.). Его лицо было «холодное, неподвижное и строгое; тѣ же были и глаза съ ихъ адскимъ, ослѣпительнымъ блескомъ». (45 стр.).

То же говоритъ Лермонтовъ. Глаза портрета, висѣвшаго въ кабинетѣ Печорина, блистали «страшнымъ блескомъ» (IV, 102). Лугинъ столбенѣлъ подѣ «магнетическимъ вліяніемъ» глазъ привидѣнія (IV, 295). Эти глаза «пронзительно» сверкали (IV, 294). Мельмотъ, съ котораго былъ нарисованъ страшный портретъ, являлся, какъ привидѣніе. Джонъ, его потомокъ, сидѣлъ возлѣ умирающаго дяди и вдругъ «увидѣлъ, какъ отворилась дверь, и въ ней появилась фигура, оглядѣвшая комнату, и затѣмъ спокойно и медленно удалившаяся, при чемъ, однако, Джонъ успѣлъ узнать въ ея лицѣ живой оригиналъ портрета». (Матюрень, 15). Точно такъ же и Лугинъ, глядя на ночного гостя, думаетъ: «А какъ похожъ на этотъ портретъ!... ужасно, ужасно похожъ!..» (IV, 294). Испанецъ, спасшій жизнь Джону, носилъ на груди изображеніе Скитальца; оно «было нарисовано грубо и не художественно, но съ такимъ сходствомъ, какъ будто кистью водила духовная сила, а не рука живописца». (М., 61).

«Мельмотъ-Скиталець», какъ доказываетъ проф. Шляпкинъ, оказалъ нѣкоторое вліяніе на «Портретъ» Гоголя<sup>1)</sup>. Лермонтову были извѣстны и романъ Матюрена, и повѣсть Гоголя; безъ сомнѣнія, исторія о таинственныхъ портретахъ и привидѣніи была задумана подѣ вліяніемъ названныхъ писателей.

Многія другія характерныя черты «Мельмота-Скитальца» должны были остановить на себѣ вниманіе нашего поэта и, быть можетъ, оказали воздѣйствіе на его другія произведенія. Матюрень клеймитъ лицемѣріе, ханжество, чревоугодіе и жестокость католическихъ монаховъ, говоритъ о стѣснительныхъ узахъ монастырской жизни. Аналогичныя

<sup>1)</sup> Проф. Шляпкинъ. „Портретъ Гоголя и „Мельмотъ-Скиталець“ Матюрена“. (Литер. Вѣстникъ, 1902 г., т. III, 66 — 68).

идеи находимъ у Лермонтова въ «Испанцахъ», «Вадимъ», «Исповѣди», «Бояринъ Оршѣ», «Мцыри» и др.

Излюбленное Лермонтовымъ сравненіе женщины съ цвѣткомъ встрѣчаемъ и у Матюрена: «Мнѣ поручено попирать ногами и топтать всякій цвѣтокъ въ естественномъ и нравственномъ мірѣ—гіацинты, сердца и тому подобныя бездѣлки, какія встрѣтятся мнѣ». «Красота была цвѣткомъ, на который онъ смотрѣлъ лишь для того, чтобы издѣваться надъ нимъ, и прикасался къ нему только съ цѣлью его погубить». (Мат., 333, 351). Ср., напримѣръ, слова Печорина: «А вѣдь есть необъятное наслажденіе въ обладаніи молодой, едва распустившейся души! Она, какъ цвѣтокъ, котораго лучшій ароматъ испаряется навстрѣчу первому лучу солнца; его надо сорвать въ эту минуту и, подышавъ имъ до-сыта, бросить на дорогѣ: авось кто-нибудь подниметъ! Я чувствую въ себѣ эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встрѣчается на пути». (IV, 231).

Очень близки къ стихотвореніямъ «Когда волнуется желтѣющая нива» и «Выхожу одинъ я на дорогу» слѣдующія строки Матюрена: «Садъ, съ его спокойной красотой, освѣщенный луной, съ непорочнымъ небомъ, съ звѣздами, возвѣщающими хвалу Всевышнему, былъ въ одно и то же время и упрекомъ, и утѣшеніемъ для меня. Я пытался пробудить въ себѣ мысль или чувство, но не могъ сдѣлать ни того, ни другого; быть можетъ, впрочемъ, это молчаніе души, это отсутствіе всѣхъ шумныхъ голосовъ страстей всего болѣе даетъ намъ готовность слышать голосъ Бога. Въ моемъ воображеніи величественный и обширный сводъ небесъ внезапно представлялся церковью... Я упалъ на колѣни; никогда я еще не чувствовалъ себя столь расположеннымъ къ молитвѣ». (Матюренъ, 109).

Не могъ не сочувствовать Лермонтовъ и протесту Матюрена противъ войны, которая сопровождается «жестокими и злыми нелѣпостями» и не согласуется съ завѣтами Христа. (Матюренъ, 292, 293, 295).

Лермонтову музыка или пѣніе напоминали о прошломъ, о небѣ, о Богѣ («Ангелъ», «Демонъ», неоконченная по-

вѣсть о Лугинѣ и мн. др.). Матюрень говоритъ, что музыка—«языкъ воспоминаній», что она подобна «голосу религіи, повелѣвающему вспоминать и почитать Бога». (Матюрень, 339—340).

Есть общія черты у Мельмота и Демона.

Мельмотъ, тоже изгнанникъ рая, обреченный на скитанія, признается красавицѣ Иммали: «Вы можете меня ненавидѣть, проклинать... Вы можете ненавидѣть меня потому, что я ненавижу васъ; я ненавижу все, что живетъ, что когда-либо жило, и меня самого ненавидятъ». (М., 305).

Лермонтовъ:

Все, что предъ собой онъ видѣлъ,  
Онъ презираль, онъ ненавидѣлъ. (II, 353).  
Я тотъ, кого никто не любитъ,  
И все живущее клянетъ. (II, 368).

Иногда Мельмотъ плачетъ, и слезы его такъ же страшны и жгучи, какъ слезы Демона. (М., 306, 357). Ихъ загадочные взгляды сверкають, какъ адское пламя.

Тамара хотѣла спасти Демона своей любовью и вѣрила въ его возрожденіе. Исидора, жена Скитальца, «питала надежду, какую внушаетъ всегда спокойная чистота женскаго сердца, что вліяніе ея рано или поздно придастъ форму тому, что ея не имѣетъ, что ея невѣрующей мужъ будетъ спасенъ вѣрующей женой». (М., 489).

Демонъ

Былъ похожъ на вечеръ ясный:  
Ни день, ни ночь, ни мракъ, ни свѣтъ!... (II, 362).

Полюбивъ Тамару, онъ бывалъ грустенъ (II, 361), задумчивъ (II, 366). Послѣ того, какъ Мельмотъ женился, его мизантропія «незамѣтно смѣнилась какой-то задумчивой грустью. Онъ походилъ на темную, холодную, но не пугающую и сравнительно мягкую ночь, какая слѣдуетъ за днемъ бури и землетрясенія». (М., 489).

## 5.

Къ сожалѣнію, повѣсть Лермонтова не окончена. Все же она о многомъ говорить намъ. Поэтъ, очевидно, пробоваль свои силы въ новомъ для него родѣ литературнаго произведенія. Пользуясь фантастическими элементами (загадочный портретъ, привидѣнія), онъ избѣгаетъ яркихъ романтическихъ эффектовъ. Передъ нами видѣніе, но это не прекрасный, могучекрылый отверженникъ неба; это старикъ въ полосатомъ халатѣ и туфляхъ, сѣдой и сгорбленный, съ сѣрыми, мутными глазами; мѣсто дѣйствія—не на небесахъ и не на живописномъ Кавказѣ, а въ Столярномъ переулкѣ, у Кокушкина моста, въ домѣ титулярнаго совѣтника Штосса. Въ этой-то простотѣ, въ этой обыденности обстановки, да въ безуміи Лугина и заключается настоящій ужасъ, кошмаръ,—то, что впоследствии со стихійною силой было выражено Достоевскимъ въ «Двойникѣ», въ «Преступленіи и наказаніи» и въ «Братьяхъ Карамазовыхъ».

Поэтъ осложняетъ задачу, выбравъ геросмъ повѣсти душевно-больного. Лугинъ одержимъ навязчивыми идеями. Онъ говоритъ: «Вотъ ужъ двѣ недѣли, какъ всѣ люди мнѣ кажутся желтыми,—и одни только люди!... Все остальное какъ и прежде; одни лица измѣнились; мнѣ иногда кажется, что у людей, вмѣсто головъ, лимоны». (IV, 285). Въ теченіе нѣсколькихъ дней ему какой-то голосъ твердилъ съ утра до вечера про квартиру на Столярномъ переулкѣ—«и такъ шибко, шибко, точно торопится... Неспособно!...» (IV, 286). У него расшатанные нервы; однажды вечеромъ шарманщикъ, исполнявшій вальсъ, взволновалъ Лугина до слезъ, и юнгъ успокоился только къ полуночи. (IV, 292—293). Онъ три года лѣчился въ Италіи отъ ипохондріи и не вылѣчился, и пересталъ вѣрить въ докторовъ. Въ немъ сразу виденъ больной человекъ. Онъ «говорилъ рѣзко и отрывисто; больные и рѣдкіе волосы на вискахъ, неровный цвѣтъ лица—признаки постояннаго и тайнаго не-

дуга—дѣлали его на видъ старѣе, чѣмъ онъ былъ въ самомъ дѣлѣ». (IV, 286). На улицѣ онъ шелъ, «засунувъ руки въ карманы, повѣся голову», «неровными шагами... Слѣды душевной усталости виднѣлись на его измятомъ лицѣ». (IV, 287). Временами онъ настолько уходитъ въ свои мысли, что забываетъ про все остальное (IV, 291). Онъ сознавалъ, что близокъ къ безумію. Онъ говоритъ Минской, что «начинаетъ сходить съ ума». (IV, 286) <sup>1)</sup>. Его странности бросаются другимъ въ глаза: «Вы, въ самомъ дѣлѣ, нездоровы», съ участіемъ замѣчаетъ ему Минская (IV, 287). Азартная игра въ карты губитъ его окончательно: «Онъ похудѣлъ и пожелтѣлъ ужасно. Цѣлые дни просиживалъ дома, запершись въ кабинетѣ; часто не обѣдалъ». (IV, 296).

Лугинъ, какъ душевно-больной, стоитъ между героями «Пиковой дамы», «Записокъ сумасшедшаго»—и героями Достоевскаго и Гаршина.

## 6.

Въ черновыхъ наброскахъ поэта сохранились слѣдующія замѣтки, имѣющія отношеніе къ начатой повѣсти:

«1) *Сюжетъ*. У дамы; лица желтые. Адресъ. Домъ: старикъ съ дочерью; предлагаетъ ему метать (?); дочь въ отчаяніи, когда старикъ выигрываетъ. Шулеръ; старикъ проигралъ дочь, чтобъ... Докторъ; окошко...

2) Да кто же ты, ради Бога?—Что-съ?—отвѣчалъ старичокъ, примаргивая однимъ глазомъ.—Штось!—повторилъ въ ужасѣ Лугинъ... Шулеръ имѣетъ разумъ въ пальцахъ... банкъ... скоропостижная»... (IV, 389). Основываясь на этомъ, Болдаковъ высказываетъ мысль, «что повѣсть должна была заключиться скоропостижной смертью выбросившагося изъ окна, въ болѣзненномъ состояніи, Лугина». (Соч. Л—ва подъ ред. Болд., I, 446).

Существуетъ попытка дать окончаніе въ беллетристической формѣ; см.—Князь Индостанскій. «Призраки». Окон-

<sup>1)</sup> Герои драмъ „Странный человѣкъ“ и „Маскарадъ“ кончили безуміемъ, невѣста русскаго офицера, брошенная Измаиломъ-Беемъ, сошла съ ума.

чаніе повѣсти Лермонтова. Фантастическій разсказъ М., 1897 г. Въ художественномъ отношеніи разсказъ слабъ. Лугинъ умираетъ отъ воспаленія мозга.

Отрывокъ Лермонтова заканчивается словами: «Онъ рѣшился»... На что рѣшился Лугинъ? Быть можетъ, на какое-нибудь преступленіе, потому что игра съ призракомъ разорила его, а деньги крайне нужны были.

Любопытно, что другое неоконченное произведеніе поэта, «Этѣ случилось въ послѣдніе годы могучаго Рима», обрывается на томъ же словѣ:

Созвали мы стариковъ и родныхъ для совѣта; *рѣшили*... (II, 334).

## 7.

Мотивъ о человѣческомъ изображеніи, могущемъ оживать или страннымъ образомъ связанномъ съ жизнью того, съ кого оно списано, привлекалъ еще многихъ художниковъ слова.

Напримѣръ, въ балладѣ Гсёше «Жофруа Рудель и Мелисанда Триполисъ» оживаютъ фигуры гобленей:

Каждой ночью странный шорохъ  
Слышенъ въ замковыхъ покояхъ:  
То внезапно оживаютъ  
Двѣ фигуры на обояхъ.  
Трубадуръ и дама тихо  
Тѣни-члены расправляютъ,  
Выступая изъ стѣны,  
И по комнатамъ гуляютъ.

. . . . .  
Но заря лучемъ пурпурнымъ  
Привидѣнья прогоняетъ,  
И назадъ, въ стѣнной коверъ,  
Тѣни робко ускользаютъ.

(Переводъ В. Д. Костомарова).

Въ разсказѣ «Овальный портретъ» Эдгаръ По передаетъ необыкновенную исторію одного портрета. Портретъ изображалъ прелестную молодую дѣвушку. «Живопись представляла верхъ совершенства», но все «очарованіе картины заключалось въ *безусловной жизненности выраженія*» <sup>1)</sup>.

На этотъ портретъ нельзя было смотрѣть безъ восхищенія и ужаса. Моделью художника была его жена, молодая женщина рѣдкой и хрупкой красоты. Съ каждымъ мазкомъ кисти картина пріобрѣтала красоту и жизненность, а жена художника, напротивъ, блѣднѣла и угасала. Когда портретъ былъ законченъ, художникъ, охваченный восторгомъ и ужасомъ, воскликнулъ: «*Да это сама жизнь!*» Онъ обернулся къ женѣ, — «она была мертва».

Въ прелестной повѣсти Алексѣя Толстого «Портретъ» юный герой влюбляется въ портретъ прекрасной молодой женщины. Каждый часъ лицо портрета мѣняло выраженіе:

Мѣнялся цвѣтъ неувимый глазъ,  
Мѣнялось усть неясное значенье,  
И выражалъ поочередно взоръ:  
Кокетство, ласку, просьбу иль укоръ. (II, 128).

Однажды ночью красавица ожила, вышла изъ рамы и протанцовала съ влюбленнымъ мальчикомъ менуэтъ. На утро она снова застыла на полотнѣ:

Вкругъ усть какъ будто зыблилась улыбка,  
Казался смять слегка ея букетъ,  
Но станъ уже не шевелился гибкой,  
И, полный розъ, передникъ изъ тафты  
Держали вновь недвижные персты. (II, 146).

А мальчикъ найденъ былъ въ обморокѣ, съ поблекшей розой въ рукѣ <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Эдгаръ По. „Овальный портретъ“. (Собр. соч. СПб. 1896. I, 204—207).

<sup>2)</sup> Надсонъ, поступивъ въ военную гимназію, „страстно увлекся женственно-красивымъ изображеніемъ архангела Гавріила на иконѣ въ гимназической рекреационной залѣ“. (Надсонъ, соч., стр. XX).

Исторія о чудесномъ портретѣ положена въ основу знаменитаго романа О. Уайльда «Портретъ Доріана Грея». Портретъ Грея неумолимыми чарами былъ связанъ съ оригиналомъ: съ теченіемъ времени Доріанъ не старѣлъ ни душой, ни тѣломъ, но все пережитыя муки отражались на его изображеніи, которое, годъ за годомъ, мѣнялось и старѣло, какъ лицо живого человѣка. Очевидно, на этомъ романѣ сказалось вліяніе Матюрена. «Разсказываютъ, что, въ теченіе своей жизни, Мельмотъ посѣтилъ однажды свою семью; хотя онъ уже долженъ былъ быть довольно преклонныхъ лѣтъ, но, къ удивленію семьи, онъ не казался старше даже однимъ годомъ, чѣмъ тогда, когда она видѣла его въ послѣдній разъ». (Матюрень, 21). Когда Доріанъ умеръ, «его лицо было сморщенное, увядшее, гадкое»<sup>1)</sup>. Та же метаморфоза произошла съ Мельмотомъ передъ тѣмъ, какъ онъ покинулъ землю: «Страшный блескъ его глазъ потухъ еще раньше, а теперь признаки самаго преклоннаго возраста видѣлись въ каждой чертѣ его лица. Волосы его были бѣлы, какъ снѣгъ, ротъ его ввалился, мускулы лица ослабѣли и сморщились; онъ былъ настоящимъ воплощеніемъ глубокой, расслабленной старости». (М., 518—519).

Въ фантастическомъ разсказѣ Ярослава Врхлицкаго «Флейта» говорится, что въ одномъ монастырѣ была картина, изображавшая искушеніе св. Антонія. «Среди разныхъ чудовищъ, которыя исполняли бѣсовскій хороводъ вокругъ несчастнаго святого отшельника, находилась въ углу большая зеленая жаба съ клювомъ канарейки. У нея были очень умные глаза и большой бѣлый зубъ. Въ изображеніи этой жабы изрѣдка располагался Сатана и оттуда незаметно наблюдалъ глазками жабы не за св. Антоніемъ, нарисованнымъ на полотнѣ, но за живымъ настоятелемъ и за всей его монастырской братіей»<sup>2)</sup>. Однажды настоятель «заглядѣлся на картину, и тутъ ему въ пер-

<sup>1)</sup> О. Уайльдъ. Полн. собр. соч. СПб. 1912 г. II, 212.

<sup>2)</sup> Я. Врхлицкій. „Разноцвѣтные осколки“. Перев. съ чешскаго А. Гржимали. М. 1909 г. 136; см. еще—149.

выи разъ почудилось, что глаза зеленой жабы съ клювомъ канарейки горятъ краснымъ пламенемъ злой насмѣшки, а бѣлый зобъ ея надувается. Еще въ тотъ же день онъ велѣлъ вынести картину изъ своей кельи. Объ этомъ приключеніи еще долго говорили въ монастырѣ, но со временемъ о немъ забыли, какъ вообще все забывается на свѣтѣ». (179).

---

**ЗАМЪТКИ.**



## I.

### Объ Академическомъ изданіи сочиненій Лермонтова.

Академическое изданіе сочиненій Лермонтова привлекаетъ вниманіе всѣхъ, въ комъ есть живой интересъ къ творчеству великаго поэта. Изданіе это обнимаетъ пять томовъ. Первые три вышли въ 1910 г., четвертый—въ 1911 г., пятый—въ 1913 г. По мѣрѣ появленія, они вызывали газетныя и журнальныя статьи и замѣтки (особенно интересны—статья Амфитеатрова—«Новое изданіе сочиненій Лермонтова», въ «Современникѣ», 1911 г., IV и брошюра Неймана—«Академическое изданіе сочиненій Лермонтова», Кіевъ, 1912 г.). Нѣсколько словъ объ этомъ изданіи хотѣли сказать и мы.

*Къ I-му тому.*

Многія произведенія Лермонтова снабжены эпитафиями, взятыми изъ иностранныхъ авторовъ. Напримѣръ, въ I томѣ, къ «Хорсару»—изъ Лагарпа, къ «Двумъ невольницамъ»—изъ Шекспира, къ «Послѣднему сыну вольности», «Боярину Оршѣ», «Странному челоуѣку» и др.—изъ Байрона, къ «Измаилу - Бею»—изъ Байрона и Вальтеръ - Скотта, и т. д. Эпитафы къ поэмамъ «Хорсаръ», «Двѣ невольницы», «Послѣдній сынъ вольности», «Каллы»—переведены (см. I, 358, 393, 395, 412). Эпитафъ же къ «Кавказскому плѣннику» не переведенъ.

Стихотворенія «Эпитафія» (I, 108), «Ужасная судьба отца и сына» (I, 284, 285) и «Стансы» (I, 285, 286) посвящены, какъ полагали до сихъ поръ, памяти отца поэта. (См., напр., Ви-

сковатый, «М. Ю. Л.», 71, 72; Котляревскій, 18, 19; Собр. соч. Л.—ва подъ ред. Введенскаго, изд. «Просвѣщенія», III, 600). Къ этому мѣнью присоединяется и проф. Абрамовичъ (см. I, 375, 406; V, стр. XXX). Первое изъ названныхъ стихотвореній написано въ 1830 г., два другихъ—въ 1831 г.; между тѣмъ, въ хронологической канвѣ (см. V, 10) подъ 1832 годомъ стоитъ слѣдующее: «Умеръ Юрій Петровичъ Лермантовъ, отецъ поэта». Очевидно, здѣсь ошибка. Юрій Петровичъ, несомнѣнно, умеръ ранѣе 1832 г., потому что поэтъ еще въ 1830 и 1831 гг. говорилъ о его смерти. Самъ редакторъ Академическаго изданія въ примѣчаніяхъ къ «Эпитафій» (относящейся къ 1830 г.) говоритъ: «Стихотвореніе вызвано *смертью отца*» (см. I, 375); въ матеріалахъ для біографіи онъ же пишетъ: «Еще до *переззда* Лермонтова въ *Петербургъ* умеръ его отецъ, Юрій Петровичъ. Впослѣдствіи М. Ю. оплакалъ его въ стихотвореніи «Ужасная судьба отца и сына». (V, стр. XXX). Въ Петербургъ Лермантовъ переѣхалъ въ 1832 г.; какъ же онъ могъ въ стихотвореніи, относящемся къ 1831 г., оплакать смерть отца, умершаго, если вѣрить хронологической канвѣ, въ 1832 г.? Вообще, о смерти Юрія Петровича имѣются самыя скудныя свѣдѣнія; напр., Висковатый говоритъ: «Вѣрныхъ данныхъ о смерти Юрія Петровича и о мѣстѣ его погребенія собрать не удалось. Надо думать, что скончался отецъ Лермонтова вдали отъ сына, и не имъ были закрыты дорогіе глаза. Впрочемъ рассказывали мнѣ тоже, будто Юрій Петровичъ скончался въ Москвѣ и что его сынъ былъ на похоронахъ». (Висковатый, 69). Сохранилось завѣщаніе Юрія Петровича отъ 1831 г. (см. «Ист. Вѣстн.», 1898 г., X). Если эта дата вѣрна, и если упоминаемая нами стихотворенія дѣйствительно относятся къ 1830 и 1831 гг., можно сдѣлать слѣдующіе выводы: 1) Юрій Петровичъ умеръ не ранѣе 1831 г.; 2) «Эпитафія» посвящена не ему; 3) Юрій Петровичъ умеръ въ 1831 г. Въ пользу послѣдняго предположенія говоритъ то, что поэтъ въ стихотвореніяхъ 1831 г. не разъ и весьма опредѣленно упоминаетъ о смерти своего отца; напр.:

Ужасная судьба отца и сына—  
Жизнь розно и въ разлукѣ умереть.

Или:

Но ты свершилъ свой подвигъ, мой отецъ;  
Постигнуть ты желанною кончиной. (I, 284).

Или:

*Мой отецъ*

Не зналъ покоя по-конецъ;  
Въ слезахъ угасла мать моя;  
Отъ нихъ остался только я... (I, 286).

Еще въ одномъ стихотвореніи 1831 г.:

*О, мой отецъ! гдѣ ты? гдѣ мнѣ найти  
Твой гордый духъ, бродящій въ небесахъ?  
Въ твой міръ ведутъ столь разные пути,  
Что избирать мѣшаетъ тайный страхъ.* (I, 281).

Непонятно, почему проф. Абрамовичъ, прежде соглашавшійся съ предположеніемъ, что Юрій Петровичъ умеръ въ 1830 г., въ хронологической канвѣ отнесъ это событіе не къ 1830 г. (или 1831 г.), а къ 1832 г.—безъ всякихъ оговорокъ?

*По II-му тому.*

Въ первомъ и второмъ томѣ помѣщены переводы стихотвореній—«*Quand je te vois sourire*» (I, 392), «*A madame Hommaire de Hell*» (II, 466, 467), «*Je l'attends dans la plaine sombre*» (II, 479), переводы стихотвореній, *приписываемыхъ* Лермонтову (II, 513—517), но не данъ переводъ стихотворенія Лермонтова «*Non, si j'en crois mon espérance*» (II, № 9). Переведены три эпитафия изъ Байрона—къ «Боярину Оршѣ» (II, 438), къ «Умирающему гладиатору» (II, 438); остаются *непереведенными* эпитафиями къ «Измаилу-Бею»—изъ Вальтеръ-Скотта и Байрона, къ стихотворенію «Не вѣрь себѣ»—изъ Барбье, къ стихотворенію «Они любили другъ друга такъ долго и нѣжно»—изъ Гейне, ко II-му

очерку «Демона»—изъ Байрона. Чѣмъ объяснить такую непослѣдовательность или небрежность?

Изъ II-го тома сочиненій Лермонтова читатели узнали, что вмѣсто «мщери» слѣдуетъ писать «мщирн». Сначала (въ статьѣ объ «Ангелѣ» Лермонтова) мы склонны были присоединиться къ пововведенію проф. Абрамовича, но потомъ пришли къ тому заключенію, что разъясненіе акад. Марра слѣдуетъ помѣстить только въ примѣчаніяхъ и не измѣнять заглавія поэмы.

Нѣкто И. Х. («Рус. Арх.», 1888 г., № 8, стр. 501), а потомъ Болдаковъ въ своемъ изданіи (II, 392) указали, что стихотвореніе «Ты помнишь ли, какъ мы съ тобою» близко къ стихотворенію Томаса Мура «The evening gyps». Редакторъ Академическаго изданія лишь въ пятомъ томѣ упоминаетъ о Томасѣ Мурѣ, но безъ ссылки на И. Х. или Болдакова (см. V, XLV).

Въ примѣчаніи къ переводамъ Лермонтова читаемъ: «Печатаются *впервые*». (II, 517). Это невѣрно; одинъ изъ переводовъ («Napoleon's Farewell») *напечатанъ* въ изданіи Висковатова (см. I, 364, 365)<sup>1</sup>).

*Изъ V-му тому.*

Къ стр. XLII: о близкомъ знакомствѣ Лермонтова съ комедіей Грибоѣдова «Горе отъ ума» свидѣтельствуетъ еще выраженіе Печорина: «Кавалеры въ костюмахъ, составляющихъ смѣсь *черкесскаго съ нижегородскимъ*» (IV, 221; курсивъ Лермонтова). Это перефразировка стиховъ Грибоѣдова:

Господствуетъ еще *смѣшенье* языковъ  
Французскаго съ *нижегородскимъ*.

(«Горе отъ ума», д. I, явл. VII).

Къ стр. XLIII—XLVI: отголоски увлеченія Шекспиромъ видны въ «Вадимѣ»: «Таковъ былъ ужасъ Макбета, ко-

<sup>1</sup>) Ошибка проф. Абрамовича ввела въ заблужденіе г. Каллаша, который во II-мъ томѣ выходящихъ подъ его редакціей соч. М. Ю. Л., въ примѣчаніи къ переводамъ Лермонтова, говоритъ: „*Впервые* напеч. въ акад. изд.“ (См. „Иллюстрированное полное собр. соч. М. Ю. Л.—ва“. Редакція В. В. Каллаша. II. М. 1914 г., 348).

гда, готовый сѣсть на королевскій престолъ, при шумныхъ звукахъ пира, онъ увидать на немъ окровавленную тѣнь Банко»... (IV, 31) Подъ вліяніемъ «Гамлета» написаны въ «Испанцахъ» стихи:

Ахъ, Эмилія!

Ступай ты лучше въ монастырь,

Ступай въ обитель, скрой себя отъ свѣта... (III, 20).

О знакомствѣ съ Вальтеръ-Скоттомъ говоритъ также эпитафій изъ «Марміона», взятый къ «Измаилу - Бейю» (см. II, 430).

Къ числу англійскихъ писателей, извѣстныхъ Лермонтову, надо отнести *Даніэля Дэфо* (см. IV, 207: «А что за толстая трость—точно у Робинзона Крузоэ») и *Матюрена*, романъ котораго «Мельмотъ - Скиталецъ» упоминается въ черновикахъ «Героя нашего времени» (см. IV, 371); романъ этотъ могъ оказать вліяніе на «Княгиню Лиговскую» и начатую повѣсть о Лугинѣ (мотивъ о загадочномъ портретѣ; подробн. см. нашу статью: «Портретъ»). Можно было бы упомянуть и о Бульверѣ; Смирнова въ своихъ «Запискахъ» говоритъ о Лермонтовѣ: «Онъ хорошо владѣетъ англійскимъ языкомъ, и теперь читаетъ романы Бульвера». («Записки». СПб. 1897 г. II, 34).

Несомнѣнно, Лермонтову знакомъ былъ и нѣмецкій поэтъ, графъ *Августъ Платенъ*; о вліяніи этого поэта на Лермонтова до сихъ поръ, сколько намъ извѣстно, не говорилось ни слова. Между тѣмъ, лермонтовская сказка въ стихахъ «Незабудка» (1830 г.) представляетъ изъ себя вольный пересказъ стихотворенія Платена «Незабудка» («Vergiszmeinnicht»). Заглавіе, сюжетъ, многія подробности заимствованы Лермонтовымъ у Платена. Стихотвореніе Платена написано въ 1813 г. Августъ Платенъ (1796—1835 гг.)—извѣстный нѣмецкій поэтъ. Стихотвореніе «Vergiszmeinnicht» см. въ собраніи сочиненій: *Gesammelte Werke des Grafen August von Platen*. Stuttgart und Tübingen. 1847. I, 9—11.

Къ числу иностранныхъ авторовъ, знакомыхъ Лермонтову, надо присоединить *Тасса*, упоминаемаго въ «Героѣ нашего времени» (см. IV, 244).

Вѣроятно, читалъ Лермонтовъ и *Жоржа Занда* (ср. III, 234).

Среди книгъ, хорошо знакомыхъ поэту и оказавшихъ вліяніе на его творчество, видное мѣсто принадлежитъ *Библии* (подробн. см. нашу статью «Лермонтовъ и Библия»).

Въ статьѣ «Матеріалы для біографіи и литературной характеристики» авторъ часто цитируетъ Лермонтова по предшествуемымъ I—IV тт.; мы провѣрили всѣ цитаты и нашли много опечатокъ и даже разногласій (впрочемъ, незначительныхъ) съ основными текстами.

Напр., частицы *бъ*, *бы*, *ли* — пишутся то слитно съ предшествующимъ словомъ, то отдѣльно отъ него, а въ I—IV тт., въ тѣхъ же выраженіяхъ,—соединяются посредствомъ тире (ср. стр. XXXIII, XL, XLIX, LXXXI и соотвѣтствующія мѣста въ I—IV тт.).

Нѣкоторыя слова пишутся съ большой буквой, а въ предшествуемыхъ томахъ—съ маленькой, и наоборотъ. Напр., «Его» и «его» (V, стр. XXXIX и III, 143); «ты самъ» и «Ты Самъ» (V, стр. XL и III, 201); «ты» и «Ты» (тамъ же); «m-elle S» и «M-lle S» (V, стр. LVI, «LVII, и VI, 400, 401); «M-elle Marie» и «m-elle Marie» (V, стр. LVIII и IV, 401).

Ср. еще: «счастье» и «счастіе» (V, стр. XLIX и IV, 397), «новья» и «новыхъ» (V, стр. LIV и IV, 397), «недостаеть» и «не достаетъ» (V, стр. LXVII и IV, 398), «сплетень» и «сплеть» (V, стр. LXXXI и IV, 404), «жизнь моя» и «моя жизнь» (V, стр. XCVIII и IV, 209).

На стр. XLVIII—«всѣ они производятъ»—вм. «всѣ они *вмѣстѣ* производятъ» (ср. IV, 392).

На стр. L: «обольщало чувства»—вм. «обольщало *мои* чувства» (ср. IV, 397).

На стр. LXXXI—«но ничего не случилось»—вм. «но ничего *такого* не случилось» (ср. IV, 404).

На стр. XCIV: «На время не стоитъ труда»; ср.: «На время—не стоитъ труда» (II, 286).

Знаки препинанія сплошь и рядомъ разставлены *совершенно иначе*, нежели въ предыдущихъ томахъ.

Напр., на стр. XIX, 4 строка снизу—«въ ночныхъ наѣздахъ, при звукѣ пѣсенъ»; ср. IV, 300—запятой нѣтъ.

Стр. XXIV, 11 строка сверху—послѣ «на зло враждующей судьбѣ»—нѣтъ знака; ср. III, 91—точка.

Стр. XXIX, 11 строка сверху—въ концѣ стиха запятая; ср. II, 181—точка съ запятой.

Стр. XLIX, 16 строка сверху—послѣ «моя важная новость»—точка; ср. IV, 395—точка съ запятой.

Стр. LVII, 5 строка сверху—«всетаки»—не въ запятыхъ, а въ IV, 401—въ запятыхъ (при этомъ въ IV т.—не «всетаки», а «все-таки»).

Стр. LXVII, 6 строка снизу—въ концѣ стиха—запятая; ср. I, 105—вопросительный знакъ.

Стр. XCIX, 14 строка сверху—«при видѣ голубого неба или внимая шуму»; ср. IV, 220—передъ «или»—запятая.

Стр. C, 16 строка снизу—послѣ—«меня создать»—запятая; ср. IV, 178—нѣтъ запятой.

См. еще, напр., стр. XXIV (знакъ препинанія), LVI (пропуски словъ), LVII (знакъ препин.), LXVI (зн. преп.), LXVII (зн. пр.), LXXVI (зн. пр.), LXXVII (знаки пр.), XCIII (знаки пр.) и соотвѣтствующія имъ мѣста изъ I—IV тт.

Въ хронологической канвѣ не указанъ годъ смерти бабушки поэта. Умерла она въ 1845 г. (см. Висковатый, 445).

«Обзоръ литературы о Лермонтовѣ» далекъ отъ полноты. Не указаны, напр., слѣдующія интересныя работы—*Махаловъ*, «Идеалистическія настроенія въ поэмѣ «Демонъ» Лермонтова (литер. сбор. «Памяти В. Г. Бѣлинскаго», М. 1899 г.); *Кондръ*, «Любовь и смерть дочери боярина Орши» (Нѣжинъ, 1894 г.); проф. *Сумцовъ*, «Пушкинъ» (X., 1900 г.; во II т. соч. Л.—ва эта книга нерѣдко цитируется; см., напр., стр. 439, 448, 453, 478); *кн. С. Волконскій*, «Очерки русской исторіи и русской литературы» (СПб., 1896 г.); *Гершензонъ*, «Образы прошлаго» (М., 1912 г.; статья «Д-ръ Вернеръ»); *Нейманъ*, «Отзвуки поэзиі Пушкина и Лермон-

това въ творествѣ Никитина» («Фил. Зап.», 1912 г., III, IV) и др.

Къ стр. 176—не указаны рецензіи на книгу Мережковскаго; слѣдовало бы сослаться хотя бы на Айхенвальда—«Отдѣльныя страницы», II, М., 1910 г.

Къ стр. 181—не упомянуть сборникъ *Прилуко-Прилуцкаго*—«Корифей русскаго слова. Вып. VII. Лермонтовъ. Жизнь и творчество».

Къ сожалѣнію, ничего не сказано объ учебникахъ и пособіяхъ по литературѣ, знакомящихъ учащихся средней школы съ Лермонтовымъ; на нѣкоторыхъ изъ этихъ учебныхъ книгъ воспиталось не одно поколѣніе, и было бы интересно услышать отъ специалиста, насколько отвѣчаютъ своей высокой задачѣ учебники, составленные Галаховымъ, Незеленовымъ, Евстафіевымъ, Сиповскимъ, Саводникомъ и другими?

Статьи проф. Абрамовича о языкѣ и стихѣ Лермонтова недостаточно полны и не лишены недочетовъ.

На стр. 193—194—перечислены *не все* народныя пословицы и поговорки, встрѣчаемыя у Лермонтова; укажемъ, напр., еще слѣдующія:

Играй, да не отыгрывайся. (II, 229).

Какъ въ колыбелькѣ, такъ и въ могилку. (III, 186).

Москва сгорѣла отъ копѣчной свѣчки. (IV, 51).

Береженаго Богъ бережетъ. (IV, 65).

Лучше поздно, чѣмъ никогда. (IV, 149).

Привычка—вторая натура. (IV, 164).

Замѣтимъ, кстати, что пословица «Какъ волка не корми, а все въ лѣсъ глядитъ» находится не на 76 стр., а на 16 стр.

Къ стр. 207: признаніе поэта о «тройственныхъ созвучіяхъ» и «влажныхъ римахъ» слѣдовало бы подтвердить примѣрами. Тройственные созвучія находимъ во многихъ произведеніяхъ Лермонтова; см., напр., слѣдующія: «Н. Ф. И... вой» (I, № 108), «Булеваръ» (I, № 153), «Чума» (I, № 159), «Арфа» (I, № 186), «Поле Бородинна» (I, № 201),

«Аулъ Бастунджи» (I, № 284), «Сашка» (II, № 47), «Бородино» (I, № 50), «Памяти А. И. Одоевскаго» (II, № 77), «Сказка для дѣтей» (II, № 81), «Тебѣ, Кавказъ, суровый царь земли» (II, 414).

Риѣма на «ю» является, дѣйствительно, одной изъ любимѣйшихъ у Лермонтова. Въ стихотвореніи «Поцѣлуями прежде считалъ» (I, № 278) на 12 стиховъ 3 пары риѣмъ на ю; въ «Бояринѣ Оршѣ» встрѣчаемъ такое обиліе «влажной» риѣмы:

... Печать оставили *свою*.  
 Арсеній!—Такъ! я *узнаю*,  
 Хотя могилы на *краю*,  
 Улыбку прежнюю *твою*  
 И въ ней шипящую *змью!* (II, 131, 132).

Въ «Бородинѣ»:

Постой-ка, братъ, *мусью!*  
 Что тутъ хитрить?—Пожалуй къ *бою*;  
 Ужъ мы пойдемъ ломить *стѣною*,  
 Ужъ постоимъ мы *головую*  
 За родину *свою!* (II, 205).

Въ «Молитвѣ» (II, № 52) на 16 стиховъ 4 пары «влажныхъ» риѣмъ. Въ «Казачей колыбельной пѣснѣ» 7 разъ повторяется стихъ «баюшки-баю», при чемъ риѣма къ нему, каждый разъ новая: «твою», «спою», «бою», «разошью», «пролью», «краю», «свою» (II, 278—279). Стихотвореніе «Журналистъ, читатель и писатель» оканчивается слѣдующими стихами:

О, нѣтъ!—преступною *мечтою*  
 Не ослѣпя мысль *мою*,  
 Такой тяжелою *цѣною*  
 Я вашей славы не *куплю!*... (II, 284).

Въ «Мцыри» встрѣчаемъ слѣдующіе стихи съ риѣмой на «ю».

И, какъ они, навстрѣчу *дню*  
 Я поднялъ голову *мою*...

Я осмотрѣлся; не *таю*,  
 Мнѣ стало страшно: на *краю*... (II, 316).  
 О, милый мой! не *утаю*,  
 Что я тебя *люблю*,  
 Люблю, какъ вольную *струю*,  
 Люблю, какъ жизнь *мою*... (II, 328).

Къ числу стихотвореній, не имѣющихъ глагольной римо-  
 мы, авторъ статьи относитъ стихотвореніе «Узникъ» (207  
 стр.); между тѣмъ, въ стихотвореніи этомъ есть глаголь-  
 ная рима—«*вскочу*»—«*улечу*» (II, 207). Слѣдовало бы ука-  
 зать стихотворенія безъ глагольныхъ римъ, относящіяся  
 къ *самой ранней* порѣ творчества Лермонтова; таковы,  
 напр., «Война» (I, № 22), «Къ Грузинову» (I, № 31),  
 «Панъ» (I, № 33). Стихотвореніе «Видали-ль когда, какъ  
 ночная звѣзда» отнесено къ числу тѣхъ, которыя риму-  
 ютъ *только* четные стихи (208 стр.), и не отмѣчено, что  
 стихотвореніе это римою богаче многихъ другихъ лермон-  
 товскихъ, потому что имѣетъ *внутреннюю* риму:

Видали-ль *когда*, какъ ночная *звѣзда*  
 Въ зеркальномъ заливѣ *блеститъ*,  
 Какъ трепещетъ въ *струяхъ*, какъ серебряный *прахъ*  
 Отъ нея, разсыпаясь, бѣжитъ... (I, 124) и т. д.

Вообще, о внутренней римѣ проф. Абрамовичъ ничего  
 не сказалъ; между тѣмъ, поэтъ пользовался ею; см., напр.,  
 «Онъ не красивъ, онъ не высокъ» (I, 51), «Югельскій ба-  
 рошъ» (II, 415—415), «Баллада» въ «Испанцахъ» (III, 28—29).  
 Внутреннюю риму встрѣчаемъ въ поэмахъ; напр., въ  
 «Хаджи-Абрекѣ»:

Великъ, богатъ ауль *Джематъ*. (II, 89).  
 Уже не *разъ* меня ты *спасъ*.  
 Мы *отдохнемъ* въ краю *родномъ*. (II, 99).

Въ «Сашкѣ»:

Когда не зналъ я, что на слово *младость*  
 Есть рима *гадость*, кромѣ римы *радость*! (II, 192).

Не лишнимъ было бы привести еще другія замѣчанія поэта о римѣ. Напр.:

Сладкое смятенъе

Въ душѣ моей, какъ будто въ первый разъ  
Ловлю прыгунью риму и, потѣя,  
Въ досадѣ призываю Асмодея. (II, 192).

Въ минуты вдохновенья

римы дружныя, какъ волны  
Журча, одна во слѣдъ другой  
Несутся вольной чередой. (II, 282).

Такимъ образомъ, римы, легко дающіяся, поэтъ уподобляетъ *волнамъ*; именно поэтому, какъ мы думаемъ, онъ въ «Сказкѣ для дѣтей» свою любимую риму на «ю» называетъ «*влажной*».

Гувернеръ Сашки «по часу бился съ римою одною!» (II, 167). «Читатель» Лермонтова говоритъ, что у современныхъ поэтовъ

Натянуть каждый оборотъ;  
Притомъ—сказать ли по секрету? —  
И въ римахъ часто недочетъ. (II, 281). <sup>1)</sup>

Въ стихотвореніи «Три ночи я провелъ безъ сна» (I, 89—90) *болѣе половины стиховъ съ римою*; въ стихотвореніи «Тростникъ» (II, 6—7) римуются *четные* стихи; но проф. Абрамовичъ, по какому-то недоразумѣнію, относитъ эти стихотворенія къ числу тѣхъ, которыя «*совсѣмъ*» не имѣютъ римы (см. V, 207). Въ стихотвореніи «Атаманъ» (I, № 228) рима расположена по слѣдующей формулѣ: *ababceded*, т. е. римуются *всѣ четные*, а изъ нечетныхъ — только половина съ римою (въ каждой строфѣ, состоящей изъ 8 стиховъ, остаются безъ римы 5 и 7 стихи). Но

<sup>1)</sup> Лермонтовъ съ самаго ранняго возраста любилъ подыскивать созвучія; едва начавъ лепетать, онъ съ удовольствіемъ говорилъ въ риму: „поль — столь“, „кошка — окошко“. (См. Висковатый, 19).

проф. Абрамовичъ почему-то утверждаетъ, что въ «Атаманѣ» риѣмуются стихи «только нечетные» (208 стр.).

Не сказано ничего о сложной риѣмѣ, къ которой поэтъ не разъ прибѣгалъ; напр.: «демонъ»—«совсѣмъ онъ», «могу я»—«поцѣлую» (II, 270), «давно я»—«покою» (II, 345), «никогò нѣтъ»—«прогонитъ» (II, 266), и др.

Не отмѣчена виртуозность расположенія риѣмы въ стихотвореніи «Сосна» (II, 289), формула котораго слѣдующая: *abcbadcd*. Интересно отмѣтить и стихотвореніе «Поцѣлуйми прежде считаль» (I, 303); въ немъ всѣ нечетные стихи имѣютъ однородную риѣму на *a(я).лѣ*; всѣ же четные имѣютъ риѣму на *ю*.

Слѣдовало упомянуть о сонетѣ «Сонетъ» (I, 301), *единственнымъ* у Лермонтова <sup>1)</sup>; формула сонета: *abbabaabccdede*.

Необходимо было сказать о *цезурѣ*, нерѣдко встрѣчаемой у поэта. Иногда она только въ нечетныхъ стихахъ; см., напр., стихотворенія—«Болѣзнь въ груди моей, и нѣтъ мнѣ исцѣленья» (I, 301—302), «Поэтъ» (II, 253—254), «Не вѣрь себѣ» (II, 255—256). Чаше цезура въ каждомъ стихѣ; напр., «Посвященіе Н. Н.» (I, 47—48), «Романсъ» (I, 106), «Звѣзда» (I, 124, № 118), «Молитва» (II, 208), «Ребенку» (II, 287—288), «Отчего» (II, 288), «Сосна» (II, 289; цезура въ этомъ стихотвореніи виртуозна: ст. 1, 3, ст. 2, 4, 6, 8, ст. 5, 7—имѣютъ различную цезуру), «Сонъ» (II, 340), «Выхожу одинъ я на дорогу» (II, 347—348), «Нѣтъ, не тебя такъ пылко я люблю» (II, 348). Цезура встрѣчается и въ поемахъ; напр., въ «Хаджи-Абрекѣ», II, 89, ст. 1—4.

Указатель собственныхъ именъ не полонъ. Укажемъ нѣкоторые пропуски.

Къ стр. 247: *Александръ Великій*—см. еще IV, 70.

Къ стр. 249: *Геургъ*—см. еще II, 452.

Къ стр. 251: *Иуда*—см. еще II, 15.

Къ стр. 252: *Кизляръ*—см. еще IV, 170. *Литва*—см. еще I, 211. *Мадридъ*—см. еще III, 358.

Къ стр. 253: *Москва*—см. еще I, 171.

<sup>1)</sup> Переводъ сонета Мицкевича (II, 335) не является, по формѣ, сонетомъ.

Къ стр. 256: *Тассъ*—не на 242 стр., а на 244; *Фенелла*—см. еще IV, 136.

Къ стр. 257: пропущены—*Фигаро* (см. IV, 186), *Эоль* (см. II, 193).

Сравнительно съ прежними изданиями, Академическое даетъ довольно много примѣчаній; въ I томѣ они занимають стр. 357—415; во II—стр. 426—517; въ III—стр. 357—370; въ IV—стр. 361—409; въ общей сложности это составляетъ болѣе 200 страницъ мелкаго шрифта. Средній читатель изрѣдка заглянетъ въ эти примѣчанія; для него они слишкомъ сухи и обширны; для специалиста же примѣчанія эти скудны; какъ, напр., не поѣтовать на то, что во II томѣ къ «Демону» не даны историко-литературные комментаріи? Редакторъ въ примѣчаніяхъ къ знаменитой поэмѣ касается только исторіи ея текстовъ; лишь въ V т. (XXXVII, XXXVIII) указана литература о «Демонѣ»; однако, она недостаточно полна. Точно также, въ IV т., въ примѣчаніяхъ къ «Герою нашего времени», не указана критическая литература объ этомъ романѣ.

Биографія Лермонтова, къ сожалѣнію, слишкомъ кратка.

Интересны статьи—«Лермонтовъ у славянъ, нѣмцевъ, французовъ, англичапъ»; однако, почему ни слова не сказано объ отношеніи другихъ народовъ къ поэзіи Лермонтова? Самъ редакторъ говоритъ, что переводы произведеній Лермонтова «имѣются на всѣхъ европейскихъ и на многихъ восточныхъ языкахъ» (V, 77); необходимо было бы сказать объ отношеніи къ Лермонтову кавказскихъ народовъ, напр.: грузинъ, армянъ, осетинъ; имя Лермонтова чрезвычайно популярно на Кавказѣ, и, какъ намъ извѣстно, произведенія его читаются тамъ не только на русскомъ, но и на туземныхъ языкахъ.

Не можемъ не пожелать, чтобы въ будущемъ обзоръ литературы о Лермонтовѣ былъ пополненъ библиографическими указаніями. Кстати, замѣтимъ, что для простого читателя обзоръ этотъ слишкомъ пространенъ; для занимающагося же изученіемъ творчества Лермонтова онъ неполонъ и содержитъ, въ то же время, много лишняго; напр., лицу,

причастному къ лермонтовской литературѣ, должно быть извѣстно, что сказали о Лермонтовѣ Бѣлинскій, Котляревскій, Герасимовъ, Соловьевъ и проч., и проч.

Въ статьѣ о языкѣ Лермонтова (V, 203, 204) указано слишкомъ мало поэтическихъ образовъ. Жаль, что и въ этомъ изданіи ничего не сдѣлано для сравнительнаго изученія лермонтовскихъ текстовъ; поэзія Лермонтова, какъ говоритъ и самъ редакторъ, изобилуетъ «самоподражаніями»; было бы чрезвычайно важно прослѣдить въ хронологической послѣдовательности, какъ варьировалъ Лермонтовъ свои излюбленные образы и выраженія.

Типъ новаго изданія сочиненій Лермонтова во многихъ отношеніяхъ не удовлетворяетъ насъ. Нельзя въ одно и то же время услужить обывателю и филологу; напр., для перваго — примѣчанія, черновые варианты и почти всѣ статьи мало интересны; для втораго же — недостаточно полны. Но даже въ намѣченныхъ рамкахъ редакторъ Академическаго изданія не всегда на высотѣ положенія; на этомъ изданіи лежитъ печать какой-то *небрежности*: упущены (какъ показываютъ рецензіи) указанія ко многимъ произведеніямъ Лермонтова, встрѣчаются опечатки, замѣтна неустойчивость въ орфографіи, въ употребленіи знаковъ препинанія; странно видѣть такіе недочеты въ изданіи, вышедшемъ подъ флагомъ Академіи Наукъ.

Въ предисловіи къ первому тому говорится, между прочимъ, слѣдующее: «Задача представитъ нашихъ писателей-классиковъ въ научныхъ и общедоступныхъ изданіяхъ составляетъ предметъ *особыхъ* заботъ Разряда изящной словесности Императорской Академіи Наукъ. Разрядъ признаетъ своею нравственною обязанностью передъ русскимъ обществомъ — дать ему бібліотеку русскихъ писателей въ изящныхъ и доступныхъ по цѣнѣ изданіяхъ, *отвѣчающихъ требованіямъ науки и школы*»... «*Важнѣйшей задачей* изданія признается *установленіе текста*; необходимыми признами также біографія и характеристика литературной дѣятельности издаваемаго писателя; наконецъ, рѣшено вводить въ изданіе рядъ статей и замѣтокъ,

въ которыхъ былъ бы *исчерпанъ существующій въ литературу матеріалъ, необходимый для всесторонняго изученія издаваемого автора*. (I, стр. XI). Изданіе закончено, и мы задаемъ вопросъ: отвѣчаетъ ли оно требованіямъ, которыя были выработаны Академической Коммиссіей?

По нашему мнѣнію, оно далеко не удовлетворяетъ «требованіямъ науки и школы». Примѣчаніями и статьями *не «исчерпанъ существующій въ литературѣ матеріалъ, необходимый для всесторонняго изученія» творчества поэта*. Въ тексты Лермонтова вкрались досадныя опечатки; значитъ, не до конца выполнена «важнѣйшая задача изданія»— «установленіе текста». Опечатки въ изданіи *Академіи Наукъ*, которое, быть можетъ, ляжетъ въ основу многихъ частныхъ изданій, недопустимы; но онѣ есть, и мы не можемъ *вполнѣ* полагаться на безусловную точность лермонтовскихъ текстовъ въ новомъ изданіи.

Укажемъ нѣкоторыя опечатки<sup>1)</sup>:

I, 98: «родину твою»; быть можетъ, слѣдуетъ—«свою»? Ср. изд. Виск., I, 62; Введ., III, 79.

I, 99: «очей твоихъ»—вм. «твоихъ очей». (Ср. изд. Виск., I, 63; Введ., III, 80).

I, 139: «все стерлось»; слѣдуетъ—«стерлося». (Ср.—Виск., I, 107; Введ., III, 136).

I, 151: въ стихотвореніи «Благодарю», ст. 13—пропущено въ концѣ—«словъ». (Ср. Виск., I, 125; Введ., III, 121).

I, 330: «полныя»—вм. «полные» (о глазахъ. Ср.—Введ., III, 380).

II, 70—«любвиизмѣнившій»—вм. «любви измѣнившій».

II, 208—«сіяньемъ»—вм. «сіяніемъ». (Ср.—Виск., I, 264; Болд., II, 25; Введ., I, 21) <sup>2)</sup>.

Въ изд. Каллаша (II, 256) та же ошибка—«сіяньемъ»—вм. „сіяніемъ“, какъ этого требуетъ стихотворный размѣръ.

II, 255: «отрыть»—быть можетъ, слѣдуетъ—«открыть»? (Ср.—Виск., I, 275; Болд., II, 44; Введ., I, 35).

II, 291: «безыменной»—вм. «безымянной» или «безымян-

<sup>1)</sup> Часть ихъ указывалась уже въ рецензіяхъ на Академическое изданіе.

<sup>2)</sup> Ср. Акад. изд., IV, 332.

ный», какъ этого требуетъ рима. (Ср.—Виск., I, 300; Болд., II, 66; Введ., I, 48).

II, 368: «душѣ *твой* шептала»—вм. «*твоей*». (Ср.—Виск., III, 28; Болд., II, 213; Введ., I, 176).

II, 397: «кудри, *мягкіе*»—вм. «*мягкія*». (Ср. II, 411; Виск., III, 73; Болд., II, 323; Введ., I, 213).

II, 493: вариантъ изъ изданія Висковатова—«Исчезнуль *яркій* рой мечтаній». Слѣдуетъ—«*ясный*» (см. Виск., III, 27).

III, 271:—«*но молю*»; слѣдуетъ—«*но я молю*». (Ср. Виск., IV, 329; Введ., IV, 403).

Не вездѣ поставлены цифры, указывающія число стиховъ и строкъ; см., напр., I, 291, № 259 (къ ст. 15-му); III, 86 (къ ст. 2755); IV, 357 (къ послѣдней строкъ—40). Тире въ однихъ и тѣхъ же случаяхъ то ставится, то опускается; см., напр., I, 83: «давно ль» (ст. 41) и «давно-ль» (ст. 43). Немало опечатокъ (какъ мы уже показали) въ статьяхъ пятого тома.

«Школьная» орфографія не выдержана. Напр., встрѣчаемъ: «*козакъ*» (I, 9, 10, 17 и др.; II, 26—28, 278, 301 и др.; IV, 220, 268, 273—276 и др.); «*казакъ*» (I, 334, 352), «*казачка*» (II, 260), «*казачина*» (II, 260), «*казачья*» (II, 278); или: «*баркарола*» (I, 85) и «*баркарола*» (I, 199); «*дышитъ*» (IV, 182, 265; II, 359), «*дышишь*» (II, 99) и «*дышетъ*» (I, 321); «*на-скаку*» (II, 258) и «*на скаку*» (II, 358); «*обвѣшены*» (II, 192) и «*обвѣшанныя*» (IV, 155); «*плющомъ*» (II, 353) и «*плющемъ*» (IV, 155); «*риомы*» (II, 212) и «*риома*» (II, 167, 192, 268, 281, 282).

Есть у новаго изданія и неотъемлемыя достоинства: полнота текстовъ, обиліе вариантовъ, снимковъ съ автографовъ и рисунковъ поэта, интересныя примѣчанія и статьи, изящная внѣшность. Редакторомъ затраченъ большой трудъ для составленія примѣчаній, для статей пятого тома. Безъ сомнѣнія, это изданіе значительно превосходитъ всѣ прежнія <sup>1)</sup>, но мы вправѣ были ожидать большаго.

<sup>1)</sup> Въ декабрѣ 1913 г. вышелъ II-й томъ „юбилейнаго“ изданія сочиненій Лермонтова подъ редакціей В. В. Калаша. Въ научномъ отношеніи этотъ томъ ниже Академическаго изданія; примѣчанія скудны; далеко не все благо-

До выхода въ свѣтъ Академическаго изданія можно было надѣяться на то, что мы будемъ, наконецъ, имѣть *образцовое* изданіе произведсній Лермонтова; такое изданіе, строго отвѣчающее требованіямъ науки, было бы лучшимъ памятникомъ великому поэту.

Иллюзіи наши разрушены. Лермонтовъ еще не дождался достойнаго его имени изданія; его безсмертныя созданія, эти ослѣпительно-яркіе самоцвѣтные каменья, еще не вставлены въ золотую оправу.

## II.

### Лермонтовъ и пѣсни гребенскихъ казаковъ.

Въ дополненіе къ главѣ XI-й нашихъ очерковъ о Лермонтовѣ и Толстомъ, считаемъ не лишнимъ сказать пѣсколько словъ объ отношеніи пѣсенъ гребенскихъ казаковъ къ поэзіи Лермонтова.

Поэту приходилось бывать въ средѣ гребенцовъ, слышать ихъ пѣсни; возможно даже, что въ его произведеніяхъ есть отзвуки этихъ пѣсенъ, разнообразныхъ по своимъ мотивамъ и высоко-художественныхъ; онѣ навсегда могли запасть въ душу великаго поэта, такъ глубоко понимавшаго красоту русской народной поэзіи. Нѣкоторыя детали стихотвореній «Дары Терека» и «Казачья колыбельная пѣсня» навѣяны, быть можетъ, казачьими пѣснями. Поэтъ о гребенцахъ упоминаетъ въ «Дарахъ Терека»—«казачина *гребенской*» (II, 260), въ «Валерикѣ»—«казакъ пустился *гребенской*» (II, 301).

---

получно съ иллюстраціями; напр., неудачны иллюстраціи къ „Ангелу“ (стр. 1), „Парусу“ (стр. 76), „Боярину Оршѣ“ (стр. 171). Зато хороши — портретъ Лермонтова (стр. I), рисунки поэта (напр., стр. 41, 79, 157, 256), рисунки — Врубеля (135), Пастернака (144), Васнецова (бой Кирибѣвича съ Калашниковымъ, 272; прощанье съ братьями, 280); хорошъ портретъ Столыпина-Монго (243).

Въ «Дарахъ Терека» поэтъ говоритъ, что убитый кабардинецъ былъ

въ кольчугѣ драгоцѣнной,  
Въ *налокотникахъ* стальныхъ,  
Изъ Корана стихъ священный  
Писанъ *золотомъ* на нихъ. (II, 259).

Ср.—въ гребенской пѣснѣ:

Надѣвали узденя-князя панцыри трехколечные,  
Съ *налокотниками позлащенными*.

(Ф. С. Панкратовъ. «Гребенцы въ пѣсняхъ». Сборникъ старинныхъ, бытовыхъ, любовныхъ, обрядовыхъ и скомоорошныхъ пѣсней гребенскихъ казаковъ съ краткимъ очеркомъ гребенскаго войска и примѣчаніями. Владикавказъ. 1895 г., стр. 52) <sup>1)</sup>.

У убитой молодой казачки—«*свѣтло-русая коса*» (II, 260). Въ гребенскихъ пѣсняхъ постоянно упоминается о *русой* косѣ красавиць-казачекъ. Напр.:

Коса *русая*—во всю тысячу,  
А самой то красной дѣвицѣ цѣны нѣту-ка.  
(Панкратовъ, 3).

Свою буйную головушку она чесала,  
Она *русую* косыньку свою заплетала,  
Все шелковую кисточку она вплетала.  
(Панкр., 108).

Ты коса, моя косынька, коса моя *русая!*  
Немножечко еще косѣ красоваться:  
Хочетъ меня родимый батюшка замужъ отдать.  
(Панкр., 119; см. еще—107, 114, 154).

О *налокотникахъ* и *русой* косѣ поэтъ могъ сказать и по личнымъ наблюденіямъ, но и въ этомъ случаѣ сходство съ гребенскими пѣснями имѣетъ интересъ.

Какъ мы уже говорили, существуетъ рассказъ, что Лер-

<sup>1)</sup> Въ Терскомъ музеѣ, въ г. Владикавказѣ, можно видѣть стальные узорные *налокотники* хевсуровъ и чеченцевъ.

монтовъ написалъ «Казачью колыбельную пѣсню» послѣ того, какъ видѣлъ казачку, убаюкивавшую пѣсней ребенка <sup>1)</sup>. Въ виду этого, небезынтересно будетъ привести одну гребенскую *колыбельную пѣсню*; она, на нашъ взглядъ, несравненно ближе къ лермонтовской пѣснѣ, нежели указанная Шевыревымъ колыбельная пѣсенка Вальтеръ-Скотта. Вотъ эта гребенская пѣсня:

Какъ у насъ то было на тихомъ Дону,  
 Что у насъ то было въ зеленомъ саду,  
 Что подъ грушею было, грушею зеленою,  
 Подъ яблонью было, яблонью кудрявою,  
 На цвѣточкахъ было на лазоревыхъ,  
 На травушкѣ было на шелковенькой,  
 На кроватушкѣ было на тесовенькой,  
 На перинушкѣ было на пуховенькой—  
 Что мать сына воспроиздила,  
 Что бѣлою грудью мать сына вскормила,  
 Пеленала мать сына въ пеленочку камчату,  
 Что качала мать сына въ зыбочкѣ <sup>2)</sup> кипарисовой,  
 Берегла то мать сына отъ <sup>3)</sup> вѣтра отъ вихоря,  
 Берегла то мать сына отъ солнышка отъ краснаго,  
 Берегла мать сына отъ сильныхъ дождииковъ,  
 Не уберегла мать сына отъ службицы государевой.  
 (Панкр., 67—68).

Здѣсь тотъ же трогательный образъ казачки-матери, убаюкивающей нѣжно-любимаго сына, обреченнаго судьбой на трудную и опасную военную службу. Весьма вѣроятно, что эту пѣсню или вариантъ ея Лермонтовъ и слышалъ въ станицѣ Червленной.

Въ его «Казачьей колыбельной пѣснѣ» молодого казака

<sup>1)</sup> Ср. замѣтку въ „Петербургской Газетѣ“, 1886 г., № 63 („Обстоятельства, при которыхъ Лермонтовъ написалъ „Колыбельную пѣсню“); въ ней тоже говорится, что поэтъ написалъ свое стихотвореніе въ ст. Червленной, послѣ того, какъ увидѣлъ спящаго ребенка, но замѣчается, что возлѣ ребенка никого не было.

<sup>2)</sup> Зыбка — колыбель, люлька. (Панкр.).

<sup>3)</sup> Въ текстѣ—„онъ“; мы сочли это за опечатку.



III.

**Еще о „Казачьей колыбельной пѣснѣ“.**

По камнямъ струится Терекъ,  
Плещеть мутный валь;  
Злой чечень ползеть на берегъ,  
Точить свой кинжалъ;  
Но отецъ твой—старый воинъ,  
Закаленъ въ бою:  
Спи, малютка, будь спокоенъ,  
Баюшки-баю. (II, 278).

Къ этимъ стихамъ прекрасной иллюстраціей можетъ служить слѣдующая старинная чеченская пѣсня:

«Я свою руку положу подъ голову моему молодцу-храб-рецу! Опъ среди ночи, на ворономъ конѣ, не разбирая броду, переплываетъ Терекъ. Вотъ онъ подѣхалъ къ ка-зачьей станицѣ, перепрыгнулъ ограду! Вотъ онъ схватилъ курчаваго мальчугана; вотъ онъ везетъ мальчугана! Смо-трите, подруги! Вотъ толпа казаковъ гонится за моимъ мо-лодцомъ-храбрецомъ! И пыль, и дымъ отъ выстрѣловъ за-темняютъ звѣздочки, ничего не видно. Вотъ настигаютъ моего молодца-храбреца! Вотъ онъ выхватилъ изъ чехла свое крымское ружье! Вотъ онъ повалилъ одного казака! Вотъ другая казачья лошадь скачетъ безъ сѣдока!.. О Боже мой!.. Мой молодецъ-храбрецъ раненъ, кровь течетъ по его рукѣ. Ахъ, какая радость, какое счастье!.. Я уха-живать буду за моимъ молодцомъ-храбрецомъ, перевязы-вать буду его рану моимъ шелковымъ рукавомъ. Мой храб-рецъ-молодецъ продастъ мальчугана въ Эндери, въ Даге-станъ; онъ накупитъ мнѣ подарковъ; то-то мы будемъ жить, поживать!»... («Сборникъ свѣдѣній о Терской обла-сти». Владикавказъ. 1878 г. Выпускъ 1-й, стр. 260).

Пѣсня замѣчательна и какъ превосходное поэтическое произведеніе, полное страсти и движенія, и какъ произве-деніе, по духу своему очень близко стоящее къ лермонтов-

ской пѣснѣ; чеченская пѣсня ясно даетъ понять, какая участь постигла бы малютку-казака, если бы «злой чеченъ» похитилъ его.

## IV.

## Эпизодъ съ чиновникомъ.

Неконченный романъ Лермонтова «Княгиня Лиговская» начинается описаніемъ происшествія, едва не стоившаго жизни Красинскому, бѣдному молодому чиновнику. Красинскій шелъ «изъ департамента, утомленный однообразною работою и мечтающій о наградахъ и вкусномъ обѣдѣ, ибо все чиновники мечтаютъ. На немъ были картузь неопредѣленной формы и синяя ваточная шинель съ старымъ бобровымъ воротникомъ». (IV, 97). Неожиданно на него налетѣли бѣшено мчавшіяся сани блестящаго гвардейскаго офицера Печорина. Красинскій былъ отброшенъ на тротуаръ и лишился чувствъ. Извозчики погнались было за виновникомъ, но гдѣ имъ было догнать быстроногаго рысака! Печоринъ безпечно вернулся домой, не безпокоясь о томъ, чтоъ случилось съ бѣднымъ прохожимъ: «о раздавленномъ чиновникѣ не было и помину». Тотъ, къ счастью, отдѣлался только легкимъ ушибомъ, да страхомъ; «горькія думы овладѣли его сердцемъ», и онъ возненавидѣлъ «гнѣдыхъ рысаковъ и бѣлые султаны». (IV, 98). Въ тотъ же день произошло личное столкновение Печорина съ Красинскимъ. Печоринъ былъ въ театрѣ и, смѣясь, рассказывалъ пріятелямъ-офицерамъ о томъ, какъ его рысакъ сбилъ на улицѣ съ ногъ какого-то чиновника. Красинскій случайно находился возлѣ и вызвалъ обидчика на объясненіе. Печоринъ сказалъ, что онъ готовъ выйти на дуэль. Красинскій на это не согласился; онъ не былъ трусомъ, но считалъ, что онъ, какъ единственный сынъ своей старухи-матери, не имѣетъ права рисковать жизнью<sup>1)</sup>; умри онъ

<sup>1)</sup> Это напоминаетъ намъ Долохова, который былъ раненъ на дуэли и со слезами просилъ Ростова предупредить мать о случившемся. „Я убилъ ее, убилъ“, говорилъ онъ. (Л. Н. Т., V, 22).

умерла бы и мать,—отъ горя или нужды. Въ отчаяніи онъ убѣжалъ изъ театра; Печоринъ сталъ его смертельнымъ врагомъ.

Всѣ эти подробности могли быть сочинены Лермонтовымъ, но, намъ кажется, болѣе вѣроятно то, что нѣкоторыя изъ нихъ прямо выхвачены изъ жизни. Столкновение чиновника съ офицеромъ — характерная черта описываемой поэтому эпохи. Подтвержденіе находимъ въ дневникѣ Никитенка.

То, о чемъ разсказываетъ Никитенко, относится къ 1836 году; романъ Лермонтова писался также въ 1836 году. Никитенко говоритъ объ одномъ знакомомъ; это нѣкто Фроловъ, молодой человѣкъ. «Онъ пробирался сквозь толпу въ театръ. Съ нимъ рядомъ пролагалъ себѣ путь и какой-то офицеръ. Послѣдній вдругъ, обращается къ Фролову и грозно спрашиваетъ: куда онъ тянется? Фроловъ изумился, но ни слова не отвѣчалъ и продолжалъ идти вслѣдъ за другимъ.

— Подите прочь отсюда,—закричалъ на него офицеръ,— или я васъ отправлю на съѣзжую.

Фроловъ оцѣпенѣлъ и, какъ самъ говорилъ, въ первую минуту не нашелся, что отвѣчать. Опомнившись, онъ бросился въ театръ на поиски за офицеромъ, который тѣмъ временемъ успѣлъ скрыться. Онъ его не нашелъ, но хорошо запомнилъ лицо и цвѣтъ воротника его мундира. Долго ходилъ онъ по казармамъ, отыскивая его—но напрасно. Наконецъ, наткнулся на него во время ученья, узналъ его имя и адресъ. Тогда Фроловъ явился къ нему съ двумя товарищами и призвалъ къ отвѣту. Офицеръ струсилъ и просилъ прощенья».

*«И это не единичный фактъ. Примѣровъ офицерскихъ дерзостей не перечесть. Недавно тоже два офицера, такъ, ради смѣха, встрѣтивъ на улицѣ одного чиновника, совершили надъ нимъ грубое неприличіе. Тотъ спросилъ у нихъ: что они: сумасшедшіе или пьяные? Они привели его на съѣзжую, и оскорбленный долженъ былъ заплатить полицейскому пятнадцать рублей, чтобы тотъ отпустилъ его».*

(А. В. Никитенко. «Моя повѣсть о самомъ себѣ и о томъ, чему свидѣтель въ жизни былъ». СПб. 1905 г. I, 275).

Никитенко говоритъ, что офицеръ «успѣлъ скрыться»; такъ скрывается, сбивъ съ ногъ чиновника, и Печоринъ. Лермонтовъ, какъ офицеръ, не могъ не слышать разсказовъ о столкновеніяхъ военныхъ съ чиновниками, не могъ не наблюдать заносчиваго поведенія военной молодежи. Замѣчательно, что его симпатіи явно на сторонѣ чиновника; это показываетъ, что поэтъ хотя и принималъ участіе въ товарищескихъ пирушкахъ и шалостяхъ, отдавая дань и молодости, и своей кипучей натурѣ, и правамъ времени и среды, но погружался въ эту атмосферу только, выражаясь его же словами, «наружно»; мы видимъ, что онъ рѣзко осуждаетъ безсердечіе и высокомеріе Печорина-офицера. Въ этомъ выраженіи симпатіи бѣдному чиновнику сказалося, отчасти, вліяніе Гоголя. Но эпизодъ (мы не сомнѣваемся въ этомъ) взятъ изъ дѣйствительности, и это служитъ лишнимъ доказательствомъ наблюдательности поэта и его склонности изображать жизнь въ ея истинномъ свѣтѣ. Сочувствіе «униженному и оскорбленному» чиновнику сближаетъ Лермонтова съ Достоевскимъ. Эпизодъ съ Красинскимъ немного напоминаетъ страницу изъ «Преступленія и наказанія»: Мармеладовъ, отставной титулярный чиновникъ, попалъ подъ щегольской экипажъ (безъ сѣдковъ); это была «коляска, щегольская и барская, запряженная парой горячихъ сѣрыхъ лошадей». (Достоевскій. «Пр. и нак.». Полн. собр. соч. СПб. 1894 г. V, 174, 175). Бѣдняга былъ такъ измѣтъ, что вскорѣ умеръ.

## V.

### Еще о „Валерикъ“.

Нѣкоторые стихи «Валерика» можно иллюстрировать еще слѣдующими интересными эскизами, найденными нами въ

очеркѣ Н. А. Волконскаго «Погромъ Чечни въ 1852 году». («Кавказскій Сборникъ», V) <sup>1)</sup>.

Лермонтовъ:

И вотъ изъ лѣса, изъ опушки,  
Вдругъ съ гикомъ кинулись на пушки...  
И градомъ пуль съ вершинъ деревъ  
Отрядъ осыпанъ... (II, 302).

Ср.: «Передъ цѣпью пронесся гикъ, пальба разомъ оборвалась, и чеченцы всей массой ринулись на аррьергардъ»... («Кавк. Сборн.», V, 59).

Лермонтовъ:

„Въ штыки!  
Дружнѣ!“—раздалось за нами.  
Кровь загорѣлася въ груди!  
Всѣ офицеры впереди...  
Верхомъ помчался на завалы,  
Кто не успѣлъ спрыгнуть съ коня...  
„Ура!“—и смолкло.—„Вонъ кинжалы!...  
Въ приклады!“... И пошла рѣзня. (II, 303).

Ср.: «Опять грянули залпы, опять прогремѣло «ура!» и вновь пошла работа штыками». («Кавк. Сб.», V, 30).

«Еще хвостъ аррьергарда былъ на полянѣ, какъ чеченцы не выдержали и съ полнымъ ожесточеніемъ кинулись въ шашки на правую цѣпь. Цѣпь приостановилась; вдоль ея пронеслось громкое «ура!» и завязалась рукопашная схватка». (Тамъ же, 59).

«Чеченцы пустили въ ходъ свои кинжалы и на мгновѣніе окрестность затихла, будто въ ней все вымерло». (Тамъ же).

Особенно интересно слѣдующее мѣсто изъ діалога между штабсъ-капитаномъ Р—о и юнымъ прапорщикомъ, недавно попавшимъ на Кавказъ. Штабсъ-капитанъ говоритъ:

«У васъ на парадахъ, да на смотрахъ какъ зарядятъ

---

<sup>1)</sup> Сравненіе отрывковъ изъ этого очерка съ „Валерикомъ“ принадлежитъ намъ; Волконскій говоритъ безъ отношенія къ поэмѣ Лермонтова.

«ура», такъ и конца ему нѣтъ: и сами потѣшаетесь, и родительское сердце радуется. *На Кавказѣ солдатъ въ бою не будетъ тянуть эту канитель, да и некогда. Развѣ вы слышали хоть одинъ разъ продолжительное «ура» при штурмахъ, атакахъ и прочее?*

— И вправду, нѣтъ». («Кавк. Сб.», 114).

Лермонтовъ:

Стоялъ кружокъ. Одинъ солдатъ  
Былъ на колѣнахъ; мрачно, грубо  
Казалось выраженье лицъ,  
Но слезы капали съ рѣсницъ,  
Покрытыхъ пылью. На шинели,  
Спиною къ дереву, лежалъ  
Ихъ капитанъ. Онъ умиралъ... (II, 303).

Ср. у Волконскаго описаніе смерти Круковского. Когда Круковской былъ убитъ, казаки положили его тѣло на бурку; *«непритворныя слезы капали изъ глазъ казаковъ»*. («Кавк. Сб.», 69) 1).

Волконскій указываетъ, какая перемѣна происходитъ въ солдатахъ послѣ битвы: «Лишь только солдатики хлебнули свѣжей водички и смыли ею потъ и кровь съ своихъ лицъ — они и ожили, и оживились. Пошли толки, рассказы, смѣшки, пересмѣшки, воспоминанія о томъ или другомъ курьезѣ непріятеля. Посторонній зритель навѣрное сказалъ бы, что эти люди и не думали стоять лицомъ къ лицу съ врагомъ часъ тому назадъ, а ужъ о томъ, что они дрались—онъ и вовсе бы не подумалъ». («Кавк. Сб.», 62).

Эти штрихи подтверждаютъ, какъ глубоко-правдивъ былъ поэтъ въ описаніяхъ войны, какъ многозначительно каждое его слово.

Кстати, объ участіи Лермонтова въ Валерикскомъ сраженіи см. еще: Висковатый. «М. Ю. Лермонтовъ въ дѣйствующемъ отрядѣ генерала Галафѣева, во время экспедиціи въ Малую Чечню». («Рус. Стар.», 1884 г., I, 83—92). Онъ

1) Вмѣстѣ съ Круковскимъ былъ убитъ хорунжій Дороховъ. («Кавк. Сб.», 71).

же—«Рѣчка смерти». («Ист. Вѣсти.», 1885 г., III, 473—483). Лебединецъ. «М. Ю. Лермонтовъ въ битвахъ съ черкесами въ 1840 году». («Рус. Ст.», 1891 г., VIII, 355—368; здѣсь приводятся рапорты ген.-лейт. Галафѣева и извлеченіе изъ «Журнала военныхъ дѣйствій», который, какъ предполагаютъ, велся Лермонтовымъ). Раковичъ. «Тенгинскій полкъ на Кавказѣ». Тифлисъ. 1900 г., 240—246 (на стр. 241—243—извлеченіе изъ «Журнала военныхъ дѣйствій»). Ср. «Рус. Арх.», 1901, № 3, стр. 505—512 (извлеченія изъ книги Раковича. См. еще —«Рус. Арх.», 1911 г., № 9, стр. 158, 159).

## VI.

### Еще о Лермонтовѣ и Козловѣ.

Выше («Лермонтовъ и Л. Толстой», гл. XII) намъ пришлось слегка коснуться вопроса о вліяніи Козлова <sup>1)</sup> на Лермонтова. Въ настоящей замѣткѣ мы хотимъ нѣсколько подробнѣе остановиться на этомъ, почти незатронутомъ, но весьма важномъ, вопросѣ.

Въ юные годы Лермонтовъ, очевидно, зачитывался оригинальными и переводными произведеніями Козлова; изъ его поэмъ онъ переносилъ многія мѣста, едва ихъ измѣнивъ, въ свои первыя поэмы. Отголоски этого вліянія можно подмѣтить даже въ позднѣйшихъ произведеніяхъ Лермонтова. Особенно привлекали поэта поэмы Козлова, проникнутыя байроническимъ духомъ; поэзія Козлова (и Пушкина) послужила мостомъ, по которому молодой Лермонтовъ подошелъ къ самому Байрону.

Начнемъ съ поэмы Лермонтова «Черкесы» (1828 г.). Лермонтовъ:

*Одѣто небо черной мглою. (I, 4).*

Козловъ:

*Одѣлись волны черной мглой...*

(Козловъ, „Невѣста Абидосская“, 112).

<sup>1)</sup> Ив. Ив. Козловъ (1779 г.—1840 г.).

Лермонтовъ:

*Востокъ алъя пламенѣтъ,  
И день заботливый свѣтлѣетъ.  
Уже въ селахъ кричить пѣтухъ;  
Ужъ мѣсяцъ въ облакѣ потухъ.  
Денница, тихо поднимаясь,  
Златить холмы и тихій боръ;  
И юный лучъ, со тьмой сражаясь,  
Вдругъ показался изъ-за горъ.  
Колосья въ полѣ подѣ серпами  
Ложатся желтыми рядами. (I, 6).  
О, если-бъ ты, прекрасный день,  
Гналъ такъ же горестъ, страхъ, смятенья,  
Какъ гонишь ты ночную тѣнь  
И сновъ обманчивыхъ видѣнья!  
Заутрень въ градѣ дальній звонъ  
По роцѣ вѣтромъ разнесенъ. (I, 7).*

Козловъ:

*Востокъ алъя пламенѣтъ,  
И день заботливый свѣтлѣетъ;  
Проснулись пташки; въ тихій боръ  
Ужъ дровосѣкъ несетъ топоръ;  
Колосья въ полѣ подѣ серпами  
Ложатся желтыми рядами;  
Заутрень сельскихъ дальній звонъ  
По роцѣ вѣтромъ разнесенъ;  
Скрипитъ подѣ сѣномъ возъ тяжелый,  
И заигралъ рожокъ веселый.  
О, если бѣ ты, прекрасный день,  
Гналъ мрачныя души волненья,  
Какъ гонишь ты ночную тѣнь  
И сновъ обманчивыхъ видѣнья!*

(«Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая», 53, 54. Эта поэма Козлова появилась въ печати, отдѣльнымъ изда-  
ніемъ, въ 1828 г.,—см. Соч. Козлова, 338. Въ томъ же году  
написаны и «Черкесы» Лермонтова).

Лермонтовъ:

Но вдругъ *толпою окружень*. (I, 9).

Козловъ:

*Толпою буйной окружонъ.*

(„Невѣста Абидосская“, 127).

Вліяніе Козлова замѣтно въ другой поэмѣ Лермонтова, того же года, «Косарь». Лермонтовъ:

Я взялъ *кинжалъ, два пистоleta*

На мнѣ за *кожанымъ ремнемъ*

*Звеньли* (I, 31).

Козловъ:

*Кинжалъ* не блещетъ *жемчугомъ,*

Но *два чеканныхъ пистоleta*

За *пестрымъ, шитымъ кушакомъ,*

И *сабля легкая звеньла...*

(„Невѣста Абидосская“, 115).

Лермонтовъ:

Гдѣ *Геллеспонть, сѣдой, широкій,*

*Плеская волнами, шумитъ...* (I, 33).

Козловъ:

...Все *шумитъ,*

*Шумитъ* твой *Геллеспонть широкой.*

(„Невѣста Абидосская“, 112).

Лермонтовъ:

*Простясь съ печальными берегами,*

*Я съ маврскимъ опытнымъ пловцомъ*

*Стремилъ мой бѣгъ межъ островами,*

*Цвѣтущими надъ влажнымъ дномъ*

*Святого старца - океана.*

*Я видѣлъ ихъ. Но жребій мой*

*Гдѣ свелъ насъ бурною толпой,*

*Тамъ власть дана мнѣ атамана;*

*И такъ ужъ было рѣшено,*

*Что жизнь и смерть—все за одно!* (I, 35, 36).

Козловъ:

*Простясь съ печальными берегами,*

*Я съ Маврскимъ опытнымъ пловцомъ*

*Стремилъ мой бѣгъ межъ островами,  
Блестящими надъ влажнымъ дномъ <sup>1)</sup>  
Жемчужно-пурпурнымъ вѣнцомъ  
Святаго старца - океана.  
Я видѣлъ ихъ. Но жребій мой  
Гдѣ свелъ насъ съ буйною толпой,  
Какъ власть дана мнѣ атамана,  
И какъ навѣки рѣшено,  
Что жизнь и смерть намъ за-одно...*  
(„Невѣста Абидосская“, 122).

Ср. еще—Лермонтовъ:

*И шелкъ каштановыхъ волосъ...*  
(„Преступникъ“, 1829 г. I, 44).

Козловъ:

*И цвѣтъ каштановыхъ волосъ...*  
(„Кн. Н. Б. Долгорукая“, 46).

Нѣкоторое вліяніе на Лермонтова оказала извѣстная поэма Козлова «Чернецъ» (появилась въ печати въ 1825 г.,— см. Козловъ, Соч., 338). Нѣчто общее съ «Чернецомъ» имѣютъ поэмы Лермонтова—«Исповѣдь», «Бояринъ Орша» и «Мцыри». Въ поэмѣ Козлова Чернецъ передъ смертью открываетъ игумену-старикѣ свою душу. Поэма заканчивается описаніемъ смерти Чернеца. Нѣкоторые стихи довольно близки къ лермонтовскимъ. Козловъ:

Онъ дважды тихо приподнялся  
. . . . .  
Но превозмогъ онъ страхъ могилы,  
Зажглися гаснушія силы;  
Онъ старца за руку схватилъ,  
И такъ страдалецъ говорилъ...  
(„Чернецъ“, 15, 16).

---

<sup>1)</sup> Выраженіе „влажное дно“ навсегда запечатлѣлось въ памяти Лермонтова; мы встрѣчаемъ его дважды „въ Корсарѣ“ (I, 35, 38) и позднѣе—въ „Мцыри“ (1840 г.):

Казалось мнѣ,  
Что я лежу на влажномъ днѣ. (II, 326).

Лермонтовъ:

Привсталъ, собравъ остатокъ силъ,  
И долго такъ онъ говорилъ. (II, 310).

Чернецъ Козлова, какъ и лермонтовскіе герои, натура молодая, кипучая, страстная.

Характерны обращенія Чернеца къ игумену: «отецъ» (16, 24), «отецъ святой» (17, 19, 20), «святой отецъ» (26), «о, мой отецъ!» (18), «отецъ мой» (25, 26), «о, старецъ!» (17).

Ср. Лермонтовъ: «отецъ» (II, 328), «отецъ святой» (I, 223, 224; II, 122, 124), «мой отецъ» (I, 219; II, 125), «о, старецъ» (I, 223; II, 123).

Козловъ:

Она одна въ моихъ мечтахъ,  
И на землѣ, и въ небесахъ...  
Отецъ святой, теперь напрасно  
О ней тебѣ подробно знать;  
Я не хочу ее назвать... („Чернецъ“, 17).

Лермонтовъ:

Кого любилъ? — Отецъ святой,  
Вотъ что умереть во мнѣ, со мной!  
За жизнь, за міръ, за небо вамъ  
Я тайны этой не продамъ! (I, 224).

Козловъ:

Теперь — до гроба жить ужасно!  
За гробомъ — вѣчность безъ нее! (25).

Лермонтовъ:

Пусть вѣчно мучусь: не бѣда!  
Вѣдь съ ней не встрѣчусь никогда!  
Разлуки первый грозный часъ  
Сталъ вѣкомъ, вѣчностью для насъ. (I, 223).

Козловъ:

Я взросъ бездомнымъ сиротою,  
Родимой ласки не видалъ. (16).

Лермонтовъ: Орша говоритъ Арсенію:

Найденышъ безъ креста,  
Презрѣнный рабъ и сирота!...

Арсеній отвѣчаетъ на это:

Ты правъ: не знаю, гдѣ рождень,  
Кто мой отецъ, и живъ-ли онъ!

Никто не смѣлъ мнѣ здѣсь сказать  
Священныхъ словъ: „отецъ“ и „мать“.

..Я видѣлъ у другихъ  
Отчизну, домъ, друзей, родныхъ,  
А у себя не находилъ  
Не только милыхъ душъ, — могилъ!  
(II, 122; ср. II, 311, 312).

Многіе другіе стихи «Чернеца» очень близки къ лермонтовскимъ—и по содержанию, и по технике; напр.:

Дней моихъ весною  
Ужъ я все горе жизни зналъ.  
Мнѣ было некого любить!  
Увы! я долженъ былъ таить,  
Страшась холоднаго презрѣнья  
Отъ непривѣтливыхъ людей,  
И сердца пылкаго волненья,  
И первый жаръ души моей;  
Уныло расцвѣтала младость,  
Смотрѣлъ я съ дикостью на свѣтъ,  
Не зналъ я, что такое радость.  
Любилъ я по лѣсамъ скитаться.  
Любилъ опасностью играть,  
Надъ жизнью дерзостно смѣяться,  
Мнѣ было нечего терять,  
Мнѣ было не съ кѣмъ разставаться. (16).  
Но, старецъ праведный, не знаешь,  
Не зналъ ты страсти роковой. (19).

Лермонтовъ:

Зналъ-ли ты,  
Что значить молодость, мечты? —  
Или не зналъ, — или забылъ,  
Какъ ненавидѣлъ и любилъ...  
(I, 220; варианты — II, 125, 312).

Выраженіе «жаръ души» встрѣчаемъ вполнѣ въ послѣдствіи у Пушкина («Вновь я посѣтилъ»...) и Лермонтова («Благодарность», II, 288). «Уныло расцвѣтала» молодость всѣхъ лермонтовскихъ героевъ баіроническаго типа. По лѣсамъ скитался Арсеній («Б. Орша»), Мцыри. «Опасностью играть» любилъ и самъ поэтъ, и всѣ его герои, которые, кстаті сказать, натуры болѣе глубокия и сильныя, нежели Чернецъ, ихъ предшественникъ.

О Козловѣ Лермонтовъ говоритъ въ стихотвореніи «Аннѣ Григорьевнѣ Хомутовой» (1841 г., II, 335, 336). Въ немъ поэтъ съ чувствомъ искренняго уваженія и участія отзывается о поэтѣ-слѣпцѣ, произведенія котораго такъ любилъ еще мальчикомъ; о самомъ себѣ онъ говоритъ:

И я, повѣренный случайный  
Надеждъ и думъ его живыхъ,  
Я буду дорожить, какъ тайной,  
Печальнымъ выраженьемъ ихъ.

Далѣе онъ обращается къ Хомутовой, двоюродной сестрѣ поэта:

Но да сойдетъ благословенье  
На вашу жизнь за то, что вы,  
Хоть на единое мгновенье,  
Умѣли снять вѣнецъ мученья  
Съ его преклонной головы.

Хомутова съ дѣтства была связана съ Козловымъ узами тѣсной дружбы; онъ посвятилъ ей стихотвореніе—«Другу весны моей» (см. Соч., 264, 265).

## VII.

### Муки слова.

Въ дополненіе къ статьѣ «Лермонтовъ и Библия» (стр. 356) скажемъ еще нѣсколько словъ о «мукахъ слова» великаго поэта.

Въ стихотвореніи «Не вѣрь себѣ» онъ говоритъ, что «стихомъ размѣреннымъ и словомъ ледянымъ» нельзя передать значенія мелодій, звучащихъ въ душѣ (II, 256). Въ письмѣ къ Лопухиной: «Право, слѣдовало бы въ письмахъ ставить ноты надъ словами, а то теперь читать письмо то же, что глядѣть на портретъ: нѣтъ ни жизни, ни движенія; выраженіе неподвижной мысли, что-то, отзывающееся смертью!..» (IV, 399). (Подробности—см. Горнфельдъ. «Муки слова». СПб. 1906 г.).

Поэтъ въ трехъ поэмахъ—«Исповѣдь», «Бояринъ Орша» и «Мцыри» повторяетъ одно и то же выраженіе:

А душу можно-ль рассказать? (I, 221; II, 121, 311).

Вспомнимъ еще неудачную попытку поэта исправить грамматическую ошибку въ стихѣ:

Изъ *пламя* и свѣта.

(Объ этомъ см.—«Литер. восп.» Панаева въ «Современникѣ»—1861 г., т. LXXXV, № 2, отд. I; Хвостова, «Записки», 1870 г., 234—240; Висковатый, «М. Ю. Л.», 372; Соч. Л.—ва подъ ред. Болдакова, II, 385).

Конечно, процессъ творчества не всегда сопровождался такими муками; Лермонтовъ говоритъ:

Бываетъ время,  
Когда заботъ спадаетъ бремя,  
Дни вдохновеннаго труда,  
Когда и умъ и сердце полны.

И риѣмы дружныя, какъ волны  
 Журча, одна во слѣдъ другой  
 Несутся вольной чередой.  
 Восходить чудное свѣтило  
 Въ душѣ проснувшейся едва:  
 На мысли, дышашія силой,  
 Какъ жемчугъ низжуются слова... (II, 282).

Нѣкоторыя стихотворенія были написаны имъ съ необычайною легкостью; напр., «Вѣтка Палестины», «Молитва» («Въ минуту жизни трудную»), «Тучи» и др. Лермонтову приписываютъ много экспромтовъ; см., напр., Мартыановъ, «Послѣдніе дни жизни М. Ю. Л.» (Ист. Вѣстн., 1892 г., II, III). Общеизвѣстны его экспромты: «Три граціи считались въ древнемъ мірѣ» (Л., I, 157) и «Н. П. Верзилиной» («Надежда Петровна»... II, 348). Лермонтову приписываютъ экспромтъ, направленный по адресу родственника поэта, какого-то Ивана Яковлевича: «Vous êtes Jean, vous êtes Jacques, vous êtes roux, vous êtes sot et cependant vous n'êtes point Jean-Jacques Rousseau». (См.—Хвостова. «Записки». СПб. 1870 г., 91). Любопытно, что въ «Запискахъ» А. О. Смирновой аналогичный каламбуръ оказывается принадлежащимъ Великому Князю Михаилу Павловичу; по ея словамъ, Великій Князь, говоря о сыгѣ княгини Ливень (воспитательницы дочерей Императора Павла), котораго звали Жанъ-Жакомъ, и который былъ рыжимъ, сострилъ: «Мой Жанъ-Жакъ хотя и рыжій (roux), и его даже находятъ глупымъ (sot), но все-таки онъ не Жанъ-Жакъ Руссо, а сынъ нашей доброй княгини Ливень»... («Записки», I, 81).

### VIII.

#### „Споръ“ Лермонтова и „Разговоръ“ Тургенева.

Стихотвореніе въ прозѣ Тургенева «Разговоръ» не является ли отголоскомъ вліянія Лермонтова на этого писателя? Альпійскія горы, Юнгфрау и Финстерааргорнъ, ве-

дутъ между собою разговоръ подобно Казбеку и Шату. Бесѣдующія альпійскія горы Тургеневъ называетъ «великанами» <sup>1)</sup>. Такое сравненіе мы встрѣчаемъ у Лермонтова. Напримѣръ,—Кавказъ

Нахмурысь, тихо дремлетъ,  
Какъ великанъ склонившись надъ щитомъ. (II, 263).

Юнгфрау называетъ своего сосѣда «старикомъ». У Лермонтова Шатъ «сѣдовласый». (II, 337). Ср. еще —

Машукъ, склоняся *лысой головой*  
Черезъ струи Подкумка голубья,  
Казалось, думаль тяжкою стопой  
Перешагнуть въ помѣстія чужія. (I, 336).

Альпійскіе гиганты съ презрѣніемъ говорятъ о ничтожномъ человѣкѣ. Съ презрѣніемъ говоритъ о немъ и Казбекъ. Ср. еще —

„Въ насмѣшку русскимъ и въ укоръ  
Оставимъ мы утесы горъ;  
Пусть на тебя, Бешту суровый,  
Попробуютъ надѣть оковы!“  
Такъ думаль каждый; и Бешту  
Теперь ихъ мысли понимаетъ,  
На русскихъ злобно онъ взираетъ. (II, 24).

Финстерааргорнь говоритъ: «Тамъ, внизу, все то же: нестро, мелко. Воды синѣютъ; чернѣютъ лѣса; сѣрѣютъ груды скученныхъ камней. Около нихъ все еще копошатся козявки, знаешь, тѣ двуножки, что еще ни разу не могли осквернить ни тебя, ни меня.

— Люди?

— Да; люди».

«Прошли тысячелѣтія, и Финстерааргорнь говоритъ: «Опрятно стало вездѣ, бѣло совсѣмъ, куда ни глянь... Вездѣ нашъ снѣгъ, ровный снѣгъ, и ледъ. Застыло все. Хорошо теперь, спокойно.

<sup>1)</sup> Тургеневъ. „Поли собр. соч.“ IX, 68, 69.

— Хорошо, — промолвила Юнгфрау. — Однако, довольно мы съ тобой поболтали, старикъ. Пора вздремнуть.

— Пора!

Спать громадныя горы; спитъ зеленое, свѣтлое небо надъ навсегда замолкшей землей.

Нѣчто аналогичное—въ стихотвореніи Лермонтова «Казбеку»:

И гордый ропоть челоѣка  
Твой <sup>1)</sup> гордый миръ не возмутить. (II, 213).

Или:

Скала угрюмая Казбека  
Добычу жадно сторожить,  
И вѣчный ропоть челоѣка  
Ихъ вѣчный миръ не возмутить. (II, 383).

Въ «Разговорѣ» Тургеневъ употребляетъ выраженія — «пора *вздремнуть*», «*спятъ* громадныя горы».

У Лермонтова: Кавказъ,

Нахмурысь, тихо *дремлетъ* (II, 263).  
Горныя вершины  
*Спятъ* во тьмѣ ночной. (II, 288).  
Скалы тѣсною толпой,  
Таинственной *дремоты* полны. (II, 352).

Тургеневъ: «Проходитъ нѣсколько тысячъ лѣтъ: одна минута». Это выраженіе, съ небольшими измѣненіями, употребляется имъ въ «Разговорѣ» пять разъ. Въ сущности, это варианты извѣстныхъ стиховъ Лермонтова:

Во-слѣдъ за вѣкомъ вѣкъ бѣжалъ,  
Какъ за минутою минута. (II, 351).

---

<sup>1)</sup> Казбека.

IX.

**Б о й т у ч ь .**

«Когда я еще малъ былъ»,—пишетъ Лермонтовъ въ одной замѣткѣ, «я любилъ смотрѣть на луну, на разнообразныя облака, которыя, въ видѣ рыцарей со шлемами, тѣснились будто вокругъ нея; будто рыцари, сопровождающіе Армиду въ ея замокъ, полные ревности и безпокойства». (IV, 350). Сравненіе облаковъ или тучъ съ рыцарями не разъ встрѣчаемъ въ его раннихъ произведеніяхъ.

Въ «Испанцахъ» (1830): луна,

Подобная Армидѣ,  
Подъ дымякою сребристой мглы ночной  
...идеть въ волшебный замокъ свой.  
Вокругъ ея и слѣдомъ тучки  
Тѣснятся, будто рыцари-вожди,  
Горящіе любовью, и когда  
Чело ихъ обращается къ прекрасной,  
Оно блеститъ; когда же отвернуто  
Къ соперникамъ, то ревность и досада  
Его нахмуряютъ тотчасъ; посмотри,  
Какъ шлемы ихъ чернѣются, какъ перья  
Колеблются на шлемахъ... (III, 19).

Въ «Аулѣ Бастунджи» (1831):

Неслися другъ за другомъ облака,  
Косматыя, какъ перья шишака. (I, 338).

Въ «Измаилѣ-Беѣ» (1832 г.) онъ обращается къ горамъ:

Какъ дымъ синѣя, облака  
Подъ вечеръ къ вамъ летятъ издалика,  
Надъ вами вьются, шепчутся какъ тѣни,  
Какъ надъ главою огромныхъ привидѣній  
Колеблемыя перья. (II, 20).

Грозныя клубящіяся тучи поэтъ любилъ уподоблять сражающимся бойцамъ. Напримѣръ: тѣни героевъ

На темносизыхъ тучахъ  
Разнообразною толпой  
Летятъ, — щиты въ рукахъ могучихъ...  
Ихъ тѣшить бурь знакомый вой.  
Сплетаясь цѣпю воздушной,  
Они вступаютъ въ грозный бой.  
Я зрѣлъ ихъ смутною душой,  
Я имъ внималъ равнодушно.

(„Олегъ“, 1829 г.—I, 81).

Ср. еще:

Была ужасна эта встрѣча,  
Подобно встрѣчѣ двухъ громовъ  
Въ грозу межъ дымныхъ облаковъ.

(„Ангель Смерти“, 1831 г.—I, 322).

Или:

Бѣлый облакъ въ полдень знойный  
Плыветъ отважно и спокойно,  
И вдругъ по тверди голубой  
Отрывокъ тучи громовой,  
Грозы дыханіемъ гонимый,  
Какъ черный лоскутъ мчится мимо;  
Но какъ ни бейся, въ вышинѣ  
Онъ съ тѣмъ не станетъ наравнѣ.

(„Изм.-Б.“, 1832 г.—II, 72—3).

Этотъ образъ, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ приковывавшій къ себѣ вниманіе юнаго поэта, наиболѣе ярко и красиво выраженъ въ стихотвореніи «Бой» (1832 г.):

Сыны небесъ однажды надо мною  
Слетѣлися, воздушныхъ два бойца:  
Одинъ — серебряной обвѣшанъ бахромою,  
Другой — въ одеждѣ чернеца.  
И, видя злость противника второва,  
Я пожалѣлъ о воинѣ младомъ.

Вдругъ поднялъ онъ концы сребристаго покова,  
И я подъ нимъ замѣтилъ громъ.  
И кони ихъ ударились крылами,  
И ярко брызнулъ изъ ноздрей огонь...  
Но вихорь отступилъ передъ громами,  
И палъ на землю черный конь. (II, 8) <sup>1)</sup>.

Бойъ тучъ прекрасно изображенъ въ стихотвореніяхъ  
Полонскаго и Случевскаго.

Полонскій:

По горамъ двѣ хмурыхъ тучи  
Знойнымъ вечеромъ блуждали  
И на грудь скалы горючей  
Къ ночи медленно сползали.  
Но — сошлись — не уступили  
Той скалы другъ другу даромъ  
И пустыню огласили  
Яркой молніи ударомъ.  
Грянулъ громъ, — по дебрямъ влажнымъ  
Эхо рѣзко засмѣялось,  
А скала — такимъ протяжнымъ  
Стономъ жалобно сказалась,  
Такъ вздохнула, что не смѣли  
Повторить удара тучи  
И у ногъ скалы горючей  
Улеглись и обомлѣли.

Случевскій:

По нѣбу быстро поднимаясь,  
Навстрѣчу мчась одна къ другой,  
Двѣ тучи, медленно свиваясь,  
Готовы ринуться на бой.  
Темны, какъ участь близкой брани,  
Небесныхъ ратниковъ полки,

---

<sup>1)</sup> См. еще объ этомъ мотивѣ у Анненскаго — „Объ эстетич. отнош. Лермонтова къ природѣ“. (Р. Ш., 1891, XII, стр. 82). Въ стихотвореніи „Бой“ Ан—ій видитъ эскизъ къ „Двумъ великанамъ“.

Подъяты по вѣтру ихъ длани,  
 И рѣжутъ воздухъ шишаки!  
 Сквозятъ ихъ мрачныя забрала  
 Отъ блеска пламенныхъ очей...  
 Какъ-будто въ небѣ мѣста мало,  
 И разойтись въ немъ нѣтъ путей!..

Это стихотвореніе какъ бы навѣяно Лермонтовымъ; грозовыя тучи сравниваются съ рыцарями, готовыми вступить въ поединокъ; характерно употребленіе слова «шишакъ», встрѣчаемаго и у Лермонтова. Стихотвореніе Случевского эффектно, но въ художественномъ отношеніи уступаетъ стихотворенію Полонскаго; послѣднее отличается чрезвычайной простотой, законченностью образовъ и болѣе сложнымъ содержаніемъ.

## Х.

### Воздушный городъ.

Въ драмѣ «Странный человѣкъ» (1831 г.) Арбенинъ говоритъ: «Гдѣ мои исполнскіе замыслы? Къ чему служила эта жажда къ великому? Все прошло! я это вижу. Такъ точно вечернее облако, покуда солнце не коснулось до небосклона, принимаетъ видъ небснаго города, блеститъ золотыми краями и обѣщаетъ чудеса воображенію; но солнце закатилось, дунулъ вѣтеръ, — и облако растянулось, померкло, и наконецъ упадетъ росой на землю!» (III, 192).

Этотъ прелестный образъ встрѣчаемъ въ другихъ юношескихъ произведеніяхъ. Въ «Измаилъ - Беѣ» (1832 г.):

Въ вечерній часъ дождливыхъ облаковъ  
 Я наблюдалъ разодранный покровъ:  
 Лиловыя, съ багряными краями,  
 Одни еще грозятъ, и надъ скалами  
 Волшебный замокъ, чудо древнихъ дней,  
 Растетъ въ минуту, но еще скорѣй

Его разсѣть вѣтра дуновенье.  
Такъ прерываетъ рѣзкій звукъ цѣпей  
Преступнаго страдальца сновидѣнье,  
Когда онъ зреть холмы своихъ полей... (I, 20).

Въ «Вадимѣ» (1832 г.):

«Какая будущность! какое прошедшее! и все въ одинъ мигъ разлетѣлось. Такъ иногда вечеромъ облака, дымныя, багряныя, лиловыя, гурьбой собираются на западѣ, сливаются въ столпы огненные, сплетаются въ фантастическіе хороводы, и замокъ съ башнями и зубцами, чудный, какъ мечта поэта, растетъ на голубомъ пространствѣ... но дунуль сѣверный вѣтеръ — и разлетѣлись облака и упадаютъ росую на безчувственную землю...» (IV, 90).

Какъ мы видимъ, поэтъ въ вариантахъ даетъ новыя, красивыя оттѣнки. Сравненіе облаковъ съ воздушнымъ, пышнымъ, но быстро разрушающимся городомъ было навѣяно Лермонтовымъ Надсоу, у котораго есть слѣдующее изящное стихотвореніе:

### *Облака.*

#### I.

По лазури неба тучки золотыя  
На зарѣ держали къ морю дальній путь,  
Плыли,—зацѣпились за хребты сѣдые,  
И остановились на ночь отдохнуть.  
Цѣлый чудный городъ, съ башнями, съ дворцами,  
Съ неподвижной массой дремлющихъ садовъ,  
Выросъ изъ залитой мягкими лучами  
Перелетной стаи вешнихъ облаковъ.  
Тутъ нѣмая рощи замокъ окружили,  
Тамъ черезъ ущелье легкой мостъ повисъ;  
Выросъ храмъ, и стройный портикъ обступили  
Мраморныя группы, тяготя карнизъ;  
Высоко вознесся куполь округленный  
И поникъ на кроны розовыхъ колоннъ,

А надъ всѣмъ сіяеть ярко освѣщенный  
Новый, чудный куполь — южный небосклонъ!..

II.

Милый другъ, не вѣрь сіяющимъ обманамъ:  
Этотъ городъ — призракъ; онъ тебѣ солжетъ, —  
Онъ тебя пониженъ вѣтромъ и туманомъ,  
Онъ тебя холоднымъ мракомъ обойметъ.  
Милый другъ, не рвись усталою душою  
Отъ земли, порочной родины твоей —  
Нѣтъ, трудись съ землею и страдай съ землею  
Общимъ тяжкимъ горемъ братьевъ и людей.  
Дологъ трудъ, зато глубоко будетъ счастье,  
Кровью и слезами купленный покой  
Не спугнетъ безслѣдно первое ненастье,  
Не разсѣетъ первой легкою грозой!  
О, не отдавай же сердца на служенье  
Призрачнымъ обманамъ и минутнымъ снамъ:  
Облака красивы, — но въ одно мгновенье  
Вѣтеръ разметать ихъ можетъ по горамъ!..

(Надсонъ, 145—146).

Не только сравненіе облаковъ съ воздушнымъ городомъ и идея, но и многія другія подробности характерно-лермонтовскія. Первые четыре стиха «Облаковъ» Надсона навѣяны «Утесомъ» Лермонтова; у Лермонтова *«тучка золотая»* ночуетъ на груди *старого* утеса; у Надсона *«тучки золотыя»* останавливаются *на ночь* отдохнуть на «хребтахъ *сѣдыхъ»*. У Лермонтова тучка весело играетъ *«по лазури»*; у Надсона — тучки держать путь *«по лазури»*. Лермонтовъ часто называлъ облака «золотыми». Ср.:

Бѣгутъ *златыя* облака. (I, 248).

Въ одеждахъ *золотыхъ*, издалика

Они текутъ безмолвнымъ караваномъ. (II, 187).

*Златыя* облака... (II, 190).

*Золотыя* облака... (II, 352).

«Вечернее облако... блеститъ *золотыми* краями». (III, 192).  
Надсонъ сравниваетъ облака съ птицами:

*Перелетной стаи* вешнихъ облаковъ.

Лермонтовъ:

И облачко за облачкомъ,  
Покинувъ тайный свой ночлеги,  
Къ востоку направляло бѣгъ,  
Какъ будто бѣлый караванъ  
*Залетныхъ птицъ* изъ дальнихъ странъ. (II, 313).

У Надсона «*хребты съды*».

Ср. Лермонтовъ:

*Съдовласый* Шатъ. (II, 337).  
*Съдыхъ* вершинъ зубцы. (II, 344).

У Надсона облака, какъ «*легкій мостъ*», перекидываются черезъ ущелья.

Лермонтовъ:

Нерѣдко дивы  
На *тучахъ* строить *мостъ* красивый,  
Чтобъ отъ одной скалы къ другой  
Пройти воздушною тропой. (II, 45).

Надсонъ говоритъ о мимолетности красоты облаковъ:

Облака красивы, — но въ *одно мгновенье*  
*Вѣтеръ* разметать ихъ можетъ по горамъ!..

Лермонтовъ:

*Едва* блеснуть, ихъ *вѣтеръ* вновь уносить.  
Куда они? зачѣмъ? откуда? — кто ихъ спросить...  
И послѣ нихъ на небѣ *нѣтъ слѣда*...  
(II, 262; ср. I. 256; II, 187, 188).

Ср. у Надсона:

*Кровью* и слезами купленный покой.

Лермонтовъ:

Ни слава, *купленная* кровью,  
Ни полный гордаго довѣрія *покой*... (II, 330).

Въ бытность свою въ Павловскомъ училищѣ Надсонъ показывалъ «Облака» преподавателю словесности, профессору Незелену. Тотъ нашель, что стихотвореніе хорошо— «образъ есть, мысль есть, стихъ правильный». Ободренный этимъ отзывомъ, Надсонъ (хотя Незеленовъ былъ противъ того), послалъ «Облака» въ «Вѣстникъ Европы»; стихотвореніе не было принято <sup>1)</sup>.

Ср. еще стихотвореніе Фета:

*Воздушный городъ.*

Вонъ тамъ по зарѣ растянулся  
Причудливый хоръ облаковъ:  
Все будто бы кровли, да стѣны,  
Да рядъ золотыхъ куполовъ.  
То будто бы бѣлый мой городъ,  
Мой городъ знакомый, родной,  
Высоко на розовомъ небѣ  
Надъ темной уснувшей землей.  
И весь этотъ городъ воздушный  
Тихонько на сѣверъ плыветь.  
Тамъ кто-то манить за собою,  
Да крыльевъ летѣть не даетъ.

Это стихотвореніе тоже могло быть навѣяно лермонтовской поэзіей.

XI.

**Л а н д ы ш ь.**

Въ стихотвореніи «Когда волнуется желтѣющая нива» поэтъ, словами изумительной красоты и нѣжности, говоритъ о ландышѣ:

Когда, росой обрызганный душистой,  
Румянымъ вечеромъ иль утра въ часъ златой,  
Изъ-подъ куста мнѣ ландышъ серебристый  
Привѣтливо киваетъ головой... (II, 208).

<sup>1)</sup> Надсонъ, XII.

По словамъ Бальмонта, «никто такъ хорошо не сказалъ о Ландышѣ, какъ Лермонтовъ, назвавъ его «росой обрызганный» (Собр. соч. Шелли. I, пер. Бальмонта. 1903 г., 475).

Въ «Сказкѣ для дѣтей» — о «маленькой Нинѣ»:

Она росла, какъ ландышъ за стекломъ. (II, 273).

Ландышъ — одинъ изъ любимѣйшихъ цвѣтовъ русскихъ поэтовъ; описывая его, они нерѣдко повторяютъ Лермонтова.

Огаревъ:

Въ деревнѣ *барышня* стыдливо,  
Какъ *ландышъ* майскій, расцвѣла,  
Свѣжа, застѣнчива, красива,  
Душой младенчески мила...

(„Барышня“, Соч., I, 126).

Здѣсь въ равной степени возможно и вліяніе Пушкина (см. выше.—«Л—въ и Л. Т.», гл. XIII).

Грековъ:

Изъ всѣхъ цвѣтовъ, взлелѣянныхъ весной,  
Милѣ всѣхъ мнѣ ландышъ бѣлоснѣжный,—  
И красотой своею нѣжной,  
И дѣвственной своею чистотой.  
Любимецъ грозъ и первенецъ весны,  
Онъ съ пѣснью соловья свой запахъ разливаетъ,  
И такъ же, какъ она, на душу навѣваетъ  
Какіе-то ласкающіе сны. („Ландышъ“) 1).

Жадовская:

Благоухая, ландышъ бѣлый  
Расцвѣлъ... („Фея весны“).

Пальминъ:

И ландышъ молится при мѣсячныхъ лучахъ.

(„Поэтъ и шутъ“).

---

1) Чтобы показать, какъ любимъ ландышъ нашими поэтами, къ какимъ изысканнымъ сравненіямъ прибѣгаютъ они, описывая его,—мы приводимъ и тѣ стихи, въ которыхъ нѣтъ вліянія Лермонтова.

Надсонъ: ландышъ

*Обрызганъ влагой теплыхъ росъ.*

(„Весна, весна идетъ!.. Какъ ожила съ весною“... 303).

Фофановъ:

И дрожить подъ *росою душистыхъ* полей

Блѣдный ландышъ склоненнымъ бокаломъ.

(„Май“.—Стих., 27).

Дрожжинъ:

Изъ травы *душистой*

Выглянулъ на солнце *ландышъ серебристый*.

(„Распустились почки, лѣсъ зашевелился“. Стих. Спб.

1894 г., 243).

Бальмонтъ: «*ландышъ серебристый*» («Зарождающаяся жизнь»), «ласковый ландышъ лѣсной» («Смерть, убаюкай меня»).

Л. Толстой однажды сказалъ (въ 1910 г.):

«Я сегодня видѣлъ ландышъ, совсѣмъ готовый бутонъ, долженъ вотъ-вотъ распуститься. Почему ландышъ называютъ серебристымъ? Ничего нѣтъ похожаго на серебро. Вотъ серебро (онъ показалъ на серебряный приборъ). Это сказано только для риѣмы, для риѣмы къ «душистый». Эпитетъ долженъ рисовать предметъ, давать образъ, а это совершенно фальшивое представленіе. И такъ у всѣхъ поэтовъ, и у Пушкина тоже». (Булгаковъ, «Дневникъ», 154).

Вѣроятно, Толстой имѣлъ въ виду лермонтовскіе стихи; однако, осторожность требуетъ замѣтить, что и у Дрожжина, назвавшаго ландышъ «серебристымъ», тоже есть риѣма «душистой»; это стихотвореніе также могло быть извѣстно великому писателю. Съ рѣзкимъ сужденіемъ послѣдняго о лермонтовскомъ ландышѣ мы не можемъ согласиться; ландышъ, обрызганный росой, дѣйствительно, серебрится; наши поэты, называя этотъ цвѣтокъ «серебристымъ», говорили, навѣрное, не только изъ подраженія Лермонтову, но и руководясь личными наблюденіями надъ красотами природы. Любопытно отмѣтить, что въ этомъ

случаѣ къ Лермонтову присоединяются такіе противоположные по характеру творчества поэты, какъ Дрожжинъ, представитель «старой» школы, дитя деревни, — и Бальмонтъ, главный представитель новѣйшей поэзіи, житель города, человекъ высоко культурный, съ тонко развитымъ эстетическимъ чувствомъ. Ср. еще нѣмецкую загадку о ландышѣ: «Я знаю хорошо одинъ колокольчикъ, онъ блеститъ ярко во всей странѣ. Изъ *серебра* <sup>1)</sup> онъ кажется вылитымъ, а между тѣмъ выросъ изъ земли»... и т. д. (Золотницкій «Три цвѣтка весны». — «Ежемѣсячныя литер. и популярно-науч. прилож. къ журналу «Нива» на 1909 г.; I, 628). Вліяніе Лермонтова сказалось въ стихахъ Голенищева-Кутузова:

Цвѣтокъ гвоздики алой  
Ужъ распустился въ цвѣтникѣ моемъ  
*И весело кивалъ мнѣ головою,*  
*Обрызганный* весь влагой дождевою.

(«Первый громъ». — Соч., 1894, СПБ., I, 22).

Ср. еще:

Луга *росой* обильной  
*Обрызганы.* („Какая ночь! Рѣдѣютъ облака“. I, 14) <sup>2)</sup>.

О ландышѣ см. еще стихотвореніе Батюшкова — «Выздоровленіе», Фета — «Первый ландышъ».

## ХІІ.

### „И скучно и грустно“.

Мысли, съ такою силою и чувствомъ, съ такою сжатостью выраженные въ элегіи «И скучно и грустно», часто заста-

<sup>1)</sup> Въ оригиналѣ: то же: „aus Silber“.

<sup>2)</sup> Ср. еще у Л—ва:

Какъ южный плодъ румяный, золотой,  
*Обрызганный душистою росой.* (I, 338).

вляли поэта задумываться надъ ними. Его герои жалуются на скуку и грусть, на одиночество, на пустоту жизни.

Арбенинъ:

И тяжело стало мнѣ, и *скучно* жить! (III, 226).

Или:

Жизнь — вещь *пустая*:

Покуда въ сердцѣ быстро льется кровь,

Все въ мирѣ намъ и радость и отрада.

*Пройдутъ года желаній и страстей—*

И все вокругъ темнѣй, темнѣй!

Что жизнь?— давно извѣстная шарада

Для упражненія дѣтей...

...Въ юныхъ лѣтахъ лучше съ ней проститься,

Пока душа привычкой не сроднится

Съ ея бездушной *пустотой*. (III, 270).

Кирибѣвичъ:

*Скучно, грустно* мнѣ, православный царь,

Одному по свѣту маяться. (II, 218).

Печоринъ: «Тогда мнѣ стало *скучно*... Вскорѣ перевели меня на Кавказъ: это самое счастливое время моей жизни. Я надѣялся, что скука не живетъ подъ чеченскими пулями,—напрасно: черезъ мѣсяць я такъ привыкъ къ ихъ жужжанью и къ близости смерти, что, право, обращалъ больше вниманія на комаровъ,—и мнѣ стало *скучнѣе презжняго*, потому что я потерялъ почти послѣднюю надежду... Жизнь моя становится *пустѣе* день ото дня». (IV, 179). «Я чувствовалъ необходимость излить свои мысли въ *дружескомъ* разговорѣ... но съ *къмъ?*...» (IV, 222).

Демонъ говоритъ, что никто не устоитъ

Противъ усталости и *скуки*. (II, 374.)

Для самого поэта, когда ему было только 15 лѣтъ, жизнь была уже *скучна*, какъ день осенній (II, 384). Его герои одарены «силами необъятными» и *скучаютъ* отъ того, что не знаютъ, къ чему приложить эти силы. Лермонтовъ испытывалъ скуку и грусть отъ того, что жизнь въ самомъ дѣлѣ

не позволяла ему развернуть его могучихъ дарованій. Одинъ въ полѣ не воинъ. Носить въ душѣ божественный поэтическій геній, мечтать о дѣятельности широкой и свободной, сознавать значеніе своего великаго призванія, быть молодымъ и гордымъ,—но вмѣстѣ съ тѣмъ—тянуть ляжку однообразной, нежеланной военной жизни, испытывать гоненія со стороны властей и общества, понимать всю пошлость жизни, страдать отъ одиночества... есть отъ чего и титану упасть порою духомъ и не ожидать личного счастья! Кого изъ великихъ людей не постигали порою мрачныя мысли? Даже Пушкинъ, солнце нашей поэзіи, въ минуты тяжелаго раздумья говорилъ:

Цѣли нѣтъ передо мною,  
Сердце пусто, празденъ умъ,  
И томить меня тоскою  
Однозвучный жизни шумъ.

(„Даръ напрасный, даръ случайный“).

Задавалъ вопросъ:

Иль вся наша  
И жизнь ничто, какъ сонъ пустой,  
Насмѣшка рока надъ землей?

(„Мѣдный Всадникъ“. Ч. I).

Такое состояніе переживалъ Тургеневъ. Въ 1877 г. онъ писалъ въ дневникѣ: «Полночь. Сижу я опять за своимъ столомъ... а у меня на душѣ темнѣе темной ночи... Могила словно торопится проглотить меня; какъ мигъ какой пролетаетъ день, *пустой*, безцѣльный, безцвѣтный. Смотришь: опять вались въ постель.—Ни права жить, ни охоты нѣтъ; дѣлать больше нечего, нечего ожидать, *ничего даже желать*». (Тургеневъ. «Первое собр. писемъ». СПб., 1884 г., 316). Въ одномъ письмѣ онъ говоритъ Некрасову: «Милый Некрасовъ, получилъ я вчера твое письмо въ отвѣтъ на мое первое. Пожалуйста, заведемъ переписку,—*все не такъ мнѣ скучно будетъ*... Сегодня день моего рожденія, мнѣ стукнуло 34. Порядочное количество лѣтъ, *а куда всѣ эти годы*



эта слышатся отзвуки небесно-мелодичных пѣсень старшаго собрата. Вліяніе Пушкина видно въ выборѣ Лермонтовымъ сюжетовъ, въ различныхъ мотивахъ лирики, въ отдѣльных образахъ, выраженіяхъ, въ структурѣ стиха. Извѣстно, что Лермонтовъ глубоко проникся духомъ пушкинской поэзіи, что она стала частью его души, и нерѣдко, какъ бы самъ не замѣчая того, онъ употребляетъ слова Пушкина, будто свои собственныя, выстраданныя. Надо, однако, согласиться съ тѣмъ, что онъ въ послѣдніе годы своего творчества, заимствуя сюжеты у русскихъ и иностранныхъ авторовъ, никогда не бывалъ побѣжденнымъ. Признано, что его переводы—изъ Байрона («Умирающій гладіаторъ», «Еврейская мелодія»), Гейне («Они любили другъ друга», «Сосна»), Гете («Горныя вершины») и др.—не менѣе блестящи, чѣмъ оригиналы. Произведенія, навѣянные, на примѣръ, самимъ Пушкинымъ,—«Вѣтка Палестины», «Три пальмы»—носятъ въ то же время печать яркой индивидуальности автора.

Какъ уже выяснено, вліяніе Пушкина отражено во многихъ произведеніяхъ Лермонтова; приведемъ еще нѣкоторыя параллели.

Въ стихотвореніи «Сонъ», описывая тихую лунную ночь, Лермонтовъ говоритъ:

И вѣтръ не могъ дремоты превозмочь. (I, 172).

Это варіантъ изъ «Полтавы»:

Своей дремоты превозмочь  
Не хочетъ воздухъ. (II пѣснь).

Въ «Измаилѣ - Беѣ»:

Куда черкесь направилъ путь?...  
Черкесь не хочетъ отдохнуть. (II, 29).

Это тоже изъ «Полтавы»; ср.:

Казакъ на сѣверъ держитъ путь,  
Казакъ не хочетъ отдохнуть. (I пѣснь).

Быть можетъ, Пушкинымъ навѣяны слова Арбенина:

Тому назадъ лѣтъ десять, я вступалъ  
Еще на поприще разврата;  
Разъ, въ ночь одну, я все до капли проигралъ,  
Тогда я зналъ ужъ цѣну злата,  
Но цѣну жизни я не зналъ.  
Я былъ въ отчаяннѣ, ушелъ и яду  
Купилъ и возвратился вновь  
Къ игорному столу; въ груди кипѣла кровь.  
Въ одной рукѣ держалъ я лимонаду  
Стаканъ, въ другой четверку пикъ;  
Послѣднѣй рубль въ карманѣ дожидался  
Съ завѣтнымъ порошкомъ,— рискъ, право, былъ великъ;  
Но счастье вынесло, и въ часъ я отыгрался!  
Съ тѣхъ поръ хранилъ я этотъ порошокъ,  
Среди волненій жизни трудной,  
Какъ талисманъ таинственный и чудный,  
Хранилъ на черный день,— и день тотъ недалекъ. (III, 265).

Ср. слова Сальери о ядѣ:

Вотъ ядъ, послѣднѣй даръ моей Изоры.  
Осьмнадцать лѣтъ ношу его съ собою —  
И часто жизнь казалась мнѣ съ тѣхъ поръ  
Несносной раной, и сидѣлъ я часто  
Съ врагомъ безпечнымъ за одной трапезой,  
И никогда на шопоть искушенья  
Не преклонился я, хоть я не трусь,  
Хоть обиду чувствую глубоко,  
Хоть мало жизнь люблю. Все медлилъ я,  
...Какъ пировалъ я съ гостемъ ненавистнымъ —  
Быть можетъ, мнилъ, я злѣйшаго врага  
Найду; быть можетъ, злѣйшая обида  
Въ меня съ надменной грянетъ высоты —  
Тогда не пропадешь ты, даръ Изоры.  
...Теперь — пора! („Моцартъ и Сальери“, I сцена).

«Узникомъ» Пушкина навѣяны слѣдующіе стихи «Казначейши»:

Такъ въ клѣткѣ *молодой орель*,  
 Глядя на горы и на доль,  
 Напрасно не подъемлетъ крылья,  
*Кровавой пищи не клюетъ*,  
 Сидитъ, молчитъ и смерти ждетъ.  
 ...Не все-жъ томиться бесполезно  
 Орлу за клѣткою желѣзной:  
 Онъ свой воздушный прежній путь  
 Еще найдетъ когда-нибудь  
*Куда*, гдѣ снѣгомъ и туманомъ  
 Одѣты темныя скалы,  
*Гдѣ* гнѣзда вьютъ одни орлы,  
*Гдѣ* тучи бродятъ караваномъ.  
 Тамъ можно крылья развернуть  
 На вольный и роскошный путь. (II, 246—7) <sup>1)</sup>.

Вѣроятно, на Лермонтова неотразимое впечатлѣніе произвело стихотвореніе Пушкина «Воспоминаніе», особенно первая его часть:

Когда для смертнаго умолкнетъ шумный день,  
 И на нѣмыя стогны града  
 Полупрозрачная наляжетъ ночи тѣнь  
 И сонъ, дневныхъ трудовъ награда,—  
 Въ то время для меня влачатся въ тишинѣ  
 Часы томительнаго бдѣнья:  
 Въ бездѣйствіи ночномъ живѣй горятъ во мнѣ  
 Змѣи сердечной угрызенья <sup>2)</sup>;  
 Мечты кипятъ; въ умѣ, подавленномъ тоской,  
 Тѣснится тяжкихъ думъ избытокъ;  
 Воспоминаніе безмолвно предо мной

<sup>1)</sup> Вообще, мотивъ пушкинскаго „Узника“ былъ однимъ изъ излюбленныхъ у Л-ва: ср. „Желаніе“ (II, 11, 12), „Узникъ“ (II, 207), „Плѣнный рыцарь“ (II, 291), „Сосѣдка“ (II, 292) и др.

<sup>2)</sup> Ср.: И грусть на днѣ старинной раны

Зашевелилась какъ змѣя. (Л., II, 369).

Свой длинный развиваетъ свитокъ.  
И, съ отвращеніемъ читая жизнь мою,  
Я трепещу и проклиная,  
И горько жалуясь, и горько слезы лью,  
Но строкъ печальныхъ не смываю<sup>1</sup>).

Лермонтовъ самъ часто терзался душою, пробѣгая въ-мысляхъ былое, и ему понятно было это чувство жгучаго раскаянія. Въ юношескомъ стихотвореніи «Quand je te vois sourire» онъ буквально повторяетъ пушкинскія слова:

Alors toute ma vie  
A mes yeux apparaît,  
Je maudis, et je prie,  
Et je pleure en secret. (I, 184.)

т.-е. «Тогда вся жизнь моя встаетъ передъ моими глазами; я проклиная и молюсь, и плачу тайно». (I, 392). Лермонтовъ страдалъ бессонницей и самъ переживалъ тревожныя, гнетущія чувства, вызываемыя ею; онъ говоритъ:

Я былъ рожденъ  
Съ бессонницей. Въ теченье долгой ночи,  
Бывало, безпокойно бродятъ очи,  
И жжетъ подушка влажное чело.  
Душа груститъ о томъ, что ужъ прошло. (II, 157).

Ярче всего такое настроеніе выражено въ стихотвореніи «Журналистъ, читатель и писатель»:

Бываютъ тягостныя ночи:  
Безъ сна, горять и плачутъ очи,  
На сердцѣ жадная тоска;  
Дрожа, холодная рука  
Подушку жаркую объемлетъ;  
Невольный страхъ власы подьемлетъ,  
Болѣзненный, безумный крикъ  
Изъ груди рвется, и языкъ  
Лепечетъ громко, безъ сознанья

<sup>1</sup> Ср.: еще „Стихи, сочиненные ночью, во время бессонницы“ Пушкина.

Давно забытыя названья;  
 Давно забыя черты  
 Въ сянни прежней красоты  
 Рисуетъ память своевольно;  
 Въ очахъ любовь, въ устахъ обманъ,—  
 И вѣришь снова имъ невольно,  
 И какъ-то весело и больно  
 Тревожить язвы старыхъ ранъ. (II, 283)<sup>1)</sup>.

Здѣсь неразрывно переплелось и пережитое поэтомъ, и вліяніе Пушкина. Изъ «Воспоминанія» же Лермонтовъ перенесъ въ повѣсть «Вадимъ» слѣдующее выраженіе: «И передъ нимъ началъ развиваться длинный свитокъ воспоминаній». (IV, 66).

Л. Толстой признается: «Я съ величайшей силой испыталъ то, что говоритъ Пушкинъ въ своемъ стихотвореніи: «Воспоминаніе»... Въ послѣдней строкѣ я только измѣнилъ бы такъ,—вмѣсто строкъ *печальныхъ*... поставилъ бы: строкъ *постыдныхъ* — не смываю»<sup>2)</sup>. (Толстой, I, 253).

Припомнимъ стихотвореніе Лермонтова «Благодарность»:

За все, за все Тебя благодарю я:  
 За тайныя мученія страстей,  
 За горечь слезъ, отраву поцѣлуя,  
 За мечь враговъ и клевету друзей,  
 За жаръ души, растрченный въ пустынь,  
 За все, чѣмъ я обмануть въ жизни былъ,  
 Устрой лишь такъ, чтобы Тебя отнынѣ  
 Недолго я еще благодарилъ. (II, 288.)

Въ немъ слышатся отголоски пушкинской лиры. Ср.:

Въ унынѣ часто  
 Я помышлялъ о юности моей,  
 Утраченной въ безплодныхъ испытаньяхъ,

<sup>1)</sup> Ср.: Когда смѣняются видѣнья  
 Передъ тобой въ волшебной мглѣ  
 И быстрый холодъ вдохновенья  
 Власы подьемаютъ на челъ... (Пушкинъ. „Жуковскому“).

<sup>2)</sup> Курсивъ Л. Т.

О строгости заслуженныхъ упрековъ,  
О дружбѣ, заплатившей мнѣ обидой  
За жаръ души довѣрчивой и нѣжной —  
И горькія кипѣли въ сердцѣ чувства...  
(„Вновь я посѣтилъ“).

Или:

О, юность легкая моя!  
Благодарю за наслажденья,  
За грусть, за милыя мученья,  
За шумъ, за бури, за пиры,  
За всѣ, за всѣ твои дары;  
Благодарю тебя. Тобою  
Среди тревогъ и въ тишинѣ  
Я наслаждался... и вполнѣ;  
Довольно; („Евг. Он.“, гл. 6, XLV).

Балладу «Гамара» обыкновенно сопоставляютъ съ «Египетскими ночами» Пушкина<sup>1)</sup>).

Къ ней близко еще слѣдующее мѣсто изъ «Руслана и Людмилы»:

Нашъ витязь мимо черныхъ скалъ  
Тихонько проѣзжалъ, и взоромъ  
Ночлега межъ деревъ искалъ.  
Онъ на долину выѣзжаетъ  
И видитъ: замокъ на скалахъ  
Зубчаты стѣны возвышаетъ;  
Чернѣютъ башни на углахъ;  
И дѣва на стѣнѣ высокой,  
Какъ въ морѣ лебедь одинокій,  
Идетъ, зарей освѣщена;  
И дѣвы пѣснь едва слышна  
Долины въ тишинѣ глубокой.  
„Ложится въ полѣ мракъ ночной  
Отъ волнъ поднялся вѣтеръ хладный.

<sup>1)</sup> См. напр. А. Милуковъ, „Очеркъ исторіи рус. поэзіи“. Спб. 1864 г., 223; Соколовъ, „Иллюзіи поэтич. творч.“, 94, 95; и др.

Ужъ поздно, путникъ молодой!  
Укройся въ теремъ нашъ отраднѣй!

Здѣсь ночью нѣга и покой,  
А днемъ и шумъ и пированье,  
Приди на дружное призванье,  
Приди, о, путникъ молодой!

У насъ найдешь красавицъ рой;  
Ихъ нѣжны рѣчи и лобзанье.  
Приди на тайное призванье,  
Приди, о, путникъ молодой!

Тебѣ мы съ утренней зарей  
Наполнимъ кубокъ на прощанье.  
Приди на мирное призванье,  
Приди, о, путникъ молодой!

Ложится въ полѣ мракъ ночной;  
Отъ волнъ поднялся вѣтеръ хладный.  
Ужъ поздно, путникъ молодой!  
Укройся въ теремъ нашъ отраднѣй!“  
Она манитъ, она поетъ... (IV пѣсня.)

Здѣсь многіе элементы лермонтовскаго стихотворенія: замокъ, возвышающійся на скалахъ, башни, которыя чернѣютъ на углахъ; образъ красавицы, страстной пѣсней зазывающей на ночь случайнаго гостя; упоминаніе о лобзаньяхъ, о кубкѣ. Но это сходство внѣшнее. Юношескіе стихи Пушкина блѣднѣютъ передъ «Тамарой»; въ нихъ нѣтъ сильнаго выраженія яркой страсти; образы недостаточно рельефны; напримѣръ, сначала поэтъ говоритъ о «замкѣ», потомъ—о «теремѣ». Въ пушкинскомъ эпизодѣ, какъ и во всей поэмѣ «Русланъ и Людмила», нѣтъ глубокаго внутренняго содержанія. Въ балладѣ Лермонтова—трагизмъ, сочетаніе красоты ангельской и демонической, изысканно роскошные образы. Извѣстно, что «Тамара» написана на мотивъ грузинскихъ легендъ о царицѣ Тамарѣ и княжнѣ

Дарьѣ, но нѣкоторое вліяніе могла оказать и поэма Пушкина.

Другая знаменитая баллада Лермонтова—«Морская царица»—написана подъ вліяніемъ пушкинскаго «Яныша Королевича». Ср.:

Королевичъ ѣздитъ на охотѣ,  
ѣздитъ онъ по берегу Моравы.  
Захотѣлъ онъ коня вороного  
Напоить студеной водою;  
Но лишь только запѣнную морду  
Сунуль конь въ студеною воду,  
Изъ воды вдругъ высунулась ручка—  
Хватъ коня за узду золотую!  
Конь отдернулъ голову въ испугѣ, —  
На удѣ виситъ Водяница,  
Какъ на удѣ пойманная рыбка.

Лермонтовъ повторяетъ эту картину почти во всѣхъ подробностяхъ, но даетъ и свои, поразительной красоты и силы, образы. Противопоставленіе прелестной морской царицы молодому, но суровому и грубому царевичу, агонія русалки, переворотъ въ душѣ убійцы,—все ново и волшебнo-прекрасно.

Въ стихотвореніи Лермонтова «Сонъ»:

Съ свинцомъ въ груди лежалъ недвижимъ я;  
Глубокая еще дымилась рана,  
По капль кровь сочилась моя.

Въ его груди дымясь чернѣла рана,  
И кровь лилась хладѣющей струей... (II, 340).

Пушкинъ въ «Евг. Он.»:

Недвижимъ онъ лежалъ, и странень  
Былъ томный взоръ его чела.  
Подъ грудь онъ былъ на вылетъ раненъ;  
Дымясь, изъ раны кровь текла. (VI гл., XXXII.)

## Замѣченныя опечатки.

<i>Страница</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Слѣдуетъ</i>
28	8 сверху	16-ть лѣтъ	16 лѣтъ
118	1 сверху	клыбельная	колыбельная
182	18 сверху	склинилъ	склонилъ
206	16 сверху	Брызжасть	Брызжетъ
207	11 снизу	Измайлъ-Бей	Измаиль-Бей
216	11 снизу	оскорбленныя	оскорбленный
251	6 снизу	забываютъ	забываютъ
297	1 и 2 снизу	иностран- аго	иностран- наго
319	4 сверху	Хвостова	Хостатова
321	7 сверху	говорить	говорить
369	11 снизу	„вѣчной-молодой“	„вѣчно-молодой“
458	12 сверху	Куда	Туда
460	2 сверху	забыя	забытыя

---